

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

10



1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1989 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОКНА — Полина Иванова, Галина Нерпина, Анна Бердичевская, Ирина Семенова, Елена Крюкова, Ольга Гречко, Светлана Сырнева, Анна Саед-Шах, стихи	3
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ — Рассказы	8
ТАТЬЯНА ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА — Переправа, стихи	24
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования. Главы из книги. Продолжение	25
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Из духовных стихов	150

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН — Черные дыры экономики	153
РОБЕРТ КОНКВЕСТ — Жатва скорби. Советская коллективизация и терпор голодом. Перевод с английского Исраэля Козна и Нели Май	179

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

С. Н. БУЛГАКОВ — Моя родина. Статьи. Очерки. Письма. Составление, предисловие, комментарии и публикация архивных материалов И. Б. Роднянской	201
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НОВАЯ ПРОЗА: ТА ЖЕ ИЛИ «ДРУГАЯ»? — Петр Вайль, Александр Генис. Принцип матрешки; Владимир Потапов. На выходе из «андерграунда»	247
В. ТУРБИН — Сын отечества. К 175-летию М. Ю. Лермонтова	258

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Кушнер. Музыка во льду.	264
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А. Даева. — Анатолий Королев. Ожог линзы. Повесть. Рассказы. Роман. ♦	
Елена Степанян. Райнер Мария Рильке. Записки Мальте Лаурд-са Бригге. Роман. Новеллы. Стихотворения в прозе. Письма	270
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ГАЛИНА НЕРПИНА

* * *

А с моей больничной койки
хорошо глядеть на свет.
Прославляю жизнь, поскольку
ничего другого нет.

Эту злую мастерскую,
где меня никто не ждал,
эту улицу Тверскую
кто-то Богу нашептал.

А еще его просили —
нам разглядить пособи

все колдобины России,
все колдобины свои.

Кровопийцы и придурки
не навек нам суждены...
У пятна на штукатурке
очертания страны,

неба золотая мякоть
застилает мне глаза...
Что еще? Нельзя не плакать,
но и этого нельзя.

АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ

Тяга

Но свинули где-то чугунную вьюшку,
Луна отворилась, и тяга возникла.
Не то чтобы ветер, не то чтобы вьюга —
Но им захотелось увидеть друг друга.

Да, им захотелось увидеть друг друга.
Не ветер, не вьюга, а — кто его знает?
Виском и щекой они помнят друг друга,
Их тянет друг к другу и в спину толкает.

Они еще будут стоять подбоченьясь
И издали будут смотреть преспокойно.
Как раз вот таких и уносит теченьем,
Вот так надвигаются беды и войны.

Собаки завоюют и пули залают
На том сквозняке или, может быть, вьюге.
А эти наивно пока полагают
Не думать, не помнить, не знать друг о друге.

ИРИНА СЕМЕНОВА

Где мимо ты пройдешь

Непосягаемо смотрю!
Куда пропал мой взор надменный?
Огнем раскаянья горю
В былом, о мой благословенный.

Хочу забыть, вплетая ложь,
Тебя от голоса до жеста,
Но там, где мимо ты пройдешь,
Земля цветет и свято место.

Расстаться радостней с душой,
Чем твой покой убить небесный...
Благослови меня чужой,
Запомни миру неизвестной!

ЕЛЕНА КРЮКОВА

Магдалина. Фрагмент фрески

Жизнь — засохшая корка.
У смерти в плену
Я — старухой в опорках —
Себя вспомяну:
Вот к трюмо, будто камень,
Качусь тяжело,
Крашусь, крашусь веками,
А время ушло.

Я тяжелая баба.
Мой камень тяжел.
Летописца хотя бы!
Он в Лету ушел...
Я — сама летописец
Своих лагерей.
Общежития крысьи
С крюками дверей.
Коммуналок столичных
Клопный лимит.
«Эта?..» — «Знать, из приличных:
Не пьет, не дымит».

Я троллейбус водила:
Что Главмежавтотранс!..
В мастерские ходила:
Пять рэ за сеанс.
Ярко сполохи тела
Дрань холстины прожгли...
Я в постель не хотела,
Баржой — волокни.
На столе — «Ркацител»,
Как свеча — поутру...
А художники пели,
Что я не умру.

Не морщишься ты, злое
Зеркалишко мое.
Жизнь жесточе постоя,
Синей, чем бельё.
Я сначала балдела:
Меня — нарасхват!..
Огрузняется тело.
Огрызается мат.
Рассыхается койка.
... Где — в Тамбове?.. Уфе?..
Вот я — посудомойка
В привокзальном кафе.

Руки в трещинах соды.
Шея — в бусах потерь.
По бедняцкой я моде
Одеваюсь теперь:
Драп-дерюга от бабки,
Молевые унты,
На груди — лисьи лапки
Неземной красоты...

Вот такая я тетка!
Ни прибавь. Ни убавь.
Сколько жизни короткой.
Сколько глупых забав.
Сколько веры убитой.
И детей в детдомах,
Что по мне — позабытой —
Тонко плачут
впотьмах.

ОЛЬГА ГРЕЧКО

Очередь в овощном магазине

Обо мне будет клен шелестеть...

Вся страна в очередях, как в баранках
деревенская тетка, а городская —
в рулонах туалетной бумаги
(выбросили в универмаге
к Международному женскому дню!).
В очередь — как в западню.
В ней с головы до хвоста судачат
о конце света, а свет еще и не начат,
в потемках друг на друга натыкаются все.
— А ты вчера смотрела в «Пятом колесе»?..

Вся страна в очередях, навешала на грудь.
И кроют ее матом, а ей нечем крыть.
А давай в шахматы с тобой играть.
А давай руки над чайником греть.

Неохота выносить из избы сор,
но кончается хлеб, колбаса и сыр,
и такой начинается с порога сюр!
Ох, недаром Сальвадора не пускали в СССР!

Вся страна в очередях, помешалась на чертях,
на мудрецах сионских, на близнецах сиамских,
но это только в общих чертах,
а я знаю, как мудрецов зовут,
и какого числа будет Страшный суд,
и кто мыло измылил дешевое,
и почему рукавицы ежовые.
А один рерихнулся знакомый йог:
плавал в ванне — заплыл за буюк.

Сами себя перебирают четки,
а на ком еще и баранки.
Библию перевирают вредные тетки,
сразу видно — не иностранки.
По субботам церковь полным-полна,
женского хора за волной волна.
А сегодня всего лишь вторник,
в четырех стенах затворник — поборник
несудьбы, невстречи, не, не...
Где-то клен тут был в окне — обо мне...

А вчера был понедельник, тяжелый день,
и ладно бы — за горы арбузов, дынь
приходилось слухам платить дань,
а то за лук мороженный, за пустой чеснок.
В очередь — как к соседке за спичками на часок.
Мать честная, думаешь, и вправду зима гнилая,
а это свекла с нитратами — гнилая.
Ничего-то в жизни не поняла я,
который раз по счету полетели тормоза,
и так скользко на улице, и твои лукавы глаза.
Поделом мне, разине, — обманывай, калечь!
...А еще есть в магазине болгарский изюм.
Нету бабушки на свете — жаворонки печь...

На родимой сторонке жаворонки пекут.
А с родимой сторонки на все четыре бегут.
Я бы тоже бежала куда глаза глядят,
но мешает мне, цепляется рубашка до пят.
...А была бы голая, как зимний клен,
показал бы дочке пальцем: гулена из гулен!

Мне за это — свечечку в храме.
Ольга все-таки святая и в сраме.
Голый клен, облепленный снегириями...

* * *

Кто вырос в городке заштатном
с единственной на всю округу
десятилеткой,
взглядом жадным
прикован намертво друг к другу.
В каком ни встретимся содоме,
кого шутя ни приголубим —

как будто бы в родимом доме
друг друга узнаём и любим!
Слезает плоти позолота.
И свечка с пламени стекает.
Бегущего спасаться Лота
крапива по ногам стегает.

Не озираясь — панацея
от бед.

А некуда податься —
цементом Декабря, Лицея
нам остается пропитаться.

Вот крепость: ни зубцов, ни башен,
ни пороха, ни гарнизона.

В окне зеленый веер пашен
да синий обруч горизонта.

СВЕТЛАНА СЫРНЕВА

* * *

В час, когда за шершавой стеною
огонек потухает в избе,
я вселенской дышу тишиною,
но не рада ни ей, ни себе.
Не кричит, не рыдает, не стонет
этот жалкий десяток домов,
но покорно и медленно тонет
и к последнему часу готов.
И сомкнутся, цветеньем повиты,
эти травы над ними — вода!
И средь желтой пылицы ядовитой
будут долго ржаветь провода.
Добрый путник! Порою закатной

ты не слышишь ли там — под
землей —
отголоски той речи невнятной,
шевеление жизни живой?
Там почудятся лики строений,
очертания старых оград.
Открываются темные сени,
в сенях темные тени скользят.
И старик, закурив папиросу,
на завалинке у окна
бесполезную точит косу,
и звенит, и звенит она.

Декабрь

Как ослепшего — за рукав
и как тонущего — на плот
пусть затянет меня в декабрь —
пусть хоть это меня спасет.
Заметет с четырех сторон,
занавесит со всех высот.
Это — зыбка, а в зыбке — сон:
пусть хоть это меня спасет.
Не страшна небесная твердь:
ватой выложен небосвод.
Что поэту русскому смерть?
Пусть хоть это меня спасет.

В свой тулуп меня заверни,
о декабрь, и неси, храня.
Так носили в детские дни
полусонную в сани меня.
И уже во сне досмотреть
нескончаемый санный путь...
Что для русского умереть?
О, не более чем заснуть.
Ибо жизнь ему то тесна,
то неслыханно широка.
И ему потребны века
для его короткого сна.

АННА САЕД-ШАХ

Колыбельная

Буду внуку своему
бабушкой, и дедушкой,
и чуть-чуть отцом.
Буду внуку своему
мелкой денежкой,
первым мудрецом.
Противной микстурой,
и велосипедом, и аппаратурой,
а может быть, даже
автомобилем —

лишь бы любили!
А потом
стану внуку лишним ртом,
встречным ветром,
квадратным метром.
На пятницу ради любимой жены
будут сниться внуку вещие сны
в белых тапочках —
спи, моя лапочка.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

★

РАССКАЗЫ

Темный лес

Многие неурядицы на свете объясняются, по-видимому, очень просто — различием темпераментов. Один человек, допустим, такой это веселый-веселый, что с ним хоть что ни случись — ему хоть бы хны, плюнет и дальше жить пойдет. А другой от всякой ерунды сычом смотрит, и нету с его мнительностью никакого сладу...

Вот и тут тоже. Царьков-Коломенский взял да и брякнул васильевской бабе, что они в субботу ездили с Васильевым в лес «любоваться его осенним убранством». А васильевская баба, на которой тот упорно не хотел жениться, тут же смекнула, что если они ездили в лес, то никак не иначе как в сторону совхоза «Удачный», где в школе для дураков преподает старая романтическая васильевская любовь Танька Инквизиция. Живя якобы в глуши, а на самом деле профура, каких свет не видал. И работает «в глуши», потому что город близко и по зарплате ей выходит за непонятную «вредность» коэффициент пятнадцать процентов. Васильевская баба пришла к Васильеву и закатила ему скандал. Васильев весь покрылся красными пятнами, затоптал на бабу, что она лишает его свободы думать, и выставил ее, прорыдавшуюся, напудренную, за дверь. А сам остался и стал ходить по комнате, бессмысленно присаживаясь в кресло, трогая лоб, кусая ус, ероша шевелюру.

Тут снова стучатся в дверь. Открыл, а там шутовски стоит на коленях друг-предатель В. Царьков-Коломенский и говорит:

— Ты уж извиняй, брат, я не знаю, как такое оно и случилось. Ну — трёкнул ей, трёкнул я ей, а кто же знал? Ты уж извиняй, брат, давай, что ли, выпьем в заглаживание моей вины?

Васильев сверху посмотрел на него. Смотрел, смотрел, а потом и захлопнул дверь, не сказав другу никакого обидного слова.

И Царьков-Коломенский поэтому не обиделся. Но оставаться на коленях было как-то очень уж неудобно. Весельчак встал, отряхнул брюки, харкнул в лестничный пролет и зашагал вниз, в направлении собственного плевка.

А при выходе из подъезда его чуть не сбил с ног какой-то взволнованный молодой человек в мохеровом шарфе.

— Тише нужно бежать, молодой человек, — научил Царьков-Коломенский.

Но тот, бессмысленно на него посмотрев, ничего не ответил и взлетел наверх. Вскоре он уже стучался в дверь васильевской квартиры.

— Что вам угодно? — сухо спросил Васильев, так как он его слегка узнал, этого молодого человека. Его звали вроде бы Санечка.

— Мне... мне что угодно? — вдруг разулыбался юноша. — Здравствуйте, во-первых, — сказал он.

— Здравствуйте,— хмуро сказал Васильев.

— А во-вторых, не дадите ли мне глоточек воды, я очень хочу пить.

— Мне не жалко воды,— сказал хозяин.— Но поищите ее где-нибудь в другом месте,— сказал он и хотел закрыть дверь.

— Да подождите же вы, подождите...

Молодой человек дико блуждал глазами, приплюсился, он даже зачем-то на цыпочки становился, отвратительно вытягивая шею. Так что Васильев, обозлившись окончательно, стал его выпихивать. Но молодой человек оказался тяжел и неповоротлив. Густо дыша, они сцепились и замерли в исходной позиции в этом узком коридорчике.

— Так, может, вы все-таки позволите мне пройти? — выкрикнул молодой человек.— Я хочу все сам увидеть собственными глазами.

— А... ты вон о чем,— внезапно понял хозяин и усмехнулся.— Ну иди, брат, проходи. Будь гостем...

Молодой человек и юркнул в комнату.

— Но ее же тут нет?! — вскричал он, заламывая руки.— Где она? Хозяин ухмыльнулся.

— Выходит, она нас обоих обманула?! — вскричал юноша.— И вы миритесь с этим?

— Пошел вон,— сказал хозяин.— Пошел-ка ты вон отсюда, сопляк, хам, неуч, кретин, дебил, размазня! Пошел отсюда вон!

— Вы... вы потише! Я ведь боксер! — из последних сил выкрикнул вроде бы Санечка. Но тут же истерично разрыдался и, пятясь эдак боком, боком, выполз. Вывалился из квартиры, как ключ из кармана.

А хозяин тогда запер дверь на ключ. Он все еще ухмылялся. Он подошел к зеркалу и построжал. На него глядела его красивая голова, чуть тронутая сединой, несвежее его лицо. Он сделал гримасу, показал сам себе язык, сел за стол и начал писать:

«Многие неурядицы на свете объясняются, по-видимому, просто — различием темпераментов. Один человек, допустим, такой это веселый-веселый, что с ним хоть, допустим, что ни случись, от чего другой сразу бы окочурился или повесился в петле, а этому — хоть бы хны! Плюнет и дальше жить пойдет. А другой от всякой ерунды сычом смотрит, и нету с его мнительностью никакого сладу».

И тут в дверь снова постучали. Васильев вздохнул и пошел открывать.

На пороге стояли: васильевская баба, Царьков-Коломенский и давешний молодой человек.

— Да вы мне никак чудитесь? — сказал Васильев.

— Ишь ты, ишь ты какой! — обиделась баба.

— Острит, острит старик! — ликовал молодой человек.— Ох и остро-ум-ный старичок! — обращался он к васильевской бабе.

Гости гурьбой ввалились в комнату и расселись по стульям. На столе появилась бутылка вина.

...А близ совхоза «Удачный», в школе для дефективных детей, мальчик Ваня Кулачкин никак не мог понять, чего хочет от него эта чужая накрашенная тетя. Какие такие квадраттики? Какие такие птички? Почему, где, кто она, эта тетя, где мама, почему мама была белая и качала головой, паук зачем муху ел, муху ел, не доел...

— Ваня, я ведь, кажется, тебя спрашиваю? — сердито сказала тетя.

Ваня встал и хлопнул крышкой парты.

— Я больше никогда не буду,— сказал Ваня.

Глаза у него были синие-пресиние.

Тетя ему ничего не ответила. Лишь хрустнула тонкими пальцами и подошла к окну, чтобы долго смотреть на темный лес, подступающий к школе.

Ели, пихты освежены дождем. Замерли, не шелохнутся строгие деревья. Петляет проселочная дорога. Какая-то птица, тяжело хлопая крыльями, скрывается в глубине...

«Шишкина бы с Левитаном сюда. Пускай садятся друг против друга и рисуют, рисуют, рисуют, сволочи!» — подумала тетя.

И эта картина ее слегка развеселила.

Эсхатологические настроения определенной части бывшей молодежи

По ночам творится что-то страшное. Проснувшись якобы от грохота (звука) самолета, пересекающего невидимый барьер, можно обнаружить следующее: ветер свирепо разрывает кусты, деревья, комнату озарило фиолетовым, на столе — недоеденный лещ копчено-печеный ТУ-15-07-62-31 от 26.VI.84 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 72 ЧАСА МРХ СССР МОСРЫБА МОСРЫБКОМБИНАТ, пустая бутылка из-под пива «Ячменный колос» (на глиняных ногах), вместимость 0,5 литра ТУ-18-6-15-79 МИНПИЩЕПРОМ РСФСР РОСПИВОПРОМ МОСКОВСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ ПОСУДЫ 29 коп., недопитый «Тоник горький», вместимость 0,33 л. ТУ-13 РСФСР 819-80 МИНПИЩЕПРОМ РСФСР РОСПИВОПРОМ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (напиток применяется для разбавления алкогольных напитков); жена спит — не дочитана подшивка журнала «Новый мир» за 1926 год с произведениями В. Лидина, Н. Никитина, В. Маяковского, М. И. Калинина, М. Пришвина, Мих. Голодного...

Трах-тах-тах — снова полыхнула июльская гроза. «Дальняя молния в злобе разделила весь мир пополам... Опять начался дождь, и после каждого раздраженного света молнии, после каждого удара грома дождь шел все более густо и скоро. Из тьмы неба теперь проливался сплошной поток воды, который бил в землю с такой силой...» (А. Платонов). А я не верю, что после каждого, и сплошной, и такой... Не хочу — и не верю, хоть и славно написано. Или вот еще — А. П. Чехов, помнится, тоже неплохо писал, что гром начинает грохотать, будто кто ходит босой по железной крыше... Это правильно, и это я одобряю, я и сам босой как-то ходил в детстве по железной крыше в родном городе К., что стоит на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан... Подойди к окну, не бойся — у черных стекол девятиэтажных многоэтажек Теплого Стана застыли, жадно вглядываясь в пространство и время, русские писатели, как передовые, так и реакционные, не только, но и... (синтаксис). Пойми: писатели — нервные, убогие, пьяные — тоже болеют за матушку Россию. Не бойся: они хорошо писали. Они все писали хорошо, отчетливо и остались навечно торчать у окон кооперативных многоэтажек во время июльской грозы, смерчей, ураганов и близящегося конца света.

А все потому, что болгарская предсказательница, гражданка Народной Республики Болгарии, сочла, что 5 августа 1984 года будет окончательный конец света. Что это значит — не объяснили, но подтверждали аргументированность сказанного тем, что еще в 1982 году она же предсказала смерть Вождя, которая и наступила в том же году. «Джуна-экстрасенс?» — робко вспомнил я. Небрежно отмахнувшись и посмеявшись над моей неосведомленностью, дополнительно сообщили: эта же гражданка обещала мыслителю Ж., что у него сторит библиотека. Мыслитель Ж. пошел домой и перевез библиотеку на

дачу, где она сгорела вместе с дачей. «А разве он еще жив, мыслитель Ж.? Ведь сейчас уже 1984 год?» — «Не бойся, не только жив, но и получил днями орден Трудового Красного Знамени или «Знак Почета», мы точно не помним, не помним...» — «А почему же не Героя Социалистического Труда и соответствующий орден Ленина получил этот классик, произведения которого мы изучали в школе?» — «А мы, с одной стороны, не знаем, не знаем, а с другой — у него, наверное, уже есть все имеющиеся в нашей стране ордена за исключением того, последнего, который у него теперь тоже есть...»

...Выморочность повествования, времени, пространства. «*Выморочный, вымерший, Выморочный род. Выморочное имение, оставшее после вымершего рода, после владельца, умершего без наследников*» (В. И. Даль), но, с другой стороны, ведь не я же виноват в эсхатологических настроениях определенной части бывшей молодежи и в том, что 5 августа 1984 года будет конец света, я даже пытался с этим бороться, хотел реалистически описать июльскую грозу, как А. Платонов и А. П. Чехов, но, к превеликой своей злобе, я (а вернее — наш герой) не обнаружил в своем жилище интеллигентного человека какой-либо пишущей ручки или какого другого пишущего предмета за исключением ссохшегося белого фломастера, негодного даже на то, чтоб поставить крест на дверях в какую-нибудь варфоломеевскую ночь. Естественно было бы искать теперь черную бумагу, чтоб написать белым по черному, но от сознания такой глупости можно удавиться на той самой непрерывно озаряемой молнией березушке, которую счет за окном российский ветер, мстя ей за то, что она в течение столетий сгладила российские задницы.

...Произошел описанный в газете «Правда» самум в Зарайске и Ивановской области. Несознательная природа восстала против порядка, ее нужно высечь! Или это президент Р. дует из-за океана, подобно Гулливеру, которого недавно показывали в купленном идиотском английском фильме? Или еще что, но смерч начался, как утверждают официальные источники, в Горьковской области, под городом Горьким, где «ясные зорьки», и это особенно подозрительно, и все вы знаете почему... «Рассердилась великая наука! Напустила смерчу да суховею!» — мог бы сказать тот, кто бы это мог сказать. Но отнюдь не я. Я теперь всего боюсь. Гроза за окном, молнии блещут, дом того и гляди повалится, как в Японии, хотя чего уж теперь, спрашивается, бояться, когда 5 августа на носу, а вместе с ним и конец света.

Ну вот... Опять я слышу недоброжелательные голоса... Я кощунствую? Ну не гадюка ли тот, кому может прийти в голову эта паскудная мысль?.. Да разве ж я не гражданин своей страны? Разве ж я не знаю, что:

ЖАЛОСТИ НЕ ЗНАЮТ

О чем пишут из США

Радиостанции США на все лады расхваливают американский образ жизни. А вот письма, с которыми меня ознакомили в одной семье, говорят совсем о другом.

...Во время фашистской оккупации украинская девушка по имени Людмила была увезена в Германию, а после войны очутилась в США, где проживает в городе Сан-Диего (штат Калифорния).

ЩЕДРЫЙ САД ЗАКИРА

По-нашему, по-советски

Он хорош в любое время года, этот сад. Прекрасен весной — в буйном цветении укрыт бело-розовой пеной; знойным летом всегда прохладно под густой, словно шатер, тенью листьев; осенью гнутся ветки от зрелых плодов. Сад стал любимым местом жителей поселка. Кто бы ни приехал в Нефтебад, гостя обязательно проведут в этот сад, угостят фруктами, расскажут о нем много интересного.

Муж ее — безработный, уже дважды отсидел в американской тюрьме за «свободные» высказывания. Имея двоих детей, Людмила не смогла в свое время возвратиться на Родину. Она нетрудоспособна, была контужена во время войны.

Вот выдержки из ее последнего письма к родным. «Этот жестокий мир наживы жалости не знает, слезам не верит. Жизнь в США становится все опасней. Идешь днем по улице и боишься собственной тени, все думаешь, как бы тебя не ограбили, не застрелили. Мы стараемся не выходить на улицу после захода солнца — опасно. Волна преступности буквально захлестывает Америку. Уменьшаются правительства...

Необычна история нашего сада. Лет шесть назад здесь был пустырь — весь в гранитных валунах. Гоняли по нему ветры круглые шапки верблюжьей колючки. И в мыслях никто предоставить не мог эту предгорную террасу цветущим садом. С кетменем в руках пришел сюда Закир Масалиев и сыновей своих привел. Долго не могли поверить земляки в затею Закира. Одни не прочь были над ним посмеяться, другие жалели напрасно затраченные силы.

— Брось, сынок, пустое дело затеял, — качали головами аксакалы, наблюдая, как выворачивает он замшелые валуны. — Земля — камень...

«Правда», 2 июля 1984 г.

А что касается урагана в Зарайске и Ивановской области, то вот мне рассказывала родственница Лена. Знакомый фотограф снял, и она видела эти ужасные снимки: разрушенный дочиста дом, кровать двухспальная, ночной горшок взлетел и криво повис, кошка мяучит на пустом пороге... Страшно, хотя вся страна тут же пришла на помощь. Жертвовали деньги, посылали бригады, одеяла, платки, палатки, спущенку. Все равно страшно. И невозможно представить, невозможно описать. Невозможно по совокупности причин, из которых главными являются скорый конец света, ручки нет, а также отвратительно болят ухо и челюсть, не давая забыться сном среди отчаянно бунтующей городской природы, озаряемой светом молний.

А началось все это еще 29 апреля, когда наш герой почувствовал стрельяние в ухо, которое ко Дню международной солидарности трудящихся превратилось в невыносимую боль, отчего он был вынужден среди праздника опадающих воздушных шаров и цветения ехать в 101-ю градскую больницу, что расположена на Ленинском проспекте, напротив магазина «Байкал», торгующего «Тоником» ТУ-13 РСФСР 819-80, где его начисто успокоили, сказавши, что ухо у него «чистое» и только, значит, «зубик болит» и ему нужно к стоматологу. Он и пошел. А стоматолог, негодяйка такая по фамилии Годунова (все фамилии подлинные), тоже говорит: это у вас зубик мудрости режется в ваши тридцать восемь лет, хи-хи-хи, как поздно...

Обласканный, веселый направился он домой, но боли усиливались до предела, наступившего 15 мая 1984 года, когда из уха потек зеленый гной, а перед этим пять ночей завывал, хватаясь за голову, щеку, — больно, не спал. А сосед по многоэтажке напился пьяный на собственное сорокалетие и врезался в принадлежащий мне на основе права личной собственности автомобиль «Запорожец» (ЗАЗ 968 М), смяв всмятку правое переднее крыло, переднюю панель и т. д. Отчего далее параллельно разворачиваются два сюжета: лечение уха (левого) и крыла (правого); в обоих сюжетах терпим поражение. Ухо не лечат, крыло не ремонтируют. То есть делают и то и другое, но из рук вон плохо, как врачи-преступники в больницах или вредители на заводах и шахтах.

В разбитом автомобиле, рыдая от боли, с ухом, сочащимся зеленой гнилью, наш герой вновь является 16-го числа в 101-ю градскую, где ему снова говорят врачи ЛОР (ухо, горло, нос), что у него с ухом

все в полном порядке, страдает он по линии зубов, что у него, вероятно, остеомиелит нижней челюсти со свищом в ушную полость, отчего ему нужно немедленно госпитализироваться в больницу № X, которая находится на тихой измайловской улице.

На битом сорокалетним идиотом «Запорожце», с сочащимся ухом явился в эту больницу, где пьяные с битыми харями сидели в коридоре, окруженные милиционерами, ибо больница была специализированная, по челюстям и зубам. Некоторые находились в бессознательном состоянии, их катали на катаках. Миловидная девушка, врач в белом халате, велела мне идти на рентген. Рентгеновский стол был занят каким-то бессознательным человеком, и я даже подумал, что это труп, но вскоре его перегрузили на каталку, и место освободилось. Я лег на стол в своих светлых джинсах «Авис» (сорок руб.) и понял, что неправильно понятый мною труп обоссался. Но я ничего не сказал: ведь мочи было совсем немного, к тому же у меня все так болело, что мне было не до этих смехотворных претензий.

Просмотрев мокрый рентгеновский снимок, миловидная девушка сказала, что по зубной линии у меня все в порядке, остеомиелита нет и быть не может, что это ЛОР-врачи «туфтят». Я спросил, как мне жить. Ехать к ЛОР, последовал ответ. Но я уже был там... Найдите хорошего платного врача ЛОР, я вам советую. И еще — не вздумайте ложиться к нам, вы же видите, что у нас творится... Девушка придвинулась, явственно пахнуло портвейном, и я, забрав на память указанный снимок, отбыл обратно на Ленинский проспект, где врачи ЛОР, тоже довольно молодые люди, уперлись и ни в какую, дескать, это остеомиелит, и все тут, а больница № X «свистит» и просто «не хотят класть», посоветовали найти платного зубного врача, «хорошего». Вот же черти! Я отправился домой полоскать зубы горячей водой с солью.

И это была такая ночка, после которой меня совершенно не страшит никакое 5 августа 1984 года. От боли я терся головой об обои и все пытался занять в пространстве и времени такую геометрическую позицию — на плаву ли, на весу, — чтоб боль не била, чтоб хоть на минуточку, на секундочку, на миг забыться, чтоб боль ушла хоть на крохотный м и ж о ч е к. Ох же ты
 : : : : :
 : : : : :
 (крайне грязные нецензурные выражения, практически все, что я знаю из этой части русского языкового спектра).

Дальнейшее изложение последовательности и последствий болезни не доставляет мне никакого удовольствия, к тому же боюсь, что описания положений, лиц, ситуаций начнут повторяться и это может быть истолковано как очернительство, нарочитое сгущение красок, типизация нетипичного, что мне совершенно ни к чему, у меня и других забот хватает. Поэтому перехожу, как Хемингуэй, на телеграфный стиль и обещаю, что вскоре совсем закончу этот рассказ, слабый, как и я в моем теперешнем положении (такой же «рассказ», как я — «герой»). В общем, слушайте, если хотите:

Утром после апофеоза боли к врачу Годуновой обратно,
 Которая, больше меня напугавшись,
 Мне направление в ведущий головной Семашко
 Институт дает и сама при этом песню Иосифа Кобзона
 Поет. День же — суббота,
 И мне нужно забирать машину, которую чинят за 350 рублей
 В подмосковном городе Истре мастеровитые рвачи:
 С одной стороны — рвачи, с другой — врачи...
 С гноем в ухе я машину в Истру отогнал,
 А по дороге выл и молча рыдал, а также песню Владимира
 Высоцкого исполнял. Не из тех, что Роберт Рождественский

На пластинку и в книжку «Нерв» пускал, а из тех, которые
Народ и без него знал, любил, беспредельно уважал...

ЗАТОПИ ТЫ МНЕ БАНЬКУ ПО-ЧЕРНОМУ, что ли?

Возвратившись кое-как на электричке в Москву, я к

Семашке держу направление

И там наконец получаю честное и правильное лечение,

Что доказывает, что вовсе не очернитель я,

А просто диалектически сложна судьба моя.

Все волшебным образом меняется. Прекрасное обращение. Очереди нет.

Что за напасть?

(Потом друг, врач и поэт Александр Лещев мне сказал, что

туда очень трудно попасть,

Что туда лишь блатные идут

И коньяк за 13 руб. 80 копеек с собой несут.)

А я-то и не знал, а то бы еще сильнее радовался, что

К Семашке попал, хоть и жизнью своей рисковал,

Но не знал, а лишь по-прежнему тихо-тихо стонал.

Новокаиновая блокада. КАИН и АВЕЛЬ. Толстой иглой

колют под ухо мсня.

Завязывают, как зайца. В Истру еду в полубессознательном

Состоянии. Я **ХОЧУ ВИДЕТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!** На электричке.

Как — не помню. Спасибо жене, кабы не она,

Скончался бы я и скорчился от горя, как свинья.

В Истре рвачи уже пьяные, но вроде бы все сделали, а

Красть им нечего, красить нечем, краски у них нету.

Мы, говорят, простые люди, все с высшим образованием.

Ладно... Пошли вы... Нет сил... Жена садится за руль.

Я — дремать и покачиваться рядом...

И на этом мои страдания, дорогие друзья, практически заканчиваются, что еще раз доказывает — жизнь прекрасна, и никакие временные трудности не способны порушить это мое патриотическое мнение о ней. Мне три раза меняли диагноз, каждый день кололи толстой иглой, рвали зуб мудрости № 8, заодно сломали зуб № 7. На меня упала врачевная лампа, плохо прикрепленная винтом. Я закрутил винт, мне сказали спасибо. Хороший платный врач лечил мне зуб № 7, сломанный во время выдирания зуба № 8, была адская боль в разверстой полости, но я крепился, как партизан. Из уха снова тек гной, но потом все прекратилось, я полностью вылечился, практически здоров, у меня теперь хронический артроз, мне нельзя с хрустом есть яблоко, широко зевать и много разговаривать. Зато писать можно, что я и делаю, ставя точку.

Точка. Не хочу больше писать. Что-то не так. Нужно что-то другое, более светлое, как светлы, например, мои джинсы «Авис» или светел светлый путь лунной дорожки, уходящей в сентябрьское море близ селения А. Симферопольского района Крымской области¹. Что-то не так, что-то другое... Билет, но куда?

А между тем июльская гроза вскоре незаметно кончится. Незаметно наступит утро. Призрачный молочный свет наполнит комнату. Природа будет дивно как хороша, и мы еще поборемся с ней. Рыбак замрет на озере, подманивая леща, ожидая щуку. Яблоки с глухим стуком упадут на крышу той бани, где жил Пришвин. Железнодорожный рабочий с молотком пройдет вдоль полотна строящейся магистрали века. Пилотируемый корабль войдет в плотные слои атмосферы. Чайка Джонатан с клеточкой пролетит «над седой равниной моря». И вдруг зааеет восток, вызолотится полнеба — вот и прошла ночь, ну и прошла ночь, вот и спасибо, ну и спасибо...

¹ См. «Новый мир», 1987, № 10, рассказ «Светлый путь». (Здесь и далее прим. автора.)

Толстая шкура

Интервью с Н. Н. Фетисовым, представлять
которого читателю нет никакой нужды

..Блаженной памяти 1956 года! Я, еще совсем юный и красивый, лечу над бескрайними просторами Эвенкии и вылажу из вертолета, жадно пропуская сквозь зубы девственный воздух.

Кругом текут бурные реки, чавкает грязь под ногами, и мошकारа облепила мое лицо! Трудно! И я, стиснув зубы, иду впереди каравана оленей, везущих на своих спинах нелегкий и важный груз: спальные мешки, чай, сахар, табак, спички, кофе.

Трудно? Да, трудно! Несомненно трудно: стелется карликовая березка, пот режет глаза, но мы идем и идем вперед.

Однако вот даже и наш «вездепроходимый» олень совершенно застыл в грязи, тонкие ноги его пытаются подломиться, а глаза выкатываются из орбит и становятся похожими на глаза одной девушки, которая совершенно не относится к этому рассказу и с которой я познакомился совершенно при других обстоятельствах и в другое время.

— Что будем делать, боё²? — кричу я бригадиру проводников, пожилому студенту-заочнику Педагогического института Василию Б. Но тот ничего не отвечает.

— Однако не довезем груз, боё? — упавшим голосом говорю я, еще совсем юный и красивый, с целыми зубами, густой шевелюрой и в портянках. — Однако худо, боё?..

Василий Б. по-прежнему ничего не отвечает. Он зорко оглядывается по сторонам, как медведь.

И только тут я замечаю у него в руках толстую палку, толщиной со стакан, всю отлакированную временем, выщербленную, выскобленную, с национальным орнаментом, чтобы лучше было за нее держаться.

— А что, если тебе, однако, толкнуть оленька палкой, боё? — советую я Василию Б.

Но Василий Б. все равно мне ничего не отвечает, потому что он знает жизнь, он дышит через ее поры, он крепко стоит на земле, и никакая сила его с земли не скovyрнет.

Василий Б. взмахивает палкой и обрушивает ее тяжелый удар прямо в нежное лицо оленя. Я зажмуриваю глаза, но, открыв их, отнюдь не вижу перед собой потоков крови. Я отнюдь вообще ничего не вижу перед собой, потому что караван уже далеко впереди.

Смахнув слезы жалости, я догоняю ушедших и предлагаю короткий, но полезный привал, обещая угостить всех спиртом.

Мы с Василием Б. глотаем обжигающую жидкость, которую выдают для протирания теодолита, двое суровых мужчин среди бескрайних просторов Севера, и Василий Б. наконец прерывает молчание.

— Эй ты, фуфлю³! Ты как считаешь — мы с этой заразы не сослепнем?

— Нет! — Я счастлив, что бывалый таежник наконец заговорил со мной, почти подростком. — Это этиловый спирт. Я видел, как его пили начальник экспедиции и его жена. И они до сих пор все видят.

— Ну тогда дело, — одобрительно говорит Василий Б. — А то у нас на судоремонтном в Красноярске раз мы заначили цистерну и все пили и даже на свадьбу сантехника взяли три ведра, а потом все ослепли.

— Все? — не верю я своим ушам.

— Совершенно все до одного, кроме меня, — сухо отвечает Василий Б., свертывая козью ногу.

² Боё — какое-то эвенкийское слово.

³ Не знаю, что это слово значит, и знать не хочу.

— А чем это объяснить? — изумляюсь я, собираясь записать этот удивительный рассказ на бумагу.

— А ничем, — так же сухо отвечает Василий Б. — Меня ни одна зараза не трогает. — Он оживляется. — Уж чего я только не пил! И тор- мозуху, и дикалон, и порошок, и которое питье язвенным дают, а ни одна зараза меня никогда не брала. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — вторю я и, достигнув его расположения, наконец решаюсь спросить: — Василий! А вот ты оленя так вот, толстой палкой? Это зачем? Ведь ему, наверное, больно?

— Нет. Ему не больно, — отвечает Василий Б., сильно нахмури- вшись.

— Ну... как же... ты представь. Палкой по роже... Ему должно быть больно. Ты ему, наверное, ткани порушил?

— Никаких тканей я ему не рушил. И ему не больно, — сердится Василий Б. — Оленя с детских лет лупят по морде толстой палкой, и у него вырастает толстая шкура.

— А бывает, что олени от этого умирают?

— Бывает. Но от этого только лучше. Слабый олень не нужен никому. Сильный всегда живет, а слабый всегда умирает. Слабый никому не нужен!

— Да, это верно!⁴ — говорю я горячо, волнуясь. — Мы все должны быть сильными, чертовски сильными, чтобы выстоять перед суровой правдой жизни во имя ее прекрасности.

— Во-во, — подтверждает Василий Б. и требует еще спирту. Но я не слышу его.

— Как легко и радостно учиться жизни! — шепчу я. — На при- мере хотя бы простой эвенкийской мудрости!..⁵ — говорю я.

— Какой еще такой эвенкийской? — настораживается Василий Б.

— Вашей, эвенкийской, — неуверенно отвечаю я.

Василий Б. вскакивает.

— Так это что же? Я, по-твоему, эвенок? — кричит он.

Тут я совсем тушуюсь.

— Да... я считал, что вы... хорошо зная местные обычаи...

— Я тебе покажу обычай! — ярится Василий Б.

Но показал он мне не обычай, а вынутый откуда-то из голого те- ла невероятно грязный и невероятно засаленный бывший студенчес- кий билет Ивановского педагогического института. Я спокойно про- читал билет.

— Теперь ты видишь? — грозно спросил Василий Б.

— Вижу, — просто ответил я.

— Что ты видишь?

— Я вижу, что ты — бич!

— Совершенно верно, — ответил Василий Б. и радостно захохотал.

...До свидания, благословенный край Эвенкия, где люди мужест- венны, а животные чисты, где те и другие легко выносят многие бременности реальной жизни.

Так, в нелегких трудах и заботах, постигал я жизнь!

А в т о р. Спасибо, Николай Николаевич!

Н. Ф е т и с о в. Ура! Ура! Ура!

А в т о р. Тише, Николай Николаевич!

Н. Ф е т и с о в. А что такое случилось?

А в т о р. Уже поздно.

Н. Ф е т и с о в. Нет, не поздно.

А в т о р. Нет, поздно!

Н. Ф е т и с о в. Врешь!

⁴ Нет, неверно. Хоть и Дарвин то же говорил, но неверно.

⁵ А вот это верно.

Автор. И люди спят.

Н. Фетисов. Разве ж это люди?

Автор. А то кто же еще?

Водоем

А ведь сначала и Бублик показался нам порядочным человеком. Он перекупил за хорошие деньги двухэтажный домик и возделанную территорию у соломенной вдовы посаженного в тюрьму расхитителя народного богатства Василя-Василька, который продавал налево кровельное железо, метлахскую плитку, радиаторы водяного отопления. Что он и нам «по-соседски» предлагал, однако мы его слушать-то слушали, но не связывались, предпочитая идти честным путем. Потому что все мы — старожилы Сибири. И чтоб я в родном городе не достал какой-нибудь там метлахской дряни? Так это было бы смешно и отчасти шло вразрез с политикой улучшения жизни и принципами освоения окраинных районов нашей громадной родины. Мы не кулаки какие там, но сейчас все так живут, и куда лучше прежних дураков кулаков, которые не ко времени зарвались, выскочили вперед, не ведя за собой никого. За что и были строжайше, но справедливо наказаны.

Но — Господи! Господи! Боже ж ты мой! За что? Столько трудов-то было-то положено! Возили по субботам баллонный газ. Это Козорезов умница. Спасибо, позаботился — выделил машину, человека... Малина — кустами, клубника — грядками... Эта прятная нарядная красота, смягчающая глаз и утишающая душу... Эта прятная нарядная красота...

И самое главное — водоем. Господи! Водоем! Этот вечно обновляемый хрустальными подземными водами водоем, он ведь просто услаждал нас в душные наши летние ночи. В ласковых водах его гурбились веселой стайкой озорные пацаны. А наши девушки, невесты, словно сама Юность, лежали, кошечки, на хрустком кварцевом песочке. Готовясь к экзаменам или просто предаваясь обычным девичьим мечтам — о будущей трудовой жизни, семье, браке, воспитании детей, правильных отношениях между полами.

А вокруг мы, родители. Женщины что-нибудь вяжут из мохера или рассказывают, кто где отдыхал на юге или чего купил — какую обновку для семьи. В кустах тальника полковник Жестаканов с профессором Бурвичем в шашки сражаются. Митя-короед спорит с физиком Лысухиным о соответствии количества градусов чешского пива натуральному алкоголю. Кто кроссворд решает, кто — производственные вопросы. А я... я гляжу на все это, и, честное слово, сердце и радуется и переворачивается. Голодные военные годы вспоминаются, когда я был оставлен по брони, и после — как я под номером 261 стою с супругой вьюжным черным утром в арке около кинотеатра «Рот фронт» за мукой. Залубенела нога моя, совсем не чувствую ногу в худом валенке: после растирали, гусиным салом мазали. Как вспомню, так, честное слово, вот лично бы вот этими самими пальцами душил бы всех этих болтунов и злопыхателей, обожравшихся шашлыками и опившихся пепси-колой! Этих бы всех вонючек на мое место в очередь сорок седьмого года! Вот тогда бы я посмотрел, что б они запели, сопляки!

А что касается тех двоих молодых людей, по наружности артистов, то они нам сначала даже и понравились, не стану оплошность нашу таить, не стану оправдываться...

Их режиссер Бублик привез вместе с миловидной женой-певицей. Этот поддец единственно чем хорош был, режиссер, что в свою бытность часто радовал нас визитами в нашу Пустую Чушь (так назывался поселок), визитами различных знаменитостей. То, глядишь,

певец М. идет, полотенце повеся и рыкая «Славься, славься», то иллюзионист Т. веселит всех фокусом исчезновения карманных жестакановских часов в ботинок Мити-короеда, а то вдруг уже сидит на возвышенности наш знаменитый портретист Спозжников и рисует портрет водоема на фоне окружающей его окрестности. Странно, что эти умные люди не смогли до нас разглядеть гнилое нутрецо этого Бублика, странно!

А те двое были на первый взгляд самые простые длинноволосые парни. Но ведь недаром в народе говорится, что иная простота хуже воровства, хоть скромность и украшает человека. Один — повыше был такой, голубоглазый спортсмен. Другой — хлипше, чернявенький и более шустрый. Девчата наши, невесты, аж кругами заходили, когда увидели всю ловкость состязания молодых людей в настольный теннис. А ребята им нет чтобы какое-нибудь пошлое слово сказать или сделать пошлый зазывной жест. Нет! Скромно и достойно, видите ли, стучали они, мерзавцы, этим своим белым шариком. Пока не грянуло.

А как грянуло, так все сразу и закричали, что мы, дескать, сразу сообразили. А что там «сообразили» — и не чуяли даже, пока не разразился тот самый натуральный и настоящий свинский скандал, последствия которого неизгладимы, необратимы, печальны и постыдны, — уж и дачи заколачиваются крест-накрест, и снуют всюду мелкие перекупщики, шурша осенним листом, плодовые деревья выкапываются, перевозятся, и нету бодрости на лицах, а есть одно усталое уныние, разочарование, страх.

Хотя, имея чуть голову, можно было бы и сразу догадаться. Ведь они даже ходили под ручку, не говоря уж о том, что явно, явно они сторонились наших девчат.

А те и рады, озорницы, подсмеяться. Заплели маленькому из головных волос косички, как у узбечки. Губы накрасили яркой помадой, а потом — ох уж эта семнадцатилетняя Настя Жестаканова! — потом взяли да и натянули силком на довольно его жирную, не по комплекции его грудь пустой запасной бюстгальтер. Ну и хохоту было!

И мы все в тот момент тоже ошибочно веселились, хохотали, тоже сочтя эту довольно-таки пошлость относительно удачной шуткой. Веселились и хохотали, пока не грянуло.

Господи! Я это на всю жизнь запомню. Значит, расстановка сил была такая. Водоем. Эти двое на плотике-дощанике близ берега, девчата — подле, мы все сидим в кустах, а режиссера Бублика с миловидной женой-певицей где-то нету.

И лишь младшему навязали девочки на грудь это невинное женское украшение, как старший вдруг вскочил, побледнел, голубые глаза его потемнели, и он резким ударом боксера вдруг толкнул Настю прямо в солнечное сплетение, отчего ребенок, даже не ойкнув, бесшумно повалился на песок.

Мы все и замерли, разинув рты. А он, и секунды не медля, резко отпихнул дощаник, и парочка в мгновение ока очутилась на середине водоема, где принялась скверно и грязно браниться. Длинный свирепствовал, а маленький лишь что-то хныкал в ответ, но тоже матом. Он даже показал длинному язык, после чего тот, странно дернувшись, завопил: «Ах ты шлюха!» И вlepил маленькому пощечину. А тот тогда рухнул на колени и стал целовать своему товарищу его босые грязные ноги, полузакрытые набегавшей волной.

Господи! Господи! Боже ты мой! А тот пнул его изо всех сил, и первый молодой человек, пронзительно вскрикнув, очутился в воде. Однако при этом нарушилось равновесие, и дощаник, крутанувшись, сбросил в воду и другого молодого человека. Оба они, не булькая, стали исчезать в пучине. Потом снова появились на поверхности, не умея, по-видимому, плавать, после чего, вновь не булькая, окончательно пошли на дно.

И наступила страшная тишина.

Мы все стояли как громом пораженные. Девчата наши сгрудились группой испуганных зверьков вокруг оживающей Насти, бабки и домработницы проснулись, заплакали грудные дети, залаяли собаки.

Первым пришел в себя полковник Жестаканов. С криком: «Я этих пидарей спасу для ответа перед судом народных заседателей!» — отличный этот пловец, неоднократно в молодости призер различных откровенств, бросился в воду и надолго пропал. А вынырнув, долго отдыхал на спине, после чего, не говоря лишних слов, снова нырнул.

Однако ни повторное, ни последующие проныривания полковником Жестакановым акватории водоема никаких положительных результатов не дали. Полковник бормотал: «Да как же так», но они исчезли.

Догадались броситься к Бублику, виновнику, так сказать, «торжества». Но и тот исчез вместе с миловидной женой-певицей. На пустой их даче бродил сосновый ветер, играя тюлевыми шторами, опрокинутая чашка кофе валялась на ковре, залив своим содержанием номер какого-то явно не нашего глянцевого журнала, ярко-оранжевые цветы сиротливо никли в красивых керамических вазах, а Бублик и его миловидная жена-певица исчезли.

А когда мы через несколько дней отправили делегацию наших людей к нему в музкомедию, то там нам администрация, глядя в пол, сообщила, что Бублик уже оттуда подчистую уволился и отбыл в неизвестном направлении. И лишь потом мы поняли смущенный вид этих честных людей, потом, когда окончательно определилось неизвестное направление режиссера Бублика, оказавшееся Соединенными Штатами Америки, куда он практически на глазах у всех нагло эмигрировал вместе с миловидной женой-певицей. Что ж, это вообще-то не так и удивительно, что в США,— видимо, им там легче будет заниматься тем развратом, которому у нас поставлен строгий шлагбаум. Это неудивительно.

Удивительно другое. Удивительно, что когда прибыла на водоем милиция и приехали аквалангисты, то они никого совершенно тоже не нашли. Мы очень просили аквалангистов, они очень старались лазать по каждому сантиметру дна, но все было напрасно. Они исчезли.

Вы знаете, мы потом обсуждали: может, черт с ним, хватило бы у нас денег, может, нужно было все-таки пойти на значительные расходы, спустить пруд, разобраться, выяснить все до конца, чтоб не пахло после чертовщинкой и поповщиной, чтобы не было усталого уныния, разочарования, страха. Но время было упущено, и вот теперь мы сурово расплачиваемся за свое ошибочное легковерие, беспечность и головокружение.

Потому что буквально уже на следующий день после того как все якобы улеглось, поселок вдруг был оглашен страшным воплем убиваемого человека, которым оказался любитель ночных купаний т. Жестаканов. Бедняга был близок к удушью, глаза его выпучились из орбит, и он лишь показывал на водный след лунного сияния, лишь повторяя: «Они! Они! Там! Там!»

А будучи растерт стаканом водки, он очнулся, но упорствовал, говоря, что будто бы сам собой в двенадцать часов выплыл плотик на середину и на этом плотике вдруг появились два печальных обнимающихся скелета, тихонько поющие песню «Не надо печалиться, вся жизнь впереди». Вот так-то!

И хотя Жестаканов вскоре уже лечился у психиатра Царькова-Коломенского, это никому не помогло. Видели и слышали скелетов также проф. Бурвич, т. Козорезов, Митя-короед и его теща, слесарь Епрев и его коллега Шенюпин, Ангелина Степановна, Эдуард Ивано-

вич, Юрий Александрович, Эмма Николаевна, Фетисов, я и даже физик Лысухин, которого, как человека науки, это зрелище настолько потрясло, что он опасно запил.

Пробовали отпугивать, кричали «кыш», стреляли из двустволки — ничего не помогало. Скелеты, правда, не всегда были видны, но уж пластик-то точно сам собой ездил, а вопли, пенье, жалобы, хриплые клятвы, чмокающие поцелуи и мольбы раздавались по ночам постоянно!

Я вам не Жестаканов какой, пускай и не был на фронте, и не физик Лысухин, хоть и не имею высшего образования, я нормальный человек, я и водки особо много не пью, так вот — в этом я вам сам лично клянусь, что это я слышал своими ушами! «Милый мой! Милый мой!» — а потом хрип, да такой, что волосы дыбом встают.

А когда уже все перепробовали — и ружья, и камни, и хлорофос, — то тут и настали концы: конец нам, конец поселку, конец водоему. Уж и дачи заколачиваются крест-накрест, уж и спуют всюду мелкие перекупщики, шурша осенним листом, плодовые деревья выкапываются, перевозятся, и нету бодрости на лицах, а есть одно усталое уныние, разочарование, страх.

Ну а чего бы вы от нас хотели? Мы не мистики какие-либо и не попы, но мы и не дураки, чтоб жить в таком месте, где трупный разврат, сверкая скелетной похотью в лунном сиянье, манит, близит, пугает и ведет людей прямо в психиатрические больницы, лишая женщин храбрости, мужчин — разума, детей — их счастливого детства и ясного видения перспектив жизни и труда на благо нашей громадной родины.

Господи! Господи! Боже ты мой..

Правильно

На стене висел указ, чтоб в Советском Союзе больше не было алкоголизма. Горячо приветствовавший Шунемов засмотрелся, остался очень доволен. Правильно!

Он вспомнил, как опрометчиво жил всю свою жизнь. Особенно в Казанском авиационном техникуме, где однажды даже помочился в пьяном виде с башки Сюимбеки, легендарной героической Сюимбеки, спасшей своего любимого от разорения и копий. Подло и глупо поступил он, совсем еще юный в те годы комсомолец! Он поступил как подлец! Шунемов залился красной краской стыда.

А разве хорошо, когда он, не имея возможности материально оплачивать съемную частную квартиру, при полном отсутствии наличия свободных мест в студенческом общежитии, явился вместе со своим однокурсником, бывшим военным летчиком и будущим ветераном Великой Отечественной войны (ВОВ), в кабинет этого маленького бритоголового мужика с широко развернутыми плечами, принес ему «в подарок» две бутылки коньяка, по числу мест, которые надеялись получить друзья посредством своего аморального, а если выразаться еще точнее — уголовно наказуемого поступка: дача взятки должностному лицу при исполнении последним служебных обязанностей. Мужичок сидел под портретом тогдашнего главы государства, но был на вождя совершенно не похож, этот маленький человек, татарский Акакий Акакиевич. Прищурившись, глядел он на вошедших и последовательно барабанил четырьмя из пяти имеющихся у него на правой руке пальцев по столешнице полированного стола, крытой дефицитной в те времена клеенкой. Отчего выходил даже некий татарский боевой ритм и как бы получалось, что он и не Акакий вовсе, а вполне возможно, что и есть тот самый юноша, ради которого пошла на подвиг Сюимбека.

Он строго посмотрел на притихших, взволнованных парней. Летчик был на двенадцать лет старше Шунемова, он родился в 1926 году, и мужичок вдруг сказал, делая демонстративный вид, что подчеркнуто не замечает никаких этих бутылок, никакого этого коньяка:

— Ну-тко, сами понимаете! Кто из вас, шеш-беш, играет в шахматы?

— Я! — быстро отозвался летчик, хотя оба студента были умелыми шахматистами и вместе жили (шутка) «половой жизнью», то есть спали на полу, не имея совершенно никакой иной площади, у пожилой опухшей вдовы из слободы Весны, у заразы, попеременно пристававшей к ним и всегда добивавшейся успехов в своем грязном деле, у хищницы, точно рассчитавшей, что нет у молодых людей иного выхода как вступать в ежедневный конфликт со своей честью, совестью, авторитетом учащегося среднего специального учебного заведения, ежедневно насыщая старую падлу, которая вдобавок еще и лупила с них по семьдесят пять с носу «старыми» в месяц! За что, спрашивается?

Мужичок, казалось, был доволен ответом летчика. Одну бутылку он спрятал в стальной сейф, другую разлил в два граненых стакана «с краями», предложив один из стаканов летчику жестом радушия. А Шунемову шиш! Шунемов стоял в углу, держа руки по швам и поедая коменданта глазами. Летчик выпил и сел. Комендант снова отпер сейф и достал громадную плоскую коробку с шахматами, которая одна, собственно, и хранилась в сейфе, если не считать только что поставленной туда бутылки. Он расставил фигуры и зажал в пухлом кулаке две пешки. Летчику достались белые, летчик был сильно доволен этим обстоятельством, а на невозмутимом лице его противника совершенно ничего не читалось. Летчик ходит e2 — e4. E7 — e5 парирует комендант. d4, Kf6, c6 e6, Kf3, d5, Kc3, Ce7, Cg5, h6, Cf6 и так далее... Казалось, татарин висит у него на хвосте, как лет десять назад, когда летчик выходил на объект и на хвосте у него тоже висели кучей. На лице бритоголового изображались попеременно то ужас, то лихая удаля, а то и откровеннейшие страх, брезгливость. Летчик наседал, но его противник и сам был не робкого десятка: клал он на такого курсода с прибором! Игроки увлеклись, раскраснелись, да и коньяк брал свое: они сидели как в бане, только что венниками не хлестались. Они допивали уже вторую бутылку, но им и в голову не приходило предложить хотя бы каплю Шунемову, которого эти жестокие люди так и забыли в углу, как Буратино или полено.

— Не здимо, сынки, будем жить... — вдруг сказал комендант, на секунду оторвавшись от доски и цепко глянув на Шунемова, и на следующий день друзья вселились в общежитие «графьями». Сам Шунемов был родом из города К., стоявшего на великой сибирской реке Е., владающей в Ледовитый океан, а у летчика имелся трофейный мотоцикл «БМВ». Им обоим досталось в комнате на шесть человек по отдельной кровати с панцирной сеткой, ватным матрасом, двумя простынями, наволочкой, перьевой подушкой, одеялом шерстяным и одеялом байковым. А ведь комендант даже не выиграл партию, он ее проиграл!

И вот они с летчиком сидят в кино. Может, кто из девчат даст проводить себя до дому, подставит губы для поцелуя, разрешит прижать себя к батарее парового отопления, а может, и еще что... такая у них была надежда, а о сексуальной революции и других безобразиях тогда еще и не подозревали. Это уже потом, когда Шунемова отовсюду выгнали и он временно работал на сто первом километре инженером по технике безопасности, ему горько жаловался идейный администратор Дворца культуры цемзавода, что девчата вынуждены приходиться на дискотеку без трусов, потому что если они придут в трусах, то их специальные м е с т н ы е, на манер

Дружинников стоящие в дверях, проверят и на дискотеку не пустят. Отчего дивчины, глотая слезы, вынуждены отходить за угол и там вынуждены выполнять требуемые условия их пребывания на танцах... Это потом, считай, почти через двадцать лет после описываемого... А тогда, в маленьком кинозале, когда даже не кончился еще журнал «Новости дня», летчик стал дико драть ворот рубахи, выбегая на улицу. Ужас!

А все потому, что в кинохронике показали крупный и подробный вид разбомбленного населенного пункта. Руины, пыль не осела, рухлядь, нелепые стены отрезаны, как пирог, разорванные конечности, выбитые, как бы висящие на скользких нитках глаза, раздробленные носы, напрочь снесенные черепа, лица...

На улице летчика вырвало. Побледнев и позеленев, он объяснил, что так уж получилось — он никогда не ощущал последствий авиабомб «в натуре», а сверху все это выглядело довольно даже, можно сказать, «красиво». Он храбро сражался, горел в самолете, но когда видел развалины, развалины уже были расчищены, и он проходил мимо быстрым шагом, не вглядываясь. А если и вглядывался, то замечал и видел абсолютно не то, что только что на экране. Они с Шунемовым купили много водки, пили ее и со скоростью сто десять км в час ездили на мотоцикле по ночной Казани, пока их не забрали в милицию и не исключили из техникума, где они смогли восстановиться лишь через год, примерным трудом и отличным поведением доказав свое право на получение образования.

Летчик стал нынче большим человеком, но об этом позже или никогда. Шунемов, перед тем как его отовсюду выгнали, работал в Сибири, в родном городе К., пользовался авторитетом товарищей. И ведь даже в этой его, казалось бы, пока правильной жизни было много неправильностей. Он получал массу денег за свой нелегкий, нужный родине труд, он, будучи передовым человеком шестидесятых, писал различные стихи, как Элюар и Хлебников⁶, но когда друг поехал однажды в отпуск, то на вокзале взялся играть в треньку с ворами. Ну и что? Воры и выиграли у него все деньги да вдобавок морду ему набили. Вот как бывает в жизни, если неправильно к ней относиться!

В другой раз он сам изображал вора. Все на том же вокзале, все в том же аэропорте, в ресторан которого они отправились за водкой. На крыльце ресторана на сильном сибирском морозе стоял, покачиваясь, пьяный солдат с сигарой.

— Есть в ресторане водка? — спросили Шунемов и Ромаша, и солдат в знак положительности ответа выстрелил в воздух из револьвера.

Шунемов и Ромаша взяли водки и направились в неизвестное, но ближайшее студенческое общежитие.

— Это со мной. — Шунемов вместо пропуска указал вахтерше на Ромашу, и они зашли в незнакомую комнату № 22 и включили свет, когда все девчата с визгом зажалися в своих простынях.

— Тихо! — сказал Шунемов. — Хлеб и стакан!

— А вы кто?

— Мы воры...

Девчата дали им все требуемое, а они выпили да и ушли, только и сделав, что прочитав напоследок различные стихи шестидесятых годов: Евтушенко, Вознесенского. Ромаша потом опишет Шунемова в повести, и у Шунемова будет служебный скандал. Помолчим, друзья...

⁶ Вот образец творчества Шунемова, предоставленный мне одним из его прототипов: «Ты с победой вернулся в родительский дом, так поведай мне, дедушка-летчик, о том, как же быть, непонятно, не видно ни зги, и ответил он вятно: „Прорвемся, не зд!“».

...Или еще пример. Проходит уже несколько лет. Шунемова уже не только отовсюду выгнали, но и уже снова взяли везде — не по авиации, конечно, а по добыче песка из инженерных карьеров (с чего, собственно, и началась его последующая до сегодняшнего дня блестящая карьера). Шунемов живет на сто двадцатом км, а в Перове живет тот самый летчик, с которым они учились в Казани, ныне совсем большой человек, вся грудь в новых значках, орденах и медалях. Они с летчиком пьют восемь бутылок водки и отправляются гулять по лесу... Утро... Серебрится первая осенняя паутинка уходящего подмосковного лета, веселым голосом поют птички... Шунемов спит стоя, прислонившись к омету, летчик дремлет на пряслах, согнувшись, как складной нож... Они добираются и идут по ранним улицам просыпающегося города... Прохожие удивленно глядят под ноги Шунемову. И не диво — вскоре выясняется, что Шунемов потерял в лесу ботинки и идет в одних носках. Фу... Летчик выдал ему гаденькие желтые полуботиночки с дырочками. В них Шунемов и отбыл на свой сто двадцатый км.

Что дальше? А я откуда знаю. Дальше он, наверное, стал исправляться. А вот в юность если вернуться, то он один раз стоял в военном строю. Их отряд выстроили и стали поздравлять. Шунемов был совершенно пьян. Товарищи держали его плечами.

— Поздравляю вас, товарищи! — громко сказал человек перед строем.

Шунемов запел:

— Никогда! Никогда! Никогда не старейте душой!

От смеха товарищи ослабли, и Шунемов плашмя выпал из строя.

Шунемова передернуло. Горячо приветствовавший Шунемов решительно застегнул пальто и еще раз подумал: «Правильно!» И огляделся по сторонам окрест.

Наступал час дня. Магазин закрыли на обед. Все уже выстроились в очередь перед винным отделом. В очереди много говорили о грядущем фестивале молодежи и студентов, о древнеирландских корнях русского мата, о видео, входящем ныне в большую моду, и, конечно же, о прекрасности жизни и сопутствующих ей благотворных перемен, которые, как ветер, уже недалеки. Рассказ этот не имеет ни конца, ни начала. «Сюймбека, у нас в России вообще ничего не имеет начала и конца!» — громко сказал Шунемов. «А?» — недослышал собеседник. «На!» — ответил Шунемов.

ТАТЬЯНА ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА

★

ПЕРЕПРАВА

* *

Такая река, такая река —
Будто она во сне.
Черным-черна и так глубока,
Что нету дна на дне.

Берега мертвы. И река мертва.
Стоит такая тишь,
Что страшно о ней сказать слова.
Об этой реке — молчишь.

* *

Застыла река... На лодчонке дощатой
Пльвем по траншее во льду.
Не знаем за что, но за что-то — расплата.
Нас много попало в беду.
Харон нас везет через Стикс заполярный.
Мертвы берега и река.
И мертвенно бледен наш лодочник старый,
А жизнь — как причал — далека.
Пльвем ли? Быть может, давно мы застыли.
Живет — лишь весел размах.
Он колет лицо леденистою пылью,
Он ищет дорогу впотьмах...
В тундре торчат настороженно вышки.
Им судьбы людские не в счет.
Мы знаем: на воле никто не услышит,
Что нас затянуло под лед.
Мы канем на дно... Не уйти нам из плена —
Но в этот смертельный час
Нас кто-то заметил в огромной вселенной
И льды отодвинул от нас.
Лодка, кряхтя, добралась до причала.
Мы словно очнулись от сна.
Пускай лишь тюрьма да сума нас встречала!..
Похрустывала тишина..
Лодочник молча свое что-то слушал,
Стоял, обернувшись к реке,
И рваная шапка, пронзая мне душу,
Стыла в желтой руке.
И вдруг засияли в небе пожары,
Сполохи ринулись ввысь!
Был валенок скрип слаще звуков гитары,
Мы в гору гурьбой поплелись.

* *

Тундра — нелюбимая
троюродная сестра,
Желтая, как лихорадка.
Трава ее высока и остра,
Ягода зреет несладко.

Ты несогретая, мне тебя жаль,
Твоя мерзлота не растает.
Над тундрой стоит такая печаль,
Какой на земле не бывает.

Воркута, 1950 — 1951.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

1918—1956

Опыт художественного исследования

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Колёса тоже не стоят,
Колёса...
Вертятся, пляшут жернова,
Вертятся...

В. Мюллер.

Глава 1

КОРАБЛИ АРХИПЕЛАГА

От Берингова пролива и почти до Босфорского разбросаны тысячи островов заколдованного Архипелага. Они невидимы, но они — есть, и с острова на остров надо так же невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объём и вес. Черезо что же возить их? На чём?

Есть для этого крупные порты — пересыльные тюрьмы, и порты помельче — лагерные пересыльные пункты. Есть для этого стальные закрытые корабли — вагон-заки. А на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные замкнутые оборотистые воронки. Вагон-заки ходят по расписанию. А при нужде отправляют из порта в порт по диагоналям Архипелага ещё целые караваны — эшелоны красных товарных телячьих вагонов.

Это всё — налаженная система! Её создавали десятки лет — и не в спешке. Сытые, обмундированные, неторопливые люди создавали её. Кинешемскому конвою по нечётным числам в 17.00 принимать на Северном вокзале Москвы этапы из бутырского, пресненского и таганского «воронков». Ивановскому конвою по чётным числам к шести утра прибывать на вокзал, снимать и держать у себя пересадочных на Нерехту, Бежецк, Бологое.

Это всё — рядом с вами, впритирочку с вами, но — не видимо вам (а можно и глаза смежить). На больших вокзалах погрузка и выгрузка чумазных происходит далеко от пассажирского перрона, её видят только стрелочники да путевые обходчики. На станциях поменьше тоже облюбован глухой проулок между двумя пакхаузами, куда «воронки» подают задом, ступеньки к ступенькам вагон-зака. Арестанту некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда, он успевает только видеть ступеньки (иногда нижняя ему по пояс, и сил карабкаться нет), а конвоиры, обставшие узкий переходик от

«воронка» к вагону, рычаг, гудят: «Быстро! Быстро!.. Давай! Давай!..», а то и помахивают штыками.

И вам, спешащим по перрону с детьми, чемоданами и авоськами, недосуг приглядываться: зачем это подцепили к поезду второй багажный вагон? Ничего на нём не написано, и очень похож он на багажный — тоже косые прутья решёток и темнота за ними. Только зачем-то едут в нём солдаты, защитники отечества, и на остановках двое из них, посвистывая, ходят по обе стороны, косятся под вагон.

Поезд тронется — и сотня стиснутых арестантских судеб, измученных сердец, понесётся по тем же змейстым рельсам, за тем же дымом, мимо тех же полей, столбов и стогов, и даже на несколько секунд раньше вас — но за вашими стёклами в воздухе ещё меньше останется следов от промелькнувшего горя, чем от пальцев по воде. И в хорошо знакомом, всегда одинаковом поездном быте — с разрезаемой пачкой белья для постели, с разносимым в подстаканниках чаем — вы разве можете вжиться, какой тёмный сдавленный ужас пронёсся за три секунды до вас через этот же объём эвклидова пространства? Вы, недовольные, что в купе четверо и тесно, — вы разве смогли бы поверить, вы разве над этой строкою поверите, что в таком же купе перед вами только что пронёслось — четырнадцать человек? А если — двадцать пять? А если — тридцать?..

«Вагон-зак» — какое мерзкое сокращение! Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это — вагон для заключённых. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон «стольпинским» или просто «столыпиным».

По мере того, как рельсовое передвижение внедрялось в наше отечество, меняли свою форму и арестантские этапы. Ещё до 90-х годов XIX века сибирские этапы шли пешком и на лошадях. Уже Ленин в 1896 году ехал в сибирскую ссылку в обыкновенном вагоне третьего класса (с вольными) и кричал на поездную бригаду, что невыносимо тесно. Всем известная картина Ярошенко «Всюду жизнь» показывает нам ещё очень наивное переоборудование пассажирского вагона четвёртого класса под арестантский груз: всё оставлено, как есть, и арестанты едут как просто люди, только поставлены на окнах двусторонние решётки. Вагоны эти ещё долго бегали по русским дорогам, некоторые помнят, как их и в 1927 этапировали в таких именно, только разделив мужчин и женщин. С другой стороны эсер Трушин уверял, что он и при царе уже этапировался в «стольпине», только ездило их, опять-таки по крыловским временам, шесть человек в купе.

История вагона такова. Он, действительно, пошёл по рельсам впервые при Столыпине: он был сконструирован в 1908 году, но — для переселенцев в восточные области страны, когда развилось сильное переселенческое движение и не хватало подвижного состава. Этот тип вагонов был ниже обычного пассажирского, но много выше товарного, он имел подсобные помещения для утвари или птицы (нынешние «половинные» купе, карцеры) — но он, разумеется, не имел никаких решёток, ни внутри, ни на окнах. Решётки поставила изобретательная мысль, и я склоняюсь, что большевистская. А называться досталось вагону — стольпинским... Министр, вызывавший на дуэль депутата за «стольпинский галстук», — этого посмертного обольгания уже не мог остановить.

И ведь не обвинишь гулаговское начальство, чтоб они пользовались термином «стольпин» — нет, всегда «вагон-зак». Это мы, зэки, из чувства противоречия казённому названию, чтобы только называть по-своему и погрубей, обманно повлеклись за кличкой, поданутой нам арестантами предыдущих поколений, как легко рассчитать — 20-х годов. Кто ж могли быть авторы клички? не «контрики», у них не могло возникнуть такой ассоциации: царский премьер-министр — и чекисты. Это, безусловно, могли быть только «революционеры», вдруг,

для себя неожиданно завлечённые в чекистскую мясорубку; или эсеры, или анархисты (если кличка возникла в ранних 20-х), или троцкисты (если в поздних 20-х). Когда-то змеиным укусом убив великого деятеля России, ещё и посмертным гадким укусом осквернили его память.

Но так как вагон этот был излюблен лишь в 20-е годы, а нашёл всеобщее и исключительное применение — с начала 30-х, когда всё в нашей жизни становилось единообразным (и, вероятно, тогда достроили много таких), то справедливо было бы называть его не «стольпинным», а «Сталиным».

Вагон-зак — это обыкновенный купированный вагон, только из девяти купе пять, отведенные арестантам (и здесь, как всюду на Архипелаге, половина идёт на обслугу!), отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решёткой, обнажающей купе для просмотра. Решётка эта — косые перекрещенные прутья, как бывает в станционных садиках. Она идёт на всю высоту вагона, доверху, и оттого нет багажных чердачков из купе над коридором. Окна коридорной стороны — обычные, но в таких же косых решётках извне. А в арестантском купе окна нет — лишь маленький, тоже обрешеченный, слепыш на уровне вторых полок (вот, без окон, и кажется нам вагон как бы багажным). Дверь в купе — раздвижная: железная рама, тоже обрешеченная.

Всё вместе из коридора это очень напоминает зверинец: за сплошной решёткой, на полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных.

По расчётам вольных инженеров в сталинском купе могут шестеро сидеть внизу, трое — лежать на средней полке (она соединена как сплошные нары, и оставлен только вырез у двери для лаза вверх и вниз) и двое — лежать на багажных полках вверху. Если теперь сверх этих одиннадцати затолкать в купе ещё одиннадцать (последних под закрываемую дверь надзиратели запихивают уже ногами) — то вот и будет вполне нормальная загрузка сталинского купе. По двое скорчатся, полусидя, на верхних багажных, пятеро лягут на соединённой средней (и это — самые счастливые, места эти берутся с бою, а если в купе есть блатари, то именно они лежат там), на низ же останется тринадцать человек: по пять сядут на полках, трое — в проходе меж их ног. Где-то там, вперемешку с людьми, на людях и под людьми — их вещи. Так со сдавленными поджатыми ногами и сидят сутки за сутками.

Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей! Осуждённый — это трудовой солдат социализма, зачем же его мучить, его надо использовать на строительстве. Но, согласитесь, и не к теще же в гости он едет, не устраивать же его так, чтоб ему с воли завидовали. У нас с транспортом трудности: доедет, не подохнет.

С 50-х годов, когда расписания наладились, ехать так доставалось арестантам недолго — ну полтора, ну двое суток. В войну и после войны было хуже: от Петропавловска (казахстанского) до Караганды вагон-зак мог идти с е м ь суток (и было двадцать пять человек в купе!), от Караганды до Свердловска — в о с е м ь суток (и в купе было по двадцать шесть). Даже от Куйбышева до Челябинска в августе 1945 Сузи ехал в сталинском вагоне несколько суток — и было их в купе *тридцать пять* человек, лежали просто друг на друге, барахтались и боролись¹. А осенью 1946 Н. В. Тимофеев-Рессовский ехал из Петропавловска в Москву в купе, где было *тридцать шесть* человек! Несколько суток он висел в купе между людьми, ногами не касаясь пола. Потом стали умирать — их вынимали из-под ног (правда, не сразу, на вторые сутки) — и так посвободнело. Всё пу-

¹ Это к удовлетворению тех, кто удивляется и упрекает: почему не боролись?

тешествие до Москвы продолжалось у него три недели. (В Москве же, по законам страны чудес, Тимофеева-Рессовского вынесли на руках *офицеры* и повезли в легковом автомобиле: он ехал двигать науку!)

Предел ли — тридцать шесть? У нас нет свидетельств о тридцати семи, но придерживаясь единственно-научного метода и воспитанные на борьбе с «предельщиками», мы должны ответить: нет и нет! Не предел! Может быть где-нибудь и предел, да не у нас! Пока ещё в купе остаются хотя бы под полками, хотя бы между плечами, ногами и головами кубические дециметры не вытесненного воздуха — купе готово к приёму дополнительных арестантов! Условно можно принять за предел число не разъятых трупов, уместаемых в полном объёме купе при спокойной укладке.

В. А. Корнеева ехала из Москвы в купе, где было *тридцать женщин* — и большинство из них дряхлые старушки, ссылаемые на поселение за веру (по приезду все эти женщины, кроме двух, сразу легли в больницу). У них не было смертей, потому что несколько среди них были молодые, развитые и хорошенькие девушки, сидевшие «за иностранцев». Эти девушки принялись стыдить конвой: «Как не стыдно вам так их везти? Ведь это же ваши матери!» Не столько, наверно, их нравственные аргументы, сколько привлекательная наружность девушек нашла в конвое отзыв — и несколько старушек пересадили... в карцер. А «карцер» в вагон-заке это не наказание, это блаженство. Из пяти арестантских купе только четыре используются как общие камеры, а пятое разделено на две половины — два узких полукупе с одной нижней и одной верхней полкой, как бывает у проводников. Карцеры эти служат для изоляции; ехать там втроем-вчетвером — удобство и простор.

Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жаждой, все эти вагонные сутки в изнемоге и давке их кормят вместо приварка только селёдкой или сухою воблой (так было в все годы, 30-е и 50-е, зимой и летом, в Сибири и на Украине, и тут примеров даже приводить не надо). Не для того, чтобы мучить жаждой, а скажите сами — чем эту рвань в дороге кормить? Горячий приварок в вагоне им не положен (в одном из купе вагон-зака едет, правда, кухня, но она — только для конвоя), сухой крупы им не дашь, сырой трески не дашь, мясных консервов — не разожрутса ли? Селёдка, лучше не придумаешь, да хлеба ломоть — чего ж ещё?

Ты бери, бери свои полселёдки, пока дают, и радуйся! Если ты умён — селёдку эту не ешь, перетерпи, в карман её спрячь, слопаешь на пересылке, где водица. Хуже, когда дают азовскую мокрую камсу, пересыпанную крупной солью, она в кармане не пролежит, бери её сразу в полу бушлата, в носовой платок, в ладонь — и ешь. Делят камсу на чьём-нибудь бушлате, а сухую всбу конвой высыпает в купе прямо на пол, и делят её на лавках, на коленях.

П. Ф. Якубович («В мире отверженных», М., 1964, т. 1) пишет о 90-х годах прошлого века, что в то страшное время в сибирских этапах давали кормовых десять копеек в сутки на человека при цене на ковригу пшеничного хлеба — килограмма три? — пять копеек, на кринку молока — литра два? — три копейки. «Арестанты благоденствуют», — пишет он. А вот в Иркутской губернии цены выше, фунт мяса стоит десять копеек и «арестанты просто бедствуют». Фунт мяса в день на человека — это не полселёдки?..

Но уж если тебе рыбу дали — так и в хлебе не откажут, и сархарку ещё, может, подсыпят. Хуже, когда конвой приходит и объявляет: сегодня кормить не будем, на вас не *выдано*. И так может быть, что вправду не выдано: в какой-то тюремной бухгалтерии не там цифру поставили. А может быть и так, что — выдано, но конвою самому не хватает пайки (они тоже ведь не больно сыты), и решили хлебушек *закосить*, а уж одну полуселёдку давать подозрительно.

И, конечно, не для того, чтоб арестант мучился, ему не дают после селёдки ни кипятка (это уж никогда), ни даже сырой воды. На-

до понять: штаты конвоя ограничены, одни стоят в коридоре на посту, несут службу в тамбуре, на станциях лезут под вагоном, по крыше: смотрят, не продырявлено ли где. Другие чистят оружие, да когда-то же надо с ними заняться и политучёбой, и боевым уставом. А третья смена спит, восемь часов им отдай как закон, война-то кончилась. Потом: носить воду вёдрами — далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен воду таскать как ишак, для врагов народа? Порой для сортировки или перецепки загонят вагон-зак от станции на полсукот так (от глаз подалее), что и на свою-то красноармейскую кухню воды не наносишься. Ну, есть правда выход: для эзков из паровозного тендера черпануть — жёлтую, мутную, со смазочными маслами, охотно пьют и такую, ничего, им в полутьме купе и не очень видно — окна своего нет, лампочки нет, свет из коридора. Потом ещё: воду эту раздавать больно долго — своих кружек у заключённых нет, у кого и были, так отняли, — значит, пои их из двух казённых, и пока напьются, ты всё стой рядом, черпай, черпай да подавай. (Да ещё заведутся промеж себя: давайте сперва, мол, здоровые пить, а потом уже туберкулёзные, а потом уже сифилитики! Как будто в соседнем купе не сначала опять: сперва здоровые...)

Но и всё б это конвой перенёс, и таскал бы воду и поил, если б, свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на opravку. А получается так: не дашь им сутки воды — и opravки не просят; один раз напоишь — один раз и на opravку; пожалеешь, два раза напоишь — два раза и на opravку. Прямой расчёт, всё-таки, — не поить.

И не потому opravки жалко, что уборной жалко, — а потому что это ответственная и даже боевая операция: надолго надо занять ефрейтора и двух солдат. Выставляются два поста — один около двери уборной, другой в коридоре с противоположной стороны (чтоб туда не кинулись), а ефрейтору то и дело отодвигать и задвигать дверь купе, сперва выпуская возвратного, потом выпуская следующего. Устав разрешает выпускать только по одному, чтоб не кинулись, не начали бунта. И получается, что этот выпущенный в уборную человек держит тридцать арестантов в своём купе и сто двадцать во всём вагоне, да наряд конвоя! Так «Давай! Давай!.. Скорей! Скорей!» — понукают его по пути ефрейтор и солдат, и он спешит, спотыкается, будто во-рует это очко уборной у государства. В 1949 в «сталине» Москва — Куйбышев одноногий немец Шульц, уже понимая русские понукания, прыгал на своей ноге в уборную и обратно, а конвой хохотал и требовал, чтобы тот прыгал быстрее. В одну opravку конвоир толкнул его в тамбуре перед уборной, Шульц упал. Конвоир, осердясь, стал его ещё бить, — и, не умея подняться под его ударами, Шульц вползал в грязную уборную ползком. Конвоиры хохотали ².

Чтоб за секунды, проводимые в уборной, арестант не совершил побега, а также для быстроты оборота, дверь в уборную не закрывается, и, наблюдая за процессом opravки, конвоир из тамбура поощряет: «Давай-давай!.. Ну хватит тебе, хватит!» Иногда с самого начала команда: «Только по лёгкому!» — и тогда уж тебе из тамбура иначе не дадут. Ну, и рук, конечно, никогда не мают: воды не хватает в баке, и времени нет. Если только арестант коснётся соска умывальника, конвоир рыкает из тамбура: «А ну, не трожь, проходи!» (Если у кого в вещмешке есть мыло или полотенце, так из одного стыда не достанет: это *по-фраерски* очень.) Уборная загажена. Быстрее, быстрее! и неся жидкую грязь на обуви, арестант втискивается в купе, по чьим-то рукам и плечам лезет наверх, и потом его грязные ботинки свисают с третьей полки ко второй и капают.

Когда opravляются женщины, устав караульной службы и здравый смысл требуют также не закрывать дверей уборной, но не всякий конвой на этом настаит, иные попустят: ладно, мол, закрывайте.

² Это, кажется, названо «культ личности Сталина»?

(Ещё ж потом одной женщине эту уборную и мыть после всех, и опять около неё стой, чтоб не сбежала.)

И даже при таком быстром темпе уходит на opravку ста двадцати человек больше двух часов — больше четверти смены трёх конвоиров! И всё равно не угодишь! — и всё равно какой-нибудь старик-песочник через полчаса опять же плачется и просится на opravку; его, конечно, не выпускают, он гадит прямо у себя в купе, и опять же забота ефрейтору: заставить его руками собрать и вынести.

Так вот: поменьше оправок! А значит — воды поменьше. И еды поменьше — и не будут жаловаться на поносы и воздух отравлять, ведь это что? — в вагоне дышать нельзя!

Поменьше воды! А селёдку положенную выдать! Недача воды — разумная мера, недача селёдки — служебное преступление.

Никто, никто не задался целью мучить нас! Действия конвоя вполне рассудительны! Но как древние христиане, сидим мы в клетке, а на наши раненные языки сыпят соль.

Так же и совсем не имеют цели (иногда имеют) этапные конвоиры перемешивать в купе Пятьдесят Восьмую с блаатарями и бытовиками, а просто: арестантов чересчур много, вагонов и купе мало, времени в обрез — когда с ними разбираться? Одно из четырёх купе держат для женщин, в трёх остальных если уж и сортировать, так по станциям назначения, чтоб удобнее выгружать.

И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат его унижить? Просто день был такой — распинать, Голгофа — одна, времени мало. *И к злодеям причтён.*

* * *

Я боюсь даже и подумать, что пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении... Конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью... Будучи политическим, я ехал в каторгу со сравнительным комфортом — пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу, и пуд багажа щёл на подводе...

...Я опустил в этом абзаце кавычки, чтобы читатель мог лучше вникнуть. Без кавычек абзац диковато звучит, а?

Это пишет П. Ф. Якубович о 90-х годах прошлого века. Книга переиздана сейчас в поучение о том мрачном времени. Мы узнаём, что и на барже политические имели особую комнату и на палубе — особое отделение для прогулки. (То же — и в «Воскресении», и песторонний князь Нехлюдов может приходиться к политическим на собеседования.) И лишь потому, что в списке против фамилии Якубовича было «пропущено магическое слово *политический*» (так он пишет) — на Усть-Каре он был «встречен инспектором каторги... как обыкновенный уголовный арестант — грубо, вызывающе, дерзко». Впрочем, это счастливо разъяснилось.

Какое неправдоподобное время! — смешивать политических с уголовными казалось почти преступлением! Уголовников гнали на вокзалы позорным строем по мостовой, политические могли ехать в карете (большевик Ольминский, 1899). Политических из общего котла не кормили, выдавали кормовые деньги и несли им из кухмистерской. Большевик Ольминский не захотел принять даже больничного пайка — груб ему показался³. Бутырский корпусной просил извинения за надзирателя, что тот обратился к Ольминскому на «ты»: у нас, де, редко бывают политические, надзиратель не знал...

В Бутырках *редко бывают политические!*.. Что за сон? А где ж они бывают? Лубянки-то и Лефортова тем более ещё не было!..

Радищева вывезли на этап в кандалах и по случаю холодной по-

³ За то всё, правда, шанка (уголовная масса) называла профессиональных революционеров «паршивыми деорянишками». (П. Ф. Якубович.)

годы набросили на него «гнусную нагольную шубу», взятую у сторожа. Однако Екатерина немедленно вослед распорядилась: кандалы снять и всё нужное для пути доставить. Но Анну Скрипничкову в ноябре 1927 отправили из Бутырок в этап на Соловки в соломенной шляпе и летнем платье (как она была арестована летом, а с тех пор её комната стояла запечатанная, и никто не хотел разрешить ей взять оттуда свои же зимние вещи).

Отличать политических от уголовных — значит уважать их как равных соперников, значит признавать, что у людей могут быть *взгляды*. Так даже арестованный политический ощущает политическую свободу!

Но с тех пор, как все мы — «казры», а социалисты не удержались на «подитах», — с тех пор только смех заключённых и недоумение надзирателя мог ты вызвать протестом, чтоб тебя, политического, не смешивали с уголовными. «У нас — все уголовные», — искренно отвечали надзиратели.

Это смешение, эта первая разящая встреча происходит или в «воронке», или в вагон-заке. До сих пор как ни угнетали, пытали и терзали тебя следствием — это всё исходило от голубых фуражек, ты не смешивал их с человечеством, ты видел в них только наглую службу. Но зато твои однокамерники, хотя б они были совсем другими по развитию и опыту, чем ты, хотя б ты спорил с ними, хотя б они на тебя и стучали — все они были из того же привычного, грешного и обиходливого человечества, среди которого ты провёл всю жизнь.

Втапливаясь в сталинское купе, ты и здесь ожидаешь встретить только товарищей по несчастью. Все твои враги и угнетатели остались по ту сторону решётки, с этой ты их не ждёшь. И вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке, к этому единственному небу над тобой — и видишь там три-четыре — нет, не лица! нет, не обезьяньих морды, у обезьян же морда гораздо добрей и задумчивей! нет, не образину — образина хоть чем-то должна быть похожа на образ! — ты видишь жестокие гадкие хари с выражением жадности и насмешки. Каждый смотрит на тебя как паука, нависший над мухой. Их паутина — это решётка, и ты попался! Они кривят рты, будто собираются куснуть тебя избоку, они при разговоре шипят, наслаждаясь этим шипением больше, чем гласными и согласными звуками речи, — и сама речь их только окончаниями глаголов и существительных напоминает русскую, она — тарабарщина.

Эти странные гориллоиды скорее всего в майках — ведь в купе духота, их жилистые багровые шеи, их раздавленные шарами плечи, их татуированные смуглые груди никогда не испытывали тюремного истощения. Кто они? Откуда? Вдруг с одной такой шеи свесится — крестик! да, алюминиевый крестик на верёвочке. Ты поражён и немного облегчён: среди них есть верующие, как трогательно; так ничего страшного не произойдёт. Но именно этот «верующий» вдруг загибает в крест и в веру (ругаются они отчасти по-русски) и суёт два пальца тычком, рогатинкой, прямо тебе в глаза — не угрожая, а вот начиная сейчас выкалывать. В этом жесте «глаза выколоу, падло!» — вся философия их и вера! Если уж глаз твой они способны раздавить как слизняка — так что на тебе и при тебе они пощадят? Болтается крестик, ты смотришь ещё не выдавленными глазами на этот дичайший маскарад и теряешь систему отсчёта: кто из вас уже сошёл с ума? кто ещё сходит?

В один миг трещат и ломаются все привычки людского общения, с которыми ты прожил жизнь. Во всей твоей прошлой жизни — особенно до ареста, но даже и после ареста, но даже отчасти и на следствии — ты говорил другим людям слова, и они отвечали тебе словами, и эти слова производили действие, можно было или убедить, или отклонить, или согласиться. Ты помнишь разные людские отношения — просьбу, приказ, благодарность, — но то, что застигло тебя

здесь — вне этих слов и вне этих отношений. Посланником харь спускается вниз кто-то, чаще всего плюгавенький малолетка, чья развязность и наглость омерзительнее втройне, и этот бесёнок развязывает твой мешок и лезет в твои карманы — не обыскивая, а как в свои! С этой минуты ничто твоё — уже не твоё, и сам ты — только гуттаперчевая болванка, на которую напаялены лишние вещи, но вещи можно снять. Ни этому маленькому злому хорьку, ни тем харям наверху нельзя ничего объяснить словами, ни отказать, ни запретить, ни выпроситься! Они — не люди, это объяснилось тебе в одну минуту. Можно только — бить! Не ожидая, не тратя времени на шевеление языка — бить! — или этого ребёнка, или тех крупных тварей наверху.

Но снизу вверх тех трёх — ты как ударишь? А ребёнка, хоть он гадкий хорёк, как будто тоже бить нельзя? можно только оттолкнуть мягенько?.. Но и оттолкнуть нельзя, потому что он тебе сейчас откусит нос, или сверху тебе сейчас проломают голову (да у них и ножи есть, только они не станут их вытаскивать, об тебя пачкать).

Ты смотришь на соседей, на товарищей — давайте же или сопротивляться или заявим протест! — но все твои товарищи, твоя Пятдесят Восьмая, ограбленные поодиночке ещё до твоего прихода, сидят покорно, сторбленно, и смотрят хорошо ещё если мимо тебя, а то и на тебя, так обычно смотрят, как будто это не насилие, не грабёж, а явление природы: трава растёт, дождик идёт.

А потому что — упущено время, господа, товарищи и братцы! Спихиваться — кто вы, надо было тогда, когда Стружинский сжигал себя в вятской камере, и раньше ещё того, когда вас объявляли «казрами».

Итак, ты даёшь снять с себя пальто, а в пиджаке твоём прощупана и с клоком вырвана зашитая двадцатка, мешок твой брошен наверх, проверен, и всё, что твоя сентиментальная жена собрала тебе после приговора в дальнюю дорогу, осталось там, наверху, а тебе в мешочке сброшена зубная щётка...

Хотя не каждый подчинялся так в 30-е и 40-е годы, но девяносто девять. (Многие случаи рассказывали мне, когда трое спящих, молодых и здоровых, устайвали против блатарей — но не общую справедливость защищая, не всех, грабимых рядом, а только себя, вооружённый нейтралитет.) Как же это могло стать? Мужчины! Офицеры! солдаты! фронтовики!

Чтобы смело биться, человеку надо к этому бою быть готовым, ожидать его, понимать его цель. Здесь же нарушены все условия: никогда не зная раньше блатной среды, человек не ждал этого боя, а главное — совершенно не понимает его необходимости, до сих пор представляя (неверно), что его враги — это голубые фуражки только. Ему ещё надо воспитываться, пока он поймёт, что татуированные груди — это задницы голубых фуражек, это то откровение, которое погоны не говорят вслух: «умри ты сегодня, а я завтра!» Новичок-арестант хочет себя считать политическим, то есть: он — за народ, а против них — государство. А тут неожиданно сзади и сбоку нападает какая-то поворотливая нечисть, и все разделения смешиваются, и ясность разбита в осколки. (И не скоро арестант соберётся и разберётся, что нечисть, выходит, с тюремщиками заодно.)

Чтобы смело биться, человеку надо ощущать защиту спины, поддержку с боков, землю под ногами. Все эти условия разрушены для Пятдесят Восьмой. Пройдя мясорубку политического следствия, человек сокрушён телом: он голодал, не спал, вымерзал в карцерах, валялся избитый. Но если бы только телом! — он сокрушён и душой. Ему втолковано и доказано, что и взгляды его, и жизненное поведение, и отношения с людьми — всё было неверно, потому что привело его к разгрому. В том комочке, который выброшен из машинного отделения суда на этап, осталась только жажда жизни, и никакого понимания. Окончательно сокрушить и окончательно разобщить — вот

задача следствия по 58-й статье. Осуждённые должны понять, что наибольшая вина их на воле была — попытка как-нибудь сообщаться или объединяться друг с другом помимо парторга, профорга и администрации. В тюрьме это доходит до страха всяких тюремных коллективов: одну и ту же жалобу высказать в два голоса или на одной и той же бумаге подписаться двоим. Надолго теперь отбитые от всякого объединения, лже-политические не готовы объединиться и против блатных. Так же не придёт им в голову иметь для вагона или пересылки оружие — нож или кистень. Во-первых — зачем оно? против кого? Во-вторых, если его применишь ты, отягчённый зловещей 58-ю статьёю, — то по пересуду ты можешь получить и расстрел. В-третьих, ещё раньше, при обыске, тебя за нож накажут не так, как блатаря: у него нож — это шалость, традиция, несознательность, у тебя — террор.

И наконец, большая часть посаженных по 58-й — это мирные люди (а часто и старые, и большие), всю жизнь обходившиеся словами, без кулаков — и не готовые к ним теперь, как и раньше.

А блатари не проходили такого следствия. Всё их следствие — два допроса, лёгкий суд, лёгкий срок, и даже этого лёгкого срока им не предстоит отбыть, их отпустят раньше: или амнистируют или они уйдут⁴. Никто не лишал блатаря его законных передач и во время следствия — обильных передач из доли товарищей по воровству, оставшихся на свободе. Он не худел, не слабел ни единого дня — и вот в пути подкармливается за счёт *фраеров*⁵. Воровские и бандитские статьи не только не угнетают блатного, но он гордится ими — и в этой гордости его поддерживают все начальники в голубых погонах или с голубыми окоёмками: «Ничего, хотя ты бандит и убийца, но ты же не изменник родины, ты же *наш* человек, ты справишься». По воровским статьям нет Одиннадцатого пункта — об организации. Организация не запрещена блатарям — отчего же? — пусть она содействует воспитанию чувств коллективизма, так нужных человеку нашего общества. И отбор оружия у них — это игра, за оружие их не наказывают — уважают их закон («им иначе нельзя»). И новое камерное убийство не удлинит срока убийцы, а только украсит его лаврами.

(Это всё уходит очень глубоко. У Маркса люмпен-пролетариат осуждался разве только за некоторую невыдержанность, непостоянство настроения. А Сталин всегда тяготел к блатарям — кто ж ему грабил банки? Ещё в 1901 году сотоварищами по партии и тюрьме он был обвинён в использовании уголовников против политических противников. С 20-х годов родился и услужливый термин: *социально-близкие*. В этой плоскости и Макаренко: эти х можно исправить. По Макаренко, исток преступлений — только «контрреволюционное подполье». Нельзя исправить тех — инженеров, священников, обывателей, меньшевиков.)

Отчего ж не воровать, коли некому унять? Трое-четверо дружных и наглых блатарей владеют несколькими десятками запуганных придушенных лже-политических.

С одобрения начальства. На основе Передовой Теории.

Но если не кулачный отпор — то отчего жертвы не жалуются? Ведь каждый звук слышен в коридоре, и вот он медленно прохаживается за решёткою, конвойный солдат.

Да, это вопрос. Каждый звук и жалобное хрипение слышны, а конвоир всё прохаживается — почему ж не вмешается он сам? В метре от него, в полутёмной пещере купе грабят человека — почему ж не заступится воин государственной охраны?

⁴ В. И. Иванов (ныне в Ухте) девять раз получал 162-ю (воровство), пять раз 82-ю (побег), всего тридцать семь лет заключения — и «отбыл» их за пять-шесть лет.

⁵ *Фраер* — это не вор, то есть не «Человек» (с большой буквы). Ну, попросту: фраера — это остальное, не воровское человечество.

А вот по тому самому. Ему внушено тоже.

И — больше: после многолетнего благоприятствия конвой и сам склонился к ворам. Конвой и *сам стал вор*.

С середины 30-х годов и до середины 40-х, в это десятилетие величайшего разгула блатарей и низжайшего угнетения политических — никто не припомнит случая, чтобы конвой прекратил грабёж политического в камере, в вагоне, в «воронке». Но расскажут вам множество случаев, как конвой принял от воров награбленные вещи и взамен принёс им водки, еды (послаще пайковой), курева. Эти примеры уже стали хрестоматийными.

У конвойного сержанта ведь тоже ничего нет: оружие, скатка, котелок, солдатский паёк. Жестоко было бы требовать от него, чтоб он конвоировал врага народа в дорогой шубе или в хромовых сапогах, или с *кёшером* (мешком) городских богатых вещей — и примирился бы с этим неравенством. Да ведь отнять эту роскошь — тоже форма классового борьбы? А какие ещё тут есть нормы?

В 1945—1946 годах, когда заключённые тянулись не откуда-нибудь, а из Европы, и невиданные европейские вещи были надеты на них и лежали в их мешках — не выдерживали и конвойные офицеры. Служебная судьба, оберегавшая их от фронта, в конце войны оберегла их и от сбора трофеев — разве это было справедливо?

Так не случайно уже, не по спешке, не по нехватке места, а из собственной корысти — смешивал конвой блатных и политических в каждом купе своего вагон-зака. И блатаря не подводили: вещи сдирались с *бобров*⁶ и поступали в чемоданы конвоя.

Но как быть, если «бобры» в вагон загружены, и поезд уже идёт, а воров — нет и нет, ну просто не подсаживают, сегодня их не этапирует ни одна станция? Несколько случаев известно и таких.

В 1947 году из Москвы во Владимир для отбывания сроков во Владимирском центре везли группу иностранцев, у них были богатые вещи, это показывало первое раскрытие чемодана. Тогда конвой *сам начал* в вагоне систематический отбор вещей. Чтобы ничего не пропустить, заключённых раздевали *гогола* и сажали на пол вагона близ уборной, а тем временем просматривали и отбирали вещи. Но не учёл конвой, что везёт их не в лагерь, а в серьёзную тюрьму. По прибытии туда И. А. Корнеев подал письменную жалобу, всё описав. Нашли тот конвой, обыскали самих. Часть вещей ещё нашлась, и вернули её, не возвращённое владельцам оплатили. Говорили, что конвою дали по десять и пятнадцать лет. Впрочем, это проверить нельзя, да и статья воровская, не должны засидеться.

Однако это случай исключительный, и умерь свою жадность вовремя, начальник конвоя понял бы, что здесь лучше не связываться. А вот случай попроще, и тем подаёт он надежду, что не один такой был. В вагон-заке Москва — Новосибирск в августе 1945 года (в нём этапировался А. Сузи) тоже не случилось воров. А путь предстоял долгий, поезда тянулись тогда. Не торопясь, начальник конвоя объявил в удобное время обыск — поодиночке, с вещами в коридоре. Вызываемых раздевали по тюремным правилам, но не в этом таился смысл обыска, потому что обысканные возвращались в свою же набитую камеру, и любой нож, и любое запретное можно было потом из рук в руки передавать. Истинный обыск был в пересмотре всех личных вещей — надетых и из мешков. Здесь, у мешков, не скучая весь долгий обыск, простоял с надменным неприступным видом начальник конвоя, офицер, и его помощник, сержант. Грешная жажда просилась наружу, но офицер замыкал её притворным безразличием. Это было положение старого блударя, который рассматривает девочек, но стесняется посторонних, да и самих девочек тоже, не знает, как подсту-

⁶ Бобры — богатые эски с «барахлом» и *бациллами*, то есть с жирами.

питься. Как ему нужны были несколько воров! Но воров в этапе не было.

В этапе не было воров, но были такие, кого уже коснулось и заразило воровское дыхание тюрьмы. Ведь пример воров поучителен и вызывает подражание: он показывает, что есть лёгкий путь жить в тюрьме. В одном из купе ехали два недавних офицера — Санин (морьяк) и Мережков. Они были оба по 58-й, но уже перестраивались. Санин при поддержке Мережкова объявил себя старостой купе и попросился через конвоира на приём к начальнику конвоя (он разгадал эту надменность, её нужду в своднике!). Небывалый случай, но Санина вызвали, и где-то там состоялась беседа. Следуя примеру Санина, попросился кто-то из другого купе. Был принят и тот.

А наутро хлеба выдали не пятьсот пятьдесят граммов, как был в то время этапный паёк, а — двести пятьдесят.

Пайки роздали, начался тихий ропот. Ропот, — но боясь «коллективных действий», эти политические не выступали. Нашёлся только один, кто громко спросил у раздатчика:

— Гражданин начальник! А сколько эта пайка весит?

— Сколько положено! — ответили ему.

— Требую перевески, иначе не возьму! — громко заявил отчаянный.

Весь вагон затаился. Многие не начинали паёк, ожидая, что перевесят и им. И тут-то пришёл во всей своей непорочности офицер. Все молчали, и тем тяжелее, тем неотвратимее придавили его слова:

— Кто тут выступил против советской власти?

Обмерли сердца. (Возрают, что это — общий приём, что это и на воле любой начальник заявляет себя советской властью и пойдя с ним поспорь. Но для пуганых, для только что осуждённых за антисоветскую деятельность — страшней.)

— Кто тут поднял мятеж из-за пайки? — настаивал офицер.

— Гражданин лейтенант, я хотел только... — уже оправдывался во всём виноватый бунтарь.

— Ах, это ты, сволочь? Это тебе не нравится советская власть?

(И зачем бунтовать? зачем спорить? Разве не легче съесть эту маленькую пайку, перетерпеть, промолчать?.. А вот теперь встрял...)

— ...Падала вонючая! Контра! Тебя самого повесить — а ты ещё пайку вешать?! Тебя, гада, советская власть поит-кормит — и ты ещё недоволен? Знаешь, что за это будет?..

Команда конвоя: «Заберите его!» Гремит замок. «Выходи, руки назад!» Несчастливого уводят.

— Ещё кто недоволен? Ещё кому перевесить?

(Как будто что-то можно доказать! Как будто где-то пожалуешься, что было двести пятьдесят, и тебе поверят, а лейтенанту не поверят, что было точно пятьсот пятьдесят.)

Битому псу только плеть покажи. Все остальные оказались довольны, и так утвердилась штрафная пайка *на все дни* долгого путешествия. И сахара тоже не стали давать — его брал конвой.

(Это было в лето двух великих Побед — над Германией и над Японией, побед, которые извеличат историю нашего Отечества, и внуки и правнуки будут их изучать.)

Проголодали день, проголодали два, несколько поумнели, и Санин сказал своему купе: «Вот что, ребята, так пропадём. Давайте, у кого есть хорошие вещи, — я выменяю, принесу вам пожрать». Он с большой уверенностью одни вещи брал, другие отклонял (не все соглашались и давать — так никто ж их и не вынуждал!). Потом попросился на выход вместе с Мережковым, странно — конвой их выпустил. Они ушли с вещами в сторону купе конвоя и вернулись с нарезанными буханками хлеба и с махоркой. Это были те самые буханки — из семи килограммов, недодаваемых на купе в день, только теперь они назначались не всем поровну, а лишь тем, кто дал вещи.

И это было вполне справедливо: ведь все же признали, что они довольны и уменьшенной пайкой. И справедливо было потому, что вещи чего-то стоят, за них надо же платить. И в дальнем взгляде тоже справедливо: ведь это слишком хорошие вещи для лагеря, они всё равно обречены там быть отняты или украдены.

А махорка была — конвоя. Солдаты делились с заключёнными своею кровной махрой — но и это было справедливо, потому что они тоже ели хлеб заключённых и пили их сахар, слишком хороший для врагов. И, наконец, справедливо было то, что Санин и Мережков, не дав вещей, взяли себе больше, чем хозяева вещей, — потому что без них бы это всё и не устроилось.

И так сидели, сжатые в полутьме, и одни жевали краюхи хлеба, принадлежащие соседям, а те смотрели на них. Прикуривать же конвой не давал поодиночке, а в два часа раз — и весь вагон заволакивался дымом, как будто что горело. Те, кто сперва с вещичками жались, — теперь жалели, что не дали Санину, и просили взять у них, но Санин сказал — потом.

Эта операция не прошла бы так хорошо и так до конца, если бы то не были затяжные поезда послевоенных лет, когда вагон-заки и перецепляли, и на станциях держали, — так зато без после войны и вещичек бы тех не было, за которыми гоняться. До Куйбышева ехали неделю — и всю неделю от государства давали только двести пятьдесят граммов хлеба (впрочем, двойную блокадную норму), сушёную воблу и воду. Остальной хлеб нужно было выкупить за свои вещи. Скоро предложение превысило спрос, и конвой уже очень неохотно брал вещи, перебирал.

На Куйбышевскую пересылку их свозили, помыли, вернули в том же составе в тот же вагон. Конвой принял их новый, — но по эстафете ему было, очевидно, объяснено, как добывать вещи, — и тот же порядок покупки собственной пайки возобновился до Новосибирска. (Легко представить, что этот заразительный опыт в конвойных дивизионах переимчиво распространялся.)

Когда в Новосибирске их высадили на землю между путями, и какой-то ещё новый офицер пришёл, спросил: «Есть жалобы на конвой?» — все растерялись, и никто ему не ответил.

Правильно рассчитал тот первый начальник конвоя.

* * *

Ещё отличаются пассажиры вагон-зака от пассажиров остального поезда тем, что не знают, куда идёт поезд и на какой станции им сойти: ведь билетов у них нет, и маршрутных табличек на вагонах они не читают. В Москве их иногда посадят в такой дали от перрона, что даже и москвичи не сообразят: какой же это из восьми вокзалов. Несколько часов в смраде и стиснутости сидят арестанты и ждут мажорного паровоза. Вот он придёт, отведёт вагон-зак к уже сформированному составу. Если лето, то донесутся станционные динамики: «Москва — Уфа отходит с третьего пути... С первой платформы продолжается посадка на Москва — Ташкент...» Значит, вокзал — Казанский, и знатоки географии Архипелага и путей его теперь объясняют товарищам: Воркута, Печора — отпадают, они — с Ярославского; отпадают кировские, горьковские лагеря.

Так попадают плевелы в жатву славы. Но — плевелы ли? Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо! А ещё отдельно каторжный прииск «имени Максима Горького» (сорок километров от Эльгена)! Да, Алексей Максимыч... «вашим, товарищ, сердцем и именем»... Если враг не сдаётся... Скажешь лихое словечко, глядь — а ты ведь уже не в литературе...

В Белоруссию, на Украину, на Кавказ — из Москвы и не возят никогда, там своих девать некуда. Слушаем дальше. Уфимский отправили — наш не дрогнул. Ташкентский отошёл — стоим. «До отправления поезда Москва — Новосибирск... Просьба к провожающим... би-

леты отъезжающих»... Тронули. Наш! А что это доказывает? Пока ничего. И Среднее Поволжье наше, и наш Южный Урал. Наш Казахстан, с джезказганскими медными рудниками. Наш и Тайшет со шпалопропиточным заводом (где, говорят, креозот просачивается сквозь кожу, в кости, парами его насыщаются лёгкие — и это смерть). Вся Сибирь ещё наша до Совгавани. И наша — Колыма. И Норильск — тоже наш.

Если же зима — вагон задраен, динамиком не слышно. Если конвойная команда верна уставу — от них тоже не услышишь обмолвки о маршруте. Так и тронемся, уснём в переплёте тел, в пристукивании колёс, не узнав — леса или степи увидятся завтра через окно. Через то окно, которое в коридоре. Со средней полки через решётку, коридор, два стекла и ещё решётку видны всё-таки станционные пути и кусочек пространства, бегущего мимо поезда. Если стёкла не обмёрзли, иногда можно прочесть и название станции — какое-нибудь Авсютино или Ундо́л. Где такие станции?.. Никто не знает в купе. Иногда по солнцу можно понять: на север вас везут или на восток. А то в каком-нибудь Туфанове втолкнут в вашу купе обшарпанного бытовичка, и он расскажет, что везут его в Данилов на суд, и боится он, не дали б ему годика два. Так вы узнаете, что ехали ночью через Ярославль и, значит, первая пересылка на пути — Вологодская. И обязательно найдутся в купе знатоки, кто мрачно просмакует знаменитую присказку: «вОлОгОдский кОнвОй шутить не любит!»

Но и узнав направление — ничего вы ещё не узнали: пересылки и пересылки узелками впереди на вашей ниточке, с любой вас могут повернуть в сторону. Ни на Ухту, ни на Инту, ни на Воркуту тебя никак не тянет, — а думаешь 501-я стройка слаще — железная дорога по тундре, по северу Сибири? Она стоит их всех.

Лет через пять после войны, когда арестантские потоки вошли всё-таки в русла (или в МВД расширили штаты?) — в министерстве разобрались в миллионных ворохах дел и стали сопровождать каждого осуждённого запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорези которого открыто для конвоя писался маршрут (а больше маршрута им знать не полезно, содержание дел может влиять развращающе). Вот тогда, если вы лежите на средней полке, и сержант остановится как раз около вас, и вы умеете читать вверх ногами — может быть вы и словчите прочесть, что кого-то везут в Княж-Погост, а вас — в Каргопольлаг.

Ну, теперь ещё больше волнений! — что это за Каргопольлаг? Кто о нём слышал?.. Какие там общие?.. (бывают общие работы смертные, а бывают и полегче.) Доходиловка, нет?

И как же, как же вы впопыхах отправки не дали знать своим родным, и они всё ещё мнят вас в сталиногорском лагере под Тулой? Если вы очень нервные и очень находчивы, может быть удастся вам решить и эту задачу: у кого-то найдётся сантиметровой кусочек карандашного грифеля, у кого-то мятая бумага. Остерегаясь, чтобы не заметил конвойный из коридора (а ногами к проходу ложиться нельзя, только головой), вы, скрючившись и отвернувшись, между толчками вагона пишете родным, что вас внезапно взяли со старого места и теперь везут, что с нового места может будет только одно письмо в год, пусть приготовятся. Сложенное треугольником письмо надо нести с собой в уборную наудачу: вдруг да сведут вас туда на подходе к станции или на отходе от неё, вдруг заведается конвойный в тамбуре, — тогда нажимайте скорее педаль, пусть откроется отверстие спуска нечистот, и, загородивши телом, бросайте письмо в это отверстие! Оно намокнет, испачкается, но может проскочить и упасть между рельсами. Или даже выскочит сухое, межколёсный ветер закружит его, оно взвихрится, попадёт под колёса или минует их и отлого спустится на откос полотна. Может быть так и лежать ему тут до дождей, до снега, до гибели, может быть рука человека поднимет его. И если этот человек окажется не *идейный* — то подправит адрес, бук-

вы наведёт или вложит в другой конверт — и письмо ещё смотри дойдёт. Иногда такие письма доходят — доплатные, стёршиеся, размытые, измятые, но с чётким всплеском горя...

* * *

А ещё лучше — переставайте вы поскорее быть этим самым *фраером* — смешным новичком, добычей и жертвой. Девяносто пять из ста, что письмо ваше не дойдёт. Но и дойдя, не внесёт оно радости в дом. И что за дыхание — по часам и суткам, когда вступили вы в страну эпоса? Приход и уход разделяются здесь десятилетиями, четвертью века. Вы никогда не вернётесь в прежний мир! Чем скорее вы отвыкнете от своих домашних, и домашние отвыкнут от вас — тем лучше. Тем легче.

И как можно меньше имейте вещей, чтобы не дрожать за них! Не имейте чемодана, чтобы конвой не сломал его у входа в вагон (а когда в купе по двадцать пять человек — что б вы придумали на их месте другое?). И не имейте новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте: в вагон-заке, в «воронке» ли, на приёме в пересыльную тюрьму — всё равно украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя — будет унижение травить ваше сердце. Отнимут с боем — за своё же добро останетесь с кровоточащим ртом. Отвратительны вам эти наглые морды, эти глумные ухватки, это отребье двуногих, — но имея собственность и трясясь за неё, не теряете ли вы редкую возможность наблюдать и понять? А вы думаете, флибустьеры, пираты, великие капитаны, расцвеченные Киплингом и Гумилёвым, — не эти ли самые они были блатные? Вот этого сорта и были... Прельстительные в романтических картинах — отчего же они отвратны вам здесь?

Поймите и их. Тюрьма для них — *дом родной*. Как ни приласкивает их власть, как ни смягчает им наказания, как ни амнистирует — внутренний рок приводит их снова и снова сюда... Не им ли и первое слово в законодательстве Архипелага? Одно время у нас и на воле право собственности так успешно изгонялось (потом изгонщикам самим понравилось *иметь*) — почему ж должно оно терпеться в тюрьме? Ты зазевался, ты вовремя не съел своего сала, не поделился с друзьями сахаром и табаком — теперь блатные ворошат твой *sigor*, чтоб исправить твою моральную ошибку. Дав тебе *на сменку* жалкие отопки вместо твоих фасонных сапог, робу замазанную вместо твоего свитера, они не надолго взяли эти вещи и себе: сапоги твои — повод пять раз проиграть их и выиграть в карты, а свитер завтра *толкнут* за литр водки и за круг колбасы. Через сутки и у них ничего не будет, как и у тебя. Это — второе начало термодинамики: уровни должны сглаживаться...

Не имейте! Ничего не имейте! — учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не вонмем мы, жадные, этой простой проповеди? Не поймём, что имуществом губим душу свою?

Ну разве селёдка пусть греется в твоём кармане до пересылки, чтобы здесь не кланчить тебе попить. А хлеб и сахар выдали на два дня сразу — съешь их в один приём. Тогда никто не украдёт их. И забот нет. И будь как птица небесная!

Тó имей, что можно всегда пронести с собой: знай языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком твоим — твоя память. Запоминай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост.

Оглянись — вокруг тебя люди. Может быть, одного из них ты будешь всю жизнь потом вспоминать и локти кусать, что не расспросил. И меньше говори — больше услышишь. Тянутся с острова на остров Архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они выются, касаются друг друга одну ночь вот в таком стучащем полутёмном ва-

гоне, потом опять расходятся навеки — а ты ухо приклони к их тихому жужжанию и к ровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает — веретено жизни.

Каких только диковинных историй ты здесь не услышишь, чему не посмеёшься!

Вот этот французик подвижной около решётки — что он всё крутится? чему удивляется? чего до сих пор не понимает? Разъяснить ему! А между тем и расспросить: как попал? Нашёлся кто-то с французским языком, и мы узнаём: Макс Сантер, французский солдат. Вот такой же вострый и любопытный был он и на воле, в своей *douce France*. Говорили ему по-хорошему — не крутись, а он всё околачивался около пересыльного пункта для русских репатрируемых. Тогда угостили его советские выпить, и с некоторого момента он ничего не помнит. Очнулся уже в самолёте, на полу. Увидел себя — в красноармейской гимнастёрке и брюках, а над собой сапоги конвоира. Теперь ему объявили десять лет лагерей, но это же, конечно, злая шутка, это разъяснится?.. О, да, разъяснится, голубчик, жди! (Ему предстоит ещё лагерная судимость, двадцать пять лет, и из Озёрлага он освободится только в 1957.) Ну, да такими случаями в 1945—1946 годах не удивишь.

То сюжет был франко-русский, а вот — русско-французский. Да нет, чисто русский, пожалуй, потому что таких колея кто ж кроме русского напетляет? Во всякие времена росли у нас люди, которые не вмещались, как Меншиков у Сурикова в берёзовскую избу. Вот Иван Коверченко — и поджар, и роста среднего, а всё равно — не вмещается. А потому что детинка был кровь с молоком, да подбавил чёрт горилки. Он охотно рассказывает о себе, и со смехом. Такие рассказы — клад, их — слушать. Правда, долго не можешь угадать: за что ж его арестуют и почему он — политический. Но из «политического» не надо себе лакировать фестивального значка. Не всё ль равно, какими граблями захватили?

Как все хорошо знают, к химической войне подкрадывались немцы, а не мы. Поэтому, при откате с Кубани, очень было неприятно, что из-за каких-то растяп в боепитании мы оставили на одном аэродроме штабеля химических бомб — и немцы могли на этом разыграть международный скандал. Тогда-то старшему лейтенанту Коверченко, родом из Краснодара, дали двадцать человек парашютистов и сбросили в тыл к немцам, чтоб он все эти многовредные бомбы закопал в землю. (Уже догадались слушатели и зевают: дальше он попал в плен, теперь — изменник родины. А ни хрёнышка подобного!) Коверченко задание выполнил превосходно, со всей двадцаткой без потерь пересёк фронт назад, и представлен был к Герою Советского Союза.

Но ведь представление ходит месяц и два, — а если ты в этого Героя тоже не помещаешься? «Героя» дают тихим мальчикам, отличникам боевой и политической подготовки — а у тебя если душа горит, выпить хоч-ца, а — нечего? Да если ты Герой всего Союза — что ж они, гады, скупятся тебе литр водки добавить? И Иван Коверченко сел на лошадь и, по правде ничего о Калигуле не зная, въехал на лошади на второй этаж к городскому военкому чи коменданту: водки, мол, выпииши! (Он смекнул, что так будет попредставительней, как бы больше подобать Герою, и отказать трудней.) За это и посадили? — Нет, что вы! За это был снижен с Героя до Красного Знамени.

Очень Коверченко нуждался выпить, а не всегда бывало, и приходилось кумекать. В Польше помешал он немцам взорвать один мост — и почувствовал этот мост как бы своим, и пока, до подхода нашей комендатуры, положил с поляков плату за проход и проезд по мосту: ведь без меня у вас его б уже не было, заразы! Сутки он эту плату собирал (на водку), надоело, да и не торчать же тут, — и предложил капитан Коверченко окружным полякам справедливое решение: мост этот у него *купить*. (За это и сел? — Не-ет.) Не много он

и просил, но поляки жались, не собрались. Бросил пан капитан мост, чёрт с вами, ходите бесплатно.

В 1949 году он был в Полоцке начальником штаба парашютного полка. Очень не любил майора Коверченко политотдел дивизии за то, что на политвоспитание он клал. Раз попросил он характеристику для поступления в Академию, но когда дали — заглянул и швырнул им на стол: «С такой характеристикой мне не в Академию, а к бандеровцам идти!» (За это?... — За это вполне могли десятку сунуть, но отпуск уволил. И что сам в пьяном виде гнал грузовую машину и разбил. И дали ему десять... суток губы (гауптвахты). Впрочем, охраняли его свои же солдаты, они его любили беззаветно и отпускали с «губы» гулять в деревню. И так и быть стерпел бы он эту «губу», но стал ему политотдел ещё грозить судом! Вот эта угроза потрясла и оскорбила Коверченко: значит, бомбы хоронить — Иван лети? а за поганую полуторку — в тюрьму? Ночью он вылез в окно, ушёл на Двину, там знал спрятанную моторку своего приятеля и угнал её.

Оказался он не пьянчужка с короткой памятью: теперь за всё, что политотдел ему причинял, он хотел мстить: и в Литве бросил лодку, пошёл к литовцам просить: «братцы, отведите к партизанам! примите, не пожалеете, мы им накрутим!» Но литовцы решили, что он подослан.

Был у Ивана зашит аккредитив. Он взял билет на Кубань, однако подъезжая к Москве, уже сильно напился в ресторане. Поэтому, из вокзала выйдя, прищурился на Москву и велел таксёру: «Вези-ка меня в посольство!» — «В какое?» — «Да хрен с ним, в любое». — И шофёр привёз. — «Эт какое ж?» — «Французское». — «Ладно».

Может быть его мысль сбивалась, и намерения к посольству у него сперва были одни, а теперь стали другие, но ловкость и сила его ничуть не охлели: он не напугал приворотного милиционера, тихонько обошёл в переулок и взмахнул на гладкий двухростовый забор. Во дворе посольства пошло легче: никто его не обнаружил и не задержал, он прошёл внутрь, миновал комнату, другую, и увидел накрытый стол. Много было на столе, но больше всего его поразили груши, соскучился он по ним, напихал теперь все карманы кителя и брюк. Тут вошли хозяева ужинать. «Эй вы, французы! — стал на них первый наседать и кричать Коверченко. Подступило ему, что Франция ничего хорошего за последние сто лет не совершила. — Вы почему ж революции не делаете? Вы что ж де Голля к власти тянете? А мы вас — кубанской пшеничкой снабжай? Не-вый-дет!!» — «Кто вы? Откуда?» — изумились французы. Сразу беря верный тон, Коверченко нашёлся: «Майор МГБ». Французы встревожились: «Но всё равно вы не должны врываться. Вы — по какому делу?» — «Да я вас в рот...!!» — объявил им Коверченко уже напрямик, от души. И ещё немного перед ними помолодцевал, да заметил, что из соседней комнаты уже звонят о нём по телефону. И хватило у него трезвости начать отступление, но — груши стали у него выпадать из карманов! — и позорный смех преследовал его...

А впрочем стало у него сил не только уйти из посольства целым, но и куда-то дальше. На другое утро проснулся он на Киевском вокзале (не в Западную ли Украину ехать собрался?) — и тут вскоре его взяли.

На следствии бил его сам Абакумов, рубцы на спине вздулись толщиной в руку. Министр бил его, разумеется, не за груши и не за справедливый упрёк французам, а добивался: кем и когда завербован. И срок ему вкатили двадцать пять.

Много таких рассказов, но, как и всякий вагон, арестантский затихает в ночи. Ночью не будет ни рыбы, ни воды, ни оправки.

И тогда, как всякий иной вагон, его наполняет ровный колёсный

шум, ничуть не мешающий тишине. И тогда, если ещё и конвойный ушёл из коридора, можно из третьего мужского купе тихо поговорить с четвёртым женским.

Разговор с женщиной в тюрьме — он совсем особенный. В нём благородное что-то, даже если говоришь о статьях и сроках.

Один такой разговор шёл целую ночь, и вот при каких обстоятельствах. Это было в июле 1950 года. На женское купе не набралось пассажирок, была всего одна молодая девушка, дочь московского врача, посаженная по 58-10. А в мужских занялся шум: стал конвой сгонять всех зсков из трёх купе в два (уж по сколько там сгрудили — не спрашивай). И ввели какого-то преступника, совсем не похожего на арестанта. Он был прежде всего не острижен — и волнистые светло-жёлтые волосы, истые кудри, вызывающе лежали на его породистой большой голове. Он был молод, осанист, в военном английском костюме. Его провели по коридору с оттенком почтения (конвой сам робел перед инструкцией, написанной на конверте его дела) — и девушка успела это всё рассмотреть. А он её не видел (и как же потом жалел!).

По шуму и суетоке она поняла, что для него освобождено особое купе — рядом с ней. Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более ей захотелось с ним поговорить. Из купе в купе увидеть друг друга в вагон-заке невозможно, а услышать при тишине можно. Поздно вечером, когда стало стихать, девушка села на край своей скамьи перед самой решёткой и тихо позвала его (а может быть сперва напела тихо. За всё это конвой должен был бы её наказать, но конвой уgomонился, в коридоре не было никого). Незнакомец услышал и, наученный ею, сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая одну и ту же трёхсантиметровую доску, а говорили через решётку, тихо, в огиб этой доски. Они были так близки головами и губами, как будто целовались, а не могли не только коснуться друг друга, но даже посмотреть.

Эрик Арвид Андерсен понимал по-русски уже вполне сносно, говорил же со многими ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке свою удивительную историю (мы ещё услышим её на пересылке), она же ему — простенькую историю московской студентки, получившей 58-10. Но Арвид был захвачен, он спрашивал её о советской молодёжи, о советской жизни — и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых западных газет и из своего официального визита сюда.

Они проговорили всю ночь — и всё в эту ночь сошлось для Арвида: необычный арестантский вагон в чужой стране; и напевное ночное постукивание поезда, всегда находящее в нашем сердце отзыв; и мелодичный голос, шёпот, дыхание девушки у его уха — у самого уха, а он не мог на неё даже взглянуть! (И женского голоса он уже полтора года вообще не слышал.)

И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз... (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого экскурсовода.)

Ведь это всё Россия: и арестанты на рельсах, отказавшиеся от жалоб; и девушка за стеной сталинского купе; и ушедший спать конвой; груши, выпавшие из кармана, закопанные бомбы и конь, взведённый на второй этаж.

* * *

— Жандармы, жандармы! — обрадованно кричали арестанты. Они радовались, что дальше их будут сопровождать обходительные жандармы, а не конвой.

Опять я кавычки забыл поставить. Это рассказывает сам Короленко⁷. Мы, правда, голубым фуражкам не радовались. Но кому не обрадуешься, если в вагон-заке попадешь под мятник.

Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо — сесть, а сойти — отчего же? — скидывай вещи и прыгай. Не то с арестантом. Если местная тюремная охрана или милиция не придут за ним или опоздают на две минуты, — тю-тю! — поезд тронулся, и теперь везут этого грешного арестанта — до следующей пересылки. И хорошо, если до пересылки — там тебя опять кормить начнут. А то — до конца вагонного маршрута, там в пустом вагоне продержат часиков восемнадцать да везут назад с новым набором, и опять, может быть, не выйдут за тобой — и опять в тупик, и опять сидеть, и всё это время ведь не кормят! Ведь на тебя выписали до первого взятия, бухгалтерия не виновата, что тюрьма проворонила, ты ведь числишься уже за Тулуном. И конвой своими хлебами тебя кормить не обязан. И качают тебя шесть раз (бывало!): Иркутск — Красноярск, Красноярск — Иркутск, Иркутск — Красноярск, так увидишь на перроне Тулуна картуз голубой — готов на шею броситься: спасибо, роденький, что выручил!

В вагон-заке и за двое суток так изморишься, задохнёшься, изомлеешь, что перед большим городом сам не знаешь: то ли б ещё помучиться, да скорей доехать, то ль отпустили б размяться маленько, на пересылку.

Но вот завозился конвой, забегал. Выходят в шинелях, стучат прикладами. Значит, выгружают весь вагон.

Сперва конвой станет кругом у вагонных ступенек, и едва ты с них скатишься, свалишься, сорвёшься, — конвоиры дружно и оглушительно кричат тебе со всех сторон (так учены): «Садись! Садись! Садись!» Это очень действует, когда в несколько глоток и не дают тебе поднять глаз. Как под разрывами снарядов, ты невольно корчишься, спешаешь (а куда тебе спешить?), жмёшься к земле и садишься, догнав тех, кто слез раньше.

«Садись!» — очень ясная команда, но если ты арестант начинающий, ты её ещё не понимаешь. В Иванове на запасных путях я по команде этой с чемоданом в обнимку (если чемодан сработан не в лагере, а на воле, у него всегда рвётся ручка и всегда в крутую минуту) перебежал, поставил его на землю долгой стороной и, не углядев, как сидели передние, сел на чемодан — не мог же я в офицерской шинели, ещё не такой уж грязной, ещё с необрезанными полами, сесть прямо на шпалы, на тёмный промазученный песок! Начальник конвоя — румяная ряжка, добротное русское лицо, разбежался — я не успел понять, что он? к чему? — и хотел, видно, святым сапогом в окаянную спину, но что-то удержало — не пожалел своего наблещенного носка, стукнул в чемодан и проломил крышку. «Са-дись!» — пояснил он. И только тут меня озарило, что как башня я возвышаюсь среди окружающих эков — и ещё не успев спросить: «А как же сидеть?», я уже понял, как, и берегомой своей шинелью сел, как все люди, как сидят собаки у ворот, кошки у дверей.

(Этот чемодан у меня сохранился, я и теперь, когда попадётся, провожу пальцами по его рваной дыре. Она ведь не может зажить, как заживает на теле, на сердце. Вещи памятьнее нас.)

И эта посадка — она тоже продумана. Если сидишь на земле задом, так что колени твои возвышаются перед тобой, то центр тяжести — сзади, подняться трудно, а вскочить невозможно. И ещё сажают нас потеснее прижавшись, чтоб друг другу мы больше мешали. Захоти мы все сразу броситься на конвой, — пока зашевелимся, нас перестреляют прежде.

⁷ «История моего современника» (Собрание сочинений. М. 1955, т. VII, стр. 166).

Сажают ждать «воронка» (он возит партиями, всех ведь не убе­рёт) или пешего отгона. Сажать стараются в скрытом месте, чтоб меньше видели вольные, но иногда посадят неловко прямо на перроне или на открытой площадке (в Куйбышеве так). Вот здесь — испытание для вольных: мы-то разглядываем их с полным правом, во все чест­ные глаза, а им на нас как поглядеть? С ненавистью? — совесть не по­зволяет (ведь только советские писатели и журналисты верят, что люди сидят «за дело»). С сочувствием? с жалостью? — а ну-ка фами­лию запишут? И срок оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане («читайте, завидуйте, я гражданин») опускают свои винов­ные головы и стараются вовсе нас не видеть, как будто место пустое. Смелей других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, — и отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам. Да ещё не боятся бывшие лагерники, бытовики, конечно. Лагерники знают: «Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет», и, смотришь, кинут пачку папирос, чтоб и им так кинули в их следую­щий срок. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадёт на землю, пачка крутнёт по воздуху под самую нашу гуцу, а конвой тут же заклацает затворами — на старуху, на доброту, на хлеб: «Эй, про­ходи, бабка!»

И хлеб святой, преломленный, остаётся лежать в пыли, пока нас не угонят.

Вообще, эти минуты — сидеть на земле на станции — из наших лучших минут. Помню, в Омске нас посадили так на шпалах, между двумя долгими товарными составами. В этот прогон никто не захо­дил (наверно, выслали в оба конца по солдату: «Нельзя сюда!») А со­ветский человек и на воле воспитан подчиняться человеку в шинели). Смеркалось. Был август. Станционная масляная галья ещё не успела остыть от дневного солнца и грела нас в сиденья. Вокзал был не ви­ден нам, но где-то очень близко за поездами. Оттуда гремела радиола, весёлые пластинки, и слитно гудела толпа. И почему-то не казалось уни­зительно сидеть сплоченной грязной кучкой на земле в каком-то закутке; не издевательски было слушать танцы чужой молодёжи, ко­торых нам уже никогда не танцевать; представлять, что кто-то кого-то на перроне сейчас встречает, провожает, и может быть даже с цветами. Это было двадцать минут почти свободы: густел вечер, за­жигались первые звёзды, красные и зелёные огни на путях, звучала музыка. Продолжается жизнь без нас — и даже уже не обидно.

Полюби такие минуты — и легче станет тюрьма. А то ведь разор­вёт от злости.

Если до «воронка» перегонять эзков опасно, рядом — дороги и люди, — то вот ещё хорошая команда из конвойного устава: «Взяц-ца под руки!» Ничего в ней нет уни­зительного — взяты под руки! Стари­кам и мальчишкам, девушкам и старухам, здоровым и калекам. Если одна твоя рука занята вещами — под эту руку тебя возьмут, а ты бе­ришь другую. Теперь вы сжались вдвое плотнее, чем в обычном строю, вы сразу отяжелели, вы все стали хромы, на перевесе от вещей, от неловкости с ними, вас всех качает неверно. Грязные, серые, нелепые существа, вы идёте как слепцы, с кажущейся нежностью друг ко дру­гу — карикатура на человечество!

А «воронка», может быть, и вовсе нет. А начальник конвоя, мо­жет быть, трус, он боится, что не доведёт — и вот так, отяжелённые, болтаясь на ходу, стучаясь о вещи — вы полетёте и по городу, до самой тюрьмы.

Есть и ещё команда — карикатура уже на гусей: «Взяться за пят­ки!» Это значит, у кого руки свободны — каждой рукой взять себя за погу около щиколотки. И теперь — «шагом марш!» (Ну-ка, читатель, отложите книгу, пройдите по комнате!.. И как? Скорость какая? Что видели вокруг себя? А как насчёт побега?) Со стороны представляете три-четыре десятка таких гусей? (Киев, 1940.)

На улице не обязательно август, может быть — декабрь 1946, а вас гонят без «воронка» при сорока градусах мороза на Петропавловскую пересылку. Как легко догадаться, в последние часы перед городом конвой вагон-зака не трудился водить вас на оправку, чтоб не мारаться. Ослабевшие от следствия, схваченные морозом, вы теперь почти не можете удержаться, особенно женщины. Ну так что ж! Это лошади надо остановиться и распереться, это собаке надо отойти и поднять ногу у забора. А вы, люди, можете и на ходу, кого нам стесняться в своём отечестве? На пересылке просохнет... Вера Корнеева нагнулась поправить ботинок, отстала на шаг — конвоир тотчас притравил её овчаркой, и овчарка через всю зимнюю одежду укусила её в ягодицу. Не отставай! А узбек упал — и его бьют прикладами и сапогами.

Не беда, это не будет сфотографировано для «Дейли Экспресс». И начальника конвоя до его глубокой старости никто никогда не будет судить.

* * *

И «воронки» тоже пришли из истории. Тюремная карета, описанная Бальзаком, — чем не «воронок»? Только медленней тащится и не набивают так густо.

Правда, в 20-е годы ещё гоняли арестантов пешими колоннами по городам, даже по Ленинграду, на перекрестках они останавливали движение. («Доворовались?» — корили их с тротуаров. Ещё ж никто не знал великого замысла канализации...)

Но, живой к техническим веяниям, Архипелаг не опоздал перенять чёрного ворона, а ласковой — «воронка». На ещё булыжные мостовые наших улиц первые «воронки» вышли с первыми же грузовиками. Они были плохо подрессорены, в них сильно трясло — но и арестанты становились не хрустальные. Зато укупорка уже тогда, в 1927, была хороша: ни единой щёлки, ни электрической лампочки внутри, уже нельзя было ни дохнуть, ни глянуть. И уже тогда набивали коробки «воронок» стоя до отказа. Это не так, чтобы было нарочито задумано, а — колёс не хватало.

Много лет они были серые стальные, откровенно тюремные. Но после войны в столицах спохватились — стали красить их снаружи в радостные тона и писать сверху: «Хлеб» (арестанты и были хлебом строительства), «Мясо» (верней бы написать — «кости»), а то и «Пейте советское шампанское!».

Внутри «воронок» может быть просто бронированным кузовом — пустым вагоном. Может иметь скамейки вкруговую вдоль стен. Это — вовсе не удобство, это хуже: втолкают столько же людей, сколько помещается стоймя, но уже друг на друга как багаж, как тук на тук. Могут «воронки» иметь в задке бокс — узкий стальной шкаф на одного. И могут целиком быть боксированы: по правому и левому борту одиночные шкафики, они запираются как камеры, а коридор для вертухая.

Такого сложного пчелиного устройства и вообразить нельзя, глядя на хохочущую девицу с бокалом: «Пейте советское шампанское!»

В «воронок» вас загоняют всё с теми же окриками конвоиров со всех сторон: «Давай! Давай! Быстрее!» — чтоб вам некогда было оглянуться и сообразить побег, вас загоняют совом да пихом, чтобы вы с мешком застряли в узкой дверце, чтоб стукнулись головой о притолоку. Защёлкивается с усилием стальная задняя дверь — и поехали!

Конечно, в «воронке» редко возьят часами, а — двадцать — тридцать минут. Но и швыряет же, но и костоломка, но и бока же намнёт вам за эти полчаса, но голова ж пригнута, если вы рослый — вспомнишь, пожалуй, уютный вагон-зак.

А ещё «воронок» — это новая перетасовка, новые встречи, из которых самые яркие, конечно, — с блатными. Может быть, вам не пришлось быть с ними в одном купе, может быть, и на пересылке вас не сведут в одну камеру, — но здесь вы отданы им.

Иногда так тесно, что даже и уркам несручно бывает *курочить*. Ноги, руки ваши между тел соседей и мешков зажаты как в колодцах. Только на ухабах, когда всех перетряхивает, отбивая печёнки, меняет вам и положение рук-ног.

Иногда — попросторнее, урки за полчаса управляют проверить содержимое всех мешков, отобрать себе *бациллы* и лучшее из *барахла*. От драки с ними скорее всего вас удержат трусливые и благоразумные соображения (и вы по крупцам уже начинаете терять свою бессмертную душу, всё полагая, что главные враги и главные дела где-то ещё впереди, и надо для них побережся). А может быть вы размахнёте разок — и вам между рёбрами всадят нож. (Следствия не будет, а если будет — блатным оно ничем не грозит: только притормозятся на пересылке, не поедут в дальний лагерь. Согласитесь, что в схватке социально-близкого с социально-чуждым не может государство стать за последнего.)

Отставной полковник Лунин, осоавиахимовский чин, рассказывал в бутырской камере в 1946, как при нём в московском «воронке», в день восьмого марта, за время переезда от городского суда до Таганки, урки в очередь изнасиловали девушку-невесту (при молчаливом бездействии всех остальных в «воронке»). Эта девушка утром того же дня, одевшись поприятнее, пришла на суд ещё как вольная (её судили за самовольный уход с работы — да и то гнусно подстроенный её начальником, в месть за отказ с ним жить). За полчаса до «воронка» девушку осудили на пять лет по Указу, втокнули в этот «воронок», и вот теперь среди бела дня, на московских улицах («Пейте советское шампанское!»), обратили в лагерную проститутку. И сказать ли, что учинили это блатные? А не тюремщики? А не тот её начальник?

Блатная нежность! — изнасилованную девушку они тут же и ограбили: сняли с неё парадные туфли, которыми она думала судей поразить, кофточку, перетолкнули конвою, те остановились, сходили водки купили, сюда передали, блатные ещё и выпили за счёт девочки.

Когда приехали в Таганскую тюрьму, девушка надрывалась и жаловалась. Офицер выслушал, зевнул и сказал:

— Государство не может предоставлять вам каждому отдельный транспорт. У нас таких возможностей нет.

Да, «воронки» — это «узкое место» Архипелага. Если в вагон-заках нет возможности отделить политических от уголовных, то в «воронках» нет возможности отделить мужчин от женщин. Как же уркам между двумя тюрьмами не пожить «полной жизнью»?

Ну, а если б не урки — то спасибо «воронкам» за эти короткие встречи с женщинами! Где же в тюремной жизни их увидеть, услышать и прикоснуться к ним, как не здесь?

Как-то раз, в 1950, везли нас из Бутырок на вокзал очень просто — человек четырнадцать в «воронке» со скамьями. Все сели, и вдруг последнюю втокнули к нам женщину, одну. Она села у самой задней дверцы, сперва боязливо — с четырнадцатью мужчинами в тёмном ящике, ведь тут защиты никакой. Но с нескольких слов стало ясно, что все здесь свои, Пятьдесят Восьмая.

Она назвалась: Репина, жена полковника, села вслед за ним. И вдруг молчаливый военный, такой молодой, худенький, что быть бы ему лейтенантом, спросил: «Скажите, а вы не сидели с Антониной Ивановой?» — «Как? А вы — ей муж? Олег?» — «Да». — «Подполковник Иванов?.. Из Академии Фрунзе??» — «Да!»

Что это было за «да»! — оно выходило из перехваченного горла, и страха *узнать* в нём было больше, чем радости. Он пересел к ней рядом. Через две маленьких решётки в двух задних дверях проходили расплывчатые сумеречные пятна летнего дня и на ходу «воронка» пробегали, пробегали по лицу женщины и подполковника. «Я сидела с ней под следствием четыре месяца в одной камере». — «Где она

сейчас?» — «Всё это время она жила только вами! Все её страхи были не за себя, а за вас. Сперва — чтоб вас не арестовали. Потом — чтоб осудили вас помягче». — «Но что с ней сейчас?» — «Она винила себя в вашем аресте. Ей так было тяжело!» — «Где она сейчас?!» — «Только не пугайтесь. — Репина уже положила руки ему на грудь, как родному. — Она этого напряжения не выдержала. Её взяли от нас. У неё немножко... смешалось... Вы понимаете...?»

И крохотная эта бурька, охваченная стальными листами, проезжает так мирно в шестирядном движении машин, останавливаясь перед светофорами, показывая повороты.

С этим Олегом Ивановым я только-только что познакомился в Бутырках, и вот как. Согнали нас в вокзальный бокс и приносили из камеры хранения вещи. Подозвали к двери разом его и меня. За открытую дверь в коридоре надзирательница в сером халате, разворачивая содержимое его чемодана, вытряхнула оттуда на пол золотой погон подполковника, уцелевший невесть как один, и сама не заметила его, наступила ногой на его большие звёзды.

Она попирала его ботинком, как для кинокадра.

Я показал ему: «Обратите внимание, товарищ подполковник!»

Иванов потемнел. У него ведь ещё было понятие — беспорочная служба.

И вот теперь — о жене.

Это всё ему надо было вместить в какой-нибудь один час.

Глава 2

ПОРТЫ АРХИПЕЛАГА

Разверните на большом столе просторную карту нашей Родины. Поставьте жирные чёрные точки на всех областных городах, на всех железнодорожных узлах, во всех перевальных пунктах, где кончаются рельсы и начинается река, или поворачивает река и начинается пешая тропа. Что это? вся карта усижена заразными мухами? Вот это и получилась у вас величественная карта портов Архипелага.

Это, правда, не те феерические порты, куда увлекал нас Александр Грин, где пьют ром в тавернах и ухаживают за красотками. И ещё не будет здесь — тёплого голубого моря (воды для купанья здесь — литр на человека, а чтоб удобней мыться — четыре литра на четверых в один таз, и сразу мойтесь!). Но всей прочей портовой романтики — грязи, насекомых, ругани, баламутья, многоязычья и драк — тут с лихвой.

Редкий эзек не побывал на трёх — пяти пересылках, многие припомнят с десяток их, а сыны ГУЛАГа начтут без труда и полусотню. Только перепутываются они в памяти всем своим схожим: неграмотным конвоем; непутёвым выкликиванием по делам; долгим ожиданием на припёке или под осеннею морозгою; ещё дольшим *шмоном* с разведением; нечистоплотной стрижкой; холодными скользкими банями; зловонными уборными; затхлыми коридорами; всегда тесными, душными, почти всегда тёмными и сырыми камерами; теплотой человеческого мяса с двух сторон от тебя на полу или на нарах; коньками изголовий, сбитыми из досок; сырым, почти жидким хлебом; баландой, сваренной как бы из силоса.

А у кого память чёткая и отливает воспоминания одно от другого особо, — тому теперь и по стране ездить не надо, вся география хорошо у него уложилась по пересылкам. Новосибирск? Знаю, был. Крепкие такие бараки, рубленные из толстых брёвен. Иркутск? Это где окна несколько раз кирпичами закладывали, видать, какие при царе были, и каждую кладку отдельно, и какие продушины остались. Вологда? Да, старинное здание с башнями. Уборные одна над другой, а деревянные перекрытия гнилые, и сверху так и течёт на нижних.

Усмань? А как же. Вшивая вонючая тюряга, постройка старинная со сводами. И ведь так её набивают, что когда на этап начнут выводить — не поверишь, где они тут все помещались, хвост на полгорода.

Такого знатока вы не обидьте, не скажите ему, что знаете, мол, город без пересыльной тюрьмы. Он вам точно докажет, что городов таких нет, и будет прав. Сальск? Так там в КПЗ пересыльных держат вместе со следственными. И в каждом райцентре — так, чем же не пересылка? В Соль-Илецке? Есть пересылка! В Рыбинске? А тюрьма № 2, бывший монастырь? Ох, покойная, дворы мощёные пустые, старые плиты во мху, в бане бадейки деревянные чистенькие. В Чите? Тюрьма № 1. В Наушках? Там не тюрьма, но лагерь пересыльный, всё равно. В Торжке? А на горе, в монастыре тоже.

Да пойми ты, милый человек, не может быть города без пересылки! Ведь суды же работают везде! А в лагерь как их везти — по воздуху?

Конечно, пересылка пересылке не чета. Но какая лучше, какая хуже — доспориться невозможно. Соберутся три-четыре зэка, и каждый хвалит обязательно «свою».

— Да хоть Ивановская не уж такая знатная пересылка, а спроси, кто там сидел зимой с тридцать седьмого на тридцать восьмой. Тюрьму не топили — и не только не мёрзли, но на верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стёкла в окнах, чтоб не задохнуться. В двадцать первой камере вместо положенных двадцати человек сидело *триста двадцать три!* Под нарами стояла вода, и настелены были доски по воде, на этих досках и лежали. А из выбитых окон туда-то как раз морозом и тянуло. Вообще там, под нарами, была полярная ночь: ещё ж света никакого, всякий свет загородили кто на нарах лежал и кто между нар стоял. По проходу к параше пройги было нельзя, лазали по краям нар. Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрёт — его сунут под нары и держат там, аж пока смердит. И на него получают норму. И это бы всё ещё терпеть можно, но вертухов как скипидаром подмазали — и из камеры в камеру так и гоняли, так и гоняли. Только уместись — «Падь-ём! Переходи в другую камеру!». И опять место хватай. А почему там вышла такая перегрузка — три месяца в баню не водили, развели вшей, от вшей — язвы на ногах и тиф. А из-за тифа наложили карантин, и этапов четыре месяца не отправляли.

— Так это, ребята, не в Ивановской дело, а дело в году. В тридцать седьмом — тридцать восьмом, конечно, не то что зэки, но — камни пересыльные стонали. Иркутская тоже — никакая не особенная пересылка, а в тридцать восьмом врачи не осмеливались и в камеру заглянуть, только по коридору идут, а вертухай кричит в дверь: «Которы без сознания — выходи!»

— В тридцать седьмом, ребята, всё это тянулось через Сибирь на Колыму и упиралось в Охотское море да во Владивосток. На Колыму пароходы справлялись только тридцать тысяч в месяц отвозить — а из Москвы гнали и гнали, не считаясь. Ну, собралось сто тысяч, понял?

— А кто считал?

— Кому надо, те считали.

— Если владивостокская Транзитка, то в феврале тридцать седьмого там было не больше сорока тысяч.

— Да по несколько месяцев там вязли. Клопы по нарам шли — как саранча! Воды — полкружки в день: нету её, возить некому! Целая зона была корейцев — все от дизентерии вымерли, все! Из нашей зоны каждое утро по сто человек выносили. Строили морг — так запрягались зэки в телеги и так камень везли. Сегодня ты везёшь, завтра тебя туда же. А осенью навалился сыпнячок тоже. Это и у нас так: мёртвых не отдаём, пока не завоняет — пайку на него получаем. Лекарств — никаких. На зону лезем — дай лекарства! — а с вышек пальба. Потом собрали тифозных в отдельный барак. Не всех туда но-

силь успевали, но и оттуда мало кто выходил. Нары там — двухэтажные, так со вторых нар он же в температуре не может на оправку слезть — на-а нижних льёт! Тысячи полторы там лежало. А санитарами — блатари, у мёртвых зубы золотые рвали. Да они и у живых не стеснялись...

— Да что всё ваш Тридцать Седьмой да тридцать седьмой? А Сорок Девятого в бухте Ванино, в пятой зоне, — не хотели? Тридцать пять тысяч! И — несколько месяцев! — опять же на Колыму не справлялись. Да каждой ночью из барака в барак, из зоны в зону зачем-то перегоняли. Как у фашистов: свистки! крики! — «выходи без последнего!». И всё бегом! Только бегом! За хлебом сотню гонят — бегом! за баландой — бегом! Посуды не было никакой! Баланду во что хочешь бери — в полу, в ладони! Воду цистернами привозили, а разливать не во что, так струёй поливают, кто рот подставит — твоя. Стали драться у цистерны — с вышки огонь! Ну, точно, как у фашистов. Приехал генерал-майор Деревянко, начальник УСВИТЛа⁸, вышел к нему перед толпой военной лётчик, разорвал на себе гимнастёрку: «У меня семь боевых орденов! Кто дал право стрелять по зоне?» Деревянко говорит: «Стреляли и будем стрелять, пока вы себя вести не научитесь»⁹.

— Нет, ребята, это всё — не пересылки. Пересылка — Кировская! Возьмём не такой особенный год, возьмём сорок седьмой, — а на Кировской впахивали людей в камеру два вертуха сапогами, и только так могли дверь закрыть. На трёхэтажных нарах в сентябре (а Вятка — не на Чёрном море) все сидели голые от жары — потому сидели, что лежать места не было: один ряд сидел в головах, один в ногах. И в проходе на полу — в два ряда сидели, а между ними стояли, потом менялись. Котомки держали в руках или на коленях, положить некуда. Только блатные на своих законных местах, вторые нары у окна, лежали привольно. Клопов было столько, что кусали днём, пикировали прямо с потолка. И вст так по неделе терпнешь и по месяцу.

Хочется и мне вмешаться, рассказать о Красной Пресне в августе сорок пятого, в лето Победы, да стесняюсь: у нас всё же на ночь ноги как-то вытягивали, и клопы были умеренные, а всю ночь при ярких лампах нас, от жары голых и потных, мужи кусали — да ведь это не в счёт, и хвастаться стыдно. Обливались мы потом от каждого движения, после еды просто лило. В камере, немного больше средней жилой комнаты, помещалось сто человек, сжаты были, ступить на пол ногой тоже нельзя. А два маленьких окошка были загорожены намордниками из железных листов, это на южную сторону, они не только не давали движения воздуху, но от солнца накалялись и в камеру пытели жаром.

Эту пересылку со славным революционным именем знают москвичи мало, экскурсий туда нет, да какие экскурсии, когда она работает. А близко бы посмотреть, никуда не ездить! — от Новохорошевского шоссе по окружной железке рукой подать.

Как пересылки все бестолковые, так и разговор о пересылках бестолковый, так и эта глава, наверно, получится: не знаешь, за что скорей хвататься, о какой рассказывать, о чём наперёд. И чем больше сбивается людей на пересылке, тем ещё бестолковее. Невыносимо человеку, невыгодно и ГУЛАГу, — а вот оседают люди по месяцам. И становится пересылка чистой фабрикой: хлебные пайки несут навалом в строительных носилках, в каких кирпичи носят. И баланду парующую несут в шестиведерных деревянных бочках, прохватив проушины ломом.

Напряжённей и откровенней многих была Котласская пересылка. Напряжённее потому, что она открывала пути на весь европейский

⁸ УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных (то есть колымских) ИсправТруд-Лагерьей.

⁹ Эй, «Трибунал Военных Преступлений» Бертрана Рассела! Что же вы, что ж вы матерьяльчик не берёте?! Аль вам не подходит?

русский Северо-Восток, откровеннее потому, что это было уже глухо в Архипелаге, и не перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделённый заборами на клетки, и клетки все заперты. Хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали их в 1930 (надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому рассказать), однако и в 1938 далеко не все помещались в хлипких одноэтажных бараках из горбылька, крытых... брезентом. Под осенним мокрым снегом и в заморозки люди жили здесь просто против неба на земле. Правда, им не давали коченеть неподвижно, их всё время считали, бодрили проверками (бывало там двадцать тысяч человек одновременно) или внезапными ночными обысками. — Позже в этих клетках разбивали палатки, в иных возводили срубы — высотой в два этажа, но чтоб разумно удешевить строительство — междуэтажного перекрытия не клали, а сразу громоздили шестиэтажные нары с вертикальными стремянками по бортам, которыми доходяги и должны были карабкаться как матросы (устройство, более приличествующее кораблю, чем порту). — В зиму 1944-45 года, когда все были под крышей, помещалось только семь с половиной тысяч, из них умирало в день — пятьдесят человек, и носилки, носящие в морг, не отдыхали никогда. (Возразят, что это сносно вполне, смертность меньше процента в день, и при таком обороте человек может протянуть до пяти месяцев. Да, но ведь и главная-то косилка — лагерная работа, тоже ведь ещё не начиналась. Эта убыль в две трети процента в день составляет чистую усушку, и не на всяком складе овощей её допустят.)

Чем глубже туда, в Архипелаг, тем разительнее сменяются бетонные порты на свайные пристани.

Карабас, лагерную пересылку под Карагандою, имя которой стало нарицательным, за несколько лет прошло полмиллиона человек (Юрий Карбе был там в 1942 году зарегистрирован уже в четыреста тридцать третьей тысяче). Пересылка состояла из глинобитных низких бараков с земляным полом. Каждодневное развлечение было в том, что всех выгоняли с вещами наружу, и художники белили пол и даже рисовали на нём коврики, а вечером зэки ложились и боками своими стирали и побелку и коврики.

Карабас изо всех пересылок достойнее других был стать музеем, но, увы, уже не существует: на его месте — завод железобетонных изделий.

Княж-Погостский пересыльный пункт (63 градуса северной широты) составил из шалашей, утверждённых на болоте! Каркас из жердей охватывался рваной брезентовой палаткой, не доходящей до земли. Внутри шалаша были двойные нары из жердей же (худо очищенных от сучьев), в проходе — жердевой настил. Через настил днём хлюпала жидкая грязь, ночью она замерзала. В разных местах зоны переходы тоже шли по хлипким качким жёрдочкам, и люди, неуклюжие от слабости, там и сям сваливались в воду и мокредь. В тридцать восьмом году в Княж-Погосте кормили всегда одним и тем же: затирхой из крупяной сечки и рыбных костей. Это было удобно, потому что мисок, кружек и ложек не было у пересыльного пункта, а у самих арестантов тем более. Их подгоняли десятками к котлу и клали затирху черпаками в фуражки, в шапки, в полу одежды.

А в пересыльном пункте Вогвоздино (в нескольких километрах от Усть-Выми), где сидело одновременно пять тысяч человек (кто знал Вогвоздино до этой строчки? сколько таких безызвестных пересылок? умножьте-ка их на пять тысяч!) — в Вогвоздине варили жидко, но мисок тоже не было, однако извернулись (чего не осилит наша смекалка!) — баланду выдавали в *банных тазах* на десять человек сразу, предоставляя им хлебать вперегонки. (Впрочем, и в Котласе так бывало.)

Правда, в Вогвоздине дольше года никто не сидел. (По году — бывало, если доходяга, и все лагеря от него отказываются.)

Фантазия литераторов убога перед туземной бытностью Архипе-

лага. Когда желают написать о тюрьме самое укоризненное, самое очернительское — то упрекают всегда *парашей*. Параша! — это стало в литературе символом тюрьмы, символом унижения, зловония. О, легкомыслы! Да разве параша — зло для арестанта? Это милосерднейшая затея тюремщиков. Весь-то ужас начинается с того мига, когда параша в камере нет.

В тридцать седьмом году в некоторых сибирских тюрьмах не было параш, их не хватало! Их не было подготовлено заранее столько, сибирская промышленность не поспела за широтой тюремного захвата. Для новосозданных камер не оказалось парашных бачков на складах. В камерах же старых параша были, но — древние, маленькие, и теперь пришлось их благоразумно вынести, потому что для нового пополнения они стали ничто. Так, если Минусинская тюрьма была издавна выстроена на пятьсот человек (Владимир Ильич не побывал в ней, он ехал вольно), а теперь в неё поместили десять тысяч, — то значит, и каждая параша должна была увеличиться в двадцать раз! Но она не увеличилась...

Наши русские перья пишут крупнее, у нас пережито уймаща, а не описано и не названо почти ничего, но для западных авторов с их рассматриванием в лупу клеточки бытия, со взбалтыванием аптечного пузырька в снопе проектора — ведь это эпопея, это ещё десять томов «Поисков утраченного времени»: рассказать о смятии человеческого духа, когда в камере двадцатикратное переполнение, а параша нет, а на оправку водят в сутки раз! Конечно, тут много фактуры, им неизвестной: они не найдут выхода мочиться в брезентовый капюшон и совсем уж не поймут совета соседа мочиться в сапог! — а между тем это совет многоопытной мудрости, и никак не означает порчи сапога, и не низводит сапог до ведра. Это значит: сапог надо снять, опрокинуть, теперь завернуть голенище наружу — и вот образуется кругожелобчатая, такая желанная ёмкость! Но зато сколькими психологическими извивами западные авторы обогатили бы свою литературу (без всякого риска банально повторить прославленных мастеров), если бы только знали распорядок той же Минусинской тюрьмы: для получения пищи выдана одна миска на четверых, а питьевой воды наливают кружку на человека в день (кружки есть). И вот один из четверых управился использовать общую миску для облегчения внутреннего давления, но перед обедом отказывается подать свой запас воды на мытьё этой миски. Что за конфликт! Какое столкновение четырёх характеров! какие нюансы! (И я не шучу. Вот так-то и обнажается дно человека. Только русскому перу недосуг это описывать, и русскому глазу читать это некогда. Я не шучу, потому что только врачи скажут, как месяцы в такой камере на всю жизнь губят здоровье человека, хотя б его даже не расстреляли при Ежове и реабилитировали при Хрущёве.)

Ну вот, а мы-то мечтали отдохнуть и размяться в порту! Несколько суток зажатые и скрюченные в купе вагон-зака — как мы мечтали о пересылке! Что здесь мы потянемся, распрямимся. Что здесь мы неторопливо будем ходить на оправку. Что здесь мы вволю попьём и водицы и кипяточку. Что здесь не заставят нас выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами. Что здесь нас накормят горячим приварком. И, наконец, что в баньку сведут, мы окатимся горяченьким, перестанем чесаться. И в «воронке» нам бока околачивало, швыряло от борта к борту, и кричали на нас: «Взяц-ца под руки!», «Взяц-ца за пятки!», а мы подбодрялись: ничего-ничего, скоро на пересылку! вот уж там-то...

А здесь если что по нашим грёзам и сбудется, так всё равно чем-нибудь обгажено.

Что ждёт нас в бане? Этого никогда не узнаешь. Вдруг начинают стричь наголо женщин (Красная Пресня, 1950, ноябрь). Иди нас, чере-

ду голых мужчин, пускают под стрижку одним парикмахершам. В вологодской парной дородная тётя Мотя кричит: «Становись, мужики!» — и всю шеренгу обдаёт из трубы паром. А иркутская пересылка спорит: природе больше соответствует, чтобы вся обслуга в бане была мужская, и женщинам между ногами промазывал бы санитарным квачом — мужик. Или на Новосибирской пересылке зимой в холодной мыльной из кранов идёт одна холодная вода; арестанты решаются требовать начальство; приходит капитан, подставляет, не брезгуя, руку под кран: «А я говорю, что вода — горячая, понятно?» Уже надоело рассказывать, что бывают бани и вовсе без воды; что в прожарке сгорают вещи; что после бани заставляют бежать босиком и голому по снегу за вещами (контрразведка 2-го Белорусского фронта в Бродницах, 1945, сам бегал).

С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть не надзиратели, не погоны и мундиры, которые всё-таки нет-нет, да держатся же какого-то писаного закона. Тут владеют вами — *придурки* пересылки. Тот хмурый банщик, который придёт за вашим этапом: «Ну, пошли мыться, господа фашисты!»; и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет; и тот выбритый, но с чубиком *воспитатель*, который газеткой скрученной себя по ноге постукивает, а сам косится на ваши мешки; и ещё другие неизвестные вам пересылочные придурки, которые рентгеновскими глазищами так и простигают ваши чемоданы, — до чего ж они друг на друга похожи! и где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути? — не таких чистеньких, не таких приумытых, но таких же скотин мордатых с безжалостным оскалом?

Ба-а-а! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утёсовские ўрки! Это же опять Женька Жоголь, Серёга-Зверь и Димка-Кишкеня, только они уже не за решёткой, умылись, оделись в доверенных лиц государства и с *понтом*¹⁰ наблюдают за дисциплиной — уже нашей. Если с воображением всматриваться в эти морды, то можно даже представить, что они — русского нашего корня, когда-то были деревенские ребята, и отцы их звались Климы, Прохоры, Гурии, и у них даже устроительство на нас похуже: две ноздри, два радужных ободочка в глазах, розовый язык, чтобы заглатывать пищу и выговаривать некоторые русские звуки, только складываемые в совсем новые слова.

Всякий начальник пересылки догадывается до этого: за все штатные работы зарплату можно платить родственникам, сидящим дома, или делить между тюремным начальством. А из *социально-близких* — только свистни, сколько угодно охотников исполнять эту работу за то одно, что они на пересылке *зачалят*ся, не поедут в шахты, в рудники, в тайгу. Все эти нарядчики, писари, бухгалтеры, воспитатели, банщики, парикмахеры, кладовщики, повара, посудомой, прачки, портные по починке белья — это вечно-пересыльные, они получают тюремный паёк и числятся в камерах, остальной приварок и прижарок они и без начальства выловят из общего котла или из сидоров пересылаемых эсков. Все эти пересылочные придурки основательно считают, что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним ещё не дощупанными, и они дурят нас всласть. Они нас здесь и обыскивают вместо надзирателей, а перед обыском предлагают сдавать деньги на хранение, и серьёзно пишут какой-то список — и только мы и видели этот список вместе с денежками! — «Мы деньги сдавали!» — «Кому?» — удивляется пришедший офицер. — «Да вот тут был какой-то!» — «Кто ж именно?» Придурки не видели... — «Зачем же вы ему сдавали?» — «Мы думали...» — «Индюк думал! Меньше думать надо!» Всё. — Они предлагают нам оставить вещи в предбаннике: «Да никто

¹⁰ С понтом — с очень важным (необходимым) видом.

у вас не возьмёт! кому они нужны!» Мы оставляем, да ведь в баню же и не пронесёшь. Вернулись: джемперов нет, рукавиц меховых нет. «А какой джемпер был?» — «Серенький...» — «Ну, значит мыться пошёл!» — Они и честно берут у нас вещи: за то, чтоб чемодан взять в каптёрку на хранение; за то, чтоб нас тиснуть в камеру без блатных; за то, чтоб скорей отправить на этап; за то, чтоб дольше не отправлять. Они только не грабят нас прямо.

«Так это же не блатные! — разъясняют нам знатоки среди нас. — Это — суки, которые служат пошли. Это — враги честных воров. А честные воры — те в камерах сидят». Но до нашего кроличьего понимания это как-то туго доходит. Ухватки те же, татуировка та же. Может они и враги тех, да ведь и нам не друзья, вот что...

А тем временем посадили нас во дворе под самые окна камер. На окнах намордники, не заглянешь, но оттуда хрипло-доброжелательно нам советуют: «Мужички! Тут порядок такой: отбирают на шмоне всё сыпучее — чай, табак. У кого есть — пуляйте сюда, нам в окно, мы потом отдадим». Что мы знаем? Мы же фраера и кролики. Может, и правда, отбирают чай и табак. Мы же читали в великой литературе о всеобщей арестантской солидарности, узник не может обманывать узника! Обращаются симпатично — «мужички!». И мы пуляем им кисеты с табаком. Чистопородные воры ловят — и хохочут над нами: «Эх, фашисты-дурачки!»

Вот какими лозунгами, хотя и не висящими на стенах, встречает нас пересылка: «Правды здесь не ищи!», «Всё, что имеешь — придётся отдать!». Всё придётся отдать! — это повторяют тебе и надзиратели, и конвоиры, и блатари. Ты придавлен своим неподымаемым сроком, ты думаешь, как тебе отдышаться, а все вокруг думают, как тебя ограбить. Всё складывается так, чтоб угнести политического, и без того подавленного и покинутого. «Всё придётся отдать...» — безнадежно качает головой надзиратель на Горьковской пересылке, и Анс Бернштейн с облегчением отдаёт ему комсоставскую шинель — не просто так, а за две луковицы. Что же жаловаться на блатных, если всех надзирателей на Красной Пресне ты видишь в хромовых сапогах, которых им никто не выдавал? Это всё курочили в камерах блатные, а потом толкали надзирателям. Что же жаловаться на блатных, если «воспитатель» КВЧ¹¹ — блатной и пишет характеристики на политических (КемПерПункт)? В Ростовской ли пересылке искать управу на блатных, если это их извечный родной курень?

Говорят, в 1942 на Горьковской пересылке арестанты-офицеры (Гаврилов, воентехник Щебетин и др.) всё-таки поднялись, били воров и заставили их присмиреть. Но это всегда воспринимается как легенда: в одной ли камере присмиреть? надолго ли присмиреть? а куда ж смотрели голубые фуражки, что чуждые бьют близких? Когда же рассказывают, что на Котласской пересылке в сороковом году уголовники в очереди у ларька вырывали деньги из рук политических, и те стали бить их так, что остановить не удавалось, и тогда на защиту блатных вошла в зону охрана с пулемётами — в этом уже не усомнишься, это — как отлитое!

Неразумные родные! — они мечутся там на воле, деньги занимают (потому что таких денег дома нет), и шлют тебе какие-то вещи, шлют продукты — последняя лепта вдовы, но — дар отравленный, потому что из голодного, зато свободного, он делает тебя беспокойным и трусливым, он лишает тебя того начинающегося просветления, той застывающей твёрдости, которые одни только и нужны перед спуском в пропасть. О, мудрая притча о верблюде и игольном ушке! В небесное царство освобождённого духа не дают тебе пройти эти вещи. И у других, с кем привёз тебя «воронок», ты видишь те же мешки. «Куток сволочей» — уже в «воронке» ворчали на нас блатные, но их

¹¹ КВЧ — Культурно-Воспитательная Часть, отдел лагерной администрации.

было двое, а нас полсотни, и они пока не трогали. А теперь нас вторые сутки держат на пресненском вокзале, на грязном полу, с поджатыми от тесноты ногами, однако никто из нас не наблюдает жизни, а все пекутся, как чемоданы сдать на хранение. Хотя сдать на хранение считается нашим правом, но уступают нарядчики только потому, что тюрьма — московская, и мы ещё не все потеряли московский вид.

Какое облегчение! — вещи сданы (значит, мы *отгадим* их не на этой пересылке, дальше). Только узелки со злосчастливыми продуктами ещё болтаются в наших руках. Нас, бобров, собралось слишком много вместе. Нас начинают растасовывать по камерам. С тем самым Валентином, с которым мы в один день расписались по ОСО и который с умилением предлагал начать в лагере новую жизнь, — нас вталкивают в какую-то камеру. Она ещё не набита: свободен проход и под нарами просторно. По классическому положению вторые нары занимают блатные: старшие — у самых окон, младшие — подальше. На нижних — нейтральная серая масса. На нас никто не нападает. Не оглядываясь, не рассчитав, неопытные, мы лезем по асфальтовому полу под нары — нам будет там даже уютно. Нары низкие, и крупным мужчинам лезть надо по-пластунски, припадая к полу. Подлезли. Вот тут и будем тихо лежать и тихо беседовать. Но нет! В низкой полутьме, с молчным шорохом, на четвереньках, как крупные крысы, на нас со всех сторон крадутся *малолетки* — это совсем ещё мальчишки, даже есть по двенадцати годков, но Кодекс принимает и таких, они уже прошли по воровскому процессу, и здесь теперь продолжают учёбу у воров. Их напустили на нас! Они молча лезут на нас со всех сторон и в дюжину рук тянут и рвут у нас и из-под нас всё наше добро. И всё это совершенно молча, только зло сопя! Мы — в западне: нам не поднытаться, не пошевелинуться. Не прошло минуты, как они вырвали мешочек с салом, сахаром и хлебом — и уже их нет, а мы нелепо лежим. Мы без боя отдали пропитание и теперь можем хоть и остаться лежать, но это уже совсем невозможно. Смешно елозя ногами, мы поднимаемся задами из-под нар.

Трус ли я? Мне казалось, что нет. Я совался в прямую бомбёжку в открытой степи. Решался ехать по просёлку, заведомо заминированному противотанковыми минами. Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения и ещё раз туда возвращаясь за подкалеченным «газиком». Почему же сейчас я не схвачу одну из этих человеко-крыс и не терзану её розовой мордой о чёрный асфальт? Он мал? — ну, лезь на старших. Нет... На фронте укрепляет нас какое-то дополнительное сознание (может быть совсем и ложное): нашего армейского единства? моей уместности? долга? А здесь ничего не задано, устава нет, и всё открывать на ощупь.

Встав на ноги, я оборачиваюсь к их старшему, к *пахану*. На вторых нарах у самого окна все отнятые продукты лежат перед ним: крысы-малолетки ни крохи не положили себе в рот, у них дисциплина. Та передняя сторона головы, которая у двуногих обычно называется лицом, у этого пахана вылеплена природой с отвращением и нелюбовью, а может быть от хищной жизни стала такая — с кривой отвислостью, низким лбом, первобытным шрамом и современными стальными коронками на передних зубах. Глазками ровно того размера, чтобы видеть всегда знакомые предметы и не удивляться красота́м мира, он смотрит на меня как кабан на оленя, зная, что с ног сшибить может меня всегда.

Он ждёт. И что же я? Прыгаю наверх, чтобы достать эту харю хоть раз кулаком и шлёпнуться вниз в проход? Увы, нет.

Подлец ли я? Мне до сих пор казалось, что нет. Но вот мне обидно, ограбленному, униженному, опять брюхом ползти под нары. И я возмущённо говорю пахану, что, отняв продукты, он мог бы нам хоть дать место на нарах. (Ну, для горожанина, для офицера — разве не естественная жалоба?)

И что ж? Пахан согласен. Ведь я этим и отдаю сало; и признаю его высшую власть; и обнаруживаю сходство воззрений с ним — он бы тоже согнал слабейших. Он велит двум серым нейтралам уйти с нижних нар у окна, дать место нам. Они покорно уходят. Мы ложимся на лучшие места. Мы ещё некоторое время переживаем свои потери (на моё галифе блатные не зарятыся, это не их форма, но один из воров уже щупает шерстяные брюки на Валентине, ему нравятся). И лишь к вечеру доходит до нас укоряющий шёпот соседей: как могли мы просить защиты у блатарей, а двух своих загнать вместо себя под нары? И только тут прокалывает меня сознание моей подлости, и заливаает краска (и ещё много лет буду краснеть, вспоминая). Серые арестанты на нижних нарах — это же братья мои, 58-1-б, это пленники. Давно ли я клялся, что на себя принимаю их судьбу? И вот уже сталкиваю под нары? Правда, и они не заступились за нас против блатарей — но почему им надо биться за наше сало, если мы сами не бьёмся? Достаточно жестоких боёв ещё в плену разуверили их в благородстве. Всё же они мне зла не сделали, а я им сделал.

Вот так ударяемся, ударяемся боками и хрюкалками, чтобы хоть с годами стать людьми... Чтобы стать людьми...

* * *

Но даже новичку, которого пересылка лузит и облупливает, — она нужна, нужна! Она даёт ему постепенность перехода к лагерю. В один шаг такого перехода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу разобраться его сознание. Надо постепенно.

Потом пересылка даёт ему видимость связи с домом. Отсюда он пишет первое законное своё письмо: иногда — что он не расстрелян, иногда — о направлении этапа, всегда это первые необычные слова домой от человека, перепаханного следствием. Там, дома, его ещё помнят прежним, но он никогда уже не станет им — и вдруг это молнией прорвётся в какой-то корявой строке. Корявой, потому что, хоть письма с пересылок и разрешены, и висит во дворе почтовый ящик, но ни бумаги, ни карандашей достать нельзя, тем более нечем их чинить. Впрочем, находится разглаженная махорочная обёртка, или обёртка от сахарной пачки, и у кого-то в камере всё же есть карандаш — и вот такими неразборными каракулями пишутся строки, от которых потом пролягут лад или разлад семей.

Безумные женщины иногда по такому письму опрометчиво едут ещё застичнуть мужа на пересылке — хотя свиданья им никогда не дадут, и только можно успеть обременить его вещами. Одна такая женщина дала, по-моему, сюжет для памятника всем женам — и указала даже место.

Это было на Куйбышевской пересылке, в 1950 году. Пересылка располагалась в низине (из которой, однако, видны Жигулёвские ворота Волги), а сразу над ней, обмыкая её с востока, шёл высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, а как к нему подходить извне — нам не было видно снизу. На нём редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. И вот как-то летним и пасмурным днём на круче появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть поводя, она стала рассматривать нашу зону сверху. На разных дворах у нас гуляло в это время три многолюдных камеры — и среди этих густых трёх сотен обезличенных муравьёв она хотела в пропасти увидеть своего! Надеялась ли она, что подскажет сердце? Ей, наверно, не дали свидания — и она взобралась на эту кручу. Её со дворов все заметили и все на неё смотрели. У нас, в котловинке, не было ветра, а там наверху был изрядный. Он откидывал, трепал её длинное платье, жакет и волосы, выявляя всю ту любовь и тревогу, которые были в ней.

Я думаю, что статуя такой женщины, именно там, на холме над пересылкой, и лицом к Жигулёвским воротам, как она и стояла, могла бы хоть немного что-то объяснить нашим внукам¹².

Долго её почему-то не прогоняли — наверно, лень была охране подниматься. Потом полез туда солдат, стал кричать, руками махать — и согнал.

Ещё пересылка даёт арестанту — обзор, широту зрения. Как говорится, хоть есть нечего, да жить весело. В здешнем неугомонном движении, в смене десятков и сотен лиц, в откровенности рассказов и разговоров (в лагере так не говорят, там повсюду боятся наступить на щупальце опера) — ты просвежаешься, просквожаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром. Один какой-нибудь чужак в камере такое тебе открывает, чего б никогда не прочёл.

Вдруг запускают в камеру диво какое-то: высокого молодого военного с римским профилем, с неостриженными вьющимися светло-жёлтыми волосами, в английском мундире — как будто прямо с Нормандского побережья, офицер армии вторжения. Он так гордо входит, словно ожидает, что все перед ним встанут. А оказывается, он просто не ждал, что сейчас войдёт к друзьям: он сидит уже два года, но ещё не побывал ни в одной камере и сюда-то, до самой пересылки, таинственно везен в отдельном купе — а вот негаданно, оплошно или с умыслом, выпущен в нашу общую конюшню. Он обходит камеру, видит в немецком мундире офицера вермахта, зацепляется с ним по-немецки, и вот уже они яростно спорят, готовые, кажется, применить оружие, если бы было. После войны прошло пять лет, да и твержено нам, что на Западе война велась только для вида, и нам странно смотреть на их взаимную ярость: сколько этот немец среди нас лежал, мы, русаки, с ним не сталкивались.

Никто б и не поверил рассказу Эрика Арвида Андерсена, если б не его пощажённая стрижкой голова — чудо на весь ГУЛАГ; да если б не чуждая эта осанка; да не свободный разговор на английском и немецком. По его словам он был сын шведского даже не миллионера, а миллиардера (ну, допустим, добавляя), по матери же — племянник английского генерала Робертсона, командующего английской оккупационной зоной Германии. Шведский подданный, он в войну служил добровольцем в английской армии, и высаживался, верно, в Нормандии, после войны стал кадровым шведским военным. Однако социальные запросы тоже не покидали его, жажда социализма была в нём сильнее привязанности к капиталам отца. С глубоким сочувствием следил он за советским социализмом и даже наглядно убедился в его процветании, когда приезжал в Москву в составе шведской военной делегации, и здесь им устраивали банкеты, и возили на дачи, и там совсем не был им затруднён контакт с простыми советскими гражданами — с хорошенькими артистками, которые ни на какую работу не торопились и охотно проводили с ними время, даже с глазу на глаз. И окончательно убеждённый в торжестве нашего строя, Эрик по возвращении на Запад выступил в печати, защищая и прославляя советский социализм. И вот этим он перебрал и погубил себя. Как раз в

¹² Ведь когда-нибудь же и в памятниках отобразится такая потайная, такая почти уже затерянная история нашего Архипелага! Мне, например, всегда рисуется ещё один: где-то на Колыме, на высоте — огромнейший Сталин, такого размера, каким он сам бы мечтал себя видеть, — с многометровыми усами, с оскалом лагерного коменданта, одной рукой натягивает вожжи, другою размахнулся кнутом стегать по упряжке — упряжке из сотен людей, запряжённых по пятеро и тянущих ямки. На краю Чукотки около Берингова пролива это тоже бы очень выглядело. (Уже это было написано, когда я прочёл «Барельеф на скале» Алдан-Семёнова, даже в цензурной лагерной повести там сходное есть. Рассказывают, что на жигулёвской горе Могутова, над Волгой, в километре от лагеря, тоже был масляными красками на скале нарисован для пароходов огромный Сталин.)

те годы, сорок седьмой — сорок восьмой, изо всех щелей натягивали передовых западных молодых людей, готовых публично отречься от Запада (и ещё, казалось, набрать их десятка бы два, и Запад дрогнет и развалится). По газетной статье Эрик был сочтён подходящим в этом ряду. А служа в то время в Западном Берлине, жену же оставив в Швеции, Эрик по простительной мужской слабости посещал холостую немочку в Восточном Берлине. Тут-то ночью его и повязали (да не про то ли и пословица — «пошёл к куме, да засел в тюрьме»? Давно это наверно так, и не он первый). Его привезли в Москву, где Громыко, когда-то обедавший в доме у отца его в Стокгольме и знакомый с сыном, теперь на правах ответного гостеприимства, предложил молодому человеку публично проклясть и весь капитализм и своего отца, и за это было сыну обещано у нас тотчас же — полное капиталистическое обеспечение до конца дней. Но хотя Эрик материально ничего не терял, он, к удивлению Громыко, возмутился и наговорил оскорбительных слов. Не поверив его твёрдости, его заперли на подмосковной даче, кормили как принца в сказке (иногда «ужасно репрессировали»: переставали принимать заказы на завтрашнее меню и вместо желаемого цыплёнка приносили вдруг антрекот), обставили произведениями Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина и год ждали, что он перекуётся. К удивлению, и этого не произошло. Тогда посадили к нему бывшего генерал-лейтенанта, уже два года отбывшего в Норильске. Вероятно расчёт был, что генерал-лейтенант преклонит голову Эрика перед лагерными ужасами. Но он выполнил это задание плохо или не хотел выполнять. Месяцев за десять совместной сидки он только научил Эрика ломаному русскому языку и поддержал возникшее в нём отвращение к голубым фуражкам. Летом 1950 вызвали Эрика ещё раз к Вышинскому, он отказался ещё раз (совершенно не по правилам попирая бытие сознанием!). Тогда сам Абакумов прочёл Эрику постановление: двадцать лет тюремного заключения (за что?). Они уже сами не рады были, что связались с этим недорослем, но нельзя ж было и отпускать его на Запад. И вот тут-то повезли его в отдельном купе, тут он слушал через стенку рассказ московской девушки, а утром видел в окне гнилосоломенную рязанскую Русь.

Эти два года очень утвердили его в верности Западу. Он верил в Запад слепо, он не хотел признавать его слабостей, он считал несокрушимыми западные армии, непогрешимыми его политиков. Он не верил нашему рассказу, что за время его заключения Сталин решил на блокаду Берлина и она сошла ему вполне благополучно. Молочная шея Эрика и кремовые щёки рдели от негодования, когда мы высмеивали Черчилля и Рузвельта. Так же был уверен он, что Запад не потерпит его, Эрика, заключения; что вот сейчас по сведениям с Куйбышевской пересылки разведка узнает, что Эрик не утонул в Шпрее, а сидит в Союзе — и его выкупят или выменяют. (Этой верой в особенность своей судьбы среди других арестантских судеб он напоминал наших благонамеренных ортодоксов.) Несмотря на жаркие схватки, он звал Панина и меня к себе в Стокгольм при случае («нас каждый знает,— с усталой улыбкой говорил он,— отец мой почти содержит двор шведского короля»). А пока сыну миллиардера нечем было вытираться, и я подарил ему лишнее драгнерное полотенце. Скоро взяли его на этап¹³.

¹³ С тех пор спрашивал я случайно-знакомых шведов или едущих в Швецию: как найти такую семью? слышали ли о таком пропавшем человеке? В ответ мне только улыбались: Андерсен в Швеции — всё равно, что Иванов в России, а миллиардера такого нет. И только сейчас, через двадцать два года, перечитывая эту книгу, я вдруг просветился: да ведь настоящие имя-фамилию ему конечно запретили называть! его конечно же предупредил Абакумов, что в этом случае уничтожит его! И пошёл он по пересылкам как шведский Иванов. И только не запрещёнными побочными деталями своей биографии оставлял в памяти случайных встречных след о своей погубленной жизни. Вернее, спасти её он ещё надеялся — по-человечески, как миллионы кроликов этой книги: пока пересидит, а там возмущённый Запад

А переброска всё идёт! — вводят, выводят, по одному и пачками, гонят куда-то этапы. С виду такое деловое, такое планоосмысленное движение — даже поверить нельзя, сколько в нём чепухи.

В 1949 году создаются Особые лагеря — и вот чьим-то верховным решением массы женщин гонят из лагерей европейского Севера и Заволжья — через Свердловскую пересылку — в Сибирь, в Тайшет, в Озёрлаг. Но уже в пятидесятом году Кто-то нашёл удобным стягивать женщин не в Озёрлаг, а в Дубровлаг — в Темниках, в Мордовии. И вот эти самые женщины, испытывая все удобства гулаговских путешествий, тянутся через эту же самую Свердловскую пересылку — на запад. В пятьдесят первом году создаются новые особлаги в Кемеровской области (Камышлаг) — вот где, оказывается, нужен женский труд! И злополучных женщин мордуют теперь в кемеровские лагеря через ту же заклятую Свердловскую пересылку. Приходят времена высвобождения — но не для всех же! И тех женщин, кто остался тянуть срок среди всеобщего хрущёвского полегчания — качают опять из Сибири через Свердловскую пересылку — в Мордовию: стянуть их вместе будет верней.

Ну да хозяйство у нас внутреннее, островишки все свои, иостояния для русского человека не такие уж протяжные.

Бывало так и с отдельными зэками, беднягами. Шендрик — весёлый крупный парень с незамысловатым лицом, как говорится честно трудился в одном из куйбышевских лагерей и не чуял над собой беды. Но она стряслась. Пришло в лагерь срочное распоряжение — и не чьё-нибудь, а самого министра внутренних дел (откуда министр мог узнать о существовании Шендрика?!!) — немедленно доставить этого Шендрика в Москву, в тюрьму № 18. Его схватили, потащили на Куйбышевскую пересылку, оттуда, не задерживаясь — в Москву, да не в какую-то тюрьму № 18, а со всеми вместе на широко известную Красную Пресню. (Сам-то Шендрик ни про какую № 18 и знать не знал, ему ж не объявляли.) Но беда его не дремала: двух суток не прошло — его дёрнули опять на этап и теперь повезли на Печору. Всё скудной и угрюмой становилась природа за окном. Парень струсил: он знал, что распоряжение министра, и вот так шибко волокут на север, значит, министр имеет на Шендрика грозные материалы. Ко всем изматываниям пути ещё украли у Шендрика в дороге трёхдневную пайку хлеба, и на Печору он приехал пошатываясь. Печора встретила его неприятно: голодного, неустроенного, в мокрый снег погнали на работу. За два дня он ещё и рубахи просушить ни разу не успел, и матраса ещё не набил еловыми ветками, — как велели сдать всё казённое, и опять загребли и повезли ещё дальше — на Воркуту. По всему было видно, что министр решил сгноить Шендрика, ну правда, не его одного, целый этап. На Воркуте не трогали Шендрика целый месяц. Он ходил на общие, от переездов ещё не оправился, но начинал смиряться со своей заполярной судьбой. Как вдруг его вызвали днём из шахты, запыхавшись погнали в лагерь сдавать всё казённое и через час везли на юг. Это уж пахло как бы не личной расправой! Привезли в Москву, в тюрьму № 18. Держали в камере месяц. Потом какой-то подполковник вызвал, спросил: «Да где ж вы пропадаете? Вы правда техник-машиностроитель?» Шендрик признался. И тогда взяли его... на Райские острова! (Да, и такие есть в Архипелаге!)

Это мелькание людей, эти судьбы и эти рассказы очень украшают пересылки. И старые лагерники внушают: лежи и не рыпайся! Кормят здесь гарантиейкой¹⁴, так и горба ж не натрудишь. И когда не гесно, так и поспать вволю. Растянишь и лежи от баланды до балан-

освободит его. Он не понимал крепости Востока. И не понимал, что такого свидетеля, проявившего такую твёрдость, не выданную для рыхлого Запада, — не освободит никогда. А ведь жив, может быть, ещё и сегодня. (Примечание 1972 года.)

¹⁴ Пайка, гарантируемая ГУЛАГом при отсутствии работы.

ды. Неудно, да улёжно. Только тот, кто отведал лагерных общих, понимает, что пересылка — это дом отдыха, это счастье на нашем пути. А ещё выгода: когда днём спишь — срок быстрее идёт. Убить бы день, а ночи не увидим.

Правда, помня, что человека создал труд и только труд исправляет преступника, а иногда имея подсобные работы, а иногда подражаясь укрепить финансы со стороны, хозяева пересыльных тюрем гоняют трудиться и эту свою легкую пересыльную рабочую силу.

Всё на той же Котласской пересылке перед войной работа эта была ничуть не легче лагерной. За зимний день шесть-семь ослабевших арестантов, запряжённые лямками в тракторные (!) сани, должны были протянуть их двенадцать километров по Двине до устья Вычегды. Они погрязали в снегу и падали, и сани застревали. Кажется, нельзя было придумать работу изморчивей! Но это была ещё не работа, а разминка. Там, в устье Вычегды, надо было нагрузить на сани десять кубометров дров — и в том же составе, и в той же упряжке (Репина нет, а для новых художников это уже не сюжет, грубое воспроизведение природы) притащить сани на родную пересылку! Так что твой и лагерь! — ещё до лагеря кончишься. (Бригадир этих работ был Колупаев, а лошадами — инженер-электрик Дмитриев, интендантский подполковник Беляев, известный уже нам Василий Власов, да всех теперь не соберёшь.)

Арзамасская пересылка во время войны кормила своих арестантов свекольной ботвой, зато работу ставила на основу постоянную. При ней были швейные мастерские, сапожно-валяльный цех (в горячей воде с кислотами катать шерстяные заготовки).

С Красной Пресни лета 1945 года из душно-застойных камер мы ходили на работу добровольно: за право целый день дышать воздухом; за право беспрепятственно неторопливо посидеть в тихой тесовой уборной (вот ведь какое средство поощрения упускается часто!), нагретой августовским солнцем (это были дни Потсдама и Хиросимы), с мирным жужжанием одинокой пчелы; наконец, за право получить вечером лишних сто граммов хлеба. Водили нас к пристани Москва-реки, где разгружался лес. Мы должны были раскатывать брёвна из одних штабелей, переносить и накатывать в другие. Мы гораздо больше тратили сил, чем получали возмещения. И всё же с удовольствием ходили туда.

Мне часто достаётся краснеть за воспоминания молодых лет (а там и были молодые мои годы). Но что омрачит, то научит. Оказалось, что от офицерских погон, всего-то два годика вздрагивавших, колымавшихся на моих плечах, натряслось золотой ядовитой пыли мне в пустоту между рёбрами. На той речной пристани — тоже лагерьке, тоже зона с вышками обмыкала его, — мы были пришлые, временные работяги, и ни разговору, ни слуху не было, что нас могут в этом лагерьке оставить отбывать срок. Но когда нас там построили первый раз, и рядчик пошёл вдоль строя выбрать глазами временных бригадиров — моё ничтожное сердце рвалось из-под шерстяной гимнастёрки: меня! меня! меня назначь!

Меня не назначили. Да зачем я этого и хотел? Только бы наделал ещё позорных ошибок.

О, как трудно отставать от власти!.. Это надо понимать.

* * *

Было время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа — в том смысле, что куда ни ехать, её нельзя было обминуть, как и Москву. Как в Союзе из Ташкента в Сочи и из Чернигова в Минск всего удобней приходилось через Москву, так и арестантов отовсюду и повсюду таскали через Пресню. Это-то время я там и застал. Пресня изнемогала от переполнения. Строили дополнитель-

ный корпус. Только сквозные телячьи эшелоны осуждённых контрразведками миновали Москву по окружной дороге, как раз рядышком с Пресней, может быть салютуя ей гудками.

Но приезжая пересаживаться в Москву, мы всё-таки имеем билет и чаем рано или поздно ехать своим направлением. На Пресне же в конце войны и после неё не только прибывшие, но и самые высокостоящие, ни даже главы ГУЛАГа не могли предсказать, кто куда теперь поедет. Тюремные порядки тогда ещё не откристаллизовались, как в 50-е годы, никаких маршрутов и назначений никому не было вписано, разве только служебные пометки: «строгая охрана!», «использовать только на общих работах!». Пачки тюремных дел, надорванных папок, кое-где перепоясанные разлохмаченным шпагатом или его бумажным эрзацем, вносились конвойными сержантами в деревянное отдельное здание канцелярии тюрьмы и швырялись на стеллажи, на столы, под столы, под стулья и просто в проходе на полу (как их первообразы лежали в камерах), развязывались, рассыпались и перепутывались. Одна, вторая, третья комната загромождалась этими перемешанными делами. Секретарши из тюремной канцелярии — раскормленные ленивые вольные женщины в пёстрых платьях, потели от зноя, обмахивались и флиртовали с тюремными и конвойными офицерами. Никто из них не хотел и сил не имел ковыряться в этом хаосе. А эшелоны надо было отправлять! — несколько раз в неделю по красному эшелону. И каждый день сотню людей на автомашинах — в близкие лагеря. Дело каждого зэка надо было отправлять с ним вместе. Кто б этой морокой занимался? кто б сортировал дела и подбирал этапы?

Это доверено было нескольким нарядчикам — уж там сукам или полуцветным¹⁵, из пересылочных придурков. Они вольно расхаживали по коридорам тюрьмы, шли в здание канцелярии, от них зависело, прихватить ли твою папку в плохой этап или долго гнуть спину, искать и сунуть в хороший. (Что есть целые лагеря гиблые — в этом новички не ошибались, но что есть какие-то хорошие — было заблуждение. «Хорошими» могут быть не лагеря, но только иные жребии в этих лагерях, а это устраивается уже на месте.) Что вся будущность арестантов зависела от другого такого же арестанта, с которым может быть надо улучшить поговорить (хотя бы через банщика), которому надо, может быть, сунуть лалу (хотя бы через каптёра), — было хуже, чем если бы судьбы раскручивались слепым кубиком. Эта невидимая упускаемая возможность — за кожаную куртку поехать в Нальчик вместо Норильска, за килограмм сала в Серебряный Бор вместо Тайшета (а может лишиться и кожаной куртки и сала зря) — только язвила и суетила усталые души. Может быть кто-то так и успевал, может быть кто-то так и устраивался — но блаженнее были те, у кого нечего было давать или кто оберёт себя от этого смятения.

Покорность судьбе, полное устранение своей воли от формирования своей жизни, признание того, что нельзя предугадать лучшего и худшего, но легко сделать шаг, за который будешь себя упрекать, — всё это освобождает арестанта от какой-то доли оков, делает спокойней и даже возвышенной.

Так арестанты лежали вповалку в камерах, а судьбы их — неборошимыми грудями в комнатах тюремной канцелярии, нарядчики же брали папки с того угла, где легче было подступиться. И приходилось одним зэкам по два и по три месяца доходить на этой проклятой Пресне, другим же — проскакивать её со скоростью метеоров. От этой скученности, поспешности и беспорядков с делами происходила иногда на Пресне (как и на других пересылках) *смена сроков*.

¹⁵ Полуцветной — примыкающий к воровскому миру по духу, старающийся перенимать, но ещё не вошедший в воровской закон.

Пятьдесят Восьмой это не грозило, потому что сроки их, выражаясь по Горькому, были Сроки с большой буквы, задуманы были великими, а когда и к концу вроде подходили — так не подходили вовсе. Но крупным вора́м, убийца́м был смысл смениться с каким-нибудь простачком-бытовичком. И сами они или их подручные подкладывались к такому и с участием расспрашивали, а он, не ведая, что краткосрочник не должен на пересылке ничего о себе открывать, рассказывал простодушно, что зовут его, допустим, Василий Парфёныч Еврашкин, года он с 1913, жил в Семидубье и родился там. А срок — один год, по 109-й, халатность. Потом этот Еврашкин спал, а может и не спал, но такой в камере стоял гул, а у кормушки отпахнувшей такая теснота, что нельзя было пробиться к ней и услышать, как за нею в коридоре быстро бормочут список фамилий на этап. Какие-то фамилии перекрикивали потом от дверей в камеру, но Еврашкина не выкрикнули, потому что едва эту фамилию назвали в коридоре, урка угодливо (они умеют, когда надо) сунул туда свою ряжку и быстро тихо ответил: «Василий Парфёныч, 1913 года, село Семидубье, 109-я, один год», — и побежал за вещами. Подлинный Еврашкин зевнул, лёг на нары и терпеливо ждал вызова на завтра, и через месяц, а потом осмелился беспокоить корпусного: почему ж его не берут на этап? (А какого-то Звягу каждый день по всем камерам выкликают.) И когда ещё через месяц или полгода удосужатся всех прочесать перекличкой по делам, то останется одно дело Звяги, рецидивиста, двойное убийство и грабёж магазина, десять лет, — и один робкий арестантик, который выдаёт себя за Еврашкина, на фотокарточке ничего не разобрать, а есть он Звяга и запрятать его надо в штрафной Ивдельлаг — а иначе надо признаваться, что пересылка ошиблась. (А того Еврашкина, которого послали на этап, сейчас и не узнаешь — куда, списков не осталось. Да он с годичным сроком попал на сельхозкомандировку, расконвоирован, имел зачёты три дня за один или сбежал — и уже давно дома, или верней сидит в тюрьме по новому сроку.) — Попадались чудачки и такие, которые свои малые сроки продавали и за один-два килограмма сала. Рассчитывали, что потом всё равно разберутся и личность их удостоверят. Отчасти и верно¹⁶.

В годы, когда арестантские дела не имели конечных назначений, пересылки превратились в невольничьи рынки. Желанные гости на пересылках стали *покупатели*, слово это всё чаще слышалось в коридорах и камерах безо всякой усмешки. Как везде в промышленности неусидно стало ждать, что пришлют по развёрстке из центра, а надобно засылать своих толкачей и дёргателей, так и в ГУЛАГе: туземцы на островах вымирали; хоть и не стоили ни рубля, а в счёт шли, и надо было самим озаботиться их привозить, чтобы не падал план. Покупатели должны были быть люди сметчивые, глазастые, хорошо смотреть, что берут, и не давать насовать им в числе голов — доходяг и инвалидов. Это были худые покупатели, кто этап отбирал себе по папкам, а купцы добросовестные требовали прогнать перед ними товар живьём и гольём. Так и говорилось без улыбки — *товар*. «Ну, какой товар привезли?» — спросил покупатель на бутырском вокзале, увидев и рассматривая по статьям семнадцатилетнюю Иру Калину.

Человеческая природа если и меняется, то не намного быстрее, чем геологический облик Земли. И то чувство любопытства, смакования и примеривания, которое ощущали двадцать пять веков назад работорговцы на рынке рабынь, конечно владело и гулаговскими чиновниками в Усманской тюрьме в 1947 году, когда они, десятка два мужчин в форме МВД, уселись за несколько столов, покрытых простынями (это для важности, иначе всё-таки неудобно), а заключён-

¹⁶ Впрочем, как пишет П. Якубович о «сухарниках», продажа сроков бывала и в прошлом веке, это — старый тюремный трюк.

ные женщины все раздевались в соседнем боксе и обнажёнными и босыми должны были проходить перед ними, поворачиваться, останавливаться, отвечать на вопросы. «Руки опусти!» — указывали тем, кто принимал защитные положения античных статуй (офицеры ведь серьёзно выбирали наложниц для себя и своего окружения).

Так в разных проявлениях тяжёлая тень завтрашней лагерной битвы заслоняет новичку-арестанту невинные духовные радости пересыльной тюрьмы.

На две ночи затолкнули к нам в пресненскую камеру *спецнарядника*, и он лёг рядом со мной. Он ехал по спецнаряду, то есть в Центральном Управлении была выписана на него и следовала из лагеря в лагерь накладная, где значилось, что он техник-строитель и лишь как такового его следует использовать на новом месте. Спецнарядник едет в общих вагон-заках, сидит в общих камерах пересылок, но душа его не трепещет: он защищён накладной, его не погонят валить лес.

Жестокое и решительное выражение было главным в лице этого лагерника, отсидевшего уже большую часть своего срока. (Я не знал ещё, что такое же точно выражение со временем прорежется на всех наших лицах, потому что жестокое и решительное выражение есть национальный признак островитян ГУЛАГа. Особи с мягким уступчивым выражением быстро умирают на островах.) С усмешкой, как смотрят на двухнедельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье.

Что ждёт нас в лагере? Жалея нас, он поучал:

— С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. Не верьте никому, кроме себя! Оглядывайтесь: не подбирается ли кто укусить вас. Восемь лет назад вот таким же наивным я приехал в Каргопольлаг. Нас выгрузили из эшелона, и конвой приготовился вести нас: десять километров до лагеря, рыхлый глубокий снег. Подъезжают трое саней. Какой-то здоровый дядя, которому конвой не препятствует, объявляет: «Братцы, кладите вещи, подвезём!» Мы вспоминаем: в литературе читали, что вещи арестантов возят на подводах. Думаем: совсем не так бесчеловечно в лагере, заботятся. Сложили вещи. Сани уехали. Всё. Больше мы их никогда не видели. Даже тары пустой.

— Но как это может быть? Что ж, там нет закона?

— Не задавайте дурацких вопросов. Закон есть. Закон — тайга. А правды — никогда в ГУЛАГе не было и не будет. Этот каргопольский случай — просто символ ГУЛАГа. Потом ещё привыкайте: в лагере никто ничего не делает даром, никто ничего — от доброй души. За всё нужно платить. Если вам предлагают что-нибудь бескорыстно — знайте, что это подвох, провокация. Самое же главное: избегайте общих работ! Избегайте их с первого же дня! В первый день попадёте на общие — и пропали, уже навсегда.

— *Общих работ?*..

— Общие работы — это главные основные работы, которые ведутся в данном лагере. На них работает восемьдесят процентов заключённых. И все они подыхают. Все. И привозят новых взамен — опять на общие. Там вы положите последние силы. И всегда будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешены. И обмерены. И в самых плохих бараках. И лечить вас не будут. *Живут же* в лагере только те, кто не на общих. Старайтесь любой ценой — не попасть на общие! С первого дня.

Любой ценой!

Любой ценой?..

На Красной Пресне я усвоил и принял эти — совсем не преувеличенные — советы жестокого спецнарядника, упустив только спросить: а где же мера цены? Где же край её?

Глава 3

КАРАВАНЫ НЕВОЛЬНИКОВ

Маетно ехать в вагон-заке, непереносимо в «воронке», замучивает скоро и пересылка, — да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными вагонами.

Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осуждённых в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Это давно понято в ГУЛАГе и отлично освоено: караваны красных (красных телячьих вагонов), караваны барж, а уж где ни рельсов, ни воды — там пешие караваны (эксплуатировать лошадей и верблюдов заключённым не дают).

Красные эшелоны всегда выгодны, когда где-то быстро работают суды или где-то пересылка переполнена — и вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. Так отправляли миллионы крестьян в 1929—1931 годах. Так выслали Ленинград из Ленинграда. В 30-х годах так заселялась Колыма: каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до порта Ванино столица нашей Родины Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли Республику немцев Поволжья в Казахстан, и с тех пор все остальные нации — так же. В 1945 такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей — из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ, кто сам подъезжал туда. В 1949 так собирали Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря.

Вагон-заки ходят по пошлomu железнодорожному расписанию, красные эшелоны — по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Вагон-зак не может идти в пустое место, в конце его назначения всегда есть вокзал, и хоть плохенький городишка, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти и в пустоту: куда придёт он, там рядом с ним тотчас подымется из моря, степного или таёжного, новый остров Архипелага.

Не всякий красный вагон и не сразу может везти заключённых — сперва он должен быть подготовлен. Но не в том смысле подготовлен, как может быть подумал читатель: что его надо подмести и очистить от угля или извести, которые перевозились там перед людьми, — это делается не всегда. И не в том смысле подготовлен, что если зима, то его надо проконопатить и поставить печку. (Когда построен был участок железной дороги от Княж-Погоста до Ропчи, ещё не включённый в общую железнодорожную сеть, по нему тотчас же начали возить заключённых — в вагонах, в которых не было ни печек, ни нар. Зэки лежали зимой на промёрзлом снежном полу и ещё не получали при этом горячего питания, потому что поезд успевал пройти участок всегда меньше, чем за сутки. Кто может в мыслях пережить там, пережить эти восемнадцать — двадцать часов — да переживёт!) А подготовка вот какая: должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов; должны быть надёжно обрешечены их маленькие оконца, должна быть прорезана в полу дыра для слива, и это место особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями; должны быть распределены по эшелону равномерно и с нужною частотою вагонные площадки (на них стоят посты конвоя с пулемётами), а если площадок мало, они должны быть достроены; должны быть оборудованы входы на крыши; должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечено им безотказное электропитание; должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки; должен быть подцеплен штабной классный вагон, а если нет его — хорошо оборудованы и утеплены теплушки для начальника караула, для оперуполномоченного и для конвоя; должны быть устроены кухни — для конвоя и для заключённых. Лишь после этого

можно идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать: «спецоборудование» или там «скоропортящийся». (В «Седьмом вагоне» Евгения Гинзбург описала очень ярко этап красными вагонами и во многом освобождает нас сейчас от подробностей.)

Подготовка эшелона закончена — теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут две важных обязательных цели: скрыть посадку от народа и терроризировать заключённых.

Утаить посадку от жителей надо потому, что в эшелон сажается сразу около тысячи человек (по крайней мере двадцать пять вагонов), это не маленькая группка из вагон-зака, которую можно провести и при людях. Все, конечно, знают, что аресты идут каждый день и каждый час, но никто не должен ужаснуться от их вида в месте. В Орле в тридцать восьмом году не скроешь, что в городе нет дома, из которого не было бы арестованных, да и крестьянские подводы с плачущими бабами запружают площадь перед орловской тюрьмой, как на стрелецкой казни у Сурикова. (Ах, кто б это нам ещё нарисовал когда-нибудь! И не надейся: не модно, не модно...) Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки эшелон (в Орле в тот год набирался). И молодёжь не должна этого видеть: молодёжь — наше будущее. И поэтому только ночью — еженощно, каждой ночью, и так несколько месяцев — из тюрьмы на вокзал гонят пешую чёрную колонну этапа («воронки» заняты на новых арестах). Правда, женщины опоминаются, женщины как-то узнают — и вот они со всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных путях, они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона кричат: такого-то здесь нет?.. такого-то и такого-то нет?.. И бегут к следующему, а к этому подбегают новые: такого-то нет? И вдруг отклик из запечатанного вагона: «Я! я здесь!» Или: «Ищите! он в другом вагоне!» Или: «Женщины! слушайте! моя жена тут рядом, около вокзала, сбегайте скажите ей!»

Эти недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются, и с какой-то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок.

И в Москве, по старой ли Сретенской пересылки (теперь уж её и арестанты не помнят), с Красной ли Пресни, посадка в красные эшелоны — только ночью, это закон.

Однако, не нуждаясь в излишнем блеске дневного светила, конвой использует ночные солнца — прожекторы. Они удобны тем, что их можно собрать на нужное место — туда, где арестанты испуганной кучкой сидят на земле в ожидании команды: «Следующая пятёрка — встать! К вагону — бегом!» (Только — бегом! Чтоб он не осматривался, не обдумывался, чтоб он бежал как настагаемый собаками, и только боялся бы упасть.) И на эту неровную дорожку, где они бегут; и на трап, где они карабкаются. Враждебные призрачные снопы прожекторов не только освещают: они — важная театральная часть арестантского перепуга, вместе с резкими криками, угрозами, ударами прикладов по отстающим; вместе с командой «садись на землю!» (А иногда, как и в том же Орле на привокзальной площади: «стать на колени!» — и как новые богомольцы, тысяча валился на колени); вместе с этой совсем не нужной, но для перепуга очень важной перебежкой к вагону; вместе с яростным лаем собак; вместе с наставленными стволами (винтовок или автоматов, смотря по десятилетиям). Главное, должна быть смята, сокрушена воля арестанта, чтоб у них и мысли не завязалось о побеге, чтоб они ещё долго не сообразили своего нового преимущества: из каменной тюрьмы они перешли в тонкодощатый вагон.

Но чтобы так чётко посадить ночью тысячу человек в вагоны, надо тюрьме начать выдёргивать их из камер и обрабатывать к этапу

с утра накануне, а конвою весь день долго и строго принимать их в тюрьме и принятых держать часами долгими уже не в камерах, а на дворе, на земле, чтобы не смешались с тюремными. Так ночная посадка для арестантов есть только облегчительное окончание целого дня измора.

Кроме обычных переключек, проверок, стрижки, прожарки и бани основная часть подготовки к этапу это — генеральный шмон (обыск). Обыск производится не тюрьмой, а принимающим конвоем. Конвою предстоит в согласии с инструкцией о красных этапах и собственными оперативно-боевыми соображениями провести этот обыск так, чтобы не оставить заключённым ничего способствующего побегу: отобрать всё колющее-режущее; отобрать всевозможные порошки (зубной, сахарный, соль, табак, чай), чтобы не был ими ослеплён конвой; отобрать всякие верёвки, шпагат, ремни поясные и другие, потому что все они могут быть использованы при побеге (а значит — и ремешки! и вот отрезают ремешки, которыми пристёгнут протез одноногого — и калека берёт свою ногу через плечо и скачет, поддерживаемый соседями). Остальные же вещи — ценные, а также чемоданы, должны по инструкции быть взяты в особый вагон — камеру хранения, а в конце этапа возвращены владельцу.

Но слаба, не натяжна власть московской инструкции над вологодским или куйбышевским конвоем, но телесна власть конвоя над арестантами. И тем решается третья цель посадочной операции: по справедливости отобрать хорошие вещи у врагов народа в пользу его сынов. «Сесть на землю!», «стать на колени!», «раздеться догола!» — в этих уставных конвойных командах заключена коренная власть, с которой не поспоришь. Ведь голый человек теряет уверенность, он не может гордо выпрямиться и разговаривать с одетым, как с равным. Начинается обыск (Куйбышев, лето 1949). Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежду, а вокруг — множество настороженных вооружённых солдат. Обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах — настроение, когда человек перестает уже заботиться о своих вещах. Конвой всё делает нарочито-резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом, ведь задача — напугать и подавить. Чемоданы вытряхиваются (вещи на землю) и сваливаются в отдельную гору. Портсигары, бумажники и другие жалкие арестантские «ценности» все отбираются и, безмянные, бросаются в тут же стоящую бочку. (И именно то, что это — не сейф, не сундук, не ящик, а бочка — почему-то особенно угнетает голых, и кажется бесполезным протестовать.) Голому впопору только поспевать собирать с земли свои обысканные тряпки и совать их в узелок или связывать в одеяло. Валенки? Можешь сдать, кидай вот сюда, распишись в ведомости! (не тебе дают расписку, а ты расписываешься, что бросил в кучу!) И когда уходит с тюремного двора последний грузовик с арестантами, уже в сумерках, арестанты видят, как конвоиры бросились расхватывать лучшие кожаные чемоданы из груды и выбирать лучшие портсигары из бочки. А потом полезли за добычей надзиратели, а за ними и пересылочная *придурня*.

Вот чего вам стоило за сутки добраться до телячьего вагона! Ну, теперь-то влезли с облегчением, ткнулись на занозистые доски нар. Но какое тут облегчение, какая теплушка?! Снова зажат арестант в клещах между холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блатарями и конвоем.

Если в вагоне есть блатные (а их не отделяют, конечно, и в красных эшелонах), они занимают свои традиционные лучшие места на верхних нарах у окна. Это летом. А ну, догадаемся — где ж их места зимой? Да вокруг печурки же конечно, тесным кольцом вокруг печурки. Как вспоминает бывший вор Минаев ¹⁷, в лютый мороз на их

¹⁷ Его письмо ко мне («Литературная газета», 22.I.63).

«тепушку» на всю дорогу от Воронежа до Котласа (это несколько суток) в 1949 году выдали *три ведра* угля! Тут уж бластные не только заняли места вокруг печки, не только отняли у *фраеров* все тёплые вещи, надев их на себя, не побрезговали и портянки вытрясти из их ботинок и намотали на свои воровские ноги. Подохни ты сегодня, а я завтра! — Чуть хуже с едой — весь паёк вагона принимают извне бластные и берут себе лучшее или по потребности. Лоцилин вспоминает трёхсуточный этап Москва — Переборы в 1937 году. Из-за каких-нибудь трёх суток не варили горячего в составе, давали сухим пайком. Воры брали себе всю карамель, а хлеб и селёдку разрешали делить; значит были не голодны. Когда паёк горячий, а воры *на погосе*, они же делят и баланду (трёхнедельный этап Кишинёв — Печора, 1945). При всём том не брезгают бластные в дороге и простой грабительской: увидели у эстонца зубы золотые — положили его и выбили зубы кочергой.

Преимуществом красных эшелонов считают эски горячее питание: на глухих станциях (опять-таки где не видит народ) эшелоны останавливают и разносят по вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком выперло. Или (как в том же кишинёвском эшелоне) наливают баланду в те самые ведра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем! — потому что и вода питьевая в эшелоне меряна, ещё нехватней с ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля. Или принеся баланду и кашу на вагон, мисок дают с недостатком, не сорок, а двадцать пять, и тут же командуют: «Быстрее, быстрее! Нам другие вагоны кормить, не ваш один!» Как теперь есть? Как делить? Всё разложить справедливо по мискам нельзя, значит надо дать на глазок да поменьше, чтоб не передать. (Первые кричат: «Да ты мешай, мешай!», последние молчат: пусть будет на дне погуще.) Первые едят, последние ждут — скорей бы, и голодны, и баланда остывает в бачке, и снаружи уже подгоняют: «ну, кончили? скоро?» Теперь наложить вторым — и не больше, и не меньше, и не гуще, и не жиже, чем первым. Теперь правильно угадать добавку и разлить её хоть на двоих в одну миску. Всё это время сорок человек не столько едят, сколько смотрят на раздел и мучаются.

Не нагреют, от бластных не защитят, не напоят, не накормят — но и спать же не дадут. Днём конвоиры хорошо видят весь поезд и минувший путь, что никто не выбросился вбок и не лёг на рельсы, ночью же их терзает бдительность. Деревянными молотками с длинными ручками (общегулаговский стандарт) они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона: не управилась ли её уже выпилить? А на некоторых остановках распахивается дверь вагона. Свет фонарей или даже луч прожектора: «Проверка!» Это значит: вспрыгивай на ноги и будь готов, куда покажут — в левую или в правую сторону всем перебежать. Вскочили внутрь конвоиры с молотками (а другие с автоматами ощерились полукругом извне) и показали: налево! Значит, левые на местах, правые быстро перебегай туда же, как блошки, друг через друга, куда попало. Кто не проворен, кто зазевался — тех молотками по бокам, по спине, бодрости поддать. Вот конвойные сапоги уже топчут ваше нищенское ложе, расшвыривают ваши шмотки, светят и простукивают молотками — нет ли где пропила. Нет. Тогда конвойные становятся посередине и начинают со счётом пропускать вас слева направо: «Первый!.. Второй!.. Третий!..» Довольно было бы просто считать, просто взмахивать пальцем, но так бы страху не было, а наглядней, безошибочней, бодрей и быстрее — отстукивать этот счёт всё тем же молотком по вашим бокам, плечам, головам, куда придётся. Пересчитали, сорок. Теперь ещё расшвырять, осветить и простучать левую сторону. Всё, ушли, вагон заперг. До следующей остановки можете спать. (Нельзя сказать, чтобы беспокойство конвоя было совсем пустым — из красных вагонов бегут,

умеючи. Вот простучивают доску — а её уже перепиливать начали. Или вдруг утром при раздаче баланды видит конвой: среди небритых лиц несколько бритых. И с автоматами окружают вагон: «Сдать ножи!» А это мелкое пижонство блатных и приблатнённых: им «надоело» быть небритыми, и вот теперь приходится сдать мойку — бритву.)

От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него ещё не знает — вылезет ли. Когда в Соликамске разгружали эшелон из ленинградских тюрем (1942) — вся насыпь была уложена трупами, лишь немногие доехали живыми. Зимами 1944-45 и 1945-46 годов в посёлок Железнодорожный (Княж-Погост), как и во все главные узлы Севера, от Ижмы до Воркуты, арестантские эшелоны с освобождённых территорий — то прибалтийский, то польский, то немецкий, то наши из Европы, — шли без печек и приходили, везя при себе вагон или два трупов. Но это значит, в пути аккуратно отбирались трупы из живых вагонов в мертвецкие. Так было не всегда. На станции Сухобезводная (Унжлаг) сколько раз, дверь вагона раскрыв по прибытии, только и узнавали, кто жив тут, кто мёртв: не вылез, значит и мёртв.

Страшно и смертно ехать зимой, потому что конвою за заботами о бдительности не под силу уже таскать уголь для двадцати пяти печек. Но и в жару ехать не так-то сладко: из четырёх малых окошек два защиты наглухо, крыша вагона перегрета; а воду носить для тысячи человек и вовсе конвою не надорваться же, если не управлялись напоить и один вагон-зак. Лучшие месяцы этапов поэтому считаются у арестантов — апрель и сентябрь. Но и самого хорошего сезона не хватит, если идёт эшелон *три месяца* (Ленинград — Владивосток, 1935). А если надолго так он и рассчитан, то продумано в нём и политическое воспитание бойцов конвоя и духовное призрение заключённых душ: при таком эшелоне в отдельном вагоне едет кум — оперуполномоченный. Он заранее готовился к этапу ещё в тюрьме, и люди по вагонам рассованы не как-нибудь, а по спискам с его визой. Это он утверждает старосту каждого вагона и в каждый вагон обучил и посадил стукача. На долгих остановках он находит повод вызывать из вагона одного и другого, выпрашивает, о чём там в вагоне говсрят. Уж такому оперу стыдно окончить путь без готовых результатов — и вот в пути он закручивает кому-нибудь следствие, смотришь — к месту назначения арестанту намотан и новый срок.

Нет уж, будь и он проклят с его прямизной и беспересадочностью, этот красный телячий этап! Побывавший в нём — не забудет. Скорей бы уж в лагерь, что ли! Скорей бы уж приехать.

Человек — это надежда и нетерпение. Как будто в лагере будет опер снисходительнее или стукачи не так бессовестны — да наоборот! Как будто когда приедем — не с теми же угрозами и собаками нас будут сошвыривать на землю: «Садись!» Как будто если в вагон забивает снег, то на земле его слой не толще. Как будто если нас сейчас выгрузят, то уж мы и доехали до самого места, а нас не повезут теперь по узкоколейке на открытых платформах. (А как на открытых платформах везти? как конвоировать? — задача для конвоя. Вот как: велят нам скрючиться, повалом лечь и накроют общим большим брезентом, как матросов в «Потёмкине» для расстрела. И за брезент ещё спасибо! Оленёву с товарищами досталось на Севере в октябре на открытых платформах просидеть целый день: их погрузили уже, а паровоз не слали. Сперва пошёл дождь, он перешёл в мороз, и лохмотья замерзали на эзках.) Поездочек на ходу будет кидать, борта платформы станут трещать и ломиться, и кого-то от болтанки сбросит под колёса. А вот загадка: от Дудинки ехать узкоколейкой сто километров в полярный мороз и на открытых платформах — так где усядутся блатные? Ответ: в середине каждой платформы, чтобы скотинка грела их со всех сторон и чтобы самим под рельсы не сва-

литься. Верно. Ещё вопрос: а что увидят ээки в конечной точке этой узкоколейки (1939)? Будут ли там здания? Нет, ни одного. Землянки? Да, но уже наполненные, не для них. Значит, сразу они будут копать себе землянки? Нет, потому что как же копать их в полярную зиму? Вместо этого они пойдут добывать металл. — А жить? — Что жить?.. Ах, жить... Жить — в палатках.

Но не всякий же раз ещё и на узкоколейке?.. Нет, конечно. Вот приезд на самое место: станция Ерцево, февраль 1938. Вагоны вскрыли ночью. Вдоль поезда разожжены костры, и при них происходит выгрузка на снег, счёт, построение, опять счёт. Мороз — минус тридцать два градуса. Этап — донбасский, арестованы были все ещё летом, поэтому в полуботинках, туфлях, сандалиях. Пытаются греться у костров — их отгоняют: не для того костры, для света. С первой же минуты немеют пальцы. Снег набился в лёгкую обувь и даже не тает. Никакой пощады, команда: «Становись! разберись!.. шаг вправо... шаг влево... без предупреждения... Марш!» Взыли на цепях собаки от своей любимой команды, от этого волнующего мига. Пошли конвоиры в полушубках — и обречённые в летнем платии пошли по глубокоснежной и совершенно не проторенной дороге — куда-то в тёмную тайгу. Впереди — ни огонька. Полыхает полярное сияние — наше первое и наверно последнее... Ели трещат от мороза. Разутые люди мерят и торят снег коченеющими ступнями, голеньями.

Или вот приезд на Печору в январе 1945. («Наши войска овладели Варшавой!.. Наши войска отрезали Восточную Пруссию!») Пустое снежное поле. Вышвырнутых из вагонов посадили в снегу по шесть человек в ряд и долго считали, ошибались и пересчитывали. Подняли, погнали шесть километров по снежной целине. Этап тоже с юга (Молдавия), все — в кожаной обуви. Овчарок допустили идти близко сзади, они толкали ээков последнего ряда лапами в спину, дышали собачьим дыханием в затылки (в ряду этом шли два священника — старый седовласый о. Фёдор Флоря и поддерживавший его молодой о. Виктор Шиповальников). Каково применение овчарок? Нет, каково самообладание овчарок — ведь укусить как хочется!

Наконец, дошли. Приёмная лагерная баня: раздеваться в одном домике, перебегать через двор гольями, мыться в другом. Но теперь это уже всё можно перенести: отмучились от главного. Теперь-то — приехали! Стемнело. И вдруг узнаётся: в лагере нет мест, к приёму этапа лагерь не готов. И после бани этапников снова строят, считают, окружают собаками — и опять, волоча свои вещи, всё те же шесть километров, только уже во тьме, они месят снег к своему эшелону назад. А вагонные двери все эти часы были отодвинуты, теплушки выстыли, в них не осталось даже прежнего жалкого тепла, да к концу пути и уголь весь сожжён, и взяты его сейчас нигде. Так они перекоченели ночь, утром дали им пожевать сухой тарани (а кто хочет пить — жуй снег) — и повели опять по той же дороге.

И это ещё случай — счастливый! — ведь лагерь-то есть, сегодня не примет, так примет завтра. А вообще, по свойству красных эшелонов приходиться в пустоту, конец этапа нередко становится днём открытия нового лагеря, так что под полярным сиянием их могут и просто остановить в тайге и прибить на ели дощечку: «Первый ОЛП» (Отдельный Лагерный Пункт). Там они и неделю будут воблу жевать и замешивать муку со снегом.

А если лагерь образовался хоть две недели назад — это уже комфорт, уже варят горячее, и хоть нет мисок, но первое и второе вместе кладут на шесть человек в банные тазы, шестёрка становится кружком (столов и стульев тоже нет), двое держат левыми руками банный таз за ручку, а правыми в очередь едят. Повторение? Вогвоздино? Нет, это Переборы, 1937 год, рассказ Лоцилина. Повторяюсь не я, повторяется ГУЛАГ.

...А дальше дадут новичкам бригадиров из старых лагерников,

которые быстро их *научат жить*, поворачиваться и обманывать. И с первого же утра они пойдут на работу, потому что часы Эпохи стучат и не ждут. У нас не царский каторжный Акатуй с тремя днями отдыха прибывшим¹⁸.

* * *

Постепенно расцветает хозяйство Архипелага, протягиваются новые железнодорожные ветки, и уже во многие такие места везут на поездах, куда совсем недавно только водою плыли. Но живы ещё туземцы, кто расскажут, как плыли по реке Ижме ну в настоящих древнерусских ладьях, по сто человек в ладье, сами же и гребли. Как по рекам Печоре и Усе добирались к родному лагерю — шнягами. И на Воркуту-то гнали зэков на баржах: до Адзъваво́м на крупных, а там был перевалочный пункт ВоркутЛага, и оттуда уже — на мелководной барже десять дней, вся баржа шевелится от вшей, и конвой разрешает по одному вылезать наверх и стряхивать паразитов в воду. Лодочные этапы тоже были не сплошные, а перебивались то перегрузками, то переволоками, то пешими перегонами.

И были там пересылки свои — жердевые, палаточные — Усть-Уса, Помоздино, Щелья-Юр. Там свои были щелевые порядки. И свои конвойные правила и, конечно, свои особые команды, и особые хитрости конвой, и особые тяготы зэкам. Но уж видно той экзотики нам не описать, так не будем и братья.

Северная Двина, Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах — в раскулачивание. Эти реки текли на Север прямо, а баржи были брюхаты, вместительны — и только так можно было управляться сбросить всю эту серую массу из живой России на Север неживой. В корытную ёмкость баржи сбрасывались люди и там лежали навалом, и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах, стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открытой, иногда покрывали большим брезентом — то ли чтоб не видеть, то ли чтоб лучше охранить, не от дождей же. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому ж их почти и не кормили, а выбросив в тундру — уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой.

Баржевые этапы по Северной Двине (и по Вычегде) не заглохли и к 1940 году, а даже очень оживились: текли ими *освобождённые* западные украинцы и западные белорусы. Арестанты в трюме стояли вплотную — и это не одни сутки. Мочились в стеклянные банки, передавали из рук в руки и выливали в иллюминатор, а что пристигало серьёзное — то шло в штаны.

Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на десятилетия. В Красноярске на берегу построены были в 30-х годах навесы, и под этими навесами в холодные сибирские вёсны дрогли по суткам и по двое арестанты, ждущие перевозки¹⁹. Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм — трёх-этажный, тёмный. Только через колодец проёма, где трап, проходит рассеянный свет. Конвой живёт в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из трюма и следят за водою, не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается, какие бы стоны и вопли о помощи оттуда ни раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх на прогулку. В этапах тридцать седьмого — тридцать восьмого, сорок четвёртого — сорок пятого (а смекнём, что и в промежутке) вниз, в трюм, не подавалось и никакой врачебной помощи. Арестанты на «этажах» лежат вповалку в две длины: один ряд головами к бортам, другой к ногам первого ряда. К парашам на этажах проход только по людям. Параша не всегда разрешают вынести вовремя (бочку с нечистотами по крутым трапам наверх — это надо представить!), они переполняют-

¹⁸ П. Ф. Якубович. В мире отверженных. М.— Л. 1964.

¹⁹ В. И. Ленин в 1897 году садился на «Святого Николая» в пассажирском порту как вольный.

ся, жижа течёт по полу яруса и стекает на нижние ярусы. А люди лежат. Кормят, разнося по ярусам баланду в бочках, подсобники — из заключённых же, и там, в вечной тьме (сегодня, может быть, есть электричество), при свете «летучих мышей» раздают. Такой этап до Дудинки иногда продолжался месяц. (Сейчас, конечно, могут управиться за неделю.) Из-за мелей и других водных задержек поездка, бывало, растягивалась, взятых продуктов не хватало, тогда несколько суток не кормили совсем (и уж конечно «за старое» никто потом не отдавал).

Усвойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить: при этом блатные занимают верхний ярус и ближе к проёму — к воздуху, к свету. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются, и если этап проходит трудно, то без стеснения *отмечают святой костыль* (отбирают пайку у серой скотинки). Долгую дорогу воры коротают в карточной игре: карты для этого они делают сами, а игральные ставки собирают себе шмонами фраеров, повально обыскивая всех, лежащих в том или ином секторе баржи. Отобранные вещи какое-то время проигрываются и перепроигрываются между ворами, потом сплавляются наверх, конвоем. Да, читатель всё угадал: конвой *на крючке* у блатных, ворованные вещи берёт себе или продаёт на пристанях, блатным же взамен приносят поесть.

А сопротивление? Бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 1950 году в подобной и подобно устроенной барже, только покрупнее — морской, в этапе из Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из Пятьдесят Восьмой оказали сопротивление блатным (сукам), которых было человек около восьмидесяти (и, как всегда, не без ножей). Эти суки обыскали весь этап ещё на Владивостокской пересылке «Три-десять», они обыскивают очень тщательно, никак не хуже тюремщиков, все потайки знают, но ведь ни при каком шмоне никогда не находится всё? Зная это, они уже в трюме обманом объявили: «У кого есть деньги — можно купить махорки». И Миша Грачёв вытащил три рубля, запрятанные в телогрейке. Еду Володька-Татарин крикнул ему: «Ты что ж, падло, налогов не платишь?» И подскочил отнять. Но армейский старшина Павел (а фамилия не сохранилась) оттолкнул его. Володька-Татарин сделал *рогатку* в глаза, Павел сбил его с ног. Подскочило сук сразу человек двадцать — тридцать, — а вокруг Грачёва и Павла встали Володя Шпаков, бывший армейский капитан; Серёжа Потапов; Володя Реунов, Володя Третьюхин, тоже бывшие армейские старшины; и Вася Кравцов. И что ж? Дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли истинная и подлинная трусость блатных (всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью), или помешала им близость часового (это было под самым люком), а они ехали и берегли себя для более важной общественной задачи — они ехали перехватить у *честных воров* Александровскую пересылку (ту самую, которую описал нам Чехов) и Сахалинскую стройку (не затем перехватить, разумеется, чтобы строить) — но они отступили, ограничились угрозой: «На земле — мусор из вас будет!» (Бой так и не состоялся, и «мусора» из ребят не сделали. На Александровской пересылке сук ждала неприятность: она уже была захвачена «честными».)

В пароходах, идущих на Колыму, устраивается всё похоже, как и в баржах, только всё покрупнее. Ещё и сейчас, как ни странно, сохранились в живых кое-кто из арестантов, этапированных туда с известной миссией «Красина» весной 1938 в нескольких старых пароходах-галошах — «Джурма», «Кулу», «Невострой», «Днепрострой», которых «Красин» пробивал весенние льды. Тоже оборудованы были в холодных грязных трюмах три яруса, но ещё на каждом ярусе — двухэтажные нары из жердей. Не всюду было темно: кое-где коптилки и фонари. Отсеками поочередно выпускали и гулять на палубу. В каждом пароходе везли по три-четыре тысячи человек. Весь рейс занял

больше недели, за это время заплесневел хлеб, взятый во Владивостоке, и этапную норму снизили с шестисот граммов до четырёхсот. Кормили рыбой, а питьевой воды... Ну да, да, нечего злорадствовать, с водой были *временные трудности*. По сравнению с речными этапами здесь ещё были штормы, морская болезнь, обессиленные измождённые люди блевали, и не в силах были из этой блевотины встать, все полы были покрыты её тошнотворным слоем.

По пути была некий политический эпизод. Суда должны были пройти пролив Лаперуза — близ самых Японских островов. И вот исчезли пулемёты с судовых вышек, конвоиры переоделись в штатское, трюмы задраили, выход на палубу запретили. А по судовым документам ещё из Владивостока было предусмотрительно записано, что везут, упаси боже, не заключённых, а завербованных на Колыму. Множество японских судёнышек и лодок юлили около кораблей, не подозревая. (А с «Джурмой» в другой раз, в 1939, такой был случай: блатные из трюма добрались до каютёрки, разграбили её, а потом подожгли. И как раз это было около Японии. Повалил из «Джурмы» дым, японцы предложили помощь, — но капитан отказался и даже не открыл люков! Стоядя от японцев подале, трупы задохнувшихся от дыма потом выбрасывали за борт, а обгоревшие полуиспорченные продукты сдали в лагерь для пайка заключённых.)

С тех пор идут десятилетия, но сколько случаев на мировых морях, где кажется не эзков уже возят, а советские граждане терпят бедствие, — однако из той же закрытости, выдаваемой за национальную гордость, отказываются от помощи! Пусть нас акулы лопают, только б не вашу руку принять! Закрытость и есть наш рак.

Перед Магаданом караван застрял во льду, не помог и «Красин» (было слишком рано для навигации, но спешили доставить рабочую силу). 2 мая выгрузили заключённых на лёд, не дойдя берега. Приезжим открылся маловесёлый вид тогдашнего Магадана: мёртвые сопки, ни деревьев, ни кустарника, ни птиц, только несколько деревянных домиков да двухэтажное здание Дальстроя. Всё же играя в *исправление*, то есть делая вид, что привезли не кости для умощения золотосносной Колымы, а временно-изолированных советских граждан, которые ещё вернуться к творческой жизни, — их встретили дальстроевским оркестром. Оркестр играл марши и вальсы, а измученные полуживые люди плелись по льду серой вереницей, волокли свои московские вещи (этот сплошь политический огромный этап почти ещё не встречал блатных) и несли на своих плечах других полуживых — ревматиков или безногих (безногим тоже был срок).

Но вот я замечаю, что сейчас начну повторяться, что скучно будет писать и скучно будет читать, потому что читатель уже знает всё наперёд: теперь их повезут грузовиками на сотни километров, и ещё потом будут пешком гнать десятки. И там они откроют новые лагпункты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, а есть будут рыбу и муку, заедая снегом. А спать в палатках.

Да, так. А пока, в первые дни, их расположат тут, в Магадане, тоже в заполярных палатках, тут их будут *комиссовать*, то есть осматривать голыми и по состоянию зада определять их готовность к труду (и все они окажутся годными). И ещё, конечно, их поведут в баню и в предбаннике велят им оставить их кожаные пальто, романовские полушубки, шерстяные джемперы, костюмы тонкого сукна, бурки, сапоги, валенки (ведь это приехали не тёмные мужики, а партийная верхушка — редакторы газет, директора трестов и заводов, сотрудники обкомов, профессора политэкономии, уж они все в начале 30-х годов знали толк в вещах). «А кто будет охранять?» — усумнятся новички. «Да кому нужны ваши вещи? — оскорбится обслуга. — Заходите, мойте спокойнo». И они зайдут. А выход будет в другие двери, и там они получат чёрные хлопчатобумажные брюки и гимнастёрки, лагерные телогрейки без карманов, ботинки из свиной кожи. (О, это не мелочь!) Это расставание со своей прежней жизнью —

и со званиями, и должностями, и гонором.) «А где наши вещи?!» — взвопят они. «Ваши вещи — дома остались! — рывкнет на них какой-то начальник. — В лагере не будет ничего *вашего!* У нас в лагере — коммунизм! Марш, направляющий!»

Но если «коммунизм» — что ж тут им было возразить? Ему ж они и отдали жизни...

* * *

А ещё есть этапы — на подводах и просто пешие. Помните, в «Воскресении» — гнали в солнечный день от тюрьмы и до вокзала. В Минусинске же, в 194..., после того как целый год не выводили даже на прогулку, люди отучились ходить, дышать, смотреть на свет, — вывели, построили и погнали *двадцать пять километров* до Абакана. С десяток человек дорогой умерло. Великого романа, ни даже главы его, об этом написано не будет: на погосте живучи, всех не оплачешь.

Пеший этап — это дедушка железнодорожного, дедушка вагонзака и дедушка «краснух». В наше время он всё меньше применяется, только там, где ещё невозможен механический транспорт. Так из блокадного Ленинграда на каком-то ладожском участке доставляли осуждённых до краснух (женщин вели вместе с пленными немцами, а наших мужчин отделяли от женщин штюками, чтоб не отняли у них хлеба. Падающих тут же разували и кидали на грузовик — живого ли, мёртвого). Так в 30-е годы отправляли с Котласской пересылки каждый день этап в сто человек до Усть-Выми (около трёхсот километров), а иногда и до Чибью (более пятисот). Однажды в 1938 гнали так и женский этап. В этих этапах проходили в день двадцать пять километров. Конвой шёл с одной-двумя собаками, отстающих подгонял прикладами. Правда, вещи заклочённых, котёл и продукты везли сзади на подводах, и этим этап напоминал классические этапы прошлого века. Были и этапные избы — разорённые дома раскулаченных с выбитыми окнами, сорванными дверьми. Бухгалтерия Котласской пересылки выдавала этапу продуктов на теоретически-расчётное время, если всё в пути будет гладко, и никогда ни на день лишней (общий принцип всякой нашей бухгалтерии). При задержках же в пути — продукты растягивали, кармливали болтушкой из ржаной муки без соли, а то и вовсе ничем. Здесь было некоторое отступление от классики.

В 1940 этап, где шёл А. Я. Оленёв, после барж погнали пешком по тайге (от Княж-Погоста на Чибью) — и вовсе не кормя. Пили болотную боду, быстро несла их дизентерия. Падали без сил — собаки рвали одежду упавших. В Ижме ловили рыбу брюками и поедали живой. (И с какой-то поляны им объявили: тут будете строить железную дорогу Котлас — Воркута!)

И в других местах нашего европейского Севера пешие этапы гонялись до тех пор, пока по тем же маршрутам, по насыпям, теми же первичными арестантами проложенным, не побежали весёлые красные вагоны, везя вторичных арестантов.

У пеших этапов есть своя техника, её разрабатывают там, где приходится перегонять почасту и помногу. Когда таёжной тропой ведут этап от Княж-Погоста до Весляны, и вдруг какой-то заклочённый упал и дальше идти не может — что делать с ним? Разумно подумайте — что? Не останавливать же весь этап. И на каждого упавшего и отставшего не оставлять же по стрелку — стрелков мало, заклочённых много. Значит?.. Стрелок остаётся с ним ненадолго, потом нагоняет поспешно, уже один.

Долгое время держались постоянные пешие этапы из Карабаса в Спасск. Всего там тридцать пять — сорок километров, но прогнать надо в один день и человек тысячу зараз, и среди них много ослабевших. Здесь ожидается, что будут многие падать и отставать с той предсмертной нехотью и безразличием, что хоть стреляй в них, а идти они не могут. Смерти они уже не боятся, — но палки? но неутомимой пал-

ки, всё снова бьющей их по чѐм попало? — палки они побоятся и пойдут! Это проверено, это — так. И вот колонна этапа охватывается не только обычной цепью автоматчиков, идущих от неё в пятидесяти метрах, но ещё и внутренней цепью солдат невооружённых, но с палками. Отстающих бьют (как впрочем предсказывал и товарищ Сталин), бьют и бьют — а они иссиливаются, но идут! — и многие из них чудом доходят! Они не знают, что это — *палочная проверка*, и что тех, кто уже и под палками всё равно лёг и не идёт — тех забирают идущие сзади телеги. Опыт организации! (Могут спросить: а почему бы не сразу всех на телеги?.. А где их взять, и с лошадыми? У нас ведь трактора. Да и почѐм ныне овѐс...) Эти этапы густо шли в 1948—1950 годах.

А в 20-е годы пеший этап был один из основных. Я был мальчишкой, но помню их хорошо, по улицам Ростова-на-Дону их гнали, не стесняясь. Кстати, знаменитая команда «...открывает огонь без предупреждения!» тогда звучала иначе, опять-таки из-за другой техники: ведь конвой часто бывал только с палками. Командовали так: «Шаг в сторону — конвой стреляй, руби!» Это сильно звучит — «стреляй, руби!». Так и представляешь, как тебе сейчас разрубят голову сзади.

Да даже и в 1936 в феврале по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами, в самотканых зипунах, в лаптях и онучах — «Русь уходящая»... И вдруг наперерез — три автомобиля с председателем ВЦИКа Калининым. Этап остановили. Калинин проехал, не заинтересовался.

Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колѐс? Это идут вагон-заки. Это идут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлопает вода — это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы «воронков». Всё время кого-то ссаживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? — переполненные камеры пересылок. А этот вой? — жалобы обокраденных, изнасилованных, избитых.

Мы пересмотрели все способы доставки — и наши, что все они — хуже. Мы оглядели пересылки — но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше, — ложная надежда.

В лагере будет — хуже.

• • • • •

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

Только эти могут нас понимать, кто кушал разом с нами с одной чашки.

Из письма гуцулки, бывшей эчки.

То, что должно найти место в этой части, — неоглядно. Чтобы дикий этот смысл простичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях — в тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря — на истребление.

Оттого: все, кто глубже черпанул, полнее изведаль, — те в могиле уже, не расскажут. *Главного* об этих лагерях уже никто никогда не расскажет.

И непосилен для одинокого пера весь объѐм этой истории и этой истины. Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни. Но к счастью, ещё несколько выплыло и выплывет книг. Может быть, в «Колымских рассказах» Шаламова читатель верхней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния.

Да вкус-то моря можно отведать и от одного хлеба.

Глава 1

ПЕРСТЫ АВРОРЫ

Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага.

Когда наши соотечественники слышали по Би-Би-Си, что М. Михайлов обнаружил, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас (да и на Западе) были поражены: неужели так рано? неужели уже в 1921?

Конечно же нет! Конечно Михайлов ошибся. В 1921 они уже были на полном ходу, концентрационные (они даже оканчивались уже). Гораздо вернее будет сказать, что Архипелаг родился под выстрелы «Авроры».

А как же могло быть иначе? Рассудим.

Разве Маркс и Ленин не учили, что старую буржуазную машину принуждения надо сломать, а взамен неё тотчас же создать новую? А в машину принуждения входят: армия (мы же не удивляемся, что в начале 1918 создана Красная Армия); полиция (ещё раньше армии обновлена и милиция); суд (с 24 ноября 1917); и — тюрьма. Почему бы, устанавливая диктатуру пролетариата, должны были умедлить с новым видом тюрьмы?

То есть, вообще медлить с тюрьмой, старой ли, новой, было никак нельзя. Уже в первые месяцы после Октябрьской революции Ленин требовал «самых решительных и драконовских мер поднятия дисциплины»²⁰. А возможны ли драконовские меры — без тюрьмы?

Что нового способно здесь внести пролетарское государство? Ильич нащупывал новые пути. В декабре 1917 он предположительно выдвигает набор наказаний такой: «конфискации всего имущества... заключению в тюрьму или отправке на фронт и на принудительные работы подвергаются все ослушники настоящего закона»²¹. Стало быть, мы можем отметить, что ведущая идея Архипелага — принудительные работы, была выдвинута в первый же послеоктябрьский месяц.

Да над будущей карательной системой не мог не задумываться Владимир Ильич, ещё мирно сидя с другом Зиновьевым среди пахучих разливских сенокосов, под жужжание шмелей. Ещё тогда он подсчитал и успокоил нас, что: «подавление меньшинства эксплуататоров большинством *вчерашних* наёмных рабов дело настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови... обойдётся человечеству гораздо дешевле», чем предыдущее подавление большинства меньшинством²².

И во сколько же обошлось нам это «сравнительно лёгкое» внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчётам эмигрировавшего профессора статистики И. А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости, — оно обошлось нам в... 66,7 миллионов человек (без этого дефицита — 55 миллионов).

Шестьдесят шесть миллионов! Пятьдесят пять!

Свой или чужой — кто не онемее?

Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. (Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаённой и раздёрганной советской статистики, — но страшные тьмы погубленных наплаывают те же.)

²⁰ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 217.

²¹ Там же, т. 35, стр. 176.

²² Там же, т. 33, стр. 90.

Тут бы интересны ещё такие цифры. Каковы штаты были в *центральной* аппарате страшного III отделения, протянутого ременною полосой через всю великую русскую литературу? При создании — шестнадцать человек, в расцвете деятельности — сорок пять. Для захолустнейшего ГубЧК — просто смешная цифра. Или? как много политзаключённых застала в царской Тюрме Народов февральская революция? (Надо помнить, что в «политзаключённые» в прежней России зачислялись также экспроприаторы, налётчики, политические убийцы.) Где-то все эти цифры есть. Вероятно, в одних Крестах таких заключённых было более полусотни, да в Шлиссельбурге шестьдесят три человека, да несколько сотен вернулись из сибирской ссылки и каторги (из Александровского централа было освобождено около двухсот), да ещё ведь и в каждой губернской тюрьме сколько их томилось! А интересно — сколько? Вот цифра для Тамбова, взятая из тамошних горячих газет. Февральская революция, распахнувши дверь тамбовской тюрьмы, нашла там политзаключённых... 7 (семь) человек. В иркутской гораздо больше — двадцать. (Излишне напоминать, что от февраля до июля 1917 за политику не сажали, а после июля сидели тоже единицы и крайне привольно.)

Однако вот беда: первое советское правительство было коалиционным, часть наркоматов пришлось-таки отдать левым эсерам, и в том числе по несчастью попал в их руки Наркомат юстиции. Руководствуясь гнилыми мелкобуржуазными представлениями о свободе, этот НКЮ привел наказательную систему едва ли не к развалу, приговоры оказались слишком мягкими, и почти не использовались передовой принцип принудработ. В феврале 1918 председатель СНК товарищ Ленин потребовал увеличить число мест заключения и усилить уголовные репрессии²³, а в мае, уже переходя к конкретному руководству, он указал²⁴, что за взятку надо давать не ниже десяти лет тюрьмы и *сверх того* десять лет принудительных работ, то есть всего двадцать. Такая шкала могла первое время казаться пессимистической: неужели через двадцать лет ещё понадобятся принудработы? Но мы знаем, что принудработы оказались очень жизненной мерой и даже через пятьдесят лет они весьма популярны.

Тюремный персонал ещё много месяцев после Октября оставался всюду царский, только назначили комиссаров тюрем. Обнаглевшие тюремщики создали свой *профсоюз* («союз тюремных служащих») и установили в тюремной администрации — выборное начало! Не отставали и заключённые: у них тоже было внутреннее самоуправление. (Циркуляр НКЮ от 24.4.18: заключённых, где только возможно, привлекать к самоконтролю и самонаблюдению.) Такая арестантская воляница («анархическая распушенность») естественно не соответствовала задачам диктатуры передового класса и плохо способствовала очистке земли русской от вредных насекомых. (Да чего уж, если не были закрыты тюремные церкви! — и наши, советские, арестанты по воскресеньям охотно туда ходили, хоть бы и для разминки.)

Конечно, и царские тюремщики не вовсе были потеряны для пролетариата, как-никак — это была специальность, для ближайших целей революции важная. А поэтому предстояло «отбирать тех лиц из тюремной администрации, которые не совсем заскорузли и оступели в нравах царской тюрьмы (а что значит «не совсем»? а как это узнаешь? забыли «Боже, царя храни»?) и могут быть использованы для работы по новым заданиям»²⁵. (Например, чётко отвечают «так точно», «никак нет»? или быстро поворачивают ключ в замке?) Конечно, и сами тюремные здания, камеры, решётки и замки, хотя по виду и оставались прежними, но это только для поверхностного глаза, на самом

²³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 391.

²⁴ Там же, т. 50, стр. 70.

²⁵ Сборник «Советская юстиция», М. 1919, стр. 20.

же деле они получили *новое классовое содержание*, высокий революционный смысл.

И всё же навяз судам до середины 1918 года по инерции приговаривать всё «к тюрьме» да «к тюрьме» замедлял слом старой государственной машины в её тюремной части.

В середине 1918, а именно 6 июля, произошло событие, значение которого не всеми понимается, событие, поверхностно известное как «подавление мятежа левых эсеров». А между тем это был переворот, вряд ли уступающий 25 октября. 25 октября была провозглашена власть Советов Депутатов, оттого и названная советской властью. Но первые месяцы эта новая власть ещё сильно замутилась представительством в ней также и других партий, кроме большевиков. Хотя коалиционное правительство создано было только из большевиков и левых эсеров, однако в составе Всероссийских съездов (II, III, IV) и избранных на них ВЦИКов ещё попадались и представители других социалистических партий — эсеров, социал-демократов, анархистов, народных социалистов. От этого ВЦИКи носили нездоровый характер «социалистических парламентов». Но в течении первых месяцев 1918 года рядом решительных мер (поддержанных левыми эсерами) представители других социалистических партий либо исключались из ВЦИКа (его же решением, своеобразная парламентская процедура), либо не допускались быть в него избранными. Последней инородной партией, ещё составляющей третью долю парламента (V Съезда Советов), были левые эсеры. Пришло наконец время освободиться и от них. 6 июля 1918 года они были поголовно все исключены из ВЦИКа и СНК. Тем самым власть Советов Депутатов (по традиции называемая советской) перестала противостоять воле партии большевиков и приняла формы Демократии Нового Типа.

Только с этого исторического дня и могла по-настоящему начаться перестройка старой тюремной машины и создание Архипелага ²⁶.

А направление этой желаемой перестройки было понятно давно. Ведь ещё Маркс в «Критике Готской программы» указал, что единственное средство исправления заключённых — производительный труд. Разумеется, как объяснил гораздо позже Вышинский, «не тот труд, который высушивает ум и сердце человека», но «чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев» ²⁷. Почему наш заключённый не должен точить лясы в камере или книжечки почитать, а должен трудиться? Да потому что в Республике Советов не может быть места вынужденной праздности, этому «принудительному паразитизму», который мог быть при паразитическом же царском строе, например в Шлиссельбурге. Такое арестантское безделье просто противоречило бы основам трудового строя Советской Республики, зафиксированным в конституции 10.7.18: не трудящийся да и не ест. Стало быть, если 6 заключённые не были привлечены к работе, они по новой конституции должны были быть лишены пайки.

Центральный Карательный Отдел НКЮ, созданный в мае 1918 (и возглавленный уже большевиками, левые эсеры после Брестского мира вышли из правительства), тотчас погнал тогдашних эзков на работу («начал организовывать производительный труд»). Но законодательно это было объявлено уже после июльского переворота, именно 23 июля 1918 года — во «Временной инструкции о лишении свободы» (она просуществовала всю гражданскую войну до ноября 1920): «Лишённые свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду».

²⁶ На суконно-пламенном языке Вышинского: «единственный в мире имеющий подлинное всемирно-историческое значение процесс создания на развалинах буржуазной системы тюрем, этих «мёртвых домов», построенных эксплуататорами для трудящихся, — новых учреждений с новым социальным содержанием» («От тюрем к воспитательным учреждениям». Под редакцией Вышинского. «Советское законодательство». М. 1934, стр. 5).

²⁷ «От тюрем к воспитательным учреждениям», стр. 10.

Можно сказать, что от этой вот Инструкции 23 июля 1918 (через девять месяцев после Октябрьской революции) и пошли лагеря, и родился Архипелаг. (Кто упрекнёт, что роды были преждевременны?)

Необходимость принудительного труда заключённых (и без того, впрочем, всем уже ясная) была ещё пояснена на VII Всесоюзном Съезде Советов: «труд — наилучший способ парализовать развращающее влияние... бесконечных разговоров заключённых между собой, в которых более опытные просвещают новичков»²⁸.

Тут вскоре подоспели и коммунистические субботники, и тот же НКЮ призвал: «необходимо приучить [заключённых] к труду коммунистическому, коллективному»²⁹. То есть уже и дух коммунистических субботников перенести в *принудительные* лагеря!

Так эта поспешная эпоха нагородила сразу много задач, разбираться в которых досталось десятилетиям.

Основы «исправтруд-политики» были на VIII съезде РКП(б) (март 1919) включены в новую партийную программу. Полное же организационное оформление лагерной сети по Советской России строго совпало с первыми коммунистическими субботниками (12 апреля — 17 мая 1919 года): постановления ВЦИК о лагерях принудительных работ состоялись 15 апреля 1919 и 17 мая 1919³⁰. По ним лагеря принудработ создавались (усилиями ГубЧК) непременно в каждом губернском городе (по удобству — в черте города, или в монастыре, или в близкой усадьбе) и в некоторых уездах (пока — не во всех). Лагеря должны были содержать каждый не менее трёхсот человек (дабы трудом заключённых окупались и охрана, и администрация) и находиться в ведении Губернских Карательных Отделов.

Однако лагеря принудработ всё же не были первыми лагерями в РСФСР. Читатель уже несколько раз прочёл в трибунальских приговорах (часть первая, гл. 8) — «концлагерь» и шёл, быть может, что мы оговорились? что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию? Нет.

В августе 1918 года, за несколько дней до покушения на него Ф. Каплан, Владимир Ильич в телеграмме к Евгении Бош³¹ и пензенскому губисполкому (они не умели справиться с крестьянским восстанием) написал: «сомнительных (не «виновных», но *сомнительных*. — А. С.) запереть в концентрационный лагерь вне города»³². А кроме того: «...провести беспощадный массовый террор...» (это ещё не было декрета о терроре).

А 5 сентября 1918, дней через десять после этой телеграммы, был издан Декрет СНК о Красном Терроре, подписанный Петровским, Курским и В. Бонч-Бруевичем. Кроме указаний о массовых расстрелах в нём в частности говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путём изолирования их в *концентрационных лагерях*»³³.

Так вот где — в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома — был найден и тотчас подхвачен и утверждён этот термин — концентрационные лагеря — один из главных терминов XX века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот когда — в августе и сентябре 1918 года. Само-то слово уже употреблялось в первую мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен: концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались

²⁸ «Отчёт НКЮ VII Всесоюзному Съезду Советов», стр. 9.

²⁹ «Материалы НКЮ». 1920. Вып. VII, стр. 137.

³⁰ «Собрание Узаконений РСФСР за 1919 год», № 12, стр. 124, и № 20, стр. 235.

³¹ Этой забытой теперь женщине была вручена тогда (по линии ЦК и ЧК) судьба всей Пензенской губернии.

³² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 143 — 144.

³³ «Собрание Узаконений РСФСР за 1918 год», № 65, статья 710.

теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному ленинскому уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосуждённых, сплутно было найти и нужное слово — концентрационные!

Впрочем, глава реввоен трибуналов так и пишет: «Заключение в концентрационные лагеря получает характер изоляции военнопленных»³⁴. То есть откровенно: по праву захвата, все черты военных действий — только против своего народа.

И если лагеря принудительных работ НКЮ вошли в класс «общих мест заключения», то концлагеря никак не были «общим местом», но содержались в прямом ведении ЧК для *особо-враждебных* элементов и для заложников. В концлагеря в дальнейшем попадали правда и через трибунал; но само собою лились не осуждённые, а лишь *по при знаку враждебности*³⁵. За побег из концлагеря срок увеличивался (тоже без суда) в десять раз! (Это ведь звучало тогда: «десять за одного!», «сто за одного!») Стало быть, если кто имел пять лет, бежал и пойман, то срок его автоматически удлился до 1968 года. За второй же побег из концлагеря полагался расстрел (и, конечно, применялся аккуратно).

На Украине концентрационные лагеря были созданы с опозданием — только в 1920 году.

Глубоко сидели лагерные корешки, только потеряли мы их места и следы. О большей части первых концлагерей нам уже никто не расскажет. Лишь по последним свидетельствам ещё не умерших тех первых концлагерников можно выхватить что-то и спасти.

Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях: крепкие замкнутые стены, добротные здания и — пустуют (ведь монахи — не люди, их всё равно вышвыривать). Так, в Москве концлагеря были в Андрониковом монастыре, Новоспасском, Ивановском. В петроградской «Красной газете» от 6 сентября 1918 читаем, что первый концентрационный лагерь «будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре... *В первое время* предположено отправить в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5 тысяч человек» (курсив мой. — А. С.).

В Рязани концлагерь учредили тоже в бывшем женском монастыре (Казанском). Вот что о нём рассказывают. Сидели там купцы, священники, «военнопленные» (так называли взятых офицеров, не служивших в Красной Армии). Но и — неопределённая публика (толстолиц И. Е-в, о чьём суде мы уже знаем, поал сюда же). При лагере были мастерские — ткацкая, портновская, сапожная и (в 1921 так и называлось уже) — «общие работы», ремонт и строительство в городе. Выводили под конвоем, но мастеров-одиночек, по роду работы, выпускали бесконвойно, и этих жители подкармливали в домах. Население Рязани очень сочувственно относилось к *лишенникам* («лишённые свободы», а не заключённые официально назывались они), проходящей колонне подавали милостыню (сухари, варёную свёклу, картофель) — конвой не мешал принимать подаюния, и лишенники делили всё полученное поровну. (Что ни шаг — *не наши* обычаи, не наша идеология.) Особенно удачливые лишенники устраивались по специальности в учреждения (Е-в — на железную дорогу) — и тогда получали пропуск для хождения по городу (а ночевать в лагере).

Кормили в концлагере так (1921): полфунта хлеба (плюс ещё полфунта выполняющим норму), утром и вечером — кипяток, среди дня — черпак баланды (в нём — несколько десятков зёрен и картофельные очистки).

Украшалась лагерная жизнь с одной стороны доносами провокаторов (и арестами по доносам), с другой — драматическим и хоровым

³⁴ К. Х. Данишевский. Революционные Военные Трибуналы. Издание Реввоен трибунала Республики. М. 1920, стр. 40.

³⁵ «От тюрем к воспитательным учреждениям».

кружком. Давали концерты для рязанцев в зале бывшего благородного собрания, духовой оркестр лишенников играл в городском саду. Лишенники всё больше знакомились и сближались с жителями, это оказывалось уже нетерпимо,— и тут-то стали «военнопленных» высылать в Северные Лагерь Особого Назначения.

Урок нестойкости и несуровости концентрационных лагерей в том и состоял, что они находились в окружении гражданской жизни. Оттого-то и понадобились особые северные лагерь. (Концентрационные упразднены после 1922.)

Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше взглядеться в её переливы.

По окончании гражданской войны созданные Троцким две трудармии из-за ропота задержанных солдат пришлось распустить — и тем роль лагерей принудительного труда в структуре РСФСР естественно усилилась. К концу 1920 в РСФСР было 84 лагерь в 43 губерниях³⁶. Если верить официальной (хотя и засекреченной) статистике, там содержалось в это время 25 336 человек и кроме того ещё 24 400 «военнопленных гражданской войны»³⁷. Обе цифры, особенно последняя, кажутся сильно преуменьшенными. Однако, если учесть, что сюда не входят заключённые в системе ЧК, где *разгрузками тюрем*, потоплениями барж и другими видами массовых уничтожений счёт много раз начинался с нуля и снова с нуля,— может быть эти цифры и верны. В дальнейшем они наверстались.

Ранние лагерь принудительных работ представляются нам сейчас какой-то неосязаемостью. Люди, которые в них сидели, как будто ничего никому не рассказали — свидетельств нет. Художественная литература, мемуары, говоря о военном коммунизме, упоминают расстрелы и тюрьмы, но ничего не пишут о лагерьях. Нигде даже между строчками, нигде за текстом они не подразумеваются. Где были эти лагерья? Как назывались?.. Как выглядели?..

Инструкция от 23 июля 1918 имела тот решительный (всеми юристами отмечаемый) недостаток, что в ней ничего не было сказано о классовой дифференциации заключённых, то есть, что одних заключённых надо содержать лучше, а других хуже. Но в ней был расписан порядок труда — и только поэтому мы можем кое-что себе представить. Рабочий день был установлен — восемь часов. Сгоряча, по новинке, решено было за всякий труд заключённых, кроме хозработ по лагерью, платить... (чудовищно, перо не может вывести)... 100% по расценкам соответствующих профсоюзов. (По конституции заставляли работать, но и платить собирались по конституции, ничего не скажешь.) Правда, из заработка вычиталась стоимость содержания лагерья и охраны. Для «добросовестных» была льгота: жить на частной квартире, а в лагерь являться лишь на работу. За «особое трудолюбие» обещалось досрочное освобождение. А в общем, подробных указаний о режиме не было, в каждом лагерье было по-своему. «В период строительства новой власти и принимая во внимание *сильное переполнение мест заключения* (курсив наш.— А. С.), нельзя было думать о режиме, когда всё внимание было направлено на разгрузку тюрем»³⁸. Прочтёшь такое — как вавилонскую клинопись. Сколько сразу вопросов: что делалось в тех бедных тюрьмах? «Наши тюремные порядки безобразны... Самое краткосрочное заключение превращается в мучение»³⁹. И от каких же социальных причин такое переполнение? И понимать ли «разгрузку» как расстрелы, или как рассылку по лагерьям? И что значит — нельзя было думать о режиме? — значит, Наркомюст

³⁶ Центральный государственный архив Октябрьской революции, ф. 393, оп. 13, д. 1в, л. 111.

³⁷ ЦГАОР, ф. 393, оп. 13, д. 1в, л. 112.

³⁸ «Материалы НКЮ». Вып. VII.

³⁹ К. Х. Данишевский. Революционные Военные Трибуналы, стр. 39.

не имел времени охранить заключённого от произвола местного начальника лагеря, только так можно понять? Инструкции о режиме не было, и в годы *революционного правосознания* каждый самодур мог делать с заключённым, что хотел??

Из скромной статистики (всё из того же сборника «От тюрем...») узнаём: работы в лагерях были в основном чёрные. В 1919 только 2,5% заключённых работали в кустарных мастерских, в 1920—10. Известно также, что в конце 1918 Центральный Карательный Отдел (а называице-то! по коже пробирает) хлопотал о создании земледельческих колоний. Известно, что в Москве было создано из заключённых несколько «ударных» бригад по ремонту водопровода, отопления и канализации в национализированных зданиях Москвы. (И эти, очевидно бесконвойные, арестанты бродили с гаечными ключами, паяльниками и трубами по Москве, по коридорам учреждений, по квартирам тогдашних больших людей, вызванные по телефону их жёнами для ремонта,— а вот же не попали ни в одни мемуары, ни в одну пьесу, ни в один фильм.) А если таких специалистов в заключении не оказывалось? Можно предположить, что их *погсаживали*.

Дальнейшие сведения о тюремно-лагерной системе, какой она была в 1922 году, нам даёт счастливо сохранившийся отчёт X Съезду Советов начальника всех мест заключения РСФСР товарища Е. Ширвиндта⁴⁰. В этом году впервые были объединены все места заключения Наркомюста и НКВД (кроме *специальных мест заключения ГПУ*) — в единый ГУМЗак (Главное Управление Мест Заключения) и переданы под крыло товарища Дзержинского. (Имея под другим крылом места заключения ГПУ, он с ненасытностью хотел возглавлять и эти все.) ГУМЗак объединил 330 мест заключения с общим числом лишённых свободы — 80—81 тысяча,— подросло сравнительно с 1920 годом, «в нынешнем году констатируется постоянный рост населения мест заключения». Но из этой же брошюры узнаём (стр. 40), что вместе с ГПУ никогда не было заключённых меньше 150 тысяч, а порой доходило до 195 тысяч. «Население мест заключения становится всё более устойчивым» (стр. 10), «процент числящихся за ревтрибуналами не только не падает, но проявляет определённую тенденцию к росту» (стр. 13). А в местах недавних народных волнений — в центральночернозёмных губерниях, в Сибири, на Дону и Северном Кавказе, число подсудимых составляет 41—43% от всех заключённых, что свидетельствует о хорошей перспективе роста лагерей.

В систему ГУМЗака в 1922 году входят: исправительно-трудовые дома (сиречь — срочные тюрьмы), дома предварительного заключения (сиречь — следственные), пересыльные, карантинные, изоляционные тюрьмы (Орловская «не в состоянии вместить всех трудноисправимых», и возобновлены «Кресты», так славно распахнутые в феврале 1917), сельскохозяйственные колонии (с корчёмкой кустарников и пней, вручную), трудовые дома для несовершеннолетних и — концентрационные лагеря. Развитое же пенитенциарное дело! В тюрьмах «на каждые 5 мест приходится с лишком 6 человек, причём имеется много таких домов, где на одно место приходится 3 и более человек» (стр. 8).

Узнаём о зданиях (тюремных и лагерных): пришли в такой упадок, что не удовлетворяют даже основным санитарным требованиям, «в такую негодность, что... целые корпуса и даже целые исправдома пришлось закрыть» (стр. 17). О питании. «В 1921 места заключения были в тяжёлом положении: на заключённых не было достаточного количества пайков». С 1922 из-за перехода на местные бюджеты «материальное положение мест заключения надо считать почти катастрофическим» (стр. 2), местные губисполкомы даже отказывают в полной выдаче пайка заключённым. В начале года на 150—195 тысяч заключён-

⁴⁰ РСФСР. Главное Управление Местами Заключения НКВД. «Пенитенциарное дело в 1922 году». М. Типография Московской губернской Таганской тюрьмы.

ных Госплан отпустил 100 тысяч пайков, нормы питания сокращались, некоторые продукты не выдавались совсем (три четверти заключённых получали менее 1500 калорий), а с 1 декабря 1922 все места заключения, кроме пятнадцати, имеющих общегосударственное значение, вовсе сняты с пайкового довольствия. «Заключённые голодают» (стр. 41).

Государство хотело, хотело иметь Архипелаг, только нечем было его кормить!

Расценки за работы — уже сниженные. «Снабжение вещевым довольствием было крайне неудовлетворительно... Надо ожидать, что оно примет катастрофический характер» (стр. 42). «Недостаток топлива испытывается почти повсеместно». Смертность за октябрь 1922 составила по ГУМЗаку не менее 1%. Это значит, за зиму предстояло потерять больше 6% — а то и 10%?

Не могло это не отразиться и на охране. «Большинство надзора буквально бежит со службы, а некоторые спекулируют и входят в сделку с заключёнными» (стр. 43) — и сколько же их ещё обворовывают! «Сильный рост должностных преступлений среди сотрудников, толкаемых на то голодом». Многие перешли на лучше оплачиваемую работу. «Имеются исправдома, где остались только начальник и один надзиратель» (можно представить, какой негодящий), — и «приходится к обязанностям надзора привлечь самих заключённых из числа образцовых».

И какую же надо было иметь дзержинскую силу духа и веру в коммунистическое наказательное дело, чтоб этот вымирающий Архипелаг не распустить по домам, но вытягивать в светлое будущее!

И что ж? К октябрю 1923, уже в начале безоблачных годов НЭПа (и довольно далеко ещё до *культы личности*) содержалось: в 355 лагерях — 68 297 лишённых свободы, в 207 исправдомах — 48 163, в 105 домзаках и тюрьмах — 16 765, в 35 сельхозколониях — 2328 и ещё 1041 несовершеннолетних и больных⁴¹.

И это всё — без лагерей ГПУ! Радостный рост! Нытики посрамлены. Партия опять оказалась права: заключённые не только не умерли, норосло их чуть не в два раза, а мест заключения — и больше, чем в два, не рухнули.

Есть и другая выразительная статистика: переуплотнение лагерей (число заключённых росло быстрее, чем организация лагерей). На 100 штатных мест приходилось в 1924 — 112 заключённых, в 1925 — 120, в 1926 — 132, в 1927 — 177⁴². Кто сам *sigel*, хорошо понимает, каков лагерный быт (место на нарах, миски в столовой или телогрейки), если на одно место приходится 1,77 заключённого.

Развитием лагерной системы развернулась смелая «борьба с тюремным фетишизмом» всех стран мира и в том числе прежней России, где ничего не могли придумать, кроме тюрем и тюрем. («Царское правительство, превратившее в одну огромную тюрьму всю страну, с каким-то утончённым садизмом развивало свою тюремную систему»⁴³.)

Хотя до 1924 и на Архипелаге всё ещё недостаточно «простых трудколоний». В эти годы перевешивают «закрытые места» заключения, да не уменьшатся они и после. (В докладе 1924 Крыленко требует увеличить число изоляторов специального назначения — изоляторов для не-трудящихся и для *особо-опасных из числа трудящихся* (каким, очевидно, и окажется потом сам Крыленко). Эта его формулировка так и вошла в Исправительно-трудовой кодекс 1924 года.)

А на пороге «реконструктивного периода» (значит — с 1927 года) «роль лагерей... — что бы вы думали? теперь-то, после всех побед? —

⁴¹ ЦГАОР, ф. 393, оп. 39, д. 48, л. 13, 14.

⁴² А. А. Герцензон. Борьба с преступностью в РСФСР. М. Юриздат. 1928, стр. 103.

⁴³ «От тюрем к воспитательным учреждениям», стр. 431.

...возрастает — против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей, кулачества, контрреволюционной агитации»⁴⁴.

Итак, Архипелаг не уйдёт в морскую пучину! Архипелаг будет жить!

Как при сотворении всякого Архипелага происходят где-то невидимые передвижки важных опорных слоёв прежде, чем станет перед нами картина мира, — так и тут происходили важнейшие перемещения и переименования, почти недоступные нашему уму. Вначале первозданная неразбериха, местами заключения руководят три ведомства: ВЧК (т. Дзержинский), НКВД (т. Петровский) и НКЮ (т. Курский); в НКВД — то ГУМЗак (Главное Управление Мест Заключения, сразу после Октября 1917), то ГУПР (Главное Управление Принудительных Работ), то снова ГУМЗак; в НКЮ — Тюремное Управление (декабрь 1917), затем Центральный Карательный Отдел (май 1918) с сетью губернских карательных отделов и даже съездами их (сентябрь 1920), затем облагодзвученный в Центральный Исправительно-Трудовой Отдел (1921). Разумеется, такое рассредоточение не служило к пользе карательно-исправительного дела, и Дзержинский добивался единства управления. Кстати, тут произошло мало кем замеченное сращение НКВД с ВЧК: с 16 марта 1919 Дзержинский стал по совместительству также наркомом внутренних дел. А в 1922, как уже сказано, он добился передачи к себе в НКВД и всех мест заключения из НКЮ (25.6.1922).

Параллельно тому шла перестройка и лагерной охраны. Сперва это были войска ВОХР (Внутренней Охраны Республики), затем ВНУС (Внутренней Службы), в 1919 они соединились с корпусом ВЧК⁴⁵, и председателем их Военного Совета стал Дзержинский же. (И тем не менее, тем не менее, до 1924 поступали жалобы на многочисленность побегов, на низкое состояние дисциплины работников⁴⁶.) Лишь в июне 1924 декретом ВЦИК — СНК в корпусе Конвойной Стражи введена военная дисциплина и укомплектование через Наркомвоенмор⁴⁷.

Ещё тому параллельно создаётся в 1922 Центральное Бюро Дактилоскопической регистрации и Центральный Питомник служебных и розыскных собак.

А за это время ГУМЗак СССР переименовывается в ГУИТУ СССР (Главное Управление Исправительно-Трудовых Учреждений), а затем и в ГУИТЛ ОГПУ (Главное Управление Исправительно-Трудовых Лагерей), и Начальник его одновременно становится Начальником Конвойных войск СССР.

И сколько ж это волнений! И сколько ж это лестниц, кабинетов, часовых, пропусков, печатей, вывесок!

А из ГУИТЛа, сына ГУМЗака, и получился-то наш ГУЛАГ.

Глава 2

АРХИПЕЛАГ ВОЗНИКАЕТ ИЗ МОРЯ

На Белом море, где ночи полгода белые, Большой Соловецкий остров поднимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлёвских стен, ржаво-красных от прижившихся лишайников, — и серо-белые соловецкие чайки постоянно носятся над Кремлём и клекочут.

⁴⁴ И. Л. Авербах. От преступления к труду. Под редакцией Вышинского. «Советское законодательство». 1936.

⁴⁵ «Власть Советов», 1919, № 11, стр. 6 — 7.

⁴⁶ ЦГАОР, ф. 393, оп. 47, д. 89, л. 11.

⁴⁷ Там же, оп. 53, д. 141, лл. 1, 3, 4.

«В этой светлости как бы нет греха... Эта природа как бы ещё не доразвилась до греха», — так ощутил Соловецкие острова Пришвин⁴⁸.

Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда.

Приходили ледники и уходили, гранитные валуны натеснялись вокруг озёр; озёра замерзали соловецкою зимнею ночью, ревели море от ветра и покрывалось ледяною шугой, а где схватывалось; полыхали полярные сияния в полнеба; и снова светлело, и снова теплело, и подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени — кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали, — а здесь всё не было хищных зверей и не было человека.

Иногда тут высаживались новгородцы и зачали острова в Обонежскую пятину. Живали тут и карелы. Через полста лет после Куликовской битвы и за полтысячи лет до ГПУ пересекли перламутровое море в лодчонке монахи Савватий и Зосима и этот остров без хищного зверя сочли святым. С них и пошёл Соловецкий монастырь. С тех пор поднялись тут Успенский и Преображенский соборы, церковь Усекновения на Секирной горе, и ещё два десятка церквей, и ещё два десятка часовен, скит Голгофский, скит Троицкий, скит Савватиевский, скит Муксалмский, и одинокие укывища отшельников и схимников по дальним местам. Здесь приложен был труд многих — сперва самих монахов, потом и монастырских крестьян. Соединились десятками каналов озёра. В деревянных трубах пошла озёрная вода в монастырь. А самое удивительное — легла (XIX век) дамба на Муксалму из неподымных валунов, как-то уложенных по отмелям. На Большой и Малой Муксалме стали пастись тучные стада, монахи любили ухаживать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи⁴⁹. Огороды растили плотную белую сладкую капусту (кочерыжки — «соловецкие яблоки»). Все овощи были свои, да все сорта, и свои цветочные оранжереи, даже розы. А то вызревали и бахчи. Развились рыбные промыслы — морская ловля и рыбоводство в отгороженных от моря «митрополичьих садках». С веками и с десятилетиями свои появились мельницы для своего зерна, свои лесопильни, своя посуда из своих гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплётная, своя кожанная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный фасонный кирпич и морские судёнышки для себя — всё делали сами.

Однако никакое народное развитие ещё никогда не шло, не идёт и будет ли когда-либо идти? — без сопутствования мыслью военной и мыслью тюремной.

Мысль военная. Нельзя же каким-то безрассудным монахам просто жить на просто острове. Остров — на границе Великой Империи и, стало быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и, стало быть, надо строить крепость со стенами восьмиметровой толщины и воздвигнуть восемь башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный обзор.

⁴⁸ И только сами монахи показались ему для Соловков грешными. Был 1908 год, и по тогдашним либеральным понятиям невозможно было вымолвить о духовенстве одобрительно. А нам, прошедшим Архипелаг, те монахи пожалуй и ангелами покажутся. Имея возможность есть «от пуза», они в Голгофско-Распятском скиту даже рыбу, постную пищу, разрешали себе лишь по великим праздникам. Имея возможность привольно спать, они бодрствовали ночами (в том же скиту) круглосуточно, круглогодно, круглорезно читали псалтырь с поминовением всех православных христиан, живых и умерших. Как предчувствовали, что будет там дальше.

⁴⁹ Специалисты истории техники говорят, что Филипп Кольчев (возвысивший голос против Грозного) внедрил в XVI веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через три века не стыдно было бы повсюду.

(И пришлось-таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 1854, и выстоять, а против никоновцев в 1667 предал Кремль царскому боярину монах Феоктист, открыв тайный ход.)

Мысль тюремная. Как же это славно — на отдельном острове да стоят добрые каменные стены. Есть куда посадить важных преступников, и охрану с кого спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги. (Сколько вер разбило в человечестве это тюремное совместительство иных христианских монастырей.)

И думал ли о том Савватий, высаживаясь на святом острове?..

Сажались сюда еретики церковные, сажались и еретики политические. Тут сидел Авраамий Палицын (и умер тут); дядя Пушкина П. Ганнибал — за сочувствие к декабристам. Уже в глубокой старости был посажен сюда последний кошевой Запорожского войска Калнишевский и после долгого срока освобожден, будучи старше ста лет.

Но тех всех, однако, почти можно по именам перечесть⁵⁰.

На древнюю историю соловецкой монастырской тюрьмы уже в советское, уже в лагерное время Соловков заброшена была наикладка модного мифа, которая, однако, обманула создателей справочников и исторических описаний,— и теперь мы в нескольких книгах можем прочесть, что соловецкая тюрьма была пыточной; что тут были и крюки для дыбы, и плети, и каление огнём. Но всё это — принадлежности доелизаветинских следственных тюрем или западной инквизиции, никак не свойственные русским монастырским темницам вообще, а примысленные сюда исследователем недобросовестным да и несведущим.

Старые соловчане хорошо помнят его — это был *шпынь* Иванов, по лагерному прозвищу «антирелигиозная бацилла». Прежде он состоял служкой при архиепископе Новгородском, арестован за продажу церковных ценностей шведам. На Соловки попал году в 1925 и заметался, как уйти от общих работ и от гибели. Он специализировался по антирелигиозной пропаганде среди заключённых, конечно стал и сотрудником ИСЧ (Информационно-Следственная Часть, так откровенно и называлась). Но больше того: руководителей лагеря он взволновал предположениями, что здесь зарыты монахами многие клады,— и так создали под его началом Раскопочную Комиссию. Много месяцев эта комиссия копала,— увы, монахи обманули психологические расчёты антирелигиозной бациллы: никаких кладов они на Соловках не зарыли. Тогда Иванов, чтобы с почётом выйти из положения, принялся истолковывать подземные хозяйственные, складские и оборонные помещения — как тюремные и пыточные. Деталей пыток, естественно, не могло сохраниться за столько столетий, но уж крюк (для подвески туш) конечно свидетельствовал, что здесь была дыба. (Для XIX века труднее было обосновать, почему никаких следов мучительства не осталось,— и так было заключено, «с прошлого века режим соловецкой тюрьмы значительно смягчился». «Открытия» антирелигиозной бациллы очень приходились в цвет времени, несколько утешили разочарованное начальство, были помещены в лагерном журнале «Соловецкие острова», потом отдельно отпечатаны в соловецкой типографии — и так с успехом задымили историческую истину. (Затем тем более уместная, что Соловецкий процветающий монастырь был в большой славе и уважении по всей Руси ко времени революции.)

Но когда власть перешла в руки трудящихся,— что ж стало делать с этими злостными тунеядцами монахами? Послали туда комиссаров, социально-проверенных руководителей, монастырь объявили

⁵⁰ Государственная тюрьма в Соловках существовала с 1718. В 80-х годах XIX века командующий войсками С.-Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, посетив Соловки, нашёл воинскую команду там совершенно излишней и убрал солдат с Соловков. С 1903 соловецкая тюрьма прекратила своё существование (А. С. Пругавин. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектанством. Издание «Посредника», стр. 78, 81).

совхозом и велели монахам меньше молиться, а больше трудиться на пользу рабочих и крестьян. Монахи трудились, и та поразительная по вкусу селёдка, которую они ловили благодаря особому знанию мест и времени, где забрасывать сети, отсылалась в Москву на кремлёвский стол.

Однако обилие ценностей, сосредоточенных в монастыре, особенно в ризнице, смущало кого-то из прибывших руководителей и направителей: вместо того, чтобы перейти в трудовые (их) руки, ценности лежали мёртвым религиозным грузом. И тогда в некотором противоречии с Уголовным кодексом, но в верном соответствии с общим духом экспроприации нетрудового имущества, монастырь был подожжён (25 мая 1923 года) — повреждены были постройки, исчезло много ценностей из ризницы, а главное — сгорели все книги учёта, и нельзя было определить, как много и что именно пропало⁵¹.

Не проводя даже никакого следствия, что подскажет нам революционное правосознание (нюх)? — кто может быть виноват в поджоге монастырского добра, если не чёрная монашеская свора? Так выбросить её на материк, а на Соловецких островах сосредоточить Северные Лагеря Особого Назначения! Восьмидесятилетние и даже столетние монахи умоляли с колен оставить их умереть на «святой земле», но с пролетарской непреклонностью вышибли их всех, кроме самых необходимых: артели рыбаков⁵², да специалистов по скоту на Муксалме; да отца Мефодия, засольщика капусты; да отца Самсона, литейщика; да других подобных полезных отцов. (Им отвели особый от лагеря уголок Кремля со своим выходом — Сельдяными воротами. Их называли *трудовой коммуной*, но в снисхождение к их полной одурманенности оставили им для молитв Онуфриевскую церковь на кладбище.)

Так сбылась одна из любимых пословиц, постоянно повторяемая арестантами: свято место пусто не бывает. Утих колокольный звон, погасли лампы и свечные столпы, не звучали больше литургии и всенощные, не бормотался круглосуточный псалтырь, порушились иконостасы (в Преображенском соборе оставили) — зато отважные чекисты в сверхдолгополых, до самых пят, шинелях, с особо-отличительными соловецкими чёрными обшлагами и петлицами и чёрными околышками фуражек без звёзд, приехали в июне 1923 года созидать образцово-строгий лагерь, гордость рабоче-крестьянской Республики.

Концентрационные лагеря, хотя и классовые, к тому времени были признаны недостаточно строгими. Уже в 1921 году были основаны, в ведении ЧК, Северные Лагеря Особого Назначения — СЛОН. Первые такие лагеря возникли в Пертоминске, Холмогорах и близ самого Архангельска⁵³. Однако эти места были, видимо, признаны трудными для охраны, не перспективными для сгущения больших масс заключённых. И взоры начальства естественно были переведены по соседству на Соловецкие острова — с уже налаженным хозяйством, с каменными постройками, в двадцати — сорока километрах от материка, достаточно близко для тюремщиков, достаточно удалённо для беглецов, и полгода без связи с материком — крепче орешек, чем Сахалин.

Что значит *Особое Назначение*, ещё не было сформулировано и разработано в инструкциях. Но первому начальнику соловецкого лагеря Эйхмансу разумеется объяснили на Лубянке устно. А он, приехав на остров, объяснил своим близким помощникам.

⁵¹ И на этот пожар тоже ссылался «антирелигиозная бацилла», объясняя, почему так трудно теперь найти вещественно прежние каменные мешки и пыточные приспособления.

⁵² Их убрали с Соловков лишь около 1930 — и с тех пор прекратились уловы: никто больше не мог той селёдки в море найти, как будто она совсем исчезла.

⁵³ «Соловецкие острова», 1930, № 2-3, стр. 55, из доклада начальника УСЛОН товарища Ногтева в Кеми. Когда теперь экскурсантам показывают в устье Двины так называемый «лагерь правительства Чайковского», надо знать, что это и есть один из первых чекистских «северных лагерей особого назначения».

* * *

Сейчас-то бывших эзков да даже и просто людей 60-х годов расказом о Соловках может быть и не удивишь. Но пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, человеком Серебряного Века нашей культуры, как назвали 1910-е годы, там воспитанным, ну пусть потрясённым гражданской войной, — но всё-таки привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обращению, — и вот тогда да вступит он в ворота Соловков — в Кемперпункт⁵⁴. Это — пересылка в Кеми, унылый, без деревца, без кустика, Попов остров, соединённый дамбой с материком. Первое, что вступивший видит в этом голом, грязном загоне — карантинную роту (заключённых тогда сводили в «роты», ещё не была открыта «бригада»), одетую.. в мешки! — в обыкновенные мешки: ноги выходят вниз как из-под юбки, а для головы и рук делаются дырки (ведь и придумать нельзя, но чего не одолеет русская смекалка!). Этого-то мешка новичок избежит, пока у него есть своя одежда, но ещё и мешков как следует не рассмотрев, он увидит легендарного ротмистра Курилку.

Курилко (или Белобородов ему на замен) выходит к этапной колонне тоже в длинной чекистской шинели с устрашающими чёрными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском солдатском сукне — как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую подходящую подмость и обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной яростью: «Э-э-эй! Внима-ни-е! Здесь республика не со-вец-ка-я, а соловец-ка-я! Усвойте! — нога прокурора ещё не ступала на соловецкую землю! — и не ступит! Знайте! — вы присланы сюда не для исправления! Горбатого не исправишь! Порядок будет у нас такой: скажу «встать» — встанешь, скажу «лечь» — ляжешь! Письма писать домой так: жив, здоров, всем доволен! точка!..»

Онемев от изумления, слушают именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, муллы да тёмные среднеазиаты — чего не слышано и не видано, не читано никогда. А Курилко, не прогремевший в гражданской войне, но сейчас, вот этим историческим приёмом вписывая своё имя в летопись всей России, ещё взводится, ещё взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота, и ещё новые складываются и оттачиваются у него сами⁵⁵.

И любуюсь собой и заливаясь (а внутри, может быть, со злорадством: вы, штафирки, где прятались, пока мы воевали с большевиками? вы думали в щелке отсидеться? так вытащены сюда! теперь получайте за свой говённый нейтралитет!), — Курилко начинает учение:

— Здравствуй, первая карантинная рота!.. — (Должны отрывисто крикнуть: «Здра!») — Плохо, ещё раз! Здравствуй, первая карантинная рота!.. Плохо!.. Вы должны крикнуть «здра!» — чтоб на Соловках, за проливом было слышно! Двести человек крикнут — стены падать должны!! Снова! здравствуй, первая карантинная рота!

⁵⁴ По-фински это место называется Вегеракша, то есть «жилище ведьм».

⁵⁵ История Курилки вызывает интерес. Возможно, когда-нибудь будут пытаться установить его личность. В революционные годы посильно было и принятие чужого чина и чужой фамилии. Но вот два следа, данные мне читателями, на всякий случай. Полковник Курилко командовал ещё до 1914 года 16-м Сибирским стрелковым полком; к концу войны был контуженный генерал с золотым оружием, Георгием и многими орденами. Сын его Игорь ещё кадетом 1 Московского кадетского корпуса летом 1914 и 1915 ездил на фронт, воевал, награждён Георгиевской медалью, затем крестом; весной 1916 кончил ускоренный курс Александровского училища, прапорщик. Другой след: полковник Курилко был одним из возглавителей белогвардейской подпольной организации в Москве летом 1919. Она провалилась, были массовые расстрелы (до семи тысяч человек?), но Иван Алексеев (отец моего корреспондента) и брат профессора И. Ильина, известные только Курилке, не были им выданы и не были тронуты.

Проследя, чтобы все кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилко начинает следующее учение — бег карантинной роты вокруг столба:

— Ножки выше!.. Ножки выше!

Это и самому нелегко, он и сам уже — как трагический артист к пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разостланным по земле, он последним хрипом получасового учения, исповедью сути соловецкой обещает:

— Сопли у мертвецов сосать заставлю!

И это — только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших. А в чёрно-деревянном гниющем смрадном бараке приказано будет им «спать на рёбрышке» — да это хорошо, это кого *отделённые* за взятку всунут на нары. А остальные будут ночь стоять между нарами (а виновного ещё поставят между парашею и стеной, чтобы перед ним все оправлялись).

И это — благословенные допереломные докультовые до-искажённые до-нарушенные Тысяча Девятьсот Двадцать Третий, Тысяча Девятьсот Двадцать Пятый... (А с 1927 то дополнение, что на нарах уже будут урки лежать и в стоящих интеллигентов постреливать вшами с себя.)

В ожидании парохода «Глеб Бокий»⁵⁶ они ещё поработают на кемской пересылке, и кого-то заставят бегать вокруг столба с постоянным криком: «Я филоном, работать не хочу и другим мешаю!»; а инженера, упавшего с парашей и разлившего на себя, не пустят в барак, а оставят обледеневать в нечистотах. Потом крикнет конвой: «В партии отстающих нет! Конвой стреляет без предупреждения! Шагом марш!» И потом, клацая затворами: «На нервах играете?» — и зимой погонят по льду пешком, волоча за собой лодки, — переплывать через полыньи. А при подвижной воде погрузят в трюм парохода, и столько втиснут, что до Соловков несколько человек непременно задохнутся, так и не увидев белоснежного монастыря в бурых стенах.

В первые же соловецкие часы быть может испытает на себе новичок и соловецкую приёмную банную шутку: он разделся, первый банщик макает швабру в бочку зелёного мыла и шваброй мажет новичка; второй пинком сталкивает его куда-то вниз по наклонной доске или по лестнице; там, внизу, его, ошеломлённого, третий окатывает из ведра, и тут же четвёртый выталкивает в одевалку, куда его «барахло» уже сброшено сверху как попало. (В этой шутке предвиден весь ГУЛАГ! и темп его и цена человека.)

Так глотает новичок соловецкого духа! — духа, ещё не известного в стране, но творимого на Соловках будущего духа Архипелага.

И здесь тоже новичок видит людей в мешках; и в обычной «вольной» одежде, у кого новой, у кого потрёпанной; и в особых соловецких коротких бушлатах из шинельного материала (это — привилегия; это признак высокого положения, так одевается лагерный адмсостав), с шапками-«соловчанками» из такого же сукна; и вдруг идёт среди арестантов человек... во фраке! — и не удивляет никого, никто не обращается и не смеётся. (Ведь каждый донашивает своё. Этого беднягу арестовали в ресторане «Метрополь», так он и мыкает свой срок во фраке.)

«Мечтой многих заключённых» — называет журнал «Соловецкие острова» (1930 год, № 1) получение одежды стандартного типа⁵⁷.

⁵⁶ В честь председателя московской тройки ОГПУ, недоучившегося молодого человека:

«Он был студент, и был горняк,
Зачёты же не шли никак».

(Из «дружеской эпиграммы» в журнале «Соловецкие острова», 1929, № 1. Цензура глупая была и не понимала, что пропускает.)

⁵⁷ Все ценности с годами перепрокидываются — и то, что считается привилегией в лагере Особого Назначения 20-х годов — носить казённую одежду, то станет докукой в Особом лагере 40-х годов: там у нас привилегией будет не носить ка-

Только детколонию полностью одевают. А например женщинам не выдают ни белья, ни чулок, ни даже платка на голову — схватили сватью в летнем платье, так и ходи заполярную зиму. От этого многие заключённые сидят в ротных помещениях даже в одном белье, и на работу их не выгоняют.

Столь дорога казённая одежда, что никому на Соловках не кажется дивной или дикой такая сцена: среди зимы арестант раздевается и разувается близ Кремля, аккуратно сдаёт обмундирование и бежит голый двести метров до другой кучки людей, где его одевают. Это значит: его передают от кремлёвского управления управлению филимоновской железнодорожной ветки⁵⁸, — но если передать его в одежде, приёмщики могут не вернуть её или обменять, обмануть.

А вот и другая зимняя сцена — те же нравы, хотя иная причина. Лазарет санчасти признан антисанитарным, приказано срочно шпарить и мыть его кипятком. Но куда же больных? Все кремлёвские помещения переполнены, плотность населения Соловецкого архипелага больше, чем в Бельгии (а какая ж в соловецком Кремле?). Так всех больных выносят на одеялах на снег и кладут на три часа. Вымыли — затаскивают.

Мы же не забыли, что наш новичок — воспитанник Серебряного Века? Он ничего ещё не знает ни о второй мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит: отделённые в шинельных бушлатах с отменной выправкой приветствуют друг друга и ротных отдаением воинской чести — и они же выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами (и даже глагол уже всем понятный: *дрыновать*). Он видит: сани и телегу тянут не лошади, а люди (по нескольку в одной) — и тоже есть слово *вридло* (временно исполняющий должность лошади).

А от других соловчан он узнает и пострашней, чем видят его глаза. Произносят ему гибельное слово — Секирка. Это значит — Секирная гора. В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены до стены укреплены жерди толщиною в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. (На ночь ложатся на полу, но друг на друга, переполнение.) Высота жерди такова, что ногами до земли не достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант — как бы удержаться. Если же свалится — надзиратели подскакивают и бьют его. Либо: выводят наружу к лестнице в триста шестьдесят пять крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к *балану* (бревну) для тяжести — и вольно сталкивают (ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже).

Ну, да за *жёрдочками* не на Секирку ходить, они есть и в кремлёвском, всегда переполненном, карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом — «на пеньки», это значит — голого под комаров. Но тогда за наказанным надо следить; а если голого да к дереву привязывают — то комары справятся сами. А если голого зимой — так облить водой на морозе. Ещё — целые роты в снег кладут за провинность. Ещё — в приозёрную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот ещё способ: запрягают лошадь в пустые оглобли, к оглоблям привязывают ноги виновного, на лошадь садится охранник и гонит её по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся.

Новичок раздавлен духом, ещё и не начав соловецкой жизни, своих бесконечных трёх лет срока. Но поспешил бы современный читатель, если б вытянул палец: вот открытая система уничтожения, лагерь смерти! Э нет, мы не так просты! В этой первой эксперимен-

зённой, а хоть что-нибудь своё, хоть шапку. Тут не только экономическая причина, тут и волны эпохи: одно десятилетие видит в идеале, как бы пристать к Общему, другое — как бы от него отстать.

⁵⁸ Перетащили сюда ж-д Старая Русса — Новгород.

тальной зоне, как и потом в других, как и в самой объёмлющей изо всех — в СССР, мы не открыто действуем — а наслоенно, смешанно — и потому так успешно и потому так долго.

Вдруг въезжает через кремлёвские ворота какой-то лихой человек верхом на козле, держится со значением, и никто не смеётся над ним. Это кто же? почему на козле? Дегтярёв, он в прошлом объездчик (не путать с вольным Дегтярёвым, начальником войск Соловецкого архипелага), потребовал себе лошадь, но лошадей на Соловках мало, так дали ему козла. А за что ему честь? А он — заведующий Дендрологическим Питомником. Они выращивают экзотические деревья. Здесь, на Соловках.

Так с этого всадника на козле начинается соловецкая фантастика. Зачем же экзотические деревья на Соловках, где простое разумное овощное хозяйство монахов — и то уже загубили, и овощи при конце? А затем экзотические деревья при Полярном Круге, что и Соловки, как вся Советская Республика, преобразуют мир и строят новую жизнь. Но откуда семена, средства? Вот именно: на семена для дендрологического питомника деньги есть, нет лишь денег на питание рабочим лесоповала (питание идёт ещё не по нормам — по средствам).

А вот — археологические раскопки? Да, у нас работает Раскопочная Комиссия. Нам важно знать своё прошлое.

Перед Управлением лагеря — клумба, и на ней выложен симпатичный слон, а на попоне его «У» — значит У-СЛОН — (Управление Соловецких Лагерьей Особого Назначения). И тот же ребус — на соловецких болах, ходящих как деньги этого северного государства. Какой приятный домашний маскарад! Так всё очень мило здесь, Курилкошутник нас только пугал?

Денежное обращение лагерей ГПУ имело устойчивое продолжение на многие годы. Особые денежные знаки помогали лучшей изоляции этих лагерей. По прибытии в лагерь даже все чины администрации и охраны, тем более заключённые должны были сдать все имеющиеся у них советские деньги и получали взамен книжечки «расчётных квитанций» (на плотной бумаге, с водяным знаком) в достоинствах по две, пять, двадцать, пятьдесят копеек, один, три и пять рублей, выпуски разных годов отличались подписями разных членов Коллегии ОГПУ — Г. Бокия, Л. Когана или М. Бермана. За укрытие в лагере государственных денег полагался расстрел. (Одна из целей такой строгости была — затруднить побег.) На территории всех лагерей ГПУ для всех расчётов применялись эти квитанции. При освобождении (если оно наступало...) владелец снова обменивал их на государственные деньги. После 1932 года, при резком росте лагерной системы, все эти квитанции были изъяты. (Сообщил М. М. Быков.)

И вот свой журнал — тоже «Слон» (с 1924, первые номера на машинке, с № 9 — печатается в монастырской типографии), с 1925 — «Соловецкие острова», двести экземпляров, и даже с приложением — газетой «Новые Соловки» (разорвём с проклятым монашеским прошлым!). С 1926 — подписка по всей стране и больше тираж, большой успех! Ведь в 20-е годы Соловков не таили, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто играли, Соловками открыто гордились (имели смелость гордиться!), они поминались в советских песнях, над ними смеялись в эстрадных куплетах. Ведь классы исчезали (куда?), и Соловкам тоже был скоро конец.

И над журналом — верхоглядная какая-то цензура: заключённые (Глубоковский) пишут юмористические стишки о Тройке ГПУ — и проходит! И потом их поют с эстрады соловецкого театра прямо в лицо приехавшему Глебу Бокию:

Обещали подарков нам куль
Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль...

— и начальству нравится! (Да ведь лестно! Ты курса не кончил — а тебя в историю лепят.) И припев:

Всех, кто наградил нас Соловками,—
Просим: приезжайте сюда сами!

Посидите здесь годочков три иль пять —
Будете с восторгом вспоминать!

— хохочут! нравится! (Кто ж разгадает, что здесь — пророчество?..)

К 1927 журнал оборвался: режим поворачивал, не до этих шуток. Но ещё потом, в 1929, после крупных соловецких событий и общего поворота всех лагерей к перевоспитанию, журнал возобновился и выходил до 1932.

А обнаглевший Шепчинский, сын расстрелянного генерала, вывешивает лозунг над входными воротами:

«Соловки — рабочим и крестьянам!»

(И тоже ведь пророчество! — но это не нравится, разгадали и сняли.)

На артистах драматической труппы — костюмы, сшитые из церковных риз. «Рельсы гудят». Фокстротирующие изломанные пары на сцене (гибнущий Запад) — и победная красная кузница, нарисованная на заднике (Мы).

Фантастический мир! Нет, шутил негодник Курилко!..

А ещё же есть Соловецкое Общество Краеведения, оно выпускает свои отчёты-исследования. О неповторенной архитектуре XVI века и о соловецкой фауне здесь пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к предмету, будто это досужие чудаки-учёные притянулись на остров по научной страсти, а не арестанты, уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на Секирную гору, под комаров или к оглоблям лошади. Да в тон с добродушными краеведами и сами звери и птицы соловецкие ещё не вымерли, не перестреляны, не изгнаны, даже не напуганы — ещё и в двадцать восьмом году зайцы доверчивым выводком выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов на Анзер.

Как же случилось, что зайцев не перестреляли? Объясняют новичку: зверюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ: «патроны беречь! Ни одного выстрела иначе, как по заключённому!»

Итак, все страхи были шуткой. Но — «Разойдись! Разойдись!» — кричат среди бела дня на кремлёвском дворе, густом как Невский, — трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов (передний не дрынном, но стеклом разгоняет толпу заключённых), быстро под руки волокут опавшего, с обмякшими ногами и руками человека в одном белье — страшно увидеть его *стекающее* как жидкость лицо! — волокут *под колокольню*, вон туда под арку, в ту низенькую дверь его втискивают и в затылок стреляют — там дальше крутые ступеньки вниз, он свалится, и даже можно семь-восемь человек набить, а потом присылают вытянуть трупы и наряжают женцин (матерей и жён ушедших в Константинополь; верующих, не уступивших веры и не давших оторвать от неё детей) — помыть ступени⁵⁹.

Что ж, нельзя было ночью, тихо? А зачем же тихо? — тогда и пуля пропадает зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток зараз.

Расстреливали и иначе — прямо на Онуфриевском кладбище, за женбараком (бывшим странноприимным домом для богомолок) — и та дорога мимо женбарака так и называлась *расстрельной*. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком, в одном белье (это не для пытки! это чтоб не пропала обувь и обмундирование), с ру-

⁵⁹ А сейчас на камнях, где вот так волокли, в этом месте двора, укромном от соловецкого ветра, жизнерадостные туристы, приехавшие повидать пресловутый остров, часами *кикают* в волейбол. Они не знают. Ну, а если б знали? Да так же бы и кикали.

Впрочем, экскурсоводов, заикавшихся, что здесь был не только монастырь, но лагерь, — выгнали. И туристов стараются не пускать за пределы Большого Соловецкого острова: чтобы не видели ни Секирки, ни даже Троицкого скита (и сегодня много сохранилось тюремных решёток, в дверях — следы кормушек), ни Савватиевского. (В нём сохранился, например, подвальный карцер, где и в знойный день продрогаешь в минуту.)

ками, связанными проволокою за спиной⁶⁰, — а осуждённый гордо, прямо держится и одними губами, без помощи рук, курит последнюю в жизни папиросу. (По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие семь лет фронтов. Тут мальчишка восемнадцатилетний, сын историка В. А. Потто, на вопрос нарядчика о профессии пожимает плечами: «Пулемётчик». По юности лет и в жёре гражданской войны он не успел приобрести другой.)

Фантастический мир! Это сходится так иногда. Много в истории повторяется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки.

Очень малое число чекистов (да и то, может быть, полуштрафных), всего двадцать — сорок человек приехали сюда, чтобы держать в повиновении тысячи, многие тысячи. Сперва ждали меньше, но Москва слала, слала, слала. За первые полгода, к декабрю 1923, уже собралось больше двух тысяч заключённых. А в 1928 в одной только 13-й роте (роте общих работ) крайний в строю при расчёте отвечал: «376-й! Строй по десяти!» — значит, 3760 человек, и такая ж крупная была 12-я рота, а ещё больше «17-я рота» — общие кладбищенские ямы. А кроме Кремля были уже командировки — Савватиево, Филимоново, Муксалма, Троицкая, «Зайчики» (Заяцкие острова). К 1928 было тысяч около шестидесяти. И сколько среди них «пулемётчиков», многолетних природных вояк? А с 1926 уже валили и матёры уголовники всех сортов. И как же удержат их, чтоб они не восстали?

Только уж а с о м! Только Секиркой! жёрдочками! комарами! проволочкой по пням! дневными расстрелами! Москва гонит этапы, не считаясь с местными силами, — но Москва ж и не ограничивает своих чекистов никакими фальшивыми правилами: всё, что сделано для порядка — то сделано, и ни один прокурор действительно никогда не ступит на соловецкую землю.

А второе — накидка газовая со стеклярусом: эра равенства — и Новые Соловки! Самоохрана заключённых! Самонаблюдение! Самоконтроль! Ротные, взводные, отделённые — все из своей среды. И самодетальность, и саморазвлечение!

А под ужасом и под стеклярусом — какие люди? кто? Исконные аристократы. Кадровые военные. Философы. Учёные. Художники. Артисты. Лицеисты.

Вот немногие соловчане, сохранённые памятью уцелевших: Ширинская-Шахматова, Шереметева, Шаховская, Фитцтум, И. С. Дельвиц, Багратуни, Ассоциани-Эристов, Гошерон де ла Фосс, Сиверс, Г. М. Осоргин, Клодт, Н. Н. Бахрушин, Аксаков, Комаровский, П. М. Воейков, Вадбольский, Вонлярлярский, В. Левашов, О. В. Волков, В. Лозино-Лозинский, Д. Гудович, Таубе, В. С. Муромцев. Бывший кадетский лидер Некрасов. Финансист проф. Озеров. Юрист проф. А. Б. Бородин. Психолог проф. А. П. Суханов. Философы проф. А. А. Мейер, проф. С. А. Аскольдов, Е. Н. Данзас, теософ Мёбус. Историки Н. П. Андиферов, М. Д. Приселков, Г. О. Гордон, А. И. Заозерский, П. Г. Васенко. Литературоведы Д. С. Лихачёв, Цейтлин, лингвист И. Е. Аничков, востоковед Н. В. Пигулевская. Орнитолог Г. Поляков. Художники Браз, П. Ф. Смотрицкий. Актёры И. Д. Калугин (Александринка), Б. Глубоковский. В. Ю. Короленко (племянник). В 30-е годы, уже при конце Соловков, здесь побывал и о. Павел Флоренский.

По воспитанию, по традициям — слишком горды, чтобы показать подавленность или страх, чтобы выть, чтобы жаловаться на судьбу даже друзьям. Признак хорошего тона — всё с улыбкой, даже идя на расстрел. Будто вся эта полярная ревущая морем тюрьма — небольшое недоразумение на пикнике. Шутить. Высмеивать тюремщиков.

Вот и слон на деньгах и на клумбе. Вот и козёл вместо коня. И если уж 7-я рота артистическая, то ротный у неё — Кунст. Если Берри-Ягода — то начальная ягодосушилки. Вот и шутки над простофилями, цензорами журнала. Вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий Михайлович Осоргин: «Comment vous portez-vous (как поживаете) на этом острову?» — «А лагёр ком а лагёр».

⁶⁰ Соловецкий приём, повторённый на катынских трупах. Кто-то вспомнил — традицию? или свой личный опыт?

Вот эти шуточки, эта подчёркнутая независимость аристократического духа — они-то больше всего и раздражают полузверьчих соловецких тюремщиков. Кроме духовенства никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь — Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошёл на пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезённому на Анзер епископу Петру Воронежскому отвёз мантию и Св. Дары. По доносу посажен в карцер и приговорён к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его молодая (он и сам молодеж сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться долее трёх дней, и как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой — и не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать омрачиться глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. — «Что с тобой?» — «Ничего», — прояснился он тут же. Она могла ещё остаться — он упросил её уехать. Черта времени: убедил её взять тёплые вещи, он на следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу.

Но ведь кто-то же и подарил им эти три дня. Эти три осоргинских дня, как и другие случаи, показывают, насколько соловецкий режим ещё не стянулся панцирем системы. Такое впечатление, что воздух Соловков странно смешивал в себе уже крайнюю жестокость с почти ещё добродушным непониманием: к чему это всё идёт? какие соловецкие черты становятся зародышами великого Архипелага, а каким суждено на первом взросте и засохнуть? Всё-таки не было ещё у соловчан общего твёрдого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима и топки его открыты для всех, привезённых однажды сюда. (А ведь было-то так!..) Тут сбивало ещё, что сроки у всех были больно коротки: редко десять лет, и пять не так часто, а то всё три да три. Ещё не понималась эта кошачья игра закона: придавить и выпустить, придавить и выпустить. И это патриархальное непонимание — к чему всё идёт? — не могло остаться совсем без влияния и на охранников из заключённых, и может быть слегка и на тюремщиков.

Как ни чётки были строки всюду выставленного, объявленного, не скрываемого классового учения о том, что только уничтожение есть заслуженный удел врага, — но этого уничтожения каждого конкретного двуногого человека, имеющего волосы, глаза, рот, шею, плечи, — всё-таки нельзя было себе представить. Можно было поверить, что уничтожаются классы, но люди из этих классов вроде должны были бы остаться?.. Перед глазами русских людей, выросших в других, великодушных и расплывчатых понятиях, как перед плохо подобранными очками, строки жестокого учения никак не прочитывались в точности. Недавно, кажется, прошли месяцы и годы открыто объявленного террора — а всё-таки нельзя было поверить!

Сюда, на первые острова Архипелага, передалась и неустойчивость тех пёстрых лет, середины 20-х годов, когда и по всей стране ещё плохо понималось: всё ли уже запрещено? или напротив, только теперь-то и начнёт разрешаться? Ещё так верила Русь в восторженные фразы! — и только немногие сумрачные головы уже разочли и знали, когда и как это будет всё перешиблено.

Повреждены пожаром купола — а кладка вечная... Земля, возделанная на краю света, — и вот разоряемая. Изменчивый цвет беспокойного моря. Тихие озёра. Доверчивые животные. Беспощадные люди. И к Бискайскому заливу улетают на зиму альбатросы со всеми тайна-

ми первого острова Архипелага. Но не расскажут на беспечных пляжах, но никому в Европе не расскажут.

Фантастический мир... И одна из главных недолговечных фантазий: управляют лагерной жизнью отчасти — белогвардейцы! Так что Курилко был — не случаен.

Это вот как. Во всём Кремле — единственный вольный чекист: дежурный по лагерю. Караулы у ворот (вышек нет), наблюдательные засады по островам и поимка беглецов — у охраны. В охрану кроме вольных набираются бытовые убийцы, фальшивомонетчики, другие уголовники (но не воры). Но кому заниматься всей внутренней организацией, кому вести Адмчасть, кто будут ротные и отделённые? Не священники же, не сектанты, не нэпманы, не учёные да и не студенты (студентов не так мало здесь, а студенческая фуражка на голове соловчанина — это вызов, дерзость, заметка и заявка на расстрел). Это лучше всего смогли бы бывшие военные. А какие ж тут военные, если не белые офицеры? Так, без сговора и вряд ли по стройному замыслу, складывается соловецкое сотрудничество чекистов и белогвардейцев.

Где же принципиальность тех и других? Удивительно? Поразительно? — только тому удивительно, кто привык к анализу классово-социальному и не умеет иначе. Но тому аналитику всё на свете удивительно, ибо никогда не вливаются мир и человек в его заранее подставленные желобочки.

А соловецкие тюремщики и чёрта возьмут на службу, раз не дают им красных штатов. Положено: заключённым самоконтролироваться (самоугнетаться). И кому ж тут лучше поручить?

А вечным офицерам, «военным косточкам» — ну как не взять организацию хоть и лагерной жизни (лагерного угнетения) в свои руки? Ну как подчиниться и смотреть, что кто-то возьмётся неумеючи и шалопутно? Что погоны делают с человеческим сердцем — мы уже в этой книге толковали. (Вот погодите, придёт время и красных командиров сажать — и как повалят в самоохрану, как за этой вертухайской винтовкой потянутся, лишь бы доверили!.. Я писал уже: а кликни Малюта Скуратов нас?..) Ну, и такое должно было быть у белогвардейцев: а-а, всё равно пропали, и всё *пропало*, так и море по колено! И ещё такое: «чем хуже, тем лучше», поможем вам обуютить такие зверские Соловки, каких в *нашей* России сроду не бывало, — пусть о вас слава дурная идёт. И такое: наши все согласились, а я что — поп, чтобы на склад бухгалтером?

И всё же главная соловецкая фантазия ещё не в том была, а: заняв Адмчасть Соловков, белогвардейцы стали — *бороться* с чекистами! Ваш-де лагерь — снаружи, а наш — внутри. И кому где работать, и кого куда отправить — это Адмчасти дело. Мы наружу не лезем, а вы не лезьте к нам.

Как бы не так! — именно внутри-то и должен быть лагерь весь прослоён стукачами Информационно-Следственной Части! Это была первая и грозная сила в лагере — ИСЧ. (И оперуполномоченные тоже были — из заключённых, вот венец *самонаблюдения*.) И с ней-то взялась бороться белогвардейская АЧ! Все другие части — Культурно-Воспитательная, Санитарная, которые столько будут значить в дальнейших лагерях, тут были хилы и жалки. Прозябала и Экономчасть во главе с Н. Френкелем — заведывала «торговлей» с внешним миром и не существующей «промышленностью»; ещё не прометились пути её восхода. Две силы боролись — ИСЧ и АЧ. Это с Кемперпункта началось: к отделённому подошёл новоприбывший поэт Ал. Ярославский и зашептал ему на ухо. Отделённый, отчеканивая слова по-военному, рывкнул: «Был *тайным* — станешь *явным!*»

У Информационно-Следственной Части — Секирка, карцеры, доносы, личные дела заключённых, от них зависели и досрочные осво-

бождения и расстрелы, у них — цензура писем и посылок. У Адмчасти назначения на работу, перемещения по острову и этапы.

Адмчасть выявляла стукачей для отправки их на этап. Стукачей ловили, они убегали, прятались в помещении ИСЧ, их настигали и там, взламывали комнаты ИСЧ, выволакивали и тащили на этап⁶¹.

(Их отправляли на Кондостров, на лесозаготовки. Фантастичность продолжалась и там: разоблачённые и потерянные выпускали на Кондострове стенгазету «Стукач» и с печальным юмором «разоблачали» друг друга дальше — уже в «задроченности» и др.)

Тогда ИСЧ заводила дела на старателей Адмчасти, увеличивала им срок, отправляла на Секирку. Но осложнялась её деятельность тем, что обнаруженный сексот по истолкованию тех лет (ст. 121 УК: «разглашение... должностным лицом сведений, не подлежащих оглашению», — и независимо от того, по его ли намерению это разглашение произошло, и насколько он «должностное») считался преступником, — и не могла уже ИСЧ защищать и выручать провалившихся стукачей. Попался — сам и виноват. Кондостров был почти узаконен.

Вершиной «военных действий» между ИСЧ и АЧ был случай в 1927, когда белогвардейцы ворвались в ИСЧ, взломали несгораемый шкаф, оттуда изъяли и огласили полные списки стукачей — отныне потерянных сотрудников! Затем с каждым годом Адмчасть слабела: бывших офицеров становилось всё меньше, а всё больше уголовников ставилось туда (например «чубаровцы» — по нашумевшему ленинградскому процессу насильников). И постепенно была одолена⁶².

Да с 30-х годов начиналась и новая лагерная эра, когда и Соловки уже стали не Соловки, а рядовой «исправительно-трудовой лагерь». Входила чёрная звезда идеолога этой эры Нафталия Френкеля, и стала высшим законом Архипелага его формула:

«От заключённого нам надо взять всё в первые три месяца — а потом он нам не нужен!»

* * *

Да где же те Савватий с Зосимой и Германом? Да кто ж это придумал — жить под Полярным Кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не растут?

О, мастера по разорению цветущей земли! Чтобы так быстро — за год, за два — привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок! Как же это удалось? Грабили и вывозили? Или доконали всё на месте? И тысячи имея незанятых рук — ничего не уметь добыть из земли.

Только вольным — молоко, сметана, да свежее мясо, да отменная капуста отца Мефодия. А заключённым — гнилая треска, солёная или сушёная; худая баланда с перловой или пшённой крупой без картошки, никогда ни щей, ни борщей. И вот — цынга, и даже «канцелярские роты» в нарывах, а уж *общие*... С дальних командировок возвращаются «этапы на карачках» (так и ползут от пристани на четырёх ногах).

Из денежных (из дому) переводов можно использовать в месяц девять рублей — есть ларёк в часовне Германа. А посылка — в месяц одна, её вскрывает ИСЧ, и если не дашь им взятки, объявят, что многое из присланного тебе *не положено*, например крупа. В Никольской церкви и в Успенском соборе растут нарвы — до четырёхэтажных. Не просторней живёт 13-я рота у Преображенского собора в прилегающем корпусе. Вот у этого входа⁶³ представьте стиснутую тол-

⁶¹ Интересно, как на заре Архипелага с того самого начинают, к чему вернёмся и мы в поздних Особых лагерях: с удара по стукачам.

⁶² Ещё до 1972 года на чердаке Савватиевского скита долежала рукопись — дневник зэка 20-х годов (видимо полита — потому что описывалось там, как кормят политов). На одной из первых страниц упоминалось покушение молодого белогвардейца на чекистского генерала. Дальше никто не прочёл: рукопись забрало КГБ.

⁶³ В тексте по условиям журнальной публикации не воспроизводятся фотографии, имеющиеся в оригинале. (Прим. ред.)

пу: три с половиной тысячи валят к себе, возвращаясь с работы. В кубовую за кипятком — очереди по часу. По субботам вечерние проверки затягиваются глубоко в ночь (как прежние богослужения...). За санитарией, конечно, очень следят: насильственно стригут волосы и обривают бороды (также и всем священникам сряду). Ещё — обрезают полы у длинной одежды (особенно у ряса), ибо в них-то главная зараза. (У чекистов — шинели до земли.) Правда, зимою никак не выбраться в баню с ротных нар тем большим и старым, кто сидит в белёе и в мешках, вши их одолевают. (Мёртвых прячут под нары, чтобы получить на них лишнюю пайку — хотя это и невыгодно живым: с холодящего трупа вши переползают на тёплых, оставшихся.) В Кремле есть плохая санчасть с плохой больницей, а в глуби Соловков — никакой медицины.

Исключение только — Голгофско-Распятский скит на Анзере, штрафная командировка, где лечат... убиством. Там, в Голгофской церкви, лежат и умирают от бескормицы, от жестокостей — и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки. По просьбе умирающих и чтоб облегчить свою задачу, тамошний голгофский врач даёт безнадежным стрихнин, зимой бородатые трупы в одном белёе подолгу задерживаются в церкви. Потом их ставят в притворе, прислоня к стене, — так они меньше занимают места. А вынеся наружу — сталкивают вниз с Голгофской горы.

Необычно название горы и скита, оно не встречается нигде больше. По преданию (рукопись XVIII века, Государственная Публичная библиотека, Соловецкий патерик) 18 июня 1712 иеромонаху Иову под этою горой во время ночного молитвенного бдения явилась Богоматерь «в небесной славе» и сказала: «сия гора отселе будет называться Голгофою, и на ней устроится церковь и Распятский скит. И убелится она страданиями неисчислимыми». Так назвали и построили так, но более двухсот лет предсказание казалось холостым, не предвиделось ему оправдаться. После соловецкого лагеря этого уже не скажешь.

В 1975, кто был, рассказывают: храм разрушен (ещё в 60-е годы стоял), но стены сохранились, кое-где видны росписи.

Как-то вспыхнула в Кеми эпидемия тифа (1928), и 60% вымерло там, но перекинулся тиф и на Большой Соловецкий остров, здесь в нетопленном «театральном» зале валялись сотни тифозных одновременно. И сотни ушли на кладбище. (Чтоб не спутать учёт, писали рядчики фамилию каждому на руке — и выздоравливающие менялись сроками с мертвецами-краткосрочниками, переписывали на свою руку.) А в 1929, когда многими тысячами пригнали «басмачей», то есть, среднеазиатов, не принимающих советской власти, — они привезли с собой такую эпидемию, что чёрные бляшки образовывались на теле, и неизбежно человек умирал. То не могла быть чума или оспа, как предполагали соловчане, потому что те две болезни уже полностью были побеждены в Советской Республике, — а назвали болезнь «азиатским тифом». Лечить её не умели, искореняли же так: если в камере один заболел, то всех запирали, не выпускали, и лишь пищу им туда подавали — пока не вымирали все.

Какой бы научный интерес был нам установить, что Архипелаг ещё не понял себя в Соловках, что дитя ещё не угадывало своего норова! И потом бы проследить, как постепенно этот норов проявлялся. Увы, не так! Хотя не у кого было учиться, хотя не с кого брать пример, и такой наследственности не было, — но Архипелаг быстро узнал и проявил свой будущий характер.

Так многое из будущего опыта уже было найдено на Соловках! Уже был термин «вытащить с общих работ». Все спали на нарах, а кто-то уже и на топчанах; целые роты в храме, а кто — по двадцать человек в комнате, а кто-то и по четыре — по пять. Уже кто-то знал своё право: мужчидь новый женский этап и выбрать себе женщину (на тысячи оуждин их было сотни полторы — две, потом больше). Уже была и борьба за тёплые места ухватками подобострастия и предательства. Уже снимали контриков с канцелярских должностей — и

опять возвращали, потому что уголовники только путали. Уже сгущался лагерный воздух от постоянных злобещих слухов. Уже становилось высшим правилом поведения: никому не доверяй! (Это вытесняло и вымораживало прекраснодушие Серебряного Века.)

Тоже и вольные стали входить в сладость лагерной обстановки, раскушивать её. Вольные семьи получали право на даровых кухарок от лагеря, всегда могли затребовать в дом дровокола, прачку, портниху, парикмахера. Эйхманс выстроил себе приполярную виллу. Широко размахнулся и Потёмкин — бывший драгунский вахмистр, потом коммунист, чекист и вот начальник Кемперпункта. В Кеми он открыл ресторан, оркестранты его были консерваторцы, официантки — в шёлковых платьях. Приезжие товарищи из Главного Управления Лагерей, из карточной Москвы, могли здесь роскошно пировать в начале 30-х годов, к столу подавала им княгиня Шаховская, а счёт подавался условный, копеек на тридцать, остальное за счёт лагеря.

Да соловецкий Кремль — это ж ещё и не все Соловки, это ещё самое льготное место. Подлинные Соловки — даже не по скитам (где после увезённых социалистов учредились рабочие командировки), а — на лесоразработках, на дальних промыслах. Но именно о тех дальних глухих местах сейчас труднее всего что-нибудь узнать, потому что именно те-то люди и не сохранились. Известно, что уже тогда: осенью не давали просушиваться; зимой по глубоким снегам не одевали, не обували; а долгота рабочего дня определялась уро́ком — кончался день рабочий тогда, когда выполнен урок, а если не выполнен, то и не было возврата под крышу. И тогда уже «открывали» новые командировки тем, что по несколько сот человек посылали в никак не подготовленные необитаемые места.

Но, кажется, первые годы Соловков и рабочий гон и задание надрывных уроков вспыхивали порывами, в переходящей злости, они ещё не стали стискивающей системой, на них ещё не оперлась экономика страны, не утвердились пятилетки. Первые годы у СЛОНа, видимо, не было твёрдого внешнего хозяйственного плана, да и не очень учитывалось, как много человеко-дней уходит на работы по самому лагерю. Потому с такой лёгкостью вдруг могли сменить осмысленные хозяйственные работы на наказания: переливать воду из проруби в прорубь, перетаскивать брёвна с одного места на другое и назад. В этом была жестокость, да, но и патриархальность. Когда же рабочий гон становится продуманной системой, тогда обливание водой на морозе и выставление на пеньки под комаров оказывается уже избыточным, лишней тратой палаческих сил.

Есть такая официальная цифра: до 1929 года по РСФСР было «охвачено» трудом лишь от 34 до 41% всех заключённых⁶⁴ (да иначе и не могло быть при безработице в стране). Правда, это только «внешний» труд, сюда не входит хозяйственный труд по обслуживанию самого лагеря. Но для оставшихся 60—65% заключённых не хватит и хозяйственного. Соотношение это не могло не проявиться также и на Соловках. Определённо, что все 20-е годы там было немало заключённых, не получивших никакой постоянной работы (отчасти из-за раздетости) или занимавших весьма условную должность.

Тот первый год первой пятилетки, потрясший всю страну, потрянул и Соловки. Новый (к 1930) начальник УСЛОНа Ногтев (тот самый начальник Савватиевского скита, который расстреливал социалистов) под «шёпот удивления в изумлённом зале» докладывал *вольняшкам* города Кеми такие цифры: «не считая собственных лесоразработок УСЛОНа, растущих совершенно исключительными темпами», УСЛОН только по «внешним» заказам ЖелЛеса и КарелЛеса заготовлял: в 1926 — на 63 тысячи рублей, в 1929 — на 2 355 тысяч (в 37 раз!), в 1930 ещё втрое. Дорожное строительство по Карело-Мурманскому краю в

⁶⁴ «От тюрем к воспитательным учреждениям», стр. 115.

1926 выполнено на 105 тысяч рублей, в 1930 — на 6 миллионов — в 57 раз больше!⁶⁵

Так оканчивались прежние глухие Соловки, где не знали, как извести заключённых. *Труд-чародей* приходил на помощь!

Через Кемперпункт Соловки создались, через Кемперпункт же они, пройдя созревание, стали с конца 20-х годов распространяться назад, на материк. И самое тяжёлое, что могло выпасть теперь заключённому, были эти материковые командировки. Раньше Соловки имели на материке только Сороку да Сумский посад — прибрежные монастырские владения. Теперь раздувшийся СЛОН забыл монастырские границы.

От Кеми на запад по болотам заключённые стали прокладывать грунтовый Кемь-Ухтинский тракт, «считавшийся когда-то почти неосуществимым»⁶⁶. Летом тонули, зимой коченели. Этого тракта соловчане боялись панически, и долго рокотала над кремлёвским двором угроза: «Что?? На Ухту захотел?»

Второй подобный тракт повели Парандовский (от Медвежегорска). На этой прокладке чекист Гашидзе приказывал закладывать в скалу взрывчатку, на скалу посылал каэров и в бинокль смотрел, как они взрываются.

Рассказывают, что в декабре 1928 на Красной Горке (Карелия) заключённых в наказание (не выполнен урок) оставили ночевать в лесу — и сто пятьдесят человек замерзли насмерть. Это — обычный соловецкий приём, тут не усумнишься.

Труднее поверить другому рассказу: что на Кемь-Ухтинском тракте близ местечка Кут в феврале 1929 роту заключённых около ста человек за невыполнение нормы загнали на костёр — и они сгорели!

Об этом мне рассказал всего один только человек, близко бывший: профессор Дмитрий Павлович Каллистов, старый соловчанин, умерший недавно. Да, пересекающихся показаний я об этом не собрал (как, может, и никто уже не соберёт — и о многом не соберут, даже и по одному показанию.) Но те, кто морозят людей и взрывают людей, — почему не могут их сжечь? Потому что здесь труднее техника?

Предпочитающие верить не людям живым, а типографским буквам, пусть прочтут о прокладке дороги тем же УСЛОНОм, такими же ээками в том же году, только на Кольском полуострове:

«С большими трудностями провели грунтовую дорогу по долине реки Белой, по берегу озера Вудъярв до горы Кукисвумчорр (Аппатиты) на протяжении 27 километров, устилая болота... — чем, вы думаете, устилая? так и просится само на язык, правда? но не на бумагу... — ...брёвнами и песчаными насыпями, выравнивая капризные рельефы осыпающихся склонов каменистых гор». Затем УСЛОН построил там и железную дорогу — «11 километров за один зимний месяц... — (а почему за месяц? а почему до лета нельзя было отложить?) — ...Задание казалось невыполнимым. 300 000 кубов земляных работ — (за Полярным Кругом! зимой! — то разве земля? то хуже всякого гранита!) — должны были быть выполнены исключительно ручной силой — киркой, ломом и лопатой. — (А рукавицы хоть были?..) — Многочисленные мосты задерживали развитие работ. Круглые сутки в три смены, прорезая полярную ночь светом керосиново-калильных фонарей, прорубая просеки в ельниках, выкорчёвывая пни, в метели, заносящие дорогу снегом выше человеческого роста...»⁶⁷

Перечитайте. Теперь зажмурьтесь. Теперь представьте: вы, беспомощный горожанин, воздыхатель по Чехову, — в этот ад ледяной! вы, туркмен в тюбетейке, — в эту ночную метель! И корчуйте пни!

⁶⁵ «Соловецкие острова», 1930, № 2-3, стр. 56 — 57.

⁶⁶ Там же, стр. 57.

⁶⁷ Г. Фридман, «Сказочная бль» («Соловецкие острова», 1930, № 4, стр. 43 — 44).

Это было в лучшие светлые 20-е годы, ещё до всякого «культа личности», когда белая, жёлтая, чёрная и коричневая расы Земли смотрели на нашу страну как на светоч свободы⁶⁸. Это было в те годы, когда с эстрад напевали забавные песенки о Соловках.

Так незаметно — рабочими заданиями — распался прежний замысел замкнутого на островах лагеря Особого Назначения. Архипелаг, родившийся и созревший на Соловках, начал своё злокачественное движение по стране.

Возникла проблема: расстелить перед ним территорию этой страны — и не дать её завоевать, не дать увлечь, усвоить, уподобить себе. Каждый островок и каждую речку Архипелага окружить враждебностью советского волнобоя. Дано было мирам переслоиться — не дано смешаться!

И этот ногтевский доклад под «шёпот удивления» — он ведь для резолюции выговаривался, для резолюции трудящихся Кеми (а там — в газетки! а там по посылкам развешивать):

«...усиливающаяся классовая борьба внутри СССР... и возросшая как никогда опасность войны⁶⁹... требует от органов ОГПУ и УСЛОН ещё большей сплочённости с трудящимися, бдительности... Путём организации общественного мнения... повести борьбу с... яхшанием вольных с заключёнными, укрывательством беглецов, покупкой краденых и казённых вещей от заключённых... и со всевозможными злостными слухами, распространяемыми про УСЛОН классовыми врагами».

И какие ж это «злостные слухи»? Что в лагере — люди сидят и ни за что. И как их там добивают.

Ещё потом пункт: «...долг каждого своевременно ставить в известность...»⁷⁰

Мерзкие вольняшки! Они дружат с эсками, они укрывают беглецов. Это — страшная опасность. Если этого не пресечь — не будет никакого Архипелага. И страна пропала. И революция пропала.

И распускаются против «злостных» слухов — честные прогрессивные слухи: что в лагерях — убийцы и насильники, что каждый беглец — опасный бандит! Запирайтесь, бойтесь, спасайте своих детей! Ловите, доносите, помогите работе ОГПУ! А кто не помог — о том ставьте в известность!

Теперь, с расползанием Архипелага, побегии множились: обречённость лесных и дорожных командировок — и всё же цельный материк под ногами беглеца, всё-таки надежда. Однако бегляцкая мысль будоражила соловчан и тогда, когда СЛОН ещё был замкнутым островом. Легковерные ждали конца своего трёхлетнего срока, провидчивые уже понимали, что ни через три, ни через двадцать три года не видать им свободы. И значит свобода — только в побеге.

Но как убежать с Соловков? Полгода море подо льдом — да не цельным, местами промоины, и крутят метели, грызут морозы, висят туманы и тьма. А весной и большую часть лета — белые ночи, далеко видно дежурным катерам. Только с удлинением ночей, поздним летом и осенью, наступает удобное время. Не в Кремле конечно, а на командировках, кто имел и передвижение и время, где-нибудь в лесу близ берега строили лодку или плот и отваливали ночью (а то и просто на бревне верхом) — наугад, больше всего надеясь встретить иностранный пароход. По суете охранников, по отплытию катеров о побеге узнавалось на острове — и радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. Шёпотом спрашивали: ещё не поймали? ещё не наши?.. Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг карельского берега — так тот скрывался глуше мёртвого.

⁶⁸ О, Бертран Рассел! О, Хьюлетт Джонсон! О, где была ваша пламенеющая совесть тогда?

⁶⁹ Всегда у нас как никогда, слабее не бывает.

⁷⁰ «Соловецкие острова», 1930, № 2-3, стр. 60.

А знаменитый побег в Англию произошёл из Кеми. Этот смельчак (его фамилия нам неизвестна, вот кругозор!) знал английский язык и скрывал это. Ему удалось попасть на погрузку лесовоза в Кеми — и он объяснился с англичанами. Конвоиры обнаружили нехватку, задержали пароход почти на неделю, несколько раз обыскивали его — а беглеца не нашли. (Оказывается: при всяком обыске, идущем с берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыхательной трубкой в зубах.) Платилась огромная неустойка за задержку парохода — и решили на авось, что арестант утонул, отпустили пароход.

А ещё по морю бежала группа Бессонова, пять человек (Малзагов, Малбродский, Сазонов, Приблудин).

И стали в Англии выходить книги, даже, кажется, не по одному изданию (Юр. Дм. Бессонов, «Мои 26 тюрем и моё бегство с Соловков») ⁷¹.

Эта книга изумила Европу. И, конечно, автора-беглеца упрекнули в преувеличениях, да просто должны были друзья Нового Общества совсем не поверить этой клеветнической книге, потому что она противоречила уже известному: как описывала рай на Соловках немецкая коммунистическая газета «Роте фане» (надемся, что её корреспондент и сам потом побывал на Архипелаге) и тем альбомам о Соловках, которые распространяли советские полпредства в Европе: отличная бумага, достоверные снимки уютных келий. (Надежда Суровцева, наша коммунистка в Австрии, получила такой альбом от венского полпредства и с возмущением опровергала ходящую в Европе клевету. К этому времени сестра её будущего мужа уже отсидела на Соловках, а самой ей предстояло через два года гулять «гуськом» в Ярославском изоляторе.)

Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв! И комиссия ВЦИК под председательством «совести партии» товарища Сольца поехала узнать, что там делается, на этих Соловках (они же ничего не знали!). Но впрочем, проехала та комиссия только по Мурманской железной дороге, да и там ничего особого не увидела. А на остров сочтено было благом послать — нет, просить поехать! — как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его-то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной фальшивки!

Опережающий слух донёсся до Соловков — заколотились арестантские сердца, засуетились охранники. Надо знать заключённых, чтобы представить их ожидание! В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буревестник! первый русский писатель! вот он им пропишет! вот он им покажет! вот, батюшка, защитит! Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию.

Волновалось и начальство: как могло, прятало уродство и ложило показуху. Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше; из санчасты списали многих больных и навели чистоту. И натыкали «бульвар» из ёлок без корней (несколько дней они должны были не засохнуть) — к детколонию, открытой три месяца назад, гордости УСЛОНа, где все одеты, и нет социально-чуждых детей, и где, конечно, Горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме.

Недоглядели только в Кеми: на Поповом острове грузили «Глеба Бокия» заключённые в бельё и в мешках — и вдруг появилась свита Горького садиться на тот пароход. Изобретатели и мыслители! Вот вам достойная задача: голый остров, ни кустика, ни укрытия — и в трёхстах шагах показалась свита Горького, — ваше решение?! Куда девать этот срам, этих мужчин в мешках? Вся поездка Гуманиста поте-

⁷¹ И их вы тоже не читали, сэр Бертран Рассел?..

рывает смысл, если он сейчас увидит их. Ну, конечно, он постарается их не заметить, — но помогите же! Утопить их в море? — будут барахтаться... Закопать в землю? — не успеем... Нет, только достойный сын Архипелага может найти выход! Командует нарядчик: «Брось работу! Сдвинься! Ещё плотней! Сесть на землю! Так сидеть!» — и накинули поверху брезентом. — «Кто пошевелится — убью!» И бывший грузчик взошёл по трапу, и ещё с парохода смотрел на пейзаж, ещё час до отплытия — не заметил...

Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошёл на пристань в Бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже (чёрная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги), — живой символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой.

В окружении комсостава ГПУ Горький прошёл быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в свежих халатах врачей и сестёр, он и смотреть не стал, ушёл. Дальше чекисты УСЛОНа бесстрашно повезли его на Секирку. И что ж? — в карцерах не оказалось людского переполнения и, главное, — жёрдочек никаких! На скамьях сидели воры (уже их много было на Соловках) и все... читали газеты! Никто из них не смел встать и пожаловаться, но придумали они: держать газеты вверх ногами. И Горький подошёл к одному и молча обернул газету, как надо. Заметил! Догадался! Так не покинет! Защитит!⁷²

Поехали в детколонию. Как культурно! — каждый на отдельном топчане, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг четырнадцатилетний мальчишка сказал: «Слушай, Горький! Всё, что ты видишь, — это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать?» Да, кивнул писатель. Да, он хочет знать правду. (Ах, мальчишка, зачем ты портишь только, только настроившееся благополучие литературного патриарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковьи...) И велено было выйти всем, — и детям, и даже сопровождающим гепеушникам, — и мальчик полтора часа всё рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в барак: «О комариках сказал?» — «Сказал!» — «О жёрдочках сказал?» — «Сказал!» — «О вригдах сказал?» — «Сказал!» — «А как с лестницы спихивают?.. А про мешки?.. А ночёвки в снегу?..» Всё-всё-всё сказал правдолюбец мальчишка!!!

Но даже имени его мы не знаем.

22 июня, уже после разговора с мальчиком, Горький оставил такую запись в «Книге отзывов», специально сшитой для этого случая:

«Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется да и стыдно (!) было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры»⁷³.

23-го Горький отплыл. Едва отошёл его пароход — мальчика расстреляли. (Сердцевед! знаток людей! — как мог он не забрать мальчика с собою?!)

⁷² Гепеушница, спутница Горького, тоже упражняясь пером, записала так: «Знакомимся с жизнью Соловецкого лагеря. Я иду в музей... Все едем на «Секиргору». Оттуда открывается изумительный вид на озеро. Вода в озере холодного тёмно-синего цвета, вокруг озера — лес, он кажется заколдованным, меняется освещение, вспыхивают верхушки сосен, и зеркальное озеро становится огненным. Тишина и удивительно красиво. На обратном пути проезжаем торфоразработки. Вечером слушали концерт. Угощали нас местной соловецкой селёдкой, она небольшая, но поразительно нежная и вкусная, тает во рту» («М. Горький и сын». М. «Наука». 1971, стр. 276).

⁷³ «Соловецкие острова», 1929, № 1, стр. 3. (В собрании сочинений Горького этой записи нет.)

Так утверждается в новом поколении вера в справедливость.

Толкуют, что там, наверху, глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвал УСЛОНу. Но как же так, Алексей Максимович?.. Но перед буржуазной Европой! Но именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и сложный!.. А режим? — мы сменим, мы сменим режим.

И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе, нашей и западной, от имени Сокола-Буревестника, что зря Соловками пугают, что живут здесь заключённые замечательно и исправляются замечательно.

И, в гроб сходя, благословил

Архипелаг...

Жалкое поведение Горького после возвращения из Италии и до смерти я приписывал его заблуждениям и неуму. Но недавно опубликованная переписка 20-х годов даёт толчок объяснить это ниже того: корыстью. Оказавшись в Сорренто, Горький с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем — и денег (был же у него целый двор обслуги). Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз и принять все условия. Тут стал он добровольным пленником Ягоды. И Сталин убивал его зря, из перестраховки: он воспел бы и тридцать седьмой год.

А насчёт режима — это уж как обещано. Режим исправили — в 11-й карцерной роте теперь неделями стояли вплотную. На Соловки поехала комиссия, уже не Сольца, а следственно-карательная. Она разобралась и поняла (с помощью местной ИСЧ), что все жестокости соловецкого режима — от белогвардейцев (Адмчасть), и вообще аристократов, и отчасти от студентов (ну, тех самых, которые ещё с прошлого века поджигали Санкт-Петербург). Тут ещё не удавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова (бывшего министра Дальневосточной Республики) с Щепчинским и Дегтярёвым-объездчиком — побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшихся захватить пароход и уплыть, — и стали хватать, и хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами.

Всего задалась цифрой «триста». Набрали её. И в ночь на 15 октября 1929 года, всех разогнав и заперев по помещениям, — Святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути на кладбище. Водили партиями всю ночь. (И каждую партию сопровождала отчаянным воем где-то привязанная собака Блек, подозревая, что именно в этой ведут её хозяина Багратуни. По вою собаки считали в ротах партии, выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следующий день был застрелен и Блек и все собаки за Блека.)

Расстреливали те три морфиниста-хлыща, начальник Охраны Дегтярёв и... начальник Культурно-Воспитательной Части Успенский. (Сочетание это удивительно лишь поверхностному взгляду. Этот Успенский имел биографию что называется типическую, то есть не самую распространённую, но сгущающую суть эпохи. Он родился сыном священника — и так застала его революция. Что ожидало его? Анкеты, ограничения, ссылки, преследования. И ведь никак не сотрёшь, никак себе не изменишь отца. Нет, можно, придумал Успенский: он убил своего отца и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти! Здоровое чувство, это уже почти и не убийство! Ему дали легкий срок — и сразу пошёл он в лагере по культурно-воспитательной линии, и быстро освободился, и вот уже мы застаём его вольным начальником КВЧ Соловков. А на этот расстрел — сам ли он напросился или предложили ему подтвердить свою классовую позицию — неизвестно. К концу той ночи видели его, как он над раковиной, поднимая ноги, поочерёдно мыл голенища, залитые кровью.

Стреляли они пьяные, неточно — и утром большая присыпанная яма ещё шевелилась.

Весь октябрь и ещё ноябрь привозили на расстрел дополнительные партии с материка. (В какой-то из приёмов был расстрелян и Курилко.)

Всё это кладбище некоторое время спустя было сровнено заключёнными под музыку оркестра⁷⁴.

После тех расстрелов сменился начальник СЛОНа: вместо Эйманса — Зарин, и считается, что установилась эра новой соловецкой законности.

Впрочем, вот какова она была. Летом 1930 привезли на Соловки несколько десятков «истинно-православных», их называли «сектантами»: в местных осколках, под разными названиями, в стране существовали многие православные общины, усвоившие тихоновское звание 1918 года — анафему советской власти, и потом уже, несмотря на поворот в центре, не сошедшие с этого отрицания. Эти привезённые («имяславцы») отрекались ото всего, что идёт от антихриста: не получали никаких советских документов, ни в чём не расписывались этой власти и не брали в руки её денег. Во главе этой пригнанной теперь группы состоял седобородый старик восьмидесяти лет, слепой и с долгим посохом. Каждому просвещённому человеку было ясно, что этим фанатикам никак не войти в социализм, потому что для того надо много и много иметь дела с бумажками, — и лучше всего поэтому, им бы умереть. И их послали на Малый Заяцкий остров — самый малый в Соловецком архипелаге — песчаный, безлесный, пустынный, с летней избушкой прежних монахов-рыбаков. И выразили расположение дать им двухмесячный паёк — но при условии, чтобы за него расписался в ведомости обязательно каждый. Разумеется, они отреклись все. Тут вмешалась неугомонная Анна Скрипникова, уже к тому времени, несмотря на свою молодость и молодость советской власти, арестованная четвёртый раз. Она металась между бухгалтерией, нарядчиками и самим начальником лагеря, осуществлявшим гуманный режим. Она просила сперва сжалиться, потом — послать и её с «сектантами» на Заяцкие острова счетоводом, обязуясь выдавать им пищу на день и вести всю отчётность. Кажется, это никак не противоречило лагерной системе! — а отказали. «Но кормят же сумасшедших, не требуя от них расписок!» — кричала Анна. Зарин только рассмеялся. А нарядчица ответила: «Может быть это установка Москвы — мы же не знаем...» (И это, конечно, было указание из Москвы! — кто ж бы иначе взял ответственность? Хорошо было задумано безбожниками, как этим верующим умереть, но нельзя было осуществить такого плана в густоте среднерусской полосы, вот их и привезли сюда.) *И их отравили без пищи.* Через два месяца (ровно через два, потому что надо было предложить им расписаться на следующие два месяца) приплыли на Малый Заяцкий и нашли только трупы расклёванные. Все на месте, никто не бежал.

И кто теперь будет искать виновных? — в 60-х годах нашего великого века?

Впрочем, и Зарин был скоро снят — за либерализм. (И кажется — десять лет получил.)

* * *

С конца 20-х годов менялся облик Соловецкого лагеря. Из немой западни для обречённых казров он всё больше превращался в новый тогда, а теперь старый для нас вид общебытового «исправительно-трудового» лагеря. Быстро увеличивалось в стране число «особо-опасных из числа трудящихся» — и гнали на Соловки бытовиков и шпану. Сту-

⁷⁴ Эта площадка — в трёхстах метрах на юг от Святых ворот (их вели вдоль стены Кремля до конца, а потом дальше, не сворачивая), образовалась большая, восемьдесят на восемьдесят метров, свободная от леса, удобная для постройки. Летом 1975 там начали рыть котлован для жилых домов — и экскаватор выгребал одни кости. Туристы (а среди них — понимающие бывшие эски) разбирали черепа. Уже и фундамент подняли — а вокруг него во множестве лежали рёбра, ключицы, челюсти, лопатки, тазовые кости, берцовые, фаланги пальцев и позвонки.

пали на соловецкую землю воры матёрые и воры начинающие. Большим потоком полились туда воровки и проститутки (встречаясь на Кемперпункте, кричали первые вторым: «Хоть воруем, да собой не торгуем!») И отвечали вторые бойко: «Торгуем своим, а не краденым!»). Дело в том, что объявлена была по стране (не в газетах, конечно) борьба с проституцией, и вот хватали их по всем крупным городам, и всем по стандарту лепили три года, и многих гнали на Соловки. По теории было ясно, что честный труд быстро их исправит. Однако, почему-то упорно держась за свою социально-унизительную профессию, они уже по пути напрашивались мыть полы в казармах конвоя и уводили за собой красноармейцев, подрывая устав конвойной службы. Так же легко они сдруживались и с надзирателями — и не бесплатно, конечно. Ещё лучше они устраивались на Соловках, где такой был голод по женщинам. Им отводились лучшие комнаты общежития, каждый день приносил им обновки и подарки, «монашки» и другие казрки подрабатывали от них, вышивая им нижние сорочки, — и, богатые, как никогда прежде, с чемоданами, полными шёлка, они по окончании срока ехали в Союз начинать честную жизнь.

А воры затеяли карточные игры. А воровки сочли выгодным рожать на Соловках детей: яслей там не было, и через ребёнка можно было на весь свой короткий срок освободиться от работы. (До них казрки избегали этого пути.)

12 марта 1929 на Соловки поступила и первая партия несовершеннолетних, дальше их слали и слали (все моложе шестнадцати лет). Сперва их располагали в детколонии близ Кремля с теми самыми показными топчанами и матрасами. Они прятали казённое обмундирование и кричали, что не в чем на работу идти. Затем и их рассылали по лесам, оттуда они разбегались, пугали фамилии и сроки, их вылавливали, опознавали.

С поступлением социально-здорового контингента приободрилась Культурно-Воспитательная Часть. Зазывали ликвидировать неграмотность (но воры и так хорошо отличали черви от треф), повесили лозунг: «Заключённый — активный участник социалистического строительства!», и даже термин придумали — *перековка* (именно здесь придумали).

Это был уже сентябрь 1930 года — обращение ЦК ко всем трудящимся о развёртывании соревнования и ударничества — и как же заключённые могли остаться вне? (Если уж повсюду запрягались вольные, то не заключённых ли следовало в корень заложить?)

Дальше сведения наши идут не от живых людей, а из книги учёной юристки Иды Авербах⁷⁵, и потому предлагаем читателю делить их на шестнадцать, на двести пятьдесят шесть, а порой брать и с обратным знаком.

Осенью 1930 года создан был соловецкий штаб соревнования и ударничества. Отъявленные рецидивисты, убийцы и налётчики вдруг «выступили в роли бережливых хозяйственников, умелых техноруков, способных культурных работников» (Г. Андреев вспоминает: били по зубам — «давай кубики, контра!»). Воры и бандиты, едва прочтя обращение ЦК, отбросили свои ножи и карты и загорелись жаждой создать в лагере коммуны. По уставу записали: членом может быть происходящий из бедняцко-средняцкой и рабочей среды (а, надо сказать, все блатные записывались Учётно-Распределительной Частью как «бывшие рабочие» — почти сбывался лозунг Шепчицкого «Соловки — рабочим и крестьянам!») — и ни в коем случае не Пятьдесят Восьмая. (И ещё предложили коммунары: все их сроки сложить, разделить на число участников, так высчитать средний срок и по его истечении всех разом освободить! Но несмотря на коммунистичность предложения, чекисты сочли его политически незрелым.) Лозунги Со-

⁷⁵ И. Л. Авербах. От преступления к труду.

ловецкой коммуны были: «Отдадим долг рабочему классу!», и ещё лучше «От нас — всё, нам — ничего!» (Этот лозунг, уже вполне зрелый, достоин был, пожалуй, и всесоюзного распространения.) Придуманно было вот какое зверское наказание для провинившихся членов коммуны: *запрещать* им выходить на работу? (Нельзя наказывать вора суровее!!)

Впрочем соловецкое начальство, не столь горячась, как культвоспитработники, не шибко положило на воровской энтузиазм, а «применило ленинский принцип: ударная работа — ударное снабжение!». Это значит: коммунаров переселили в отдельные общежития, мягче постелили, теплей одели и стали отдельно и лучше питать (за счёт остальных, разумеется). Это очень понравилось коммунарам, и они оговорили, чтоб никого уже не разлучать, из коммуны не выбрасывать.

Очень понравилась такая коммуна и не коммунарам — и все несли заявления в коммуны. Но решено было в коммуны их не принимать, а создавать второй, третий, четвёртый «трудколлективы», уже без таких льгот. И ни в один коллектив не принималась Пятьдесят Восьмая, хотя самые развязные из шпаны через газету поучали её: пора, мол, понять, что лагерь есть трудовая школа!

И повезли самолётами доклады в ГУЛАГ: соловецкие чудеса! бурный перелом настроения блатных! вся горячность преступного мира вылилась в ударничество, в соревнование, в выполнение промфинплана! Там удивлялись и распространяли опыт.

Так и стали жить Соловки: часть лагеря в трудколлективах, и процент выполнения у них не просто вырос, а — вдвое! (КВЧ — это объясняло влиянием коллектива, мы-то понимаем, что — обычная лагерная тухта⁷⁶.)

Другая часть лагеря — «неорганизованная» (да ненакормленная, да неодетая, да на тяжких работах) — и, понятно, с нормами не справлялась.

В феврале 1931 года конференция соловецких ударных бригад постановила: «широкой волной соцсоревнования ответить на новую клевету капиталистов о принудительном труде в СССР». В марте было ударных бригад уже сто тридцать шесть. А в апреле вдруг потребовалась их генеральная чистка, ибо «классово-чуждый элемент проникал для разложения коллективов». (Вот загадка: Пятьдесят Восьмую с порога не принимали, кто ж им разлагал? Надо так понять: раскрылась тухта. Ели-пили, веселились, подсчитали — прослезились, и кого-то надо гнать, чтоб остальные шевелились.)

А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов: из материнской соловецкой опухоли слали Пятьдесят Восьмую в далёкие гиблые места открывать новые лагеря.

Рассказывают, что одна (ещё одна ли?) перегруженная баржа с заключёнными потонула (ещё случайно ли?).

А с Анзера некоторых заключённых вывозили по одному, секретно. Удивлялась охрана: что это за эки такие тайные?⁷⁷

Откройте, читатель, карту русского Севера. Морской путь с Соловков в Сибирь пролегал мимо Новой Земли. Раз в год (июнь — июль) идут туда караваны судов во главе с ледоколом, везут новых эзков и провиант лагерям на год. На Новой Земле тоже были лагеря

⁷⁶ Меня корят, что надо писать туФта, как правильно по-воровски, а туХта есть крестьянское переименование, как Хвёдор. Но это мне и мило: туХта как-то сроднено с русским языком, а туФта совсем чужое. Принесли воры, а обучили весь русский народ, так пусть и будет туХта.

⁷⁷ На Соловках и в 1975 ещё жили: бывший лагерный охранник Ершихин; его жена, бывший заседатель *тройки* в Кеми; бывшие надзиратели Беличкин, Третьяков, Шимонаев. А надзирательский сын Чеботарёв стал председателем исполкома острова.

многие годы и самые страшные — потому что сюда попадали «без права переписки». Отсюда не вернулся никогда ни единый зэк. Что эти несчастные там добывали-строили, как жили, как умирали — этого ещё и сегодня мы не знаем.

Но когда-нибудь дождёмся же свидетельства!

Глава 3

АРХИПЕЛАГ ДАЁТ МЕТАСТАЗЫ

Да не сам по себе развивался Архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в стране была безработица — не было и погони за рабочими руками заключённых, а аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметанье с дороги. Но когда задумано было огромной мешалкой перемешать все сто пятьдесят тогдашних миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации и вместо него погнали сверх-сверх-сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивание и обширные общественные работы первой пятилетки, — в канун Года Великого Перешива изменился и взгляд на Архипелаг и всё в Архипелаге.

26 марта 1928 года Совнарком (значит — ещё под председательством Рыкова) рассматривал состояние карательной политики в стране и состояние мест заключения. О карательной политике было признано, что она недостаточна. Постановлено было⁷⁸: к классовым врагам и классово-чуждым элементам применять суровые меры репрессии, устроить лагерный режим. Кроме того: поставить принудработы так, чтоб заключённые не зарабатывали ничего, а государству они были бы хозяйственно-выгодны. И: «считать в дальнейшем необходимым расширение ёмкости трудовых колоний». То есть попросту предложено было готовить побольше лагерей перед запланированными обильными посадками. (Эту же хозяйственную необходимость предвидел и Троцкий, только он опять предлагал свою трудармию с обязательной мобилизацией. Хрен редьки не слаще. Но из духа ли противоречия своему вечному оппоненту или чтоб решительней отрубить у людей жалобы и надежды на возврат, Сталин определил прокрутить трудармейцев через тюремную машину.) Упразднилась безработица в стране — появился экономический смысл расширения лагерей.

Если в 1923 на Соловках было заключено не более трёх тысяч человек, то к 1930 — уже около пятидесяти тысяч, да ещё тридцать тысяч в Кеми. С 1928 года соловецкий рак стал распознаться — сперва по Карелии — на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Так же охотно СЛОН стал «продавать» инженеров: они бесконвойно ехали работать в любое северное место, а зарплата их перечислялась в лагерь. Во всех точках Мурманской железной дороги от Лодейного Поля до Тайболы к 1929 году уже появились лагерные пункты СЛОНа. Затем движение пошло на вологодскую линию — и такое оживлённое, что понадобилось на станции Званка открыть диспетчерский пункт СЛОНа. К 1930 в Лодейном Поле окреп и стал на свои ноги СвирЛаг, в Котласе образовался КотЛаг. С 1931 года с центром в Медвежьегорске родился БелБалтЛаг⁷⁹, которому предстояло в ближайшие два года прославить Архипелаг во веки веков и на пять материков.

А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало море, а с другой — финская граница, — но ничто не мешало устроить лагерь под Красной Вишерой (1929), а главное — беспрепятственны были пути на восток по русскому Северу. Очень рано потянулась дорога Сорока — Котлас. («Сорока — построим до сро-

⁷⁸ ЦГАОР, ф. 393, оп. 78, ед. хр. 65, лл. 369 — 372.

⁷⁹ Это официальная дата, а фактически с 1930, но организационный период скрыли для краткости сроков, красоты и истории. И тут тухта...

ка!» — дразнили соловчане С. Алымова, который, однако, дела своего держался и вышел в люди, в поэты-песенники.) Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали СевДвинЛаг. Переползя её, они бесстрашно двинулись к Уралу. В 1931 году там основано было Северо-Уральское отделение СЛОНа, которое вскоре дало самостоятельные СоликамЛаг и СевУралЛаг. Березниковский лагерь начал строительство большого химкомбината, в своё время очень восславленное. Летом 1929 из Соловков на реку Чибью была послана экспедиция бесконвойных заключённых под главенством геолога М. В. Рушинского — разведать нефть, открытую там ещё в 80-х годах XIX века. Экспедиция была успешна, — и на Ухте образовался лагерь — УхтЛаг. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастазировался к северо-востоку, захватил Печору — и преобразовался в УхтПечЛаг. Вскоре он имел Ухтинское, Печорское, Интинское и Воркутское отделения — всё основы будущих великих самостоятельных лагерей.

И тут ещё многое пропущено.

Освоение столь обширного северного бездорожного края потребовало прокладки железной дороги: от Котласа через Княж-Погост и Ропчу на Воркуту. Это вызвало потребность ещё в двух самостоятельных лагерях, уже железнодорожных: СевЖелДорЛаге — на участке от Котласа до реки Печоры, и ПечорЛаге (не путать с промышленным УхтПечЛагом) — на участке от реки Печоры до Воркуты. (Правда, дорога эта строилась долго. Её вымьский участок от Княж-Погоста до Ропчи был готов в 1938, вся же она — лишь в конце 1942.)

Так из тундренных и таёжных пучин подымались сотни средних и маленьких новых островов. На ходу, в боевом строю, создавалась и новая организация Архипелага: Лагерные Управления, лагерные отделения, лагерные пункты (ОЛПы — отдельные лагерные пункты, КОЛПы — комендантские, ГОЛПы — головные), лагерные участки (они же — «командировки» и «подкомандировки»). А в Управлениях — Отделы, а в отделениях — Части: I — Производственная, II — Учётно-Распределительная (УРЧ), III — Опер-Чекистская.

(А в диссертациях в это время писалось: «вырисовываются впереди контуры воспитательных учреждений для отдельных недисциплинированных членов бесклассового общества» (сборник «От тюрем...», стр. 429). В самом деле, кончаются классы — кончаются и преступники? Но как-то дух захватывает, что вот завтра — бесклассовое, — и никто не будет сидеть?.. всё же отдельные недисциплинированные посидят... Бесклассовое общество тоже не без тюрьги.)

Так вся северная часть Архипелага рождена была Соловками. Но не ими же одними! По великому зову советской власти исправительно-трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ИТЛ и ИТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая весело шипами вдоль железных дорог, вдоль шоссе дорог, вдоль городских окраин. И охлупы уродливых лагерных вышек стали верхней чертой нашего пейзажа и только удивительным стечением обстоятельств не попадали ни на полотна железнодорожников, ни в кадры фильмов.

Как повелось ещё с Гражданской войны, усиленно мобилизовались для лагерной нужды монастырские здания, своим расположением идеально приспособленные для изоляции. Борисоглебский монастырь в Торжке пошёл под пересыльный пункт (и сейчас он там), Валдайский (через озеро против будущей дачи Жданова) — под колонию малолетних, Нилова пустынь на селигерском острове Столбном — под лагерь, Саровская пустынь — под гнездо Потьминских лагерей, и несть конца этому перечислению. Поднимались лагеря в Донбассе, на Волге верхней, средней, нижней, на Среднем и Южном Урале, в Закавказьи, в центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Официально сообщается, что в 1932 году площадь

сельскохозяйственных исправтрудколоний по РСФСР была — 253 тысячи гектаров, по УССР — 56 тысяч⁸⁰. Кладя в среднем на одну колонию по тысяче гектаров, мы узнаем, что одних только «сельхозов», то есть самых второстепенных и льготных лагерей, уже было (без окраин страны) — более трёхсот!

Распределение заключённых по лагерям ближним и дальним легко решилось постановлением ЦИК и СНК от 6.11.29. (И всё годовщины попадают...) Упразднилась прежняя «строгая изоляция» (мешавшая созидательному труду), устанавливалось, что в *общие* (ближние) места заключения посылаются осуждённые на сроки менее трёх лет, а от трёх до десяти — в отдалённые местности⁸¹. Так как Пятьдесят Восьмая никогда не получала менее трёх лет, то вся и хлынула она на Север и в Сибирь — освоить и погибнуть.

А мы в это время — шагали под барабаны!..

* * *

На Архипелаге живёт упорная легенда, что «*лагеря придумал Френкель*».

Мне кажется, эта непатриотичная и даже оскорбительная для власти выдумка достаточно опровергнута предыдущими главами. Хотя и скудными средствами, но, надеюсь, нам удалось показать рождение лагерей для подавления и для труда ещё в 1918 году. Безо всякого Френкеля додумались, что заключённые не должны терять времени в нравственных размышлениях (целью советской исправительно-трудо-вой политики вовсе не является индивидуальное исправление в его традиционном понимании), а должны трудиться, и при этом нормы им надо назначить покрепче, почти непосильные. До всякого Френкеля уже говорили: «исправление через труд» (а понимали ещё с Эйхманса как «истребление через труд»).

Да даже и современного диалектического мышления не нужно было, чтобы додуматься до использования заключённых на тяжёлых работах в малонаселённой местности. Ещё в 1890 году в министерстве путей сообщения возникла мысль привлечь ссыльно-каторжных Приамурского края к прокладке рельсового пути. Каторжан просто заставили, а ссыльно-переселенцам и административно-ссылным было разрешено работать на прокладке дороги и за это получить скидку трети или половины срока (впрочем, они предпочитали побегом сбросить весь срок сразу). С 1896 по 1900 год на кругбайкальском участке работало больше полутора тысяч каторжан и две с половиной тысячи ссыльно-переселенцев.

Но вообще-то на русской каторге XIX века шло развитие обратное: труд становился всё менее обязательным, замирал. Даже Карийская каторга к 90-м годам обратилась в места высидочного заключения, работ больше не производилось. К тому же времени помягчели и рабочие требования на Акатуе (П. Якубович). Так что привлечение каторжных к кругбайкальской дороге было скорее нуждою временной. Не наблюдаем ли мы опять «два рога» или параболу, как и со срочными тюрьмами (часть первая, глава 9): ветвь смягчения и ветвь ожесточения?

Что же до мысли, что осмысленный (и уже конечно не изнурительный) труд помогает преступнику исправиться, то она известна была, когда ещё и Маркс не родился, и в российском тюремном управлении тоже практиковалась ещё в прошлом веке. П. Курлов, одно время начальник тюремного управления, свидетельствует: в 1907 году арестантские работы широко организованы; их изделия отличаются дешевизной, занимают производительно время арестантов и снабжают их при выходе из тюрьмы денежными средствами и ремесленными познаниями.

И всё-таки Френкель действительно стал нервом Архипелага. Он был из тех удачливых деятелей, которых История уже с голодом ждёт

⁸⁰ «От тюрем к воспитательным учреждениям», стр. 136 — 137.

⁸¹ «Собрание Законов СССР», 1929, № 72.

и зазывает. Лагеря как будто и были до Френкеля, но не приняли ещё той окончательной и единой формы, отдающей совершенством. Всякий истинный пророк приходит именно тогда, когда он крайне нужен. Френкель явился на Архипелаг к началу метастазов.

Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей, родился в Константинополе. Окончил коммерческий институт и занялся лесоторговлей. В Мариуполе он основал фирму и скоро стал миллионером, «лесным королём Чёрного моря». У него были свои пароходы, и он даже издавал в Мариуполе свою газету «Копейку», с задачей — порочить и травить конкурентов. Во время первой мировой войны Френкель вёл какие-то спекуляции с оружием через Галлиполи. В 1916 году учуял грозу в России, ещё до февральской революции перевёл свои капиталы в Турцию, и следом за ними в 1917 сам уехал в Константинополь.

И дальше он мог вести всю ту же сладко-тревожную жизнь коммерсанта и не знал бы горького горя и не превратился бы в легенду. Но какая-то роковая сила влекла его к красной державе. (Впрочем, с самого февраля 1917 кидались на возврат в Россию многие совсем не революционные эмигранты, и охотливо и зловеще помогли всем стадиям революции.) Не проверен слух, будто в те годы в Константинополе он становится резидентом советской разведки (разве что по идейным соображениям, а то трудно вообразить — зачем это ему нужно). Но вполне точно, что в годы НЭПа он приезжает в СССР и здесь по тайному поручению ГПУ создаёт, как бы от себя, чёрную биржу, для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли (предшественник «золотой кампании» ГПУ и Торгсина). Дельцы и маклеры хорошо его помнят по прежнему времени, доверяют — и золото стекается в ГПУ. Скупка кончается и, в благодарность, ГПУ его сажает. На всякого мудреца довольно простоты.

Однако неутомимый и необидчивый Френкель ещё на Лубянке или по дороге на Соловки что-то заявляет наверх. Очевидно, найдя себя в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению. Его привозят на Соловки в 1927 году, но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменной будке вне черты монастыря, приставляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что он становится начальником экономической части (привилегия вольного) и высказывает свой знаменитый тезис об использовании заключённого в первые три месяца, а дальше ни он, ни его труп не нужны. С 1928 он уже в Кемь. Там он создаёт выгодное подсобное предприятие. За десятилетия накопленные монахи и втуне лежащие на монастырских складах кожи он перевозит в Кемь, стягивает туда заключённых скорняков и сапожников и поставяет модельную обувь и кожгалантерею в фирменный магазин на Кузнецком мосту (им ведает и кассовую выручку забирает ГПУ, но дамочкам, покупающим туфли, это неизвестно — да и когда их самих вскоре потянут на Архипелаг, они об этом не вспомнят, не разберутся).

Как-то, году в 1929, за Френкелем прилетает из Москвы самолёт и увозит на свидание к Сталину. Лучший Друг заключённых (и Лучший Друг чекистов) с интересом беседует с Френкелем три часа. Стенограмма этой беседы никогда не станет известна, её просто не было, но ясно, что Френкель разворачивает перед Отцом Народов ослепительные перспективы построения социализма через труд заключённых. Многое из географии Архипелага, послушным пером описываемое нами теперь вослед, он набрасывает смелыми мазками на карту Союза под пыхтение трубки своего собеседника. Именно Френкель и очевидно именно в этот раз предлагает всеохватывающую систему лагерного учёта по группам А-Б-В-Г, не дающего лазейки ни лагерному начальнику, ни, тем более, арестанту: всякий, не обслуживающий лагерь (Б), не признанный больным (В) и не покаранный карцером (Г),

должен каждый день своего срока тянуть упряжку (А). Мировая история каторги ещё не знала такой универсальности! Именно Френкель и именно в этой беседе предлагает отказаться от реакционной системы равенства в питании арестантов и набрасывает единую для всего Архипелага систему перераспределения скудного продукта — хлебную шкалу и шкалу приварка, впрочем позаимствованную им у эскимосов: держать рыбу на шесте перед бегущими собаками. Ещё предлагает он зачёты и досрочное освобождение как награду за хорошую работу. Вероятно здесь же устанавливается и первое опытное поле — великий Беломорстрой, куда предприимчивый валютчик вскоре будет назначен — не начальником строительства и не начальником лагеря, но на специально для него придуманную должность «начальника работ» — главного надсмотрщика на поле трудовой битвы.

Да вот и он сам. Его наполненность злой античеловеческой волей видна на лице. Но в той книге о Беломоре, желая прославить Френкеля, один из советских писателей напишет о нём так: «С тростью в руке он появлялся на трассе то там, то тут, молча проходил к работам и останавливался, опершись о трость, заложив ногу за ногу, и так стоял часами... Глаза следователя и прокурора, губы скептика и сатирика... Человек большого властолюбия и гордости, он считает, что главное для начальника — это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти нужно, чтобы тебя боялись — пусть боятся». И даже находит поворот восхититься «безжалостным сарказмом и сухостью, когда ни одно человеческое чувство казалось не было доступно этому начальнику»⁸².

Последняя фраза нам кажется ключевой — и к характеру и к биографии Френкеля.

К началу Беломорстроя он освобождён, за Беломорканал получает орден Ленина и назначается начальником строительства БАМЛага. («Байкало-Амурская магистраль» — это название из будущего, а в 30-е годы БАМЛег достраивает вторые пути Сибирской магистрали там, где их ещё нет.) На этом далеко не окончена карьера Нафталия Френкеля, но уместнее досказать её в следующей главе.

* * *

Вся долгая история Архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та же злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали в кадры киносъёмок, ни на пейзажи художников.

Но не так с Беломорканалом и с Волгоканалом. По каждому из них в нашем распоряжении есть книга, и по крайней мере эту главу мы можем писать, руководясь документальным советским свидетельством.

В старательных исследованиях прежде, чем использовать какой-либо источник, полагается его охарактеризовать. Сделаем это.

Вот перед нами лежит этот том форматом почти с церковное Евангелие и с выдвинутым на картонной обложке барельефом Полубожества. Книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» издана ГИЗом в 1934 году и посвящена авторами XVII съезду партии, очевидно к съезду она и поспела. Она есть ответвление горьковской «Истории фабрик и заводов». Её редакторы: Максим Горький, Л. Л. Авербах и С. Г. Фирин. Последнее имя мало известно в литературных кругах, объясним же. Семён Фирин, несмотря на свою молодость, — заместитель начальника ГУЛАГа. Томимый авторским честолюбием, он написал о Беломоре и свою отдельную брошюру. Леопольд Леонидович Авербах (брат уже встреченной нами Иды Леонидовны) — напротив, славней его не было в советской литературе, ответ-

⁸² «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» («История фабрик и заводов»). Госиздат. 1934, стр. 213, 216.

ственный редактор журнала «На литературном посту», главный, кто бил писателей дубиной, и он же племянник Свердлова⁸³.

История книги такова: 17 августа 1933 года состоялась прогулка ста двадцати писателей по только что законченному каналу на пароходе. Заключённый прораб канала Д. П. Витковский был свидетелем, как во время шлюзования парохода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключённых с территории шлюза (а кстати там были больше уже эксплуатационники, чем строители), в присутствии канальского начальства спрашивали заключённого: любит ли он свой канал, свою работу, считает ли он, что здесь исправился, и достаточно ли заботится их руководство о быте заключённых? Вопросов было много, но в этом духе все, и все через борт, и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки восемьдесят четыре писателя каким-то образом сумели вернуться от участия в горьковском коллективном труде (но может быть писали свои восторженные стихи и очерки), остальные же тридцать шесть составили коллектив авторов. Напряжённым трудом осени 1933 года и зимы они и создали этот уникальный труд.

Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через два-три года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали её в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за неё срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание — и тем отягчительнее чувствуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. Справедливо будет сохранить для истории литературы и имена авторов. Ну, хотя бы вот эти: Максим Горький. — Виктор Шкловский. — Всеволод Иванов. — Вера Инбер. — Валентин Катаев. — Михаил Зощенко. — Лапин и Хацревин. — Л. Никулин. — Корнелий Зелинский. — Бруно Ясенский (глава: «Добить классового врага»). — Е. Габрилович. — А. Тихонов. — Алексей Толстой. — К. Финн.

Необходимость этой книги для заключённых, строивших канал, Горький объяснил так: «у каналармейцев⁸⁴ не хватает запаса слов» для выражения сложных чувств перековки, — у писателей же такой запас слов есть, и вот они помогут. Необходимость же её для писателей он объяснил так: «Многие литераторы после ознакомления с каналом... получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу... Теперь в литературе *появится то настроение, которое двинет её вперёд* и поставит её на уровень наших великих дел» (курсив мой. — А. С. Этот уровень мы и по сегодня ощущаем в советской литературе). Ну, а необходимость книги для миллионов читателей (многие из них и сами скоро должны притечь на Архипелаг) понятна сама собою.

Какова же точка зрения авторского коллектива на предмет? Прежде всего: уверенность в правоте всех приговоров и в виновности всех пригнанных на канал. Даже слово «уверенность» слишком слабое: этот вопрос недопустим для авторов ни к обсуждению, ни к постановке. Это для них так же ясно, как ночь темнее дня. Они, пользуясь своим запасом слов и образов, внедряют в нас все человеко-

⁸³ Чудесная семья Свердловых как-то осталась в тени революционной истории — благодаря ранней смерти Якова, успешного, однако, хорошо приложиться к нашим казням, не минуя и царскую семью. Вот — эти милые племянники, ещё же был сын Андрей, незаурядный следователь-палач (а ещё, по любительству, притворялся арестованным и садился в камеры наседкой). А у жены Свердлова Клавдии Новгородцевой хранился дома алмазно-бриллиантовый *партийный фонд*, награбленный большевиками в революцию: банда Политбюро приготовила этот запас на случай провала власти, если придётся поспешно покидать государственные здания.

⁸⁴ Так решено было их называть для поднятия духа (или в честь несостоявшейся *трудармий*?).

нави́стниче́ские легенды 30-х годов. Слово «вредитель» они трактуют как основу инженерского существа. И агрономы, выступавшие против раннего сева (может быть — в снег и в грязь?), и ирригаторы, обводнявшие Среднюю Азию, — все для них безоговорочно вредители. Во всех главах книги эти писатели говорят о сословии инженеров только снисходительно, как о породе порочной и низкой. На странице 125 книга обвиняет *значительную часть русского дореволюционно-инженерства — в плутоватости*. Это — уже не индивидуальное обвинение, никак. (Понять ли, что инженеры вредили уже и царизму?) И это пишется людьми, никто из которых не способен даже извлечь простейшего квадратного корня (что делают в цирке некоторые лошади).

Авторы повторяют нам все бредовые слухи тех лет как историческую несомненность: что в заводских столовых травят работниц мышьяком; что если скисает надоенное в совхозе молоко, то это — не глупая нерасторопность, но — расчёт врага: заставить страну пухнуть с голоду (так и пишут). Обобщённо и безлико они пишут о том зловещем собирательном кулаке, который «поступил на завод и подбрасывает болт в станок». Что ж, они — ведуны человеческого сердца, им это легче вообразить: человек каким-то чудом уклонился от ссылки в тундру, бежал в город, ещё большим чудом поступил на завод, уже умирая от голода, и теперь вместо того, чтобы кормить семью, он подбрасывает болт в станок!

Напротив, авторы не могут и не хотят сдержать своего восхищения руководителями канальных работ, работодателями, которых, несмотря на 30-е годы, они упорно называют чекистами, вынуждая к этому термину и нас. Они восхищаются не только их умом, волей, организацией, но и в высшем человеческом смысле, как существами удивительными. Показателен хотя бы эпизод с Яковом Раппопортом. Этот недоучившийся студент Дерптского университета, эвакуированного в Воронеж, и ставший на новой родине заместителем председателя губернского ЧК, а затем заместителем начальника строительства Беломорстроя, — по словам авторов, обходя строительство, остался недоволен, как рабочие гонят тачки, и задал инженеру уничтожающий вопрос: а вы помните, чему равен косинус сорока пяти градусов? И инженер был раздавлен и устыжён эрудицией Раппопорта, и сейчас же исправил свои вредительские указания, и гон тачек пошёл на высоком техническом уровне. Подобными анекдотами авторы не только художественно сдобривают своё изложение, но и поднимают нас на научную высоту.

И чем выше пост занимает работодатель, тем с большим преклонением он описывается авторами. Безудержные похвалы выстилаются начальнику ГУЛАГа Матвею Берману⁸⁵. Много восторженных похвал достаётся Лазарю Когану, бывшему анархисту, в 1918 перешедшему на сторону победивших большевиков, доказавшему свою верность на посту начальника Особого Отдела IX армии, потом заместителя начальника войск ОГПУ, одному из организаторов ГУЛАГа, а теперь начальнику строительства Беломорканала. Но тем более авторы могут лишь присоединиться к словам товарища Когана о *железном наркоте*: «Товарищ Ягода — наш главный, наш повседневный руководитель». (Это пуще всего и погубило книгу! Славословия Генриху Ягоде и его портрет были вырваны даже из сохранившегося для нас экземпляра, и долго пришлось нам искать этот портрет.)

Уж тем более этот тон внедрялся в лагерные брошюры. Вот например: «На шлюз № 3 пришли почётные гости (их портреты висели в каждом бараке) — товарищ Каганович, Ягода и Берман. Люди зара-

⁸⁵ М. Берман — М. Борман, опять только буква одна разницы... Эйхманс — Эйхман..

ботали быстрее. Там наверху улыбнулись — и улыбка передалась сотням людей в котловане»⁸⁶. И в казённые песни:

Сам Ягода ведёт нас и учит,
Зорек глаз его, крепка рука.

Общий восторг перед лагерным строем жизни влечёт авторов к такому панегирику: «В какой бы уголок Союза ни забросила вас судьба, пусть это будет глушь и темнота, — отпечаток порядка... чёткости и сознательности... несёт на себе любая организация ОГПУ». А какая ж в российской глуши организация ГПУ? — да только лагерь. *Лагерь как светоч прогресса* — вот уровень нашего исторического источника.

Тут высказался и сам главный редактор. Выступая на последнем слёте беломорстроевцев 25.8.33 в городе Дмитрове (они уже переехали на Волгоканал), Горький сказал: «Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей». (Это значит — ещё раньше Соловков, раньше того расстрелянного мальчишки; как в Союз вернулся — так и присматривается.) И, уж еле сдерживая слёзы, обратился к присутствующим чекистам: «Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали...» Отмечают авторы: тут чекисты только улыбнулись. (Они знали, что сделали...) О чрезмерной скромности чекистов пишет Горький и в самой книге. (Эта их нелюбовь к гласности, действительно, трогательная черта.)

Коллективные авторы не просто умалчивают о смертях на Беломорканале, то есть не следуют трусливому рецепту полуправды, но прямо пишут (стр. 190), что *никто* не умирает на строительстве! (Вероятно вот они как считают: сто тысяч начинало канал, сто тысяч и кончило. Значит, все живы. Они упускают только этапы, заглотанные строительством в две лютых зимы. Но это уже на уровне косинуса плутоватого инженерства.)

Авторы не видят ничего более вдохновляющего, чем этот лагерный труд. В подневальном труде они усматривают одну из высших форм пламенного сознательного творчества. Вот теоретическая основа исправления: «Преступники — от прежних гнусных условий, а страна наша красива, мощна и великодушна, её надо украшать». По их мнению все эти пригнанные на канал никогда бы не нашли своего пути в жизни, если бы работодатели не велели им соединить Белого моря с Балтийским. Потому что ведь «человеческое сырьё обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево», — что за язык! глубина какая! кто это сказал? — это Горький говорит в книге, опсывая «словесную мишуру гуманизма». А Зощенко, глубоко вникнув, пишет: «перекровка — это не желание выслужиться и освободиться (такие подозрения всё-таки были? — А. С.), а на самом деле перестройка сознания и гордость строителя». О, человекоед! Катал ли ты канальную тачку да на штрафном пайке?..

Этой достойной книгой, составившей славу советской литературы, мы и будем руководствоваться в наших суждениях о канале.

Как случилось, что для первой великой стройки Архипелага избран был именно Беломорканал? Понууждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно ответить, что — нет. Раскалял ли его благородный дух соревнования с Петром Первым, протащившим волоками по этой трассе свой флот, или с императором Павлом, при котором был выказан первый проект этого канала? Вряд ли Мудрый о том и знал. Сталину нужна была *где-нибудь* великая стройка заключёнными, которая поглотит много рабочих рук и много жизней (избыток

⁸⁶ Ю. Куземко, «3-й шлюз». Издание Культурно-воспитательного отдела Дмитлага. 1935. «Не подлежит распространению за пределы лагеря». Из-за редкости издания можно порекомендовать другое сочетание: «Каганович, Ягода и Хрущёв инспектируют лагерь на Беломорканале». D. D. Runes, «Despotism». NY. 1963, p. 262.

людей от раскулачивания), с надёжностью душегубки, но дешевле её, — одновременно оставив великий памятник его царствования типа пирамиды. На излюбленном рабовладельческом Востоке, у которого Сталин больше всего в жизни почерпнул, любили строить великие каналы. И я почти вижу, как с любовью рассматривая карту русско-европейского Севера, где была собрана тогда большая часть лагерей, Властитель провёл в центре этого края линию от моря до моря кончиком трубочного черенка.

Объявляя же стройку, её надо было объявить только *срочной*. Потому что ничего не срочного в те годы в нашей стране не делалось. Если б она была не срочной — никто бы не поверил в её жизненную важность — а даже заключённые, умирая под опрокинутой тачкой, должны были верить в эту важность. Если б она была не срочной — то они б не умирали и не расчищали бы площадки для нового общества.

«Канал должен быть построен в короткий срок и *стоить дешёво!* — таково указание товарища Сталина!» (А кто жил тогда — тот помнит, что значит — Указание Товарища Сталина!) Двадцать месяцев! — вот сколько отпустил Великий Вождь своим преступникам и на канал и на исправление: с сентября 1931 по апрель 1933. Даже двух полных лет он дать им не мог — так торопился. Панамский канал длиной 80 километров строился двадцать восемь лет, Суэцкий длиной в 160 километров — десять лет, Беломорско-Балтийский в 227 километров — меньше двух лет, не хотите? Скального грунта вынуть два с половиной миллиона кубометров, всего земляных работ — 21 миллион кубометров. Да загромождённость местности валунами. Да болота. 7 шлюзов «Повенчанской лестницы», 12 шлюзов на спуске к Белому морю. 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб, 33 канала. Бетонных работ — 390 тысяч кубометров, ряжевых — 921 тысяча⁸⁷. И — «это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломорстрой поручен ОГПУ и ни копейки валюты!».

Вот теперь всё более и более нам яснее замысел: значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что — ни копейки валюты. Пусть единовременно работает у вас сто тысяч заключённых — какой капитал ещё ценней? И в двадцать месяцев отдайте канал! ни дня отсрочки.

Вот тут и рассвирепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят: будем делать бетонные сооружения. Отвечают чекисты: некогда. Инженеры говорят: нужно много железа. Чекисты: замените деревом! Инженеры говорят: нужны тракторы, краны, строительные машины! Чекисты: ничего этого не будет, ни копейки валюты, делайте всё руками!

Книга называет это: «дерзкая чекистская формулировка технического задания»⁸⁸. То есть раппопортовский косинус... (Кстати, в разных тиражах «Беломора» этот косинус — разный.)

Так торопимся, что для северного этого проекта привозим ташкентцев, гидротехников и ирригаторов Средней Азии (как раз удачно их посадили). Из них создаётся на Фуркасовском переулке (позади Большой Лубянки) Особое (опять «особое», любимое слово!) конструкторское бюро⁸⁹. (Впрочем чекист Иванченко спрашивает инженера Журина: «А зачем проектировать, когда есть проект Волго-Дона? По нему и стройте».)

Так торопимся, что они начинают делать проект ещё прежде изысканий на местности! Само собой мчим в Карелию изыскательные пар-

⁸⁷ Постановление Совета Народных Комиссаров, Москва, Кремль, 2.8.33 («Беломорско-Балтийский канал», стр. 401).

⁸⁸ «Беломорско-Балтийский канал», стр. 82.

⁸⁹ Таким образом — одна из самых ранних *шарашек*, Райских островов. Тут же называют и ещё подобную: ОКБ на Ижорском заводе, сконструировавшее первый знаменитый блюминг.

тии. Ни один конструктор не имеет права выйти за пределы бюро, ни тем более в Карелию (бдительность). Поэтому идёт облёт телеграммами: а какая там отметка? а какой там грунт?

Так торопимся, что эшелоны зков прибывают и прибывают на будущую трассу, а там ещё нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного плана — что же надо делать? Нет бараков — зато есть ранняя северная осень. Нет инструментов — зато идёт первый месяц из двадцати. (Плюс несколько тухлых месяцев оргпериода, нигде не записанных.)

Так торопимся, что приехавшие наконец на трассу инженеры не имеют ватмана, линейек, кнопок (!) и даже света в рабочем бараке. Они работают при копилках, это похоже на гражданскую войну! — упиваются наши авторы.

Весёлым тоном записных забавников они рассказывают нам: женщины приехали в шёлковых платьях, а тут получают тачки! И «кто только не встречается друг с другом в Тунгуде: бывшие студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам!». Соратники по белым отрядам давно уже встретились друг с другом на Соловках (или ещё раньше потоплены и стоят на дне Белого, Каспийского моря), а вот что эсперантисты и студенты тоже получают беломорские тачки, за эту информацию спасибо авторам. Почти давясь от смеха, рассказывают они нам: везут из красноводских лагерей, из Сталинабада, из Самарканда туркменов и таджиков в бухарских халатах, чалмах — а тут карельские морозы! то-то неожиданность для басмачей! Тут норма *два кубометра гранитной скалы разбить и вывезти на сто метров тачкой!* А сыпят снега и всё заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег.

Но пусть говорят авторы: по мокрым доскам тачка вихляла, опрокидывалась, «человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях» (стр. 112—113); даже не скальным, а просто мёрзлым грунтом «тачка нагружается час». Или более общая картинка: «В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полной людей и камней. Люди бродили, спотыкаясь о камни. По двое, по трое, они нагибались и, обхватив валун, пытались приподнять его. Валун не шевелился. Тогда звали четвёртого, пятого...» Но тут на помощь приходит техник нашего славного века: «валуны из котлована вытягивают сетью» — а сеть тянется канатом, а канат — «барабаном, крутимым лошадьёю!» Или вот другой приём — *деревянные журавли* для подъёма камней. Или вот ещё — из первых механизмов Беломорстроя — пять веков назад, пятнадцать назад?

И это вам — вредители? Да это гениальные инженеры! — из XX века их бросили в пещерный — и, смотрите, они справились!

Основной транспорт Беломорстроя? — грабарки, узнаём мы из книги. А ещё есть *беломорские форды!* Это вот что такое: тяжёлые деревянные площадки, положенные на четыре круглых деревянных обрубка (катка) — две лошади тащат такой «форд» и отвозят камни. А тачку возят вдвоём — на подъёмах её подхватывает крючник. А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша смекалка: обвязывают деревья веревками и в разные стороны попеременно бригады тянут — *р а с ш а т ы в а ю т* деревья! Всё может наша смекалка! — а почему? А потому что **канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина!** — написано в газетах и повторяют по радио каждый день.

Представить такое поле боя и на нём «в длинных серо-пепельных шинелях или кожаных куртках» — чекисты. Их всего тридцать семь человек на сто тысяч заключённых, но их все любят, и эта любовь движет карельскими валунами. Вот остановились они, показал товарищ Френкель рукой, чмокнул губами товарищ Фирин, ничего не сказал товарищ Успенский (отцеубийца? соловецкий палач?) — и судьбы тысяч людей решены на сегодняшнюю морозную ночь или на весь этот полярный месяц.

В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. «Это не темпы ущербного европейско-американского капитализма. Это — социалистические темпы!» — гордятся авторы (стр. 356). (В 60-е годы мы знаем, что это называется Большой Скачок.) Вся книга славит именно отсталость техники и кустарничество. Кранов нет? Будут свои! — и делаются «деррики» — краны из дерева, и только трущиеся металлические части к ним отливают сами. «Своя индустрия на канале!» — ликуют наши авторы. И тачечные колёса тоже отливают из самодельной вагранки.

Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства тачечных колёс! Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ!

Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку XX века, материковый канал, построенный «от тачки и кайла», — несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники. А у нас была техника — на сорок веков назад!

В том-то душегубка и состояла. На газовые камеры у нас газа не было.

Побудьте-ка инженером в этих условиях! Все дамбы — земляные, водоспуски — деревянные. Земля то и дело даёт течь. Чем же уплотнить её? — гоняют по дамбе лошадей с катками! (Только ещё лошадей вместе с заключёнными не жалеет Сталин и страна — а потому что это кулацкое животное, и тоже должно вымереть.) Очень трудно обезопасить от течи и сопряжения земли с деревом. Надо заменить железо деревом! — и инженер Маслов изобретает ромбовидные деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет! — чем крепить стены шлюзов! Вспоминают древнерусские *ржи* — деревянные срубы высотой в пятнадцать метров, изнутри засыпаемые грунтом. Пользуйтесь техникой пещерного века, но ответственность по веку XX-му: прорвёт где-нибудь — отдай голову.

Пишет железный нарком Ягода главному инженеру Хрусталёву: «по имеющимся донесениям (то есть от стукачей и от Когана — Френкеля — Фирина) необходимой энергии и заинтересованности в работе вы не проявляете и не чувствуете. Приказываю немедленно ответить — намерены ли вы немедленно (язычек-то)... взяться по-настоящему за работу... и заставить добросовестно работать ту часть инженеров, которые саботируют и срывают...» Что отвечать главному? Жить-то хочется... «Я сознаю свою преступную мягкость... я каюсь в собственной расхлябанности...»

А тем временем в уши неутомонно: «Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина!» «Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика, *радио*, не спящее ни днём, ни ночью (вообразите!), эти бесчисленные чёрные рты, чёрные маски без глаз (образно) кричат неустанно: что думают о трассе чекисты всей страны, что сказала партия». То же — думай и ты! То же — думай и ты! «Природу научим — свободу получим!» Да здравствует соревнование и ударничество! Соревнования между бригадами! Соревнования между фалангами (двести пятьдесят — триста человек)! Соревнования между трудколлективами! Соревнование между шлюзами! Наконец, и *вохровцы* вступают с эсками в соревнование (стр. 153)?!..

Но главная опора, конечно, — на *социально-близких*, то есть на воров! (Эти понятия уже слились на канале.) Растроганный Горький кричит им с трибуны: «Да любой капиталист грабит больше, чем все вы, вместе взятые!» (стр. 392). Урки ревут, польщённые. «И крупные слезы брызнули из глаз бывшего карманника». Ставка на то, чтобы использовать для строительства «романтизм правонарушителей».

А им ещё бы не лестно! Говорит вор из президиума слёта: «По два дня хлеба не получали, но это нам не страшно. (Они ведь всегда кого-нибудь раскурочат.) Нам дорого то, что с нами разговаривают как с людьми (чем не могут похвастаться инженеры). Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего, берём». (Чем же берут? и кто берёт?..)

Это — классовая теория: опереться в лагере на своих против чужих. О Беломоре не написано, как кормятся бригадиры, а о Березниках рассказывает свидетель (И. Д. Т.): отдельная кухня бригадиров (сплошь — блатарей) и паёк — лучше военного. Чтоб кулаки их были крепки и знали, за что сжиматься...

На 2-м лагпункте — воровство, вырывание из рук посуды, карточек на баланду, но блатных за это не исключают из ударников: это не затмевает их социального лица, их производственного порыва. Пищу доставляют на производство холодной. Из сушилок воруют вещи — ничего, берём! Повенец — «штрафной городок, хаос и неразбериха». Хлеба в Повенце не пекут, возят из Кеми (посмотрите на карту). На участке Шижня норма питания не выдаётся, в бараках холодно, обовшивели, хворают — ничего, берём! Канал строится по инициативе... Всюду КВБ — культ-воспит-боеочки! (Хулиган, едва придя в лагерь, сразу становится воспитателем.) Создать атмосферу постоянной боевой тревоги! Вдруг объявляется *штурмовая ночь — удар по бюрократии!* Как раз к концу вечерней работы ходят по комнатам управления культвоспитатели и *штурмуют!* Вдруг — прорыв (не воды, процентов) на отделении Тунгуда! *Штурм!* Решено: *удвоить нормы выработки!* Вот как! (стр. 302)... Вдруг какая-то бригада выполняет дневное задание ни с того ни с сего — на 852%! Пойми, кто может! То объявляется всеобщий день рекордов! Удар по *темпосрывателям!* Вот какой-то бригаде раздача «премиальных пирожков». Но что ж лица такие заморенные? Вождеденный момент — а радости нет...

Как будто всё идёт хорошо. Летом 1932 Ягода объехал трассу и остался доволен, кормилец. Но в декабре телеграмма его: нормы не выполняются, прекратить *бездельное шатание тысяч людей* (в это веришь! это — видишь!). Трудколлективы тянутся на работу с выцветшими знамёнами. Обнаружено: по сводкам уже несколько раз выбрано по 100% кубатуры! — а канал так и не кончен! Нерадивые работники засыпают ряжи вместо камней и земли — льдом! А весной это по-тает, и вода прорвёт! Новые лозунги воспитателей: «*Тухта*⁹⁰ — *опаснейшее оружие контрреволюции*» (а тухтят блатные больше всех: уж лёд засыпать в ряжи — узнаю, это их затея!). Ещё лозунг: «тухтач — классовый враг!» — и поручается ворами идти разоблачать тухту, контрролировать сдачу казровских бригад! (Лучший способ приписать выработку казров — себе.) «Тухта — есть попытка сорвать всю исправительно-трудовую политику ГПУ» — вот что такое ужасная эта тухта! «Тухта — это хищение социалистической собственности!» В феврале 1933 отбирают свободу у досрочно-освобождённых инженеров — за обнаруженную тухту.

Такой был подъём, такой энтузиазм — и откуда эта тухта? зачем её придумали заключённые?.. Очевидно, это — ставка на реставрацию капитализма. Здесь не без чёрной руки белоэмиграции.

В начале 1933 — новый приказ Ягоды: все управления переименовать в *штабы боевых участков!* 50% аппарата — бросить на строительство! (а лопат хватит?..) Работать в три смены (ночь-то почти полярная)! Кормить — прямо на трассе (остывшим)! За тухту — судить!

В январе — Штурм водораздела! Все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место! Не всем хватило палаток, спят на снегу — ничего, берём! Канал строится по инициативе...

Из Москвы — приказ № 1: «до конца строительства объявить

⁹⁰ Подчиняюсь «ф» лишь потому, что цитирую.

сплошной штурм!» После рабочего дня гонят на трассу машинисток, канцеляристок, прачек.

В феврале — запрет свиданий по всему БелБалтЛагу — то ли угроза сыпного тифа, то ли нажим на эков.

В апреле — непрерывный штурм сорокавосьмичасовой — ура-а!! — **тридцать тысяч человек не спит!**

И к 1 мая 1933 нарком Ягода докладывает любимому Учителю, что канал — готов в назначенный срок.

В июле 1933 Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают приятную прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотография — они сидят в плетёных креслах на палубе, «шутят, смеются, курят». (А между тем Киров уже обречён, но — не знает.)

В августе проехали сто двадцать писателей.

Обслуживать Беломорканал было на месте некому, прислали раскулаченных («спецпереселенцев»), Берман сам выбирал места для их посёлков.

Большая часть «каналармейцев» поехала строить следующий канал — Москва-Волга⁹¹.

* * *

Отвлечёмся от Коллективного зубоскального тома.

Как ни мрачны казались Соловки, но солдовчанам, этапированным кончать свой срок (а то и жизнь) на Беломоре, только тут ощутилось, что шуточки кончены, только тут открылось, что такое подлинный лагерь, который постепенно узнали все мы. Вместо соловецкой тишины — неумолкающий мат и дикий шум раздоров вперемешку с воспитательной агитацией. Даже в бараках медвежегорского лагпункта при Управлении БелБалтЛага спали на вагонках (уже изобретённых) не по четыре, а по восемь человек: на каждом щите двое валетом. Вместо монастырских каменных зданий — продуваемые временные бараки, а то палатки, а то и просто на снегу. И переведённые из Березников, где тоже по двенадцать часов работали, находили, что здесь — тяжелей. Дни рекордов. Ночи штурмов. «От нас всё — нам ничего»... В густоте, в неразберихе при взрывах скал — много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа — мы уже прочли. Какая еда — а какая ж может быть еда в 1931—1933 годах? (Скрипникова рассказывает, что даже в медвежегорской столовой для вольнонаёмных подавалась мутная жижа с головками камсы и отдельными зёрнами пшена⁹².) Одежда — своя, донашиваемая. И только одно обращение, одна погонка, одна присказка: «Давай!.. Давай!.. Давай!..»

Говорят, что в первую зиму, с 1931 на 1932, сто тысяч и вымерло — столько, сколько постоянно было на канале. Отчего ж не поверить? Скорей даже эта цифра преуменьшенная: в сходных условиях в лагерях военных лет смертность один процент в день была заурядна, известна всем. Так что на Беломоре сто тысяч могло вымереть за три месяца с небольшим. А тут была и другая зима, да и между ними же. Без натяжки можно предположить, что и триста тысяч вымерло.

Это освежение состава за счёт вымирания, постоянную замену умерших новыми живыми эками надо иметь в виду, чтобы не удивиться: к началу 1933 года общее единовременное число заключённых в лагерях ещё могло не превзойти миллиона. Секретная «Инструкция»,

⁹¹ На августовском слёте каналармейцев Л. Коган провозгласил: «Недалёк тот слёт, который будет последним в системе лагерей... Недалёк тот год, месяц и день, когда вообще будут не нужны исправительно-трудовые лагеря». Вероятно расстрелянный, он так и не узнал, как жестоко ошибся. А впрочем, может быть, он, и говоря, сам не верил?

⁹² Впрочем, она же вспоминает, что беженцы с Украины приезжали в Медвежегорск устроиться работать кем-нибудь близ лагеря и так спастись от голода. Их звали эки, и из зоны выносили своим поесть! Очень правдоподобно. Только с Украины-то вырваться умели не все.

подписанная Сталиным и Молотовым 8 мая 1933, даёт цифру 800 тысяч⁹³.

Д. П. Витковский, соловчанин, работавший на Беломоре прорабом, и эту самую тухтю, то есть приписыванием не существующих объёмов работ, спасший жизнь многим, рисует («Полжизни», самиздат) такую вечернюю картину:

«После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замерз. Кто-то застыл с головой, вобранной в колени. Там замёрзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это — крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на канал сразу десятками тысяч, да стараются, чтоб на один лагпункт никто не попал со своим батькой, разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить, они по-деревенски отдают все силы, быстро слабеют — и вот замерзают, обнявшись по двое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком.

А летом от не прибранных вовремя трупов — уже кости, они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там».

Тут ещё то, что руководители стройки превзошли жестокость самого Хозяина. Хоть и сказал Сталин «ни копейки валюты», однако советских рублей 400 миллионов разрешил. Они же, стараясь выслужиться, потратили меньше четверти — 95 миллионов 300 тысяч рублей⁹⁴.

Многотиражка Беломорстроя захлёбывалась, что многие каналармейцы, «эстетически увлечённые» великой задачей, — в свободное время (и, разумеется, без оплаты хлебом) выкладывают стены канала камнями — исключительно для красоты.

Так в пору было бы им выложить на откосах канала шесть фамилий — главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, шестерых наёмных убийц, записав за каждым тысяч по сорок жизней: Семён Фирин. — Матвей Берман. — Нафталий Френкель. — Лазарь Коган. — Яков Раппопорт. — Сергей Жук.

Да приписать сюда, пожалуй, начальника ВОХРы БелБалтЛага — Бродского. Да куратора канала от ВЦИК — Сольца.

Да всех тридцать семь чекистов, которые были на канале.

Да тридцать шесть писателей, восславивших Беломор⁹⁵. Ещё Погодина не забыть.

Чтобы проезжающие пароходные экскурсанты читали и — думали.

Да вот беда — экскурсантов-то нет!

Как нет?

Вот так. И пароходов нет. По расписанию ничто там не ходит.

Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, проехать по великому Беломору, посмотреть самому. Ну, состязаясь с теми ста двадцатью. Так нельзя: не на чем. Надо проситься на грузовое судно. А там документы проверяют. А у меня уж фамилия наклёванная, сразу бу-

⁹³ «Инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры», 8.5.1933. Архив Смоленского обкома ВКП(б). Опубликовано: «Социалистический вестник», Нью-Йорк — Париж, 1955, № 4 (681), стр. 52.

⁹⁴ А. Пруссак, «Из истории Беломорканала» («Вопросы истории», 1945, № 2, стр. 143).

⁹⁵ И Алексей Н. Толстой среди них, проехавши трассу канала (надо же было за положение своё платить), — «с азартом и вдохновением рассказывал о виденном, рисуя заманчивые, почти фантастические и в то же время реальные... перспективы развития края, вкладывая в свой рассказ весь жар творческого увлечения и писательского воображения. Он буквально захлёбываясь говорил о труде строителей канала, о *передовой технике* (курсив мой. — А. С.)...» (Богданов-Березовский. Встречи. М. «Искусство». 1967, стр. 58 — 59).

дет подозрение: зачем еду? И так, чтобы книга была целей, — лучше не ехать.

Но всё-таки немножко я туда подобрался. Сперва — Медвежегорск. До сих пор ещё — много барачных зданий, от тех времён. И — величественная гостиница с пятиэтажной стеклянной башней. Ведь — ворота канала! Ведь здесь будут кишеть гости отечественные и иностранные... Попустовала-попустовала, отдали под интернат.

Дорога к Повенцу. Хилый лес, камни на каждом шагу, валуны.

От Повенца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него, трусь поближе к шлюзам, чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое-где хорошо видно. Стенки шлюзов — прежние, из тех самых ряжей, узнаю их по изображениям. А масловские ромбические ворота сменили на металлические и разводят уже не от руки.

Но что так тихо? Безлюдье, никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не копошится нигде обслуга. Там, где тридцать тысяч человек не спало ночью, — теперь и днём все спят. Не гудят пароходы. Не разводятся ворота. Погожий июньский день, — отчего бы?..

Так прошёл я пять шлюзов Повенчанской «лестницы» и после пятого сел на берегу. Изображённый на всех папиросных пачках, так позарез необходимый нашей стране — почему ж ты молчишь, Великий Канал?

Некто в гражданском ко мне подошёл, глаза проверяющие. Я протодушно: у кого бы рыбки купить? да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны шлюза. Почему, спрашиваю, нет пассажирского сообщения? — Да что ты, удивляется он, разве можно? Да американцы так сразу и попрут. До войны ещё было, а после войны — нет. — Ну и пусть едут. — Да разве можно им показывать?! — А почему вообще не идут никто? — Идут. Но мало. Видишь, мелкий он, пять метров. Хотели реконструировать, но наверно будут рядом другой строить, сразу хороший.

Эх, начальничек, это мы давно знаем: в 1934 году, только успели все ордена раздать — уже был проект реконструкции. И пункт первый был: углубить канал. А второй: параллельно нынешним шлюзам построить глубоководную нитку океанских. Скоро ношено — слепо рожено. Из-за того-то срока, из-за тех-то норм и наврала глубину, и снизили пропускную способность: какими-то тухтыными кубометрами надо ж было работяг кормить. (Вскоре эту тухту навязали на инженеров: дали им новые *десятки*.) А восемьдесят километров Мурманской железной дороги перенесли, освобождая трассу. Хорошо хоть тачечных колёс не потратили. И — куда что возить? Ну, вот вырубили ближний лес, — теперь откуда возить? Архангельский — в Ленинград? Так его и в Архангельске купят, издавна там иностранцы и покупают. Да полгода канал подо льдом, если не больше. Какая была в нём необходимость? Ах да, военная. Перебрасывать флот.

— Такой мелкий, — жалуется начальник охраны, — даже подводные лодки своим ходом не проходят: на баржи их кладут, тогда перетягивают.

А как насчёт крейсеров?.. О, тиран-отшельник! Ночной безумец! В каком бреду ты это всё выдумал?!

И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо — в двадцать месяцев? Ведь эти четверть миллиона могли остаться жить. Ну, эсперантисты тебе в горле стояли — а крестьянские ребята сколько б тебе наработали! сколько б раз ты ещё в атаку их поднял — за родину, за Сталина!

— Дорого обошёлся, — говорю я охраннику.

— Зато быстро построили! — уверенно отвечает он.

На твоих бы косточках!..

Я вспоминаю гордую фотографию беломорского тома: старорусский крест, взятый опорой электрическим проводам.

На ваших бы косточках!..

В тот день провёл я около канала восемь часов. За это время одна самоходная баржа прошла от Повенца к Сороке и одна, того же типа, от Сороки к Повенцу. Номера у них были разные, и только по номерам я их различил, что эта — не возвращалась. Потому что нагружены они были совершенно одинаково: одинаковыми сосновыми брёвнами, уже лежалыми, годными на дрова.

А вычитая, получим ноль.

И четверть миллиона в уме.

* * *

А за Беломорско-Балтийским шёл канал Москва — Волга, сразу все туда поехали и работяги, и начальником лагеря Фирин, и начальником строительства Коган. (Ордена Ленина за Беломор застали их обоих уже там.)

Но этот канал хоть оказался нужен. А все традиции Беломора он славно продолжил и развил. и здесь мы ещё лучше поймём, чем отличался Архипелаг периода бурных метастазов от застойного соловецкого. Вот когда было вспомнить и пожалеть о молчаливых жестоких Соловках. Теперь не только требовали работы, не только бить слабющим кайлом неподатливые камни. Нет, забирая жизнь, ещё прежде того влезали в грудь и обыскивали душу.

Вот что было самое тяжёлое на каналах: от каждого требовали ещё *чирикать*. Уже в *фитилях*, надо было изображать общественную жизнь. Коснеющим от голода языком надо было выступать с речами, требуя перевыполнения планов! И выявления вредителей! И наказания враждебной пропаганды, кулацких слухов (все лагерные слухи были «кулацкие»). И озираться, как бы змеи недоверия не оплели тебя самого на новый срок.

Беря сейчас бесстыдные эти книги, где так гладко и восторженно представлена жизнь обречённых,— почти уже поверить нельзя, что это всерьёз писалось и всерьёз же читалось. (Да осмотрительный Главлит уничтожил тиражи, так что и тут нам достался экземпляр из последних.)

Теперь нашим Вергилием будет прилежная ученица Вышинского Ида Авербах⁹⁶.

Даже ввинчивая простой шуруп, надо вначале проявить старание: не отклонить ось, не вышатнуть шуруп в сторону. А уж когда малость войдёт — можно и вторую руку освободить, только вкручивай да посовиствай.

Читаем Вышинского: «Именно благодаря воспитательной задаче наш ИТЛ принципиально противоположен буржуазной тюрьме, где царит голое насилие»⁹⁷. «В противоположность буржуазным государствам у нас насилие в борьбе с преступностью играет второстепенную роль, а центр тяжести перенесён на организационно-материальные, культурно-просветительные и политико-воспитательные мероприятия»⁹⁸. (Надо мозги наморщить, чтобы не проронить: вместо палки — шкала пайки плюс агитация.) И вот уже: «...успехи социализма оказывают своё волшебное (так и вылеплено: волшебное!) влияние и на... борьбу с преступностью»⁹⁹.

Вслед за своим учителем поясняет и Авербах: задача советской исправтрудполитики — «превращение наиболее скверного людского материала («сырьё»-то помните? «насекомых» помните? — А. С.) в полноценных активных сознательных строителей социализма».

⁹⁶ И. Л. Авербах. От преступления к труду...

⁹⁷ Предисловие Вышинского к сборнику «От тюрьмы...».

⁹⁸ Предисловие Вышинского к книге Авербах.

⁹⁹ Там же.

Только вот — коэффициентик... Четверть миллиона скверного материала легло, двенадцать с половиной тысяч активных сознательных освобождено досрочно (Беломор)...

Да ведь это, оказывается, ещё VIII съезд партии, в 1919 году, когда пылала гражданская война, ещё ждали Деникина под Орёл, ещё впереди были Кронштадт и Тамбовское восстание, — VIII съезд определил: заменить систему наказаний (то есть вообще никого не наказывать?) — системой воспитания!

«Принудительного» — теперь добавляет Авербах. И риторически (уже припася нам разящий ответ) спрашивает: но как же? Как можно переделать сознание в пользу социализма, если оно уже на воле сложилось ему враждебно, а лагерное принуждение ощущается как насилие и может только усилить вражду?

И мы с читателем в тупике: ведь верно?..

Не тут-то было, сейчас она нас ослепит: да производительным осмысленным трудом с *высокой целью!* — вот чем будет переделано всякое враждебное или неустойчивое сознание. А для этого, оказывается, нужна: «концентрация работ на гигантских объектах, поражающих воображение своей грандиозностью!» (Ах, вот оно, зачем Беломор-то, а мы лопухи ничего не поняли...) Этим достигается «наглядность, эффективность и пафос строительства». Причём обязательно «работа от ноля до завершения» и «каждый лагерник» (ещё сегодня не умерший) «чувствует политический резонанс своего личного труда, заинтересованность всей страны в его работе».

А вы замечаете, как шуруп уже плавно пошёл? Может и косовато, но мы теряем способность ему сопротивляться? Отец по карте трубочкой провёл, а об оправдании его ли забота? Всегда найдётся Авербах: «Андрей Январевич, у меня вот такая мысль, как вы думаете, я в книге проведу?»

Но это — только цветочки. Надо, чтобы заключённый, ещё не выйдя из лагеря, уже «воспитался к высшим социалистическим формам труда».

А что нужно для этого?.. Застопорился шуруп.

Ах, бестолочь! Да *соревнование и угарничество!* Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе? «Не просто работа, а работа героическая!» (Приказ ОГПУ № 190.)

Соревнование за переходящее красное знамя центрального штаба! районного штаба! отделенческого штаба! Соревнование между лагпунктами, сооружениями, бригадами! «Вместе с переходящим красным знаменем присуждается и духовой оркестр¹⁰⁰! — он целыми днями играет победителям во время работы и во время вкусной еды». В каждой бригаде заключённых — тройка по соревнованию. Учёт — и резолюции — и учёт! Итоги штурма перемычки за первую пятидневку! за вторую пятидневку! Общелагерная газета «Перековка». Её лозунг: «*Потопим своё прошлое на дне канала!*» Её призыв: «Работать без выходных!» Общий восторг, общее согласие! Передовой ударник сказал: «Конечно! Какие могут быть выходные дни? У Волги-то *выходных нет*, вот-вот разольётся». А как с выходными у Миссисипи?.. — Хватайте его, это кулацкий агент! Пункт обязательств: «сбереженьё здоровья каждым членом коллектива». О, человечность! Нет, это вот для чего — «чтобы сократить число невыходов на работу». «Не болеть — и не брать освобождений!» Красные доски. Чёрные доски. Доски показателей: дней до сдачи; что сделано вчера, что сегодня.

¹⁰⁰ Оркестр использовался и в других лагерях: поставят на берегу и играет несколько суток подряд, пока заключённые без смены и без отдыха выгружают из баржи лес. И. Д. Т. был оркестрантом на Беломоре и вспоминает: оркестр вызывал озлобление у работающих (ведь оркестранты освобождались от общих работ, имели отдельную койку, военную форму). Им кричали: «Филоны! Дармоеды! Идите сюда вкалывать!»

Книги почёта. В каждом бараке — почётные грамоты, «окна перековки», графики, диаграммы (это сколько лоботрясов бегают и пишут). Каждый заключённый должен быть в курсе производственных планов! И каждый заключённый должен быть в курсе всей политической жизни страны! Поэтому на разводе (за счёт утреннего времени, конечно) — производственная пятиминутка, после возврата в лагерь (когда ноги не держат) — политическая пятиминутка. В часы обеда не давать распозаться по щелям, не давать спать — политические читки! Если на воле — Шесть Условий товарища Сталина, — то и каждый лагерник должен зубрить их наизусть!¹⁰¹ Если на воле — постановление Совнаркома об увольнении за прогул, то здесь разъяснительная работа: всякий сегодняшней отказчик и симулянт после своего освобождения будет заклеимён презрением масс Советского Союза. Такой порядок: для получения звания ударника (и, значит, добавочной еды) — мало одних производственных достижений! Ещё надо: а) читать газеты, б) любить свой канал, в) уметь рассказывать о его значении.

И — чудо! О, чудо! О, преображение и вознесение! — «ударник перестаёт ощущать дисциплину и труд как нечто, навязанное извне, а — как внутреннюю необходимость!» (Ну верно, ну конечно, ведь свобода же — не свобода, а осознанная решётка.) Новые социалистические формы поощрения! — выдача значков ударника. И что бы вы думали, что бы вы думали? «Значок ударника расценивается работягами выше, чем пайка!» Да, выше, чем пайка! И целые бригады «самовольно выходят на работу за два часа до развода» (ах, какой произвол! и что же делать конвою?) «и ещё остаются там после окончания рабочего дня!» Гроза? — работают и в грозу! (Ведь конвой не отпустит.) Вот она, ударная работа!

О, пылание! О, спички! Думали, что вы будете гореть — десятилетия...

А техника, мы о ней говорили на Беломоре: на подъёме прицепляется к тачке спереди ручковой — а как её вскатишь наверх? Иван Немцов вдруг решил делать работу за пятерых! Сказано — сделано: набросал за смену... пятьдесят пять кубометров земли!¹⁰² (Посчитаем: это пять кубометров в час, кубометр в двенадцать минут — даже самого лёгкого грунта, попробуйте!) Обстановка такая: насосов нет, колодцы не готовы — побороть воду своими руками! А женщины? Поднимали в одиночку камни по четыре пуда!¹⁰³ Переворачивались тачки, камни летели в головы и в ноги. Ничего, берём! То — «по пояс в воде», то — «непрерывные 62 часа работы», то — «три дня 500 человек долбили обледеневшую землю» — и оказалось бесполезно. Ничего, берём!

Мы лопатой нашей боевою
Откопали счастье под Москвою!

Та «особая весёлая напряжённость», которую принесли с ББК. «Шли на штурм с буйными весёлыми песнями»...

В любую погоду
Шагайте к разводу!

А вот и сами ударницы, они приехали на слёт. Сбоку, у поезда, — начальник конвоя, слева ещё там один конвоир. Что-то не слишком воодушевлённые счастливые лица, хотя эти женщины не должны думать ни о детях, ни о доме, только о канале, который они так по-

¹⁰¹ Надо заметить, что интеллигенты, пролезшие на руководящие должности канала, умно использовали эти шесть условий: «Всемерно использовать специалистов?» — значит, вытягивайте инженеров с общих. «Не допускать текучести рабочей силы?» — значит, запретите этапы!

¹⁰² Ю. Куземко, «3-й шлюз».

¹⁰³ Брошюра «Каналоармейка», Дмитлаг, 1935. «Не подлежит распространению за пределы лагеря».

любили. Довольно холодно, кто в валенках, кто в сапогах, домашних конечно, а вторая слева в первом ряду — воровка в ворованных туфлях — где же пофорсить, как не на слёте? Вот и другой такой слёт. На плакате: «Москву с Волгой мы трудом сольём. Сделаем досрочно, дёшево и прочно!» А как это всё увязать — пусть у инженеров головы болят. Легко видно, что тени улыбок для аппарата, а в общем здорово устали эти женщины, выступать они не будут, а ждут от слёта только сытного обеда один раз. Всё больше простые крестьянские лица¹⁰⁴. А в проходе встрял самоохранник, Иуда, очень уж хочется ему попасть на карточку. — А вот и ударная бригада, вполне технически оснащённая, неправда, что мы всё на своём пару тянем!

Тут ещё была небольшая бедёнка — «по окончании Беломора появилось в разных газетах слишком много ликующих статей, парализовавших устрашающее действие лагерей... В освещении Беломора так перегнули, что приезжающие на канал Москва — Волга ожидали молочных рек в кисельных берегах и предъявили *невероятные* требования к администрации» (уж не требовали ли они себе чистого белья?). Так что, ври-ври, да не завирайся. «Над нами и сегодня реет знамя Беломора», — пишет газета «Перековка». Умеренно. И хватит.

Впрочем, и на Беломоре и на Волгоканале поняли: «лагерное соревнование и ударничество должно быть связано со всей системой льгот», чтобы льготы «стимулировали ударничество». «Главная основа соревнования — *материальная заинтересованность*» (?! — нас, кажется, швырнуло? мы повернули на сто восемьдесят градусов? Провокация! Крепче за поручни!). И построено так: от производственных показателей зависят: и питание! и жильё! и одежда! и бельё и частота бань! (кто плохо работает — пусть и ходит в лохмотьях и вшах!) и досрочка! и отдых! и свидания! Например, выдача значка ударника — чисто социалистическая форма поощрения. Но пусть значок даёт право на внеочередное долгое свидание! — и вот он уже стал дороже пайки...

«Если на воле по советской конституции применяется принцип *кто не работает, тот не ест*, то почему надо лагерников ставить в *привилегированное* положение?» (Труднейшее в устранении лагерей: они не должны стать местами привилегий!) Шкала Дмитлага (от г. Дмитрова): штрафной котёл — мутная вода, штрафной паёк — триста граммов. 100% дают право на восьмисотку и право докупить сто граммов в ларьке. И тогда «подчинение дисциплине начинается с эгоистических мотивов (заинтересованность в улучшении пайка) — и поднимается до социалистической заинтересованности в красном знамени!»

Но главное — зачёты! зачёты! (Засчитыванье одного проработанного дня более, чем за один день срока.) Штабы соревнования дают заключённому характеристику. Для зачётов нужно не только перевыполнение, но и общественная работа! А тому, кто был в прошлом нетрудовым элементом, — понижать зачёты, давать мизерные. «Он может только замаскироваться, а не исправиться! Ему нужно дольше побыть в лагере, дать себя проверить». (Например, катит тачку в гору — а может быть это он не работает, а только маскируется?)

И что же делают досрочно-освобождённые?.. Как что? Они *самозакрепляютя!* Они слишком полюбили канал, чтоб отсюда уехать! «Они так увлекаются, что, освобождаясь, *добровольно* остаются на канале на землекопных работах до конца стройки!»¹⁰⁵ (Добровольно катать тачки в гору. И можно автору верить? Конечно. Ведь в паспорте штамп: «был в лагерях ОГПУ». И больше нигде работы не найдёшь.)

¹⁰⁴ Речь идёт об одной из фотографий в книге Авербах. Она предупреждает: в ней нет фото кулаков и вредителей (то есть, лучших крестьянских и интеллигентских лиц) — мол, «ещё не пришло время» для них. Увы, уже и не придёт. Мёртвых не вернёшь.

¹⁰⁵ И. Л. А в е р б а х. От преступления к труду, стр. 164.

Но что это?.. Испортилась машинка соловьиных трелей — и в перерыве мы слышим усталое дыхание правды: «даже и воровской мир охвачен соревнованием только на 60%» (уж если и воры не соревнуются!..); «лагерники часто истолковывают льготы и награды как неправильно применённые»; «характеристики пишутся шаблонно»; «по характеристикам сплошь и рядом (!) дневальный проходил как ударник-землекоп и получал ударный зачёт, а действительный ударник оказывался без зачёта»¹⁰⁶; «многих (!) — чувство безнадежности»¹⁰⁷.

А трели — опять полились, да с металлом! Самое главное поощрение забыли? — «жестокое и беспощадное проведение дисциплинарных взысканий!» Приказ ОГПУ от 28.11.33 (это — к зиме, чтоб стоя не качались!) «Всех неисправимых лентяев и симулянтов отправить в отдалённые северные лагеря с полным лишением прав на льготы. Злостных отказчиков и подстрекателей предавать суду лагерных коллегий. За малейшую попытку срыва железной дисциплины — лишать всех уже полученных льгот и преимуществ». (Например, за попытку погреться у костра...)

И всё-таки самое главное звено мы опять уронили, бестолковщина! Всё сказали, а главного не сказали. Слушайте, слушайте! «Коллективность есть принцип и метод советской исправительно-трудовой политики». Ведь нужны же «приводные ремни от администрации к массе!» «Только опираясь на коллективы, многочисленная администрация лагерей может переделывать сознание заключённых». «От низших форм — коллективной ответственности, до высших форм: дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» (Браним мы часто свой язык, что де он с веками блекнет. А вдуматься — нет! Он — благороднеет. Раньше как говорили, по-извозничьи — возжи? — А теперь — приводные ремни! Раньше — круговая порука, так и пахнет конюшной. А теперь — коллективная ответственность.)

«Бригада есть основная форма перевоспитания» (приказ по Дмитлагу, 1933). «Это значит — *доверие к коллективу*, невозможное при капитализме!» (Но вполне возможное при феодализме: провинился один в деревне, всех раздвай и секи. А всё-таки благородно: доверие к коллективу.) «Это — значит — *самодеятельность лагерников в деле перевоспитания*». «Это — психологическое обогащение личности от коллектива!» (Нет, слова-то какие! Ведь этим психологическим обогащением Авербах нас навзрыд повалила! Ведь что значит учёный человек.) «Коллектив *повышает* чувство человеческого достоинства каждого заключённого и тем *препятствует* проведению системы морального подавления!»

И вот скажи пожалуйста, тридцатью годами позже Иды Авербах пришлось и мне два слова вымолвить о бригаде, ну просто как там дела идут, — а на Западе люди совсем иначе, совсем искажённо поняли: «Бригада — основной вклад коммунизма в науку о наказаниях (что как раз верно, это и Авербах говорит)... Это — коллективный организм, живущий, работающий, едящий, спящий и страдающий вместе в безжалостно-вынужденном симбиозе»¹⁰⁸.

¹⁰⁶ У нас всё перепрокидывается, и даже награды порой оборачивались нелепо. Кузнецу Парамонову в одном из архангельских лагерей за отличную работу сбросили два года с десятками. Из-за этого конец его восьмёрки пришёлся на военные годы, и, как Пятьдесят Восьмая, он не был освобождён, а оставлен «до особого (опять особого) распоряжения». Только кончилась война — однодельцы Парамонova свои десятки кончили — и освободились. А он трубил ещё с год. Прокурор ознакомился с его жалобой и ничего поделать не мог: «особое распоряжение» по всему Архипелагу ещё оставалось в силе.

¹⁰⁷ Ну, да V-е Совещение работников юстиции в 1931 не зря осудило эту лавочку: «широкое и ничем не оправдываемое применение условно-досрочного освобождения и зачётов рабочих дней... приводит к нереальности судебных приговоров, подрыву уголовной репрессии — и к искривлению классовой линии».

¹⁰⁸ Ernst Pawel, «The Triumph of Survival». The Nation, 1963, 2 Febr.

О, без бригады ещё пережить лагерь можно! Без бригады ты — личность, ты сам избираешь линию поведения. Без бригады ты можешь хоть умереть гордо — в бригаде и умереть тебе дадут только подло, только на брюхе. От начальника, от десятника, от надзирателя, от конвоира — ото всех ты можешь спрятаться и улучшить минутку отдыха, там потянуть послабже, здесь поднять полегче. Но от *приводных ремней* — от товарищей по бригаде, ни укрыва, ни спасенья, ни пощады тебе нет. Ты не можешь *не хотеть* работать, ты не можешь предпочесть работе голодную смерть в сознании, что ты — политический. Нет уж, раз вышел за зону, записан на выходе — всё сделанное сегодня бригадой будет делиться уже не на двадцать пять, а на двадцать шесть, и весь бригадный процент из-за тебя упадёт со ста двадцати трёх на сто девятнадцать, с рекордного котла на простой, все потеряют бабку пшённую и по сто граммов хлеба. Так уследят за тобой товарищи лучше всяких надзирателей! И бригадирский кулак тебя покарает доходчивей целого Наркомата внутренних дел!

Вот это и есть — *самодеятельность в перевоспитании*. Это и есть *психологическое обогащение личности от коллектива*.

Теперь-то нам ясно как стёклышко, но на Волгоканале сами устроители ещё верить не смели, какой они крепкий ошейник нашли. И у них рядовая всеобщая бригада была на задворках, а только *трудовой коллектив* понимался как высшая честь и поощрение. Даже в мае 1934 ещё половина эков Дмитлага были «неорганизованные», их... *не принимали* в трудколлективы! Их брали в «трудартели», и то не всех: кроме священников, сектантов и вообще верующих (если откажется от религии — ведь цель того стоит! — принимали с месячным испытательным сроком). Пятьдесят Восьмую в трудколлективы стали нехотя принимать, но и то у кого срок меньше пяти лет. У Коллектива был председатель, совет, а демократия — совершенно необузданная: собрания коллектива проводились только по разрешению КВЧ и только в присутствии ротного (да, ведь и роты ещё!) воспитателя. Разумеется, коллективы подкармливали по сравнению со сбродом: лучшим коллективам отводили огороды внутри зоны (не отдельно людям, а по-колхозному — для добавки в общий котёл). Коллектив распадался на секции, и всякий свободный часок они занимались то проверкой быта, то разбором краж и промотов казённого имущества, то выпуском стенгазет, то разбором дисциплинарных нарушений. На собраниях коллективов часами с важностью разбирался вопрос: *как перековать* лентяя Вовку? симулянта Гришку? Коллектив и сам имел право исключать своих членов и просить лишить их зачётов, но круче того администрация распускала целые коллективы, «продолжающие преступные традиции» (то есть не захваченные коллективной жизнью). Однако самым увлекательным бывали периодические *чистки* коллективов — от лентяев, от недостойных, от шептунов (изображающих трудколлективы как взаимно-шпионские организации) и от пробравшейся агентуры классового врага. Например, обнаруживалось, что кто-то, уже в лагере, скрывает своё кулацкое происхождение (за которое, собственно, в лагерь и попал) — и вот теперь его клеймили и вычищали — не из лагеря вычищали, а из трудколлектива. (Художники-реалисты! О, напишите эту картину: «Чистка в трудколлективе»! Эти бритые головы, эти измотанные лица с настороженными выражениями, эти тряпки на телах — и этих озлобленных ораторов! А кому трудно представить, так и на воле было подобное. И в Китае тоже.) И слушайте: «предварительно до каждого лагерника *говорились задачи и цели чистки*. Потом перед лицом общественности каждый член коллектива держал отчёт»¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Все неоговоренные цитаты в этой главе — по книге Авербах. Но иногда я соединял её разные фразы вместе, иногда опускал нестерпимое многословие — ведь ей на диссертацию надо было тянуть, а у нас нет места. Однако смысла я не искал нигде.

А ещё — *выявление лжеугарников!* А выборы культсоветов! А — выборы тем, кто плохо ликвидировал свою неграмотность! А сами занятия по ликбезу: «мы-не-ра-бы!! ра-бы-не-мы!» А песни?

Это царство болот и низин
Станет родиной нашей счастливой;

или, так и рвётся из груди:

И даже самую прекрасной песнею
Мы не расскажем, нет, не воспоем,
Страны, которой нет нигде чудеснее,
Страны, в которой мы с тобой живём¹¹⁰.

Вот это всё и значит по-лагерному — *чирикать*.

О! так доймут, что ещё заплачешь по ротмистру Курилко, по простой короткой расстрельной дороге, по откровенному соловецкому бесправию.

Боже! На дне какого канала утопить нам это прошлое??!

Глава 4

АРХИПЕЛАГ КАМЕНЕЕТ

А часы истории — били.

В 1933 году на январском пленуме ЦК и ЦКК, уже в уме развёрстывая практические цифры, сколько же двуногих в этой стране надо ещё и ещё пустить в расход, Великий Вождь объявил, что так обещанное Лениным и так чаемое гуманистами «отмирание государства придёт не через ослабление государственной власти, а через её *максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов...*» (курсив мой.— А. С.). А так как те доживают свои дни, «апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против Советской власти», — а уж под отсталый слой подойдёт и любой человек не умирающего класса, — то вот и: «мы хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв»¹¹¹. (Как именно «без особых жертв», Кормилец не пояснил.)

Это было так неожиданно гениально, что не всякому умишке дано было объять, но Вышинский состоял на своём подручном месте и сразу же подхватил: «и, значит, *максимальное укрепление исправительно-трудовых учреждений*»!¹¹²

Вступление в социализм через максимальное укрепление тюрьмы! — это не юмористический журнал сострил, это сказал генеральный прокурор Советского Союза! Так что «ежовые рукавицы» готовились и без Ежова.

Ведь вторая пятилетка, кто помнит (да ведь никто у нас ничего не помнит! память — самое слабое место русских, особенно — память на злое), вторая пятилетка среди своих блистательных (по сей день не выполненных) задач имела и такую: «искоренение пережитков капитализма в сознании людей». Значит, и закончить это искоренение надо было в 1938 году. Рассудите сами, чем же было их так быстро искоренять?

«Советские места лишения свободы на пороге второй пятилетки ни в какой мере не только не теряют, но даже усиливают своё значение». (Года не прошло от предсказания Когана, что лагерей вообще скоро не будет. Но он же не знал январского пленума.) «В эпоху вступления в социализм роль исправительно-трудовых учреждений

¹¹⁰ Песенные сборники Дмитлага, 1935. А музыка называлась — *каналармейская*, и в конкурсной комиссии состояли вольные композиторы — Шостакович, Кабалевский, Шехтер...

¹¹¹ И. В. Сталин. Сочинения. М. 1951, т. 13, стр. 211 — 212.

¹¹² «От тюрем к воспитательным учреждениям», предисловие.

как орудия пролетарской диктатуры, как органа репрессии, как средства принуждения и воспитания (принуждение уже на первом месте) должна ещё больше возрасти и усилиться»¹¹³. (А иначе комсоставу НКВД при социализме что ж — пропади?)

Кто упрекнёт нашу Передовую Теорию, что она отставала от практики? Всё это чёрным по белому печаталось, да мы читать ещё не умели. 1937 год был публично предсказан и обоснован.

Но что же истинно произошло с Архипелагом в 1937 году? В согласии с Вышинским, Архипелаг очень «укрепился»: резко умножилось его население. Но вопреки распространённому представлению это произошло далеко не только за счёт арестованных в 1937 году с воли: обращались в эзков «спецпереселенцы». Это был отжёв коллективизации и раскулачивания, те, кто смогли выжить и в тайге и в тундре, разорённые, без крова, без обзавода, без инструмента. По крепости крестьянской породы — ещё и этих невымерших оставались миллионы. И вот «спецпосёлки» высланных теперь перестали такими быть, — но не за счёт того, чтоб их распустили в прежние места или на волю, нет, их целиком включали в ГУЛАГ. Такие посёлки обносились колючей проволокой, если её ещё не было, и стали лагунками (весь Норильский комбинат возник таким образом), со временем иные этапировались в другие лагеря уже как ээки (дети — в детдома). И вот это многомиллионное добавление — снова крестьянское! — и было главным приливом на Архипелаг в 1937. Хотя в самой деревне в тот год не было таких массовых посадок, как в городе (впрочем, тоже замечали заметно), — всё в целом население Архипелага стало обильно крестьянским, как помнят свидетели.

Так гигантски возрос Архипелаг — но режим его мог ли ещё ужесточиться? Оказывается мог. Сшиблены были мохнатой рукой все фитюльки и бантики. Трудколлективы? Запретить! Ещё чего выдумали — самоуправление в лагере! Лучше бригады всё равно ничего не придумаешь. Какие ещё там политбеседы? Отставить. Заключённых присылают работать — а понимать им не обязательно. На Ухте объявили «ликвидацию последней вагонки»? Политическая ошибка! — а что, на дружинные койки будем их класть? Втиснуть им вагонок, да вдвое! Зачёты? Зачёты — в первую очередь отменить! — что ж, судам вхолостую работать? А кому уже зачёты начислены? Считать недействительными. В каких-то лагерях ещё свидание дают? Запретить повсеместно. В какой-то тюрьме труп священника выдали на волю для похорон? Да вы с ума сошли, вы даёте повод для антисоветских демонстраций. За это — наказать примерно! Разъяснить: трупы умерших принадлежат ГУЛАГу, а могилы — совсекретны. Профтехкурсы для заключённых? Распустить! Надо было на воле учиться. Что ВЦИК, какое решение ВЦИК? за подписью Калинина?.. У нас НКВД. На волю выйдут — пусть учат сами. Графики, диаграммы? Содрать со стен, стены побелить. Можно и не белить. Это что за ведомость? Зарплата заключённым? Циркуляр ГУМЗака от 25.11.26., 25% от ставки рабочего соответствующей квалификации в госпромышленности? Молчать! Разорвать! Самих зарплаты лишим! Заключённому, да ещё платить! Спасибо пусть скажет, что не расстреляли. Исправительно-трудоустрой кодекс 1933 года? Забыть навсегда, изъять из всех лагерных сейфов! «Всякое нарушение общесоюзных кодексов о труде... только по согласованию с ВЦСПС»? Да неужели же нам идти в ВЦСПС? Что такое ВЦСПС? — тьфу и негу! Статья 75-я — «при более тяжёлой работе увеличивается паёк»? Кру-гом! При более лёгкой — уменьшется. Вот так, и фонды целы.

Исправительно-трудоустрой кодекс с его сотнями статей как акула проглотила, и не только потом двадцать пять лет никто его не видел, но даже и названия такого не подозревали.

¹¹³ «От тюрем к воспитательным учреждениям», стр. 449. Один из авторов — Апетер, новый начальник ГУЛАГа.

Тряхнули Архипелаг — и убедились, что ещё начиная с Соловков и тем более во времена каналов вся лагерная машина недопустимо разболталась. Теперь эту слабинку выбирали.

Прежде всего никуда не годилась охрана, это не лагеря были вовсе: на вышках часовые только по ночам; на вахте одинокий невооружённый вахтер, которого можно уговорить и пройти на время; фонари на зоне допускались керосиновые; несколько десятков заключённых сопровождал на работу одинокий стрелок. Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение (при политически-надёжных электриках). Стрелки охраны получили боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были включены охранные овчарки со своими собаководами, тренерами и отдельным уставом. Лагеря приняли, наконец, вполне современный, известный нам вид.

Здесь не перечислить, во скольких бытовых мелочах был зажат и острожен лагерный режим. И сколько было обнаружено дырок, через которые воля ещё могла наблюдать за Архипелагом. Все эти связи теперь были прерваны, дырки заткнуты, изгнаны ещё какие-то там последние «наблюдательные комиссии».

Не найдётся в книге другого места объяснить, что это такое. Пусть же будет длинное примечание для любознательных.

Лицемерное буржуазное общество придумало, что оно должно наблюдать за состоянием мест заключения и ходом исправления арестантов. В царской России существовали «общества попечительства о тюрьмах» — «для улучшения физического и нравственного состояния арестантов», были благотворительные тюремные комитеты и общества тюремного патроната. В американских же тюрьмах наблюдательные комиссии из представителей обществности в 20-е и 30-е годы уже имели широкие права: даже досрочного освобождения (не ходатайства о нём, а самого освобождения, без суда). Впрочем, наши диалектические законники метко возражают: «Не надо забывать, из каких классов составляются комиссии — они принимают решения в соответствии со своими классовыми интересами».

Другое дело — у нас. Первой же «Временной инструкцией» от 23.7.18., создавшей первые лагеря, предусматривалось создание Распределительных комиссий при губернских Карательных Отделах. Распределяли же они — всех осуждённых по семи видам лишения свободы, учреждённым в ранней РСФСР. Работа эта (как бы заменяющая суды) была столь важна, что Наркомост в отчёте 1920 года назвал деятельность распредкомиссий «нервом карательного дела». Состав их был очень демократичный, например в 1922 году это была Тройка: начальник губернского управления НКВД, член президиума губернского суда и начальник мест лишения свободы в данной губернии. Позже к ним присоединили по человеку от губРКИ и Губпрофсовета. Но уже к 1929 году ими были страшно недовольны: они применяли досрочное освобождение и льготы классово-чуждым элементам, «Это была правооportunистическая практика руководства НКВД». За то распредкомиссии были в том же году Великого Перелома упразднены, а место их заняли Наблюдательные комиссии, председателями которых назначались судьи, членами же — начальник лагеря, прокурор и представитель обществности — от работников надворсостава, от милиции, от райисполкома и от комсомола. Как метко возражают наши юристы, не надо забывать, из каких классов... Ах, простите, это я уже выписывал... Поручено было наблюдателям: от НКВД — решать вопросы зачётов и досрочек, от ВЦИК (то бишь от парламента) — попутно следить за промфинпланом.

Вот эти-то наблюдкомиссии и были в начале второй пятилетки разогнаны. Откровенно говоря, никто из заключённых от этой потери не охнул.

Кстати уж и о классах, если заговорили. Один из авторов всё того же сборника — Шестакова, по материалам 20-х и начала 30-х годов делает «странный вывод о сходстве социального состава в буржуазных тюрьмах и у нас»: к её собственному изумлению оказалось, что и тут и там сидят... трудящиеся. Ну, конечно тут есть какое-нибудь диалектическое объяснение, но она его не нашла. Добавим от себя, что это «странное сходство» было лишь несколько нарушено тридцать седьмым — тридцать восьмым годами, когда кроме огромного крестьянского добавления в лагерь хлынули люди высоких государственных положений. Но очень вскоре соотношение выровнялось. Все многомиллионные потоки войны и послевоенные — были только погоды трудящихся.

Попутно и лагерные «фаланги», хотя в них, кажется, уже отсвечивал социализм, были в 1937 для отлики от Франко переименованы в «колонны». Лагерная операция, которая до сих пор считалась с задачами общей работы и плана, теперь приобрела самоодобряющее руководящее значение в ущерб любой производственной работе, любо-

му штату специалистов. Не разогнали, правда, лагерное КВЧ, но отчасти и потому, что через них удобно собирать доносы и вызывать стукачей.

И железный занавес опустился вокруг Архипелага. Никто, кроме офицеров и сержантов НКВД, не мог больше входить и выходить через лагерную вахту. Установился тот гармоничный порядок, который и сами эки скоро привыкнут считать единственно-мыслимым, каким и будем мы его описывать в этой части книги — уже без кумачовых тряпок и больше трудовым, чем «исправительным».

И тогда-то оскалились волчьи зубы! И тогда-то зинули бездны Архипелага!

— *В консервные банки обую, а на работу пойдёшь!*

— *Шпал не хватит — вас положу!*

Вот тогда-то, провезя по Сибири товарные эшелоны с пулемётом на каждой третьей крыше, Пятьдесят Восьмую загоняли в котлованы, чтобы надёжнее содержать. Тогда-то, ещё до первого выстрела второй мировой войны, ещё когда вся Европа танцевала фокстроты, — в Мариинском *распреге* (внутрилагерной пересылке Мариинских лагерей) не успевали бить вшей и сметали их с одежды полыневыми метёлками. Вспыхнул тиф — и за короткое время 15 000 (пятнадцать тысяч) умерших сбросили в ров — скрюченными, голыми, для экономии срезав с них даже домашние кальсоны. (О тифе на Владивостокской транзитке мы уже поминали.)

И только с одним приобретением прошлых лет ГУЛАГ не расстался: с поощрением шпаны, блатных. Блатным ещё последовательней отдавали все «командные высоты» в лагере. Блатных ещё последовательней натравливали на Пятьдесят Восьмую, допускали беспрепятственно грабить её, бить и душить. Урки стали как бы внутрилагерной полицией, лагерными штурмовиками. (В годы войны во многих лагерях полностью отменили надзорсостав, доверив его работу *комендатуре* — «ссученным ворам», *сукам* — и суки действовали ещё лучше надзора: ведь им-то никакое битьё не воспрещалось.)

Говорят, что в феврале — марте 1938 года была спущена по НКВД секретная инструкция: *уменьшить количество заключённых!* (не путём их роспуска, конечно). Я не вижу здесь невозможного: это была логичная инструкция, потому что не хватало ни жилья, ни одежды, ни еды. ГУЛАГ изнемогал.

Тогда-то легли вповалку гнить пеллагрические. Тогда-то начальники конвоев стали проверять точность пулемётной пристрелки по спотыкающимся эзкам. Тогда-то, что ни утро, поволокли дневальные мертвецов на вахту, в штабеля.

На Колыме, этом Полюсе холода и жестокости в Архипелаге, тот же перелом прошёл с резкостью, достойной Полюса.

По воспоминаниям Ивана Семёновича Карпунича-Бравена (бывшего комдива-40 и комкора-12, недавно умершего с неоконченными и разрозненными записями), на Колыме установился жесточайший режим питания, работы и наказаний. Заключённые голодали так, что на ключе Заросшем съели труп лошади, который пролежал в июле более недели, вонял и весь шевелился от мух и червей. На прииске Утином эки съели полбочки солидола, привезенного для смазки тачек. На Мылге питались ягелем, как олени. — При заносе перевалов выдавали на дальних приисках по сто граммов хлеба в день, никогда не восполняя за прошлое. — Многочисленных доходяг, не могущих идти, на работу тащили санями другие доходяги, ещё не столь оплывшие. Отстающих били палками и догрызали собаками. На работе при сорока пяти градусах мороза запрещали разводите огонь и греться (блатарям — разрешалось). Сам Карпунич испытал и «холодное ручное бурение» двухметровым стальным буром и отвозку «торфов» (грунта со щебёнкой и валунами) при пятидесяти градусах ниже нуля на санях,

в которые впрягались четверо (сани были из сырого леса и короб на них — из сырого горбыля); пятым шёл при них толкач-урка, «отвечающий за выполнение плана», и бил их дрыном.— Не выполняющих норм (а что значит — не выполняющих? ведь выработка Пятьдесят Восьмой всегда воровски переписывалась блатным) начальник лагпункта Зельдин наказывал так: зимой в забое раздевать донага, обливать холодной водой и так пусть бежит в лагерь; летом — опять же раздевать донага, руки назад привязывать к общей жерди и выставлять прикованных под тучу комаров (охранник стоял под накомарником). Наконец, и просто били прикладами и бросали в изолятор.

На Мылге (под ОЛПе Эльгена) при начальнике Гаврике для не выполняющих нормы женщин эти наказания были мягче: просто неотопливаемая палатка зимой (но можно выбежать и бегать вокруг), а на сенокосе при комарах — незащищённый прутьяной шалаш (вспоминаю Слизберг).

Возразят, что здесь ничего нового и нет никакого развития: что это примитивный возврат от крикливо-воспитательных Каналов к откровенным Соловкам. Ба! А может — это гегелевская триада: Соловки — Беломор — Колыма? Тезис — антитезис — синтез? Отрицание отрицания, но обогащённое?

Например вот *кареты смерти* как будто не было на Соловках? Это — по воспоминаниям Карпунича на ключе Марисном (шестьдесят шестой километр Среднеканской трассы). Целую декаду терпел начальник невыполнение нормы. Лишь на десятый день сажали в изолятор на штрафной паёк, и ещё выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы — для тех была карета: поставленный на тракторные сани сруб $5 \times 3 \times 1,8$ метра из сырых брусьев, скреплённых строительными скобами. Небольшая дверь, окон нет и внутри ничего, никаких нар. Вечером самых провинившихся, отупевших и уже безразличных, выводили из штрафного изолятора, набивали в карету, запирали огромным замком и отвозили трактором на три-четыре километра от лагеря, в распадок. Некоторые изнутри кричали, но трактор отцеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирался замок, и трупы выбрасывали. Вьюги их заметут.

А летом на подкомандировках изолятор бывал — яма в мёрзлом грунте (в такой яме якуты хорошо сохраняют свежими рыбу и мясо). Её накрывали брёвнами, а если откапывали неглубоко, то посаженный не мог выпрямиться в рост, а стоял, и затекал, согнувшись. (Сидеть, разумеется, было невозможно.)

На ОЛПе Экспедиционном Южного управления невыполнение норм наказывалось ещё проще: начальник ОЛПа лейтенант Григорьев шёл на прииск с пистолетом — и там каждый день пристреливал двух-трёх невыполняющих (воспоминания Томаса Стовиио).

Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником УСВИТЛага (Управления Северо-Восточных лагерей) был назначен Гаранин, а начальником Дальстроя вместо комдива латышских стрелков Э. Берзиня — Павлов. (Кстати, совсем ненужная чехарда из-за сталинской подозрительности. Отчего не мог бы послужить новым требованиям и старый чекист Берзинь со товарищи? Прекрасно бы расстреливал.)

Тут отменили (для Пятьдесят Восьмой) последние выходные (их полагалось три в месяц, но давали неаккуратно, а зимой, когда плохо с нормами, и вовсе не давали), летний рабочий день довели до четырнадцати часов, морозы в сорок пять и пятьдесят градусов признали годными для работы, а «активировать» день разрешили только с пятидесяти пяти градусов. По произволу отдельных начальников вывели и при шестидесяти. (Многие колымчане и вообще никакого термометра на своём ОЛПе не вспоминают.) На прииске Горном отказчиков привязывали верёвками к саням (опять плагиат с Соловков) и так волокли в забой. Ещё приняли на Колыме, что конвой не просто сто-

рожит заключённых, но отвечает за выполнение ими плана, и должен не дремать, а вечно их подгонять.

Ещё и цынга, без начальства, валила людей.

Но и этого всего казалось мало, ещё недостаточно режимно, ещё недостаточно уменьшалось количество заключённых. И начались «гарнинские расстрелы», прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие лагпункты известны расстрелами и массовыми могильниками: и Оротукан, и ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз Дукча, но больше других знамениты этим прииск Золотистый (начальник лагпункта Петров, оперуполномоченные Зеленков и Анисимов, начальник прииска Баркалов, начальник райотдела НКВД Буров) и Серпантинка. На Золотистом выводили днём бригады из забоя — и тут же расстреливали кряду. (Это не взамен ночных расстрелов, те — сами собой.) Начальник Юглага Николай Андреевич Агланов, приезжая туда, любил выбирать на разводе какую-нибудь бригаду, в чём-нибудь виновную, приказывал отвести её в сторону — и в напуганных, скученных людей сам стрелял из пистолета, сопровождая радостными криками. Трупы не хоронили, они в мае разлагались — и тогда уцелевших доходяг звали закапывать их — за усиленный паёк, даже и со спиртом. На Серпантинке расстреливали каждый день тридцать — пятьдесят человек под навесом близ изолятора. Потом трупы оттаскивали на тракторных санях за сопку. Трактористы, грузчики и закопщики трупов жили в отдельном бараке. После расстрела самого Гаранина расстреляли и всех их. Была там и другая техника: подводили к глубокому шурфу с завязанными глазами и стреляли в ухо или в затылок. (Никто не рассказывает о каком-либо сопротивлении.) Серпантинку закрыли и тот изолятор сровняли с землёй, и всё приметное, связанное с расстрелами, и засыпали те шурфы¹¹⁴. На тех же приисках, где расстрелы открыто не велись, — зачитывались или вывешивались афишки с крупными буквами фамилий и мелкими мотивировками: «за контрреволюционную агитацию», «за оскорбление конвоя», «за невыполнение нормы».

Расстрелы останавливались временами потому, что план по золоту проваливался, а по замёрзшему Охотскому морю не могли подбросить новой партии заключённых. (М. И. Кононенко ожидал так на Серпантинке расстрела больше полугода, и остался жив.)

Кроме того проступило ожесточение в набавке новых сроков. Гаврик на Мылге оформлял это картинно: впереди на лошадях ехали с факелами (полярная ночь), а сзади на веревках волокли по земле за новым делом в райНКВД (тридцать километров). На других лагпунктах совсем буднично: УРЧи подбирали по карточкам, кому уже подходят концы нерасчётливо-коротких сроков, вызывали сразу пачками по восемьдесят — сто человек и дописывали каждому новую десятку (рассказ Р. В. Ретца).

Я почти исключая Колыму из охвата этой книги. Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и «повезло»: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много; там выжили Евгения Гинзбург, О. Слюзберг, Н. Суворцева, Н. Гранкина и другие — и все написали мемуары¹¹⁵. Я только разрешу себе привести здесь несколько строк В. Шаламова о гарнинских расстрелах:

«Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытовиков играли туш перед чтением и после чтения

¹¹⁴ В 1954 году на Серпантинной открыли промышленные запасы золота (раньше не знали его там). И пришлось добывать между человеческими костями: золото дороже.

¹¹⁵ Отчего получилось такое сгущение, а не-колымских мемуаров почти нет? Потому ли, что на Колыму действительно стянули цвет арестантского мира? Или, как ни странно, в «ближних» лагерях дружнее вымирали?

каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму... Папиросная бумага приказа покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного».

Так Архипелаг закончил вторую пятилетку и, стало быть, вошёл в социализм.

* * *

Начало войны сотрясло островное начальство: ход войны был поначалу таков, что, пожалуй, мог привести и к крушению всего Архипелага, а как бы и не к ответу работодателей перед рабочими. Сколько можно судить по впечатлениям эков из разных лагерей, такой уклон событий породил два разных поведения у хозяев. Одни, поблагодарив или потрусовав, умягчили свой режим, разговаривать стали почти ласково, особенно в недели военных поражений. Улучшить питание или содержание они конечно не могли. Другие, поупрямшей и позлобней, наоборот, стали содержать Пятьдесят Восьмую ещё круче и грознее, как бы суля им смерть прежде всякого освобождения. В большинстве лагерей заключённым даже не объявили о начале войны 22 июня — наше неодолимое пристрастие к скрытности и лжи! — лишь в понедельник 23-го эки узнавали от расконвоированных и от вольных. Где и было радио (Усть-Вымь, многие места Колымы) — упразднили его на всё время наших военных неудач. В том же Устьвымырге вдруг запретили писать письма домой (а получать можно) — и родные решили, что их тут расстреляли. В некоторых лагерях (нутром предчувствуя направление будущей политики) Пятьдесят Восьмую стали отделять от бытовиков в особые строго охраняемые зоны, ставили на вышках пулемёты и даже так говорили перед строем: «Вы здесь — заложники! — (Ах, шипучка зарядка Гражданской войны! Как трудно эти слова забываются, как легко вспоминаются!) — Если Сталинград падёт — всех вас перестреляем!» С этим настроением и выпрашивали туземцы о сводках: стоит Сталинград или уже свалили. — На Колыме в такие спецзоны стягивали немцев, поляков и приметных из Пятьдесят Восьмой. Но поляков тут же (август 1941) стали вообще освобождать¹¹⁶.

Всюду на Архипелаге (вскрыв пакеты мобилизационных предписаний) с первых дней войны прекратили освобождение Пятьдесят Восьмой. Даже были случаи возврата с дороги уже освобождённых. В Ухте 23 июня группа освободившихся уже была за зоной, ждали поезда — как конвой загнал назад и ещё ругал: «через вас война началась!» Карпунич получил бумажку об освобождении 23 июня утром, но ещё не успел уйти за вахту, как у него обманом выманили: «А покажите-ка!» Он показал — и остался в лагере ещё на пять лет. Это считалось — *до особого распоряжения*. (Уже война кончилась, а во многих лагерях запрещали даже ходить в УРЧ и спрашивать — когда же освободят. Дело в том, что после войны на Архипелаге некоторое время людей не хватало, и многие местные управления, даже когда Москва разрешила отпускать, — издавали свои собственные «особые распоряжения», чтобы удержать рабочую силу. Именно так была задержана в Карлаге Е. М. Орлова — и из-за того не поспела к умирающей матери.)

С начала войны (по тем же, вероятно, мобпредписаниям) уменьшились нормы питания в лагерях. Всё ухудшалось с каждым годом и сами продукты: овощи заменялись кормовой репой, крупы — викой и отрубями. (Колыма снабжалась из Америки, и там, напротив, появился белый хлеб кое-где.) Но на важных производствах от ослабления арестантов падение выработки было так велико (в пять и в де-

¹¹⁶ С Золотистого освободились сто восемьдесят шесть поляков (из двух тысяч ста, привезённых за год до того). Они попали в армию Сикорского, на Запад — и там, как видно, рассказали об этом Золотистом. В июне 1942 его закрыли совсем.

сять раз), что сочли выгодным вернуть довоенные нормы питания. Многие лагерные производства получили оборонные заказы — и оборотистые директора таких заводиков иногда умудрялись подкармливать эзков добавочно, с подсобных хозяйств. Где платили зарплату, то по рыночным ценам войны это было (тридцать рублей) — меньше одного килограмма картофеля в месяц.

Если лагерника военного времени спросить, какова его высшая, конечная и совершенно недостижимая цель, он ответил бы: «один раз наестся вволю черняшки — и можно умереть». Здесь хоронили в войну никак не меньше, чем на фронте, только не воспето поэтами. Л. А. Комогор в «слабосильной команде» всю зиму 1941-42 года был на этой лёгкой работе: упаковывал в гробовые обрешётки из четырёх досок по двое голых мертвецов валетами и по тридцать ящиков ежедён. (Очевидно, лагерь был близкий, поэтому надо было упаковывать.)

Прошли первые месяцы войны — и страна приспособилась к военному ладу жизни; кто надо — ушёл на фронт, кто надо — тянулся в тылу, кто надо — руководил и утирался после выпивки. Так и в лагерях. Оказалось, что напрасны были страхи, что всё — устойчиво, что как заведена эта пружина, так и дальше давит без отказа. Кто поначалу заискивал перед эсками — теперь лютел, и не было ему меры и остановки. Оказалось, что формы лагерной жизни однажды определены правильно и будут такими довеку.

Семь лагерных эпох будут спорить перед вами, какая из них была хуже для человека, — склоните ухо к военной. Говорят и так: кто в войну не сидел — тот и лагеря не отведал.

Вот зимою, с сорок первого на сорок второй, лагпункт Вятлага: только в бараках ИТР и мехмастерских теплится какая-то жизнь, остальные — замерзающее кладбище (а занят Вятлаг заготовкою именно дров — для Пермской железной дороги).

Вот что такое лагеря военных лет: больше работы — меньше еды — меньше топлива — хуже одежда — свирепей закон — строже кара — но и это ещё не всё. Внешний протест и всегда был отнят у эзков — война отнимала ещё и внутренний. Любой проходимец в погонах, скрывающийся от фронта, тряс пальцем и поучал: «А на фронте как умирают?.. А на воле как работают? А в Ленинграде сколько хлеба получали?..» И даже внутренне нечего им было возразить. Да, на фронте умирали, лёжа и в снегу. Да, на воле тянулись из жил и голодали. (И вольный *трудфронт*, куда из деревень забирали незамужних девок, где были лесоповал, семисотка, а на приварок — посудные ополоски, стоил любого лагеря.) Да, в ленинградскую блокаду давали ещё меньше лагерного карцерного пайка. Во время войны вся раковая опухоль Архипелага оказалась (или выдавала себя) как бы важным нужным органом русского тела — она как бы тоже работала на войну! от неё тоже зависела победа! — и всё это ложным оправдывающим светом падало на нитки колючей проволоки, на гражданина начальника, трясущего пальцем, — и, умирая её гниющей клеточкой, ты даже лишён был предсмертного удовольствия её проклясть.

Для Пятьдесят Восьмой лагеря военного времени были особенно тяжелы накручиванием *вторых сроков*, это висело хуже всякого топора. Оперуполномоченные, спасая самих себя от фронта, открывали в усторонних захолустьях, на лесных подкомандировках, разговоры с участием мировой буржуазии, планы вооружённых восстаний и массовых побегов. Такие тузы ГУЛАГа, как Яков Мойсеевич Мороз, начальник Ухтпечлага, особенно поощряли в своих лагерях следственно-судебную деятельность. (Не оттого ли, что сам был прежде следователем? Но на допросе убил арестанта, получил бытовую десятку, административную лагерную работу, затем амнистирован.) В Ухтпечлаге как из мешка сыпались приговоры на расстрел и на двадцать лет: «за подстрекательство к побегу», «за саботаж». — А сколько было тех, для кого не требовалось и суда, чьи судьбы руководимы звёздными

предназначениями: не угодил Сикорский Сталину — в одну ночь схватили на Эльгене тридцать полек, увезли и расстреляли.

Были многие зэки — это не придумано, это правда — кто с первых дней войны подавали заявления: просили взять их на фронт. Они отдавали самого густо-вонючего лагерного зачерпа — и теперь просились отправить их на фронт защищать эту лагерную систему, и умереть за неё в штрафной роте! («А останусь жив — вернусь отсиживать срок»...) Ортодоксы теперь уверяют, что это они просились. Были и они (и уцелевшие от расстрелов троцкисты), но не очень-то: они большей частью на каких-то тихих местах в лагере пристроились (не без содействия коммунистов-начальников), здесь можно было размышлять, рассуждать, вспоминать и ждать, а ведь в штрафной роте дольше трёх дней головы не сносить. Этот порыв был не в идейности, нет, а в сердечности, — вот это и был русский характер: лучше умереть в чистом поле, чем в гнилом закуте! Развернуться, на короткое время стать «как все», не угнетённым граждански. Уйти от здешней застойной обречённости, от наматывания вторых сроков, от немой гибели. И у кого-то ещё проще, но отнюдь не позорно: там пока ещё умереть, а сейчас обмундируют, накормят, напоят, повезут, можно в окошко смотреть из вагона, можно с девками перебрасываться на станциях. И ещё тут было добродушное прощение: вы с нами плохо, а мы — вот как!

Однако государству не было экономического и организационного смысла делать эти лишние перемещения, кого-то из лагеря на фронт, а кого-то вместо него в лагерь. Определён был каждому свой круг жизни и смерти; при первом разборе попавший к козлицам, как козлице должен был и околеть. Иногда брали на фронт бытовиков с небольшими сроками, но их — не в штрафную роту, а в обычную действующую армию. Совсем не часто, но были случаи, когда брали и Пятьдесят Восьмую. Но вот Горшунова Владимира Сергеевича взяли в сорок третьем из лагеря на фронт, а к концу войны возвратили в лагерь же с надбавкой срока. Уж они меченые были, и оперуполномоченному в воинской части проще было *мотать* на них, чем на свеженьких.

Но и не вовсе пренебрегали лагерные власти этим порывом патриотизма. На лесоповале это не очень шло, а вот: «Дадим уголь сверх плана — это свет для Ленинграда!», «Поддержим гвардейцев минами!» — это забирало, рассказывают очевидцы. Арсений Фармаков, человек почтенный и темперамента уравновешенного, рассказывает, что лагерь их был увлечён работой для фронта; он собирался это и описать. Обижались зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну («Джидинец») ¹¹⁷.

А награды — общеизвестны, их объявили вскоре после войны: дезертирам, жуликам, ворам — амнистия. Пятьдесят Восьмую — в Особые лагеря.

И чем ближе к концу войны, тем жесточе и жесточе становился режим для Пятьдесят Восьмой. Далеко ли забираться — в Джидинские и Колымские лагеря? Под самой Москвой, почти в её черте, в Ховрино, был захудалый заводик Хозяйственного управления НКВД и при нём режимный лагерь, где командовал Мамулов — всевластный потому, что родной брат его был начальником секретариата у Берии. Этот Мамулов кого угодно забирал с краснопресненской пересылки, а режим устанавливал в своём лагерьке такой, какой ему нравился. Например, свидания с родственниками (в подмосковных лагерях повсюду широко разрешённые) он давал через две сетки, как в тюрьме. И в

¹¹⁷ Это требует многоразрезного объяснения, как и вся советско-германская война. Ведь идут десятилетия. Мы не успеваем разобраться и самих себя понять в одном слое, как новым леплом ложится следующий. Ни в одном десятилетии не было свободы и чистоты информации — и от удара до удара люди не успевали разобраться ни в себе, ни в других, ни в событиях.

общежитиях у него был такой же тюремный порядок: много ярких лампочек, не выключаемых на ночь, постоянное наблюдение за тем, как спят, чтобы в холодные ночи не накрывались телогрейками (таких будили), в карцере у него был чистый цементный пол и больше ничего — тоже как в порядочной тюрьме. Но ни одно наказание, назначенное им, не приносило ему удовлетворения, если сверх того и перед этим он не выбивал крови из носа виновного. Ещё были приняты в его лагере ночные набеги надзора (мужчин) в женский барак на четыреста пятьдесят человек. Вбегали внезапно с диким гиканьем, с командой: «Вста-ать рядом с постелями!» Полуодетые женщины вскакивали, и надзиратели обыскивали их самих и их постели с мелочной тщательностью, необходимой для поиска иголки или любовной записки. За каждую находку давался карцер. Начальник отдела главного механика Шклиник в ночную смену ходил по цехам, согнувшись гориллой, и чуть замечал, кто начинает дремать, вздрогнет головой, прикроет глаза, — с размаху метал в него железной болванкой, клещами, обрезком железа.

Таков был режим, завоёванный лагерниками Ховрина их работой для фронта: они всю войну выпускали мины. К этой работе заводик приспособил и наладил заключённый инженер (увы, его фамилии не могут вспомнить, но она не пропадёт, конечно), он создал и конструкторское бюро. Сидел он по 58-й и принадлежал к той отвратительной для Мамулова породе людей, которая не поступается своими мнениями и убеждениями. И этого негодяя приходилось терпеть! Но у нас нет незаменимых! И когда производство уже достаточно завертелось, к этому инженеру как-то днём при конторских (да нарочно при них! — пусть все знают, пусть рассказывают! — вот мы и рассказываем) ворвались Мамулов с двумя подручными, таскали за бороду, бросали на пол, били сапогами в кровь — и отправили в Бутырки получать второй срок за политические высказывания.

Этот милый лагерьёк находился в пятнадцати минутах электричкой от Ленинградского вокзала. Сторона не дальняя, да печальная.

(Эски-новички, попав в подмосковные лагеря, цеплялись за них, если имели родственников в Москве, да и без этого: всё-таки казалось, что ты не срываешься в ту дальнюю невозвратную бездну, всё-таки здесь ты на краю цивилизации. Но это был самообман. Тут и кормили обычно хуже — с расчётом, что большинство получает передачи, тут не давали даже белья. А главное, вечные мутящие *параши* о дальних этапах клубились в этих лагерях, жизнь была шаткая, как на острие шила, невозможно было даже за сутки поручиться, что проживёшь их на одном месте.)

* * *

В таких формах каменели острова Архипелага, но не надо думать, что, каменей, они переставали источать из себя метастазы.

В 1939 году, перед финской войной, гулаговская alma mater Соловки, ставшие слишком близкими к Западу, были переброшены Северным морским путём, кто не на Новую Землю, те — в устье Енисея и там влились в создаваемый НорильЛаг, скоро достигший семидесяти пяти тысяч человек. Так злокачественны были Соловки, что даже умирая, они дали ещё один последний метастаз — и какой!

К предвоенным годам относится завоевание Архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогом гнездо карагандинских лагерей, выбрасываются плодотворные метастазы в Джезказган с его отравленной медной водой, в Моинты, в Балхаш. Рассыпаются лагерь и по северу Казахстана.

Пухнут новообразования в Новосибирской области (Мариинские лагерь), в Красноярском крае (Канские, КрасЛаг), в Хакасии, в Бурят-Монголии, в Узбекистане, даже в Горной Шории.

Не останавливается в росте излюбленный Архипелагом русский Север (УстьВымьЛаг, НыробЛаг, УсольЛаг) и Урал (ИвдельЛаг).

В этом перечислении много пропусков. Достаточно написать «УсольЛаг», чтобы вспомнить, что в Иркутском Усолье тоже был лагерь.

Да просто не было такой области, Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей.

Метод преобразования крестьянских посёлков в лагеря был применён и после высылки немцев в Поволжья: целые сёла, как они есть, заключались в зону — и это были сельхозлагучастки (Каменские сельхозлагеря между Камышином и Энгельсом).

Мы просим у читателя извинения за многие недостатки этой главы: через целую эпоху Архипелага мы перебрасываем лишь хлипкий мостик — просто потому, что не сошлось к нам материалов больше. Запросов по радио мы оглашать не могли.

Здесь опять на небосклоне Архипелага выписывает замысловатую петлю багровая звезда Нафталия Френкеля.

1937 год, разя своих, не миновал и его головы: начальник БАМлага, генерал НКВД, он снова в благодарность посажен на уже известную ему Лубянку. Но не устаёт Френкель жаждать верной службы, не устаёт и Мудрый Учитель изыскивать эту службу. Началась позорная и неудачливая война с Финляндией, Сталин видит, что он не готов, что нет путей подвоза к армии, брошенной в карельские снега, — и он вспоминает изобретательного Френкеля и требует его к себе: надо сейчас, лютой зимой, безо всякой подготовки, не имея ни планов, ни складов, ни автомобильных дорог, построить в Карелии три железных дороги — одну рокадную и две подводящих, и построить за три месяца, потому что стыдно такой великой державе так долго возиться с моськой Финляндией. Это — чистый эпизод из сказки: злой король заказывает злему волшебнику нечто совершенно неисполнимое и невообразимое. И спрашивает вождь социализма: «Можно?» И радостный коммерсант и валютчик отвечает: «Да!»

Но уж он ставит и свои условия:

1) выделить его целиком из ГУЛАГа, основать новую зэковскую империю, новый автономный архипелаг ГУЛЖДС (гулжэ-дээс) — Главное Управление Лагерьей Железнодорожного Строительства, и во главе этого архипелага — Френкель;

2) все ресурсы страны, которые он выберет, — к его услугам (это вам не Беломор!);

3) ГУЛЖДС на время авральной работы выпадает также и из системы социализма с его донимающим учётом. Френкель не отчитывается ни в чём. Он не разбивает палаток, не основывает лагпунктов. У него нет никаких пайков, «столов», «котлов». (Это он-то, первый и предложивший столы и котлы! Только гений отменяет законы гения!) Он сваливает грудями в снег лучшую еду, полушубки и валенки, каждый зэк надевает что хочет и ест сколько хочет. Только махорка и спирт будут в руках его помощников, и только их надо заработать!

Великий Стратег согласен. И ГУЛЖДС — создан! Архипелаг расколот? Нет, Архипелаг только усилился, умножился, он ещё быстрее будет усваивать страну.

С карельскими дорогами Френкель всё-таки не успел: Сталин поспешил свернуть войну вничью. Но ГУЛЖДС крепнет и растёт. Он получает новые и новые заказы (уже с обычным учётом и порядками): рокадную дорогу вдоль персидской границы, потом дорогу вдоль Волги от Сызрани на Сталинград, потом «Мёртвую дорогу» с Салехарда на Игарку и собственно БАМ: от Тайшета на Братск и дальше.

Больше того, идея Френкеля оплодотворяет и само развитие ГУЛАГа: признаётся необходимым и ГУЛАГ построить по отраслевым

управлениям. Подобно тому, как Совнарком состоит из наркоматов, ГУЛАГ для своей империи создаёт свои министерства: ГлавЛесЛag, ГлавПромСтрой, ГУЛГМП (Главное Управление Лагерея Горно-Металлургической Промышленности).

А тут война. И не эти гулаговские министерства эвакуируются в разные города. Сам ГУЛАГ попадает в Уфу, ГУЛЖДС — в Вятку. Связь между провинциальными городами уже не так надёжна, как радиальная из Москвы, и на всю первую половину войны ГУЛАГ как бы распадается: он уже не управляет всем Архипелагом, а каждая окружающая территория Архипелага достаётся в подчинение тому Управлению, которое сюда эвакуировано. Так Френкелю достаётся управлять из Кирова всем русским Северо-Востоком (потому что кроме Архипелага там почти ничего и нет). Но ошибутся те, кто увидит в этой картине распад Римской Империи — она соберётся после войны ещё более могущественная.

Френкель помнит старую дружбу: он вызывает и назначает на крупный пост в ГУЛЖДС — Бухальцева, редактора своей жёлтой «Копейки» в дореволюционном Мариуполе, собратья которого или расстреляны или рассеяны по земле.

Френкель был выдающихся способностей не только в коммерции и организации. Охватив зрительно ряды цифр, он их суммировал в уме. Он любил хвастаться, что помнит в лицо сорок тысяч заключённых и о каждом из них — фамилию, имя, отчество, статью и срок (в его лагерях был порядок докладывать о себе эти данные при подходе высоких начальников). Он всегда обходился без главного инженера. Глянув на поднесённый ему план железнодорожной станции, он спешил заметить там ошибку, — и тогда комкал этот план, бросал его в лицо подчинённому и говорил: «Вы должны понять, что вы — осёл, а не проектировщик!» Голос у него был гнусавый, обычно спокойный. Рост — низенький. Носил Френкель железнодорожную генеральскую папаху, синюю свертку, красную с изнанки, и всегда, в разные годы, френч военного образца — однозначная заявка быть государственным деятелем и не быть интеллигентом. Жил он, как Троцкий, всегда в поезде, разъезжавшем по разбросанным строительным боям — и вызванные из туземного неустройства на совещание к нему в вагон поражались венским стульям, мягкой мебели, — и тем более робели перед упрёками и приказами своего шефа. Сам же он никогда не зашёл ни в один барак, не понюхал этого смрада — он спрашивал и требовал только работу. Он особенно любил звонить на объекты по ночам, подерживая легенду о себе, что никогда не спит. (Впрочем, в сталинский век и многие вельможи так привыкли.)

Больше его уже не сажали. Он стал заместителем Кагановича по капитальному железнодорожному строительству и умер в Москве в 50-е годы в звании генерал-лейтенанта, в старости, в почёте и в покое.

Мне представляется, что он ненавидел эту страну.

Глава 5

НА ЧЁМ СТОИТ АРХИПЕЛАГ

Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Цесаревич. Революция переименовала его в город Свободный. Амурских казаков, населявших город, рассеяли — и город опустел. Кем-то надо было его заселить. Заселили: заключёнными и чекистами, охраняющими их. Весь город Свободный стал лагерем (БАМлаг).

Так символы рождаются жизнью сами.

Лагеря не просто «тёмная сторона» нашей послереволюционной жизни. Их размах сделал их не стороной, не боком — а едва ли не печенюю событий. Редко в чём другом наше пятидесятилетие проявило себя так последовательно, так до конца.

Как всякая точка образуется от пересечения по крайней мере двух линий, всякое событие — по крайней мере от двух необходимостей, — так и к системе лагерей с одной стороны вела нас экономическая потребность, но одна она могла бы привести и к трудармии, да пересеклась со счастливо сложившимся теоретическим оправданием лагерей.

И они сошлись как срослись: шип — в гнездо, выступ — в углубину. И так родился Архипелаг.

Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно: государству, задумавшему окрепнуть в короткий срок (тут три четверти дела в сроке, как и на Беломоре!) и не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила:

а) предельно дешёвая, а лучше бесплатная;

б) неприхотливая, готовая к перегону с места на место в любой день, свободная от семьи, не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц, а на какое-то время — ни кухни, ни бани.

Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей.

Теоретическое же оправдание не могло бы так уверенно сложиться в спешке этих лет, не начнись оно ещё в прошлом веке. Энгельс доследовал, что не с зарождения нравственной идеи начался человек, и не с мышления — а со случайного и бессмысленного труда: обезьяна взяла в руки камень — и оттуда всё пошло. Маркс же, касаясь более близкого времени («Критика Готской программы»), с той же уверенностью назвал *единственным* средством исправления преступников (правда, уголовных; он, кажется, не зачислял в преступников политических, как его ученики) — опять-таки не одиночные размышления, не нравственное самоуглубление, не раскаяние, не тоску (это всё надстройки) — а производительный труд. Сам он отроду не брал в руки кирки, до века не катал и тачки, уголька не добывал, лесу не валил, не знает, как колот дрова, — но вот написал это на бумаге, и она не сопротивилась.

И для последователей теперь легко сложилось: что заставить заключённого ежедневно трудиться (иногда по четырнадцать часов, как на колымских забоях) — гуманно и ведёт к его исправлению. Напротив, ограничить его заключение тюремной камерой, двориком и огородом, дать ему возможность эти годы читать книги, писать, думать и спорить — означает обращение «как со скотом» (из той же «Критики»).

Правда, в послеоктябрьское горячее время было не до этих тонкостей, и ещё гуманнее казалось просто расстреливать. Тех же, кого не расстреливали, а сажали в самые ранние лагеря, — сажали туда не для исправления, а для обезвреживания, для чистой изоляции.

Дело в том, что были и в то время умы, занятые карательной теорией, например Пётр Стучка, и в «Руководящих Началах по уголовному праву РСФСР» 1919 года подвергнуто было новому определению само понятие *наказания*. Наказание, очень свежо утверждалось там, не есть ни возмездие (рабоче-крестьянское государство не мстит преступнику), ни искупление вины (никакой индивидуальной вины быть не может, только классовая причинность), а есть оборонительная мера по охране общественного строя — *мера социальной защиты*.

Раз «мера социальной защиты» — тогда понятно, на войне как на войне, надо или расстреливать («высшая мера социальной защиты») или держать в тюрьме. Но при этом как-то тускнела идея *исправления*, к которой в том же 1919 году призывал VIII съезд партии. И, главное, непонятно стало: от чего же исправляться, если нет вины? От классовой причинности исправиться же нельзя?!

Тем временем кончилась гражданская война, учредились в 1922 году первые советские кодексы, прошёл в 1923 «съезд работников пенитенциарного труда», составились в 1924 новые «Основные начала уголовного законодательства» — под новый Уголовный кодекс 1926

года (который и полозил-то по нашей шее тридцать пять лет) — а в новонайденные понятия, что нет «вины» и нет «наказания», а есть «социальная опасность» и «социальная защита», — сохранились.

Конечно, так удобнее. Такая теория разрешает кого угодно арестовывать как заложника, как «лицо, находящееся под сомнением» (телеграмма Ленина Евгении Бош), даже целые народы ссылать по соображениям их опасности (примеры известны), — но надо быть жонглёром первого класса, чтобы при всём этом ещё строить и содержать в начищенном состоянии теорию «исправления».

Однако были жонглёры, и теория была, и сами лагеря были названы именно исправительными. И мы сейчас даже много можем привести цитат.

Вышинский: «Вся советская уголовная политика строится на диалектическом (!) сочетании принципа подавления и принуждения с принципом убеждения и перевоспитания»¹¹⁸. «Все буржуазные пенитенциарные учреждения стараются «донять» преступника причинением ему физических и моральных страданий» (ведь они же хотят его «исправить»). «В отличие же от буржуазного наказания, у нас страдания заключённых — не цель, а средство. — (Так и там, вроде, тоже — не цель, а средство. — А. С.) — Цель же у нас — действительное исправление, чтобы из лагерей выходили сознательные труженики».

Усвоено? Хоть и принуждая, но мы всё-таки исправляем (и тоже, оказывается, через страдания) — только неизвестно от чего.

Но тут же, на соседней странице:

«При помощи революционного насилия исправительно-трудовые лагеря локализируют и обезвреживают преступные элементы старого общества»¹¹⁹ (и всё — старого общества! и в 1952 году — всё будет «старого общества». Вали волку на холку!).

Так уж об исправлении — ни слова? Локализуем и обезвреживаем.

И в том же (1934) году:

«Двуединая задача подавления плюс воспитания кого можно».

Кого можно. Выясняется: исправление-то не для всех.

И уж у мелких авторов так и порхает готовой откуда-то цитаткой: «исправление исправимых», «исправление исправимых».

А неисправимых? В братскую яму? На луну (Колыма)? Под шмид-тиху (Норильск)?

Даже Исправительно-трудовой кодекс 1924 года с высоты 1934 юристы Вышинского упрекают в «ложном представлении о всеобщем исправлении». Потому что Кодекс этот ничего не пишет об *истреблении*.

Никто не обещал, что будут исправлять Пятьдесят. Восьмую.

Вот и назвал я эту часть — *истребительно-трудовые*. Как чувствовали мы шкурой нашей.

А если какие цитатки у юристов сошлись кривовато, так подымайте из могилы Стучку, волоките Вышинского — и пусть разбираются. Я не виноват.

Это сейчас вот, за свою книгу садясь, обратился я полистать предшественников, да и то добрые люди помогли, ведь нигде их уже не достанешь. А таская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. Что вся наша жизнь определяется не волей гражданина начальника, а каким-то легендарным кодексом труда заключённых — это не для нас одних был слух тёмный, параша, но и майор, начальник ОЛПа, ни за что б не поверил. Служебным закрытым тиражом изданные, никем в руках не держанные, ещё ли сохранились они в гугаговских сейфах или все сожжены как вредительские — никто не знал. Ни цитаты из них не было вывешено в куль-

¹¹⁸ Предисловие Вышинского к книге Авербах «От преступления к труду», стр. VI.

¹¹⁹ Там же, стр. VII.

турно-воспитательных уголках, ни цифирки не оглашено с деревянных помостов — сколько там часов рабочий день? сколько выходных в месяц? есть ли оплата труда? полагается ли что за увечья? — да и свои ж бы ребята на смех бы подняли, если вопрос задашь.

Кто эти гуманные письма знал и читал, так это наши дипломаты. Они-то, небось, на конференциях этой книжечкой потрясали. Так ещё бы! Я вот сейчас только цитатки добыл — и то слёзы текут: — в «Руководящих Началах» 1919: раз наказание не есть возмездие, то не должно быть никаких элементов мучительства;

— в 1920: запретить называть заключённых на «ты». (А, простите, неудобно выразиться, а... «в рот» — можно?);

— исправтрудкодекс 1924 года, статья 49 — «режим должен быть лишён признаков мучительства, отнюдь не допуская: наручников, карцера (!), строго-одиночного заключения, лишения пищи, свиданий через решётку».

Ну, и хватит. А более поздних указаний нет: для дипломатов и этого довольно, ГУЛАГу и того не нужно.

Ещё в Уголовном кодексе 1926 года была статья 9-я, случайно я её знал и вызубрил:

«Меры социальной защиты не могут иметь целью причинения физического страдания или унижения человеческого достоинства и не ставят себе задачи возмездия и кары».

Вот где голубизна! Любя *оттянуть* начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью — и все охранители только глаза тарасили от удивления и негодования. Были уже लाखники по двадцать лет, к пенсии готовились — никогда никакой Девятой статьи не слышали, да впрочем и Кодекса в руках не держали.

О, «умная дальновидная человеческая администрация сверху донизу»! — как написал в «Лайфе» верховный судья штата Нью-Йорк Лейбовиц, посетивший ГУЛАГ. «Отбывая свой срок наказания, заключённый сохраняет чувство собственного достоинства», — вот как понял он и увидел.

О, счастлив штат Нью-Йорк, имея такого пронизательного осла в качестве судьи!

Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковыми ручками! — от тех корреспондентов, которые ещё в Кемпи задавали экзамен вопросы при лагерном начальстве! — сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена.

«Собственного достоинства»! Того, кто осуждён без суда? Кого на станциях сажают задницей в грязь? Кто по свисту плётки гражданина надзирателя скребёт пальцами землю, политую мочёй, и относит — чтобы не получить карцера? Тех образованных женщин, которые как великой чести удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина начальника лагпункта? И по первому пьяному жесту его становились в доступные позы, чтобы завтра не околеть на общих?

...Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона — тёмная, у костра — я один, могу ещё принести плотничьих обрезков. Зона — льготная, такая льготная, что я как будто на воле, — это райский остров, это «шарашка» Марфино в её самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, не зовёт в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку — всё-таки холодновато от резкого ветра.

А она — который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно:

— Гражданин начальник!.. Простите!.. Простите, я больше не буду...

Ветер относит её стон ко мне, как если б она стонала над самым

моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается.

Это — вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в двух шагах, под ярким фонарём, понуренно стоит наказанная девушка, ветер дергает её серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в легкой косынке. Днём, когда они копали у нас траншею, было тепло. И другая девушка, спустясь в овраг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала — охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус, спохватились — её уже не поймать. Подняли тревогу, приходил злой чёрный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами: «Чтоб её поймали, проклятую! Чтоб ей ножницами — швырк! швырк! — голову остригли перед строем!» (То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛАГе.) А эта девушка вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет!» Надзиратель услышал — и вот она наказана: всех увели в лагерь, а её поставили по стойке «смирно» перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас — одиннадцатый ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь, вахтер высунулся и крикнул: «Стой смирно, б..., хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет:

— Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..

Но даже в лагерь ей никто не скажет: *святая! воюги!..*

Её потому так долго не пускают, что завтра — воскресенье, для работы она не нужна.

Беловолосая такая, простодушная необразованная девчонка. За какую-нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестрёнка! Тебя хотят на всю жизнь проучить.

Огонь, огонь!.. Воевали — в костры смотрели, какая будет Победа... Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу.

Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт о том весь свет.

Это происходит в конце 1947 года, под тридцатую годовщину Октября, в стольном городе нашем Москве, только что отпраздновавшем восьмисотлетие своих жестокостей. В двух километрах от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И километра не будет до останкинского Дома творчества крепостных.

* * *

Крепостных!.. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права и Архипелага один и тот же: это общественные устройства для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов работ. Шесть дней в неделю, а часто и семь, туземцы Архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибавка. Им не оставляли ни пятого, ни седьмого дня работать на себя, потому что содержание выдавали «месячиною» — лагерным пайком. Так же точно были они разделены на барщинных (группа «А») и дворовых (группа «Б»), обслуживающих непосредственно помещика (начальника лагпункта) и поместье (зону). Хворыми (группа «В») признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи (с нар). Также существовали и наказания для провинившихся (группа «Г»), только тут была та разница, что помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней — плетью на конюшне, карцера у него не было, начальник же лагпункта по государственной инструкции помещает виновного в ШИзо (штрафной изолятор) или

БУР (барак усиленного режима). Как и помещик, начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеи, в повара, парикмахеры или шуты (мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось), любую рабыню определить себе в экономки, в наложницы или в прислугу. Как и помещик, он вволю мог дурить, показывать свой нрав. (Начальник Химкинского лагеря майор Волков увидел, как заключённая девушка сушила на солнце распущенные после мытья длинные льняные волосы, почему-то рассердился и коротко бросил: «Остричь!» И её тотчас остригли. 1945.) Менялся ли помещик или начальник лагеря, все рабы покорно ждали нового, гадали о его привычках и заранее отдавались в его власть. Не в силах предвидеть волю хозяина, крепостной мало задумывался о завтрашнем дне — и заключённый тоже. Крепостной не мог жениться без воли барина — и уж тем более заключённый только при снисхождении начальника мог обзавестись лагерной женой. Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он не виновен был в своём рождении, так не выбирал её и заключённый, он тоже попадал на Архипелаг чистым роком.

Это сходство давно подметил русский язык: «Людей накормили?», «людей послали на работу?», «сколько у тебя людей?», «пришли-ка мне человека!». *Людей, люди* — о ком это? Так говорили о крепостных. Так говорят о заключённых¹²⁰. Так невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях — «сколько у тебя людей?» — никто и не поймёт.

Но, возразят нам, всё-таки с крепостными не так уж много и сходства. Различий больше.

Согласимся: различий — больше. Но вот удивительно: все различия — к выгоде крепостного права! все различия — к невыгоде Архипелага ГУЛАГа!

Крепостные не работали дольше, чем от зари до зари. Зэки — в темноте начинают, в темноте и кончают (да ещё не всегда и кончают). У крепостных воскресенье было свято, да все двенадцатые, да храмовые, да из святок сколько-то (ряжеными же ходили!). Заключённый перед каждым воскресеньем трусится: дадут или не дадут? А праздников он вовсе не знает (как Волга — выходных...): эти 1-е мая и 7-е ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника (а некоторых зэков из года в год именно в эти дни сажают в карцер). У крепостных Рождество и Пасха были подлинными праздниками; а личного обыска то после работы, то утром, то ночью («стать рядом с постелями!») — они и вообще не знали! Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими, и на ночь ложась — на печи, на полотах, на лавке — знали: вот это место моё, давеча тут спал и дальше буду. Заключённый не знает, в каком бараке будет завтра (и даже, идя с работы, не уверен, что и сегодня там будет спать). Нет у него «своих» нар, «своей» вагонки. Куда перегонят.

У крепостного барщинного бывали лошадь своя, соха своя, топор, коса, веретено, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен¹²¹, всегда были кой-какие тряпки, которые они оставляли по наследству своим близким — и которые почти никогда не отбирались помещиком. Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью, на инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности — только вши. Крепостной нет-нет, да вершущу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только ложкой из баланды. У крепостного бывала то коровушка Бурёнушка, то коза, куры. Зэк молоком и губ никогда не мажет, а яиц куриных и глазами не видит десятилетиями, пожалуй и не узнает, увидя.

¹²⁰ И конечно — о колхозниках и чернорабочих, но того сравнения мы сейчас не продолжим.

¹²¹ А. И. Герцен. Собрание сочинений. М. Изд-во Академии наук. 1960, т. XX, стр. 585 («К старому товарищу»).

Большую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. «На Руси никто с голоду не умирывал», — говорит пословица. А пословицу сбрёху не составят. Крепостные были рабы, но были сыты¹²². Архипелаг же десятилетиями жил в пригнёте жестокого голода, между зэками шла грызня за селёдочный хвост из мусорного ящика. Уж на Рождество-то и Пасху самый худой крепостной мужичишка разговляется салом. Но самый первый работник в лагере может сало почитать только из посылки.

Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным оглашаемым варварством, над ним негодовала публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи (уж вряд ли) крепостных были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучён с семьёй с первого дня ареста и в половине случаев — навсегда. Если же сын арестован с отцом (как мы слышали от Витковского) или жена вместе с мужем, — то пуще всего блюли не допустить их встречу на одном лагпункте; если случайно встретились они — разъединить как можно быстрее. Также и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, — спешили наказать карцером, разорвать и разослать. И даже самые сентиментальные пишущие дамы — Шагинян или Тэсс — ни беззвучной слёзки о том не пророняли в платочек. (Ну, да ведь *они не знали*. Или думали — *так нужно*.)

И самый перегон крепостных с места на место не производился в угаре торопливости: им давали уложить свой скарб, собрать свою движимость и переехать спокойно за пятнадцать или сорок вёрст. Но как шквал настигает зэка этап: двадцать, десять минут лишь на то, чтоб отдать имущество лагерю, и уже опрокинута вся жизнь его вверх дном, и он едет куда-то на край света, может быть — навеки. На жизнь одного крепостного редко выпадало больше одного переезда, а чаще сидели на местах. Туземца же Архипелага, не знавшего этапов, невозможно указать. А многие переезжали по пять, по семь, по одиннадцать раз.

Крепостным удавалось вырываться на оброк, они уходили далеко с глаз проклятого барина, торговали, богатели, жили под вид вольных. Но даже бесконвойные зэки живут в той же зоне и с утра тянутся на то же производство, куда гонят и колонну остальных.

Дворовые были большей частью развращённые паразиты («дворня — хамово отродье»), жили за счёт барщинных, но хоть сами не управляли ими. Вдвое тошнее зэку от того, что развращённые придурки ещё им же управляют и помыкают.

Да вообще всё положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил: они стоили денег, своей работой приносили ему богатство. Лагерный начальник не щадит заключённых: он их не покупал, детям в наследство не передаёт, а умрут одни — пришлют других.

Нет, зря мы потянулись сравнивать наших зэков с помещичьими крепостными. Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем ещё приблизительно можно сравнивать положение туземцев Архипелага — это с *завогскими* крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими. Или — с аракчеевскими поселенцами. (А иные возражают мне: и то жирно, в аракчеевских поселе-

¹²² По всем столетиям есть такие свидетельства. В XVII пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в Смутное время «давные житницы не истощены, и поля скирд стояху, гумны же пренаполнены одоной и копен, и зародов до четырёх-на десять лет» (Авраамий Палицын). В XVIII веке Фонвизин, сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока, Прованса, пишет: «нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим». В XIX веке о крепостной деревне Пушкин написал: «Везде следы го-вольства и труда».

ниях тоже и природа, и семья, и праздники. Только древневосточное рабство будет сравнением верным.)

И лишь одно, лишь одно преимущество заключённых над крепостными приходит на ум: заключённый попадает на Архипелаг даже если малолеткой в двенадцать-пятнадцать лет, — а всё-таки не со дня рождения! А всё-таки сколько-то лет до посадки отхватывает он и воли. Что же до выгоды определённого судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью, — то здесь много оговорок: если срок не «четвертная»; если статья не 58-я; если не будет «до освобождения»; если не намотают второго лагерного срока; если после срока не пошлют автоматически в ссылку; если не вернут с воли тотчас же назад на Архипелаг как повторника. Оговорок такой частокोल, что ведь, вспомним, иногда ж и крепостного барин на волю отпускал по причуде...

Вот почему когда «император Михаил» сообщил нам на Лубянке ходящую среди московских рабочих анекдотическую расшифровку БКП(б) — Второе Крепостное Право (большевиков), — это не показалось нам смешным, а — вещим.

* * *

Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так подхватывали «великий почин» субботников. Но он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революций. Из губернских тамбовских материалов 1921 года видно, например, что уже тогда многие члены партии пытались уклоняться от субботников — и введена была отметка о явке на субботник в партийной учётной карточке. Ещё на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров. Но потом и у нас пресеклось.

Что же тогда? Где ж искать стимул? Деньги, сдельщина, премиальные? Но это в нос шибало недавним капитализмом, и нужен был долгий период, другое поколение, чтоб запах перестал раздражать и его можно было бы мирно принять как «социалистический принцип материальной заинтересованности».

Копнули глубже в сундуке истории и вытащили то, что Маркс называл «внеэкономическим принуждением». В лагере и в колхозе эта находка выставилась неприкрытыми клыками.

Потом подвернулся Френкель, и, как чёрт сыпет зелье в кипящий котёл, подсыпал котловку.

Известно было закливание, сколько раз его повторяли: «В новом общественном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которую опиралось крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм».

Так вот Архипелаг сумел чудесно совместить и то, и другое.

И всего-то приёмов для этого понадобилось: 1. Котловка; 2. Бригада; 3. Два начальства. (Но последнее не обязательно: на Воркуте, например, всегда было одно начальство, а дела шли.)

Так вот на этих трёх китах стоит Архипелаг.

А если считать их «приводными ремнями» — от них крутится.

О котловке уже сказано. Это — такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний паёк заключённого, который в паразитических обществах выдаётся арестанту бездействующему, наш ээк ещё бы поколотился и погорбил. Чтобы свою законную пайку он добрал добавочными кусочками по сто граммов и считался бы при этом ударником. Проценты выработки сверх ста давали право и на дополнительные (у тебя же перед тем отнятые) ложки каши. Беспощадное знание человеческой природы! Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупяные бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте

человек не умеет соразмерить вещь и цену за неё. Как солдат на чужой войне дешёвым стаканом водки поднимается в атаку и в ней отдаёт жизнь, так и эзк за эти нищенские подачки, скользя с бревна, купается в паводке северной реки или в ледяной воде месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли.

Однако не всесильна и сатанинская котловка. Не все на неё клюют. Как крепостные когда-то усвоили: «хоть хвойку глотать, да не пенья ломать», так и эзки поняли: в лагере не маленькая пайка губит, а большая. Ленивые! тупые! бесчувственные полуживотные! они не хотят этого дополнительного! они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешанного на картошке, вике и воде! они уже и досрочки не хотят! они и на доску почёта не хотят! они не хотят подняться до интересов стройки и страны, не хотят выполнять пятилеток, хотя пятилетки в интересах трудящихся! Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства, они рады в тёмной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать.

Не часто же можно устроить такие массовые работы, как гравийный карьер под Ярославлем: видимые простому глазу надзора, сотни заключённых там скучены на небольшом пространстве, и едва лишь кто перестает двигаться — сразу он заметен. Это — идеальные условия: никто не смеет замедлиться, спину разогнуть, пот обтереть, пока на холме не упадёт флаг — условный знак перекура. А как же быть в других случаях?

Было думано. И придумана была — *brigada*. Да и как бы нам не додуматься? У нас и народники в социализм идти хотели — через общину, и марксисты — через «коллектив». Как и поныне наши газеты пишут? — «Главное для человека — это труд и обязательно труд в коллективе»!

Так в лагере ничего кроме труда и нет, и только в коллективе. Значит, ИТЛ — и есть высшая цель человечества? главное-то — достигнуто?

Как бригада служит *психологическому обогащению* своих членов, понуканию, слежке и *повышению чувства достоинства* — мы уже имели повод объяснить (глава 3). Соответственно целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры (по-лагерному — «бугры»). Прогоняя заключённых через палку и пайку, бригадир должен справиться с бригадой в отсутствие начальства, надзора и конвоя. Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме несколько раз вымирал состав бригады, а бригадир всё оставался тот же. В КемерЛаге такой был бригадир Переломов — языком он не пользовался, только дрыном. Список этих фамилий занял бы много у нас страниц, но я его не готовил. Интересно, что чаще всего такие бригадиры получаются из бластных, то бишь люмпен-пролетариев.

Однако к чему не приспособливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны не досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного общества — как на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал — и не одну. Правда, это не были бригады общих работ — там, где кто-то должен умереть, иначе не выжить остальным. Это были обычно бригады специальные: электриков, слесарей-токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее (по десять — двенадцать человек), тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки¹²³.

Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий: в меру жестокий; хорошо знающий все нравственные (безнравственные) законы ГУЛАГа; пронизательный и справедливый в бригаде; со своей отработанной хваткой против начальства — кто

¹²³ Проявилось это и в больших разнорабочих бригадах, но только в каторжных лагерях и при особых условиях. Об этом — в части пятой.

хриплым лаем, кто исподтишка; страшиноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю стограммовку, ватные брюки, пару ботинок. Но и со связями среди придурков влиятельных, откуда узнаёт все лагерные новости и предстоящие перемены, это всё нужно ему для правильного руководства. Хорошо знающий работы и участки выгодные и невыгодные (и на невыгодные умеющий спихнуть соседнюю бригаду, если такая есть). С острым взглядом на тухту — где её легче в эту пятидневку вырвать: в нормах или в объёмах. И неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом, когда тот уже заносит брызжущую ручку «резать» наряды. И *лапу* умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в бригаде стукач (и если не очень умный и вредный — пусть и будет, а то худшего подставят). А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого отmaterить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким бригадиром сурово сживается и выживает сурово. Нежностей нет, но никто и не падает. Работал я у таких бригадиров — у Синебрюхова, у Павла Боронюка. Если этот список подбирать — и на него страниц пошло бы много. И по многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные разумные бригадиры — из «кулацких» сыновей.

А что же делать? Если бригаду неотклонимо навязывают как форму существования — то что же делать? Приспособиться как-то надо? От работы гибнем, но и не погибнуть можем только через работу. (Конечно, философия спорная. Верней бы ответить: не учи меня гибнуть как ты хочешь, дай мне погибнуть как я хочу. Да ведь всё равно не дадут, вот что...)

Неважный выбор бывает и бригадиру: не выполнит лесоповальная бригада дневного задания в пятьдесят пять «кубиков» — и в карцер идёт бригадир. А не хочешь в карцер — загоняй в смерть бригадников. Кто кого смогá, тот того и в рога.

А *два начальства* удобны лагерям так же, как клещам нужен и левый и правый захват, оба. Два начальства — это молот и наковальня, и куют они из зэка то, что нужно государству, а рассыпался — смахивают в мусор. Хотя содержание отдельного *зонного* (лагерного) начальства и сильно увеличивает расходы государства, хотя по тупости, капризности и бдительности оно часто затрудняет, усложняет рабочий процесс, а всё-таки ставят его, и значит тут не промах. Два начальства — это два терзателя вместо одного, да посменно, и поставлены они в положение соревнования: кто из арестанта больше выжмет и меньше ему даст.

В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, транспорт, и только малости нет — рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь (или по сменам). Те десять или двенадцать часов, на которые зэки попадают в руки производственного начальства, нет надобности их воспитывать или исправлять, и даже если в течение рабочего дня они издохнут — это не может огорчить ни то, ни другое начальство: мертвецы легче списываются, чем сожжённые доски или раскраденная олифа. Производственному начальству важно принудить заключённых за день сделать побольше, а в наряды записать им поменьше, ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и недостатки производства: ведь воруют и тресты, и СМУ (строительно-монтажные управления), и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки, да и то не для себя (им уносить некуда), а для своего лагерного начальства и конвоя. А ещё больше гибнет от беспечного и непредусмотрительного хозяйствования, и ещё от того, что зэки ничего не берегут тоже, — и покрыть все эти недостатки один путь: недоплатить за рабочую силу.

В руках лагерного начальства — только *рабсила* (язык знает, как сокращать!). Но это — решающее. Лагерные начальники так и говорят:

мы можем на них (производственников) нажимать, они нигде не найдут других рабочих. (В тайге и пустыне — где ж их найдёшь?) И потому они стараются вырвать за свою рабсилу побольше денег, которые и сдают в казну, а часть идёт на содержание самого лагерного руководства за то, что оно эзков охраняет (от свободы), поит, кормит, одевает и морально допекает.

Как всегда при нашем продуманном социальном устройстве, здесь сталкиваются лбами два плана: план производства иметь по зарплате самые низкие расходы и план МВД приносить с производства в лагерь самые большие заработки. Стороннему наблюдателю странно: зачем приводить в столкновение собственные планы? О, тут большой смысл! Столкновение-то планов и сплющивает человека. Это — принцип, выходящий за колючую проволоку Архипелага.

А что ещё важно: что два начальства эти совсем друг другу не враждебны, как можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно плотнее сплющить, они примыкают друг к другу очень тесно. Хотя начальник лагеря — отец родной для своих эзков, но всегда охотно признает и подпишет акт, что в увечье виноват сам заключённый, а не производство; не будет очень уж настаивать, что заключённым нужна спецодежда или в каком-то цеху вентиляции нет (нет так нет, что ж поделаешь, временные трудности, а как в ленинградскую блокаду?..). Никогда не откажет лагерное начальство производственному посадить в карцер бригадира за грубость или рабочего, утерявшего лопату, или инженера, не так выполнившего приказ. В глухих посёлках не оба ли эти начальства и составляют высшее общество — таёжно-индустриальных помещиков? Не их ли жёны друг ко другу ходят в гости?

И если всё-таки тухту в нарядах непрерывно *гуют*, если записывается копка и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле; ремонт отопления или станка, не вышедшего из строя; смена столбов целёхоньких, которые ещё десять лет перестоят, — то делается это даже не по наущению лагерного начальства, спокойного, что деньги в лагерь так или иначе притекут, — а самими заключёнными (бригадирями, нормировщиками, десятниками), потому что таковы все государственные нормы: они рассчитаны не для земной реальной жизни, а для какого-то лунного идеала. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый — выполнить этих норм не может! Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетённого арестанта? Государственное нормирование описывает производство таким, каким оно не может быть на земле, — и этим напоминает социалистический реализм в беллетристике. Но если непроданные книги потом просто издубливаются, — закрывать промышленную тухту сложнее. Однако не невозможно.

В постоянной круговертной спешке директор и прораб проглядывают, не успевают обнаружить тухту. А десятники из вольных неграмотны или пьяны, или добросердечны к эзкам (с расчётом, что и бригадир их выручит в тяжёлую минуту). А там — «процентовка съедена», хлеб из брюха не вытащишь. Бухгалтерские же ревизии и учёт известны своей неповоротливостью, они открывают тухту с опозданием в месяцы или годы, когда и деньги за эту работу давно упорхнули и остаётся только или под суд отдать кого-нибудь из вольных или замять и списать.

Трёх китов подвело под Архипелаг Руководство: котловку, бригаду и два начальства. А четвёртого и главного кита — тухту, подвели туземцы и сама жизнь.

Нужны для тухты напористые предприимчивые бригадиры, но ещё нужней, ещё важней — производственные начальники из заключённых. Десятников, нормировщиков, плановиков, экономистов, их было немало, потому что в тех дальних местах не настачишься вольных. Одни ээки на этих местах забывались, жесточели хуже вольных, топ-

тали своего брата-арестанта и по трупам шли к собственной досрочке. Другие, напротив, сохраняли отчётливое сознание своей родины — Архипелага, и вносили разумную умеренность в управление производством, разумную долю тухты в отчётность. Это был риск для них: не риск получить новый срок, потому что сроки и так были нахомучены добрые и статья крепка, — но риск потерять своё место, разгневать начальство, попасть в худой этап — и так незаметно погибнуть. Тем славней их стойкость и ум, что они помогали выжить и своим братьям.

Таков был, например, Василий Григорьевич Власов, уже знакомый нам по Кадыйскому процессу. Весь долгий срок свой (он просидел девятнадцать лет без перерыва) он сберёг ту же упрямую убеждённость, с которой вёл себя на суде, с которой высмеял Калинина и его помиловку. Он все эти годы, когда и от голода сох, и тянул ляжку общих работ, ощущал себя не козлом отпущения, а истым политическим и даже «революционером», как говорил в задушевных беседах. И когда благодаря своей природной острой хозяйственной хватке, заменявшей ему неоконченное экономическое образование, он занимал посты производственных придурков, — Власов не просто видел в этом оттяжку своей гибели, но и возможность всю телегу подпрavit так, чтобы ребятам тянуть было легче.

В 40-е годы на одной из Усть-Вымьских лесных командировок (УстьВымьЛаг отличался от общей схемы тем, что имел *одно* начальство: сам лагерь вёл лесоповал, учитывал и отвечал за план перед МинЛесом) Власов совмещал должности нормировщика и планика. Он был там голова всему, и зимой, чтобы поддержать работяг-повальщиков, приписывал их бригадам лишние кубометры. Одна зима была особенно суровой, от силы выполняли ребята на 60%, но получали как за 125%, и на повышенных пайках перестояли зиму, и работы ни на день не остановились. Однако, вывозка «поваленного» (на бумаге) леса сильно отставала, до начальника лагеря дошли недобрые слухи. В марте он послал в лес комиссию из десятников — и те обнаружили недостачу восьми тысяч кубометров леса! Разъярённый начальник вызвал Власова. Тот выслушал и сказал: «Дай им, начальник, всем по пять суток, они неряхи. Они поленились по лесу походить, там снег глубокий. Составь новую комиссию, я — председатель». Со своей толковой тройкой Власов, не выходя из кабинета, составил акт и «нашёл» весь недостающий лес. На время начальник успокоился, но в мае схватился опять: леса-то вывозят мало, уже сверху спрашивают. Он призвал Власова. Власов, маленький, но всегда с петушиным задором, теперь и отпираться не стал: леса нет. «Так как же ты можешь составить фальшивый акт, трам-тара-рам?!» «А что ж, лучше было бы вам самому в тюрьму садиться? Ведь восемь тысяч кубов — это для вольного червонец, ну для чекиста — пять». Поматюгался начальник, но теперь уже поздно Власова наказывать: им держится. «Что же делать?» — «А вот пусть совсем дороги развезёт». Развезло все пути, ни зимника, ни летника, и принёс Власов начальнику подписывать и отправил дальше в Управление техническую подробно обоснованную записку. Там докладывалось, что из-за весьма успешного повала леса минувшей зимой восемь тысяч кубометров не успели вывезти по санному пути. По болотистому же лесу вывезти их невозможно. Дальше приводился расчёт стоимости лежневой дороги, если её строить, и доказывалось, что вывозка этих восьми тысяч будет сейчас стоить дороже их самих. А через год, пролежав лето и осень в болоте, они будут уже некондиционные, заказчик примет их только на дрова. Управление согласилось с грамотными доводами, которые не стыдно показать и всякой иной комиссии, — и списало восемь тысяч кубов.

Так стволы эти были свалены, съедены, списаны — и снова гордо стояли, зеленея хвоей. Впрочем, недорого заплатило и государство за эти мёртвые кубометры: несколько сот лишних буханок чёрного, слип-

шегося, водою налитого хлеба. Сохранённая тысяча стволов да сотня жизней в прибыль не шла — этого добра на Архипелаге никогда не считали.

Наверное, не один Власов догадывался так мухлевать, потому что с 1947 года на всех лесоповалах ввели новый порядок: комплексные звенья и комплексные бригады. Теперь лесорубы объединялись с возчиками в одно звено, и бригаде засчитывался не поваленный лес, а — вывезенный на катище, к берегу сплавной реки, к месту весеннего сплава.

И что же? Теперь тухта лопнула? Нисколько! Даже расцвела! — она расширилась вынужденно, и расширился круг рабочих, которые от неё кормились. Кому из читателей не скучно, давайте вникнем.

1. От катища по реке не могут сплавлять заключённые (кто ж их будет вдоль реки конвоировать? бдительность). Поэтому на катище от лагерного сдатчика (от всех бригад) принимает лес представитель сплавной конторы, состоящей из вольных. Ну вот он-то и проявит строгость? Ничего подобного. Лагерный сдатчик тухтит, сколько надо для лесоповальных бригад, и приёмщик сплавконторы на всё согласен.

2. А вот почему. Своих-то, вольных, рабочих сплавконторе тоже надо кормить, нормы тоже непосильны. Весь этот не существующий приписанный лес плавконтора записывает также и себе как сплавленный.

3. При генеральной запони, где собирается сплавленный со всех повальных участков лес, располагается биржа — то есть выкатка из воды на берег. Этим опять занимаются заключённые, тот же Устьвымьлаг (пятьдесят два острова Устьвымьлага разбросаны по территории двести пятьдесят на двести пятьдесят километров, вот какой у нас Архипелаг!). Сдатчик сплавконторы спокоен: лагерный приёмщик теперь принимает от него обратно всю тухту: во-вторых, чтобы не подвести своего лагеря, который этот лес сдал на катище, а во-первых, чтобы этой же тухтой накормить и своих заключённых, работающих на выкатке (у них-то тоже нормы фантастические, им тоже *горбушка* нужна)! Тут уже приёмщику надо попотеть для общества: он должен не просто лес принять в объёме, но и реальный и тухтяной расписать по диаметрам брёвен и длинам. Вот кто кормилец-то! (Власов и тут побывал.)

4. За биржею — лесозавод, он обрабатывает брёвна в пилопродукцию. Рабочие — опять эски. Бригады кормятся от объёма обработанного ими круглого леса, и «лишний» тухтяной лес как нельзя кстати поднимает процент их выработки.

5. Дальше склад готовой продукции, и по государственным нормам он должен иметь 65% объёма принятого лесозаводом круглого леса. Так и 65% от тухты видимо поступает на склад (и мифическая пилопродукция тоже расписывается по сортам: горбыль, деловой; толщина досок, обрезные, необрезные...). Штабелюющие рабочие тоже подкармливаются этой тухтой.

Но что же дальше? Тухта упёрлась в склад. Склад охраняется Вохрой, бесконтрольных «потерь» быть не может. Кто и как теперь ответит за тухту?

Тут на помощь великому принципу тухты приходит другой великий принцип Архипелага: принцип резины, то есть всевозможных оттяжек. Так и числится тухта, так и переписывается из года в год. При инвентаризациях в этой дикой архипелажной глуши — все ведь свои, все понимают. Каждую досочку ради одного счёта тоже руками не поребросишь. К счастью, сколько-то тухты каждый год «гибнет» от хранения, её списывают. Ну снимут одного-другого завскладом, перебросят работать нормировщиком. Так зато сколько же народу покорилось!

Стараются вот ещё: грузя доски в вагоны для потребителей (а приёмщика нет, вагоны потом будут разбрасывать по разнарядкам) — грузить и тухту, то есть приписывать избыток (при этом кормятя и погрузочные бригады, отметим!). Железная дорога ставит пломбу, ей дела нет. Через сколько-то времени где-нибудь в Армавире или в Кривом Роге вскроют вагон и оприходуют фактическое получение. Если недогруз будет умеренный, то все эти разности объёмов соберутся в какую-то графу, и объяснять их будет уже Госплан. Если недогруз будет хамский — получатель пошлёт Устьвымьлагу рекламацию, — но рекламации эти движутся в миллионах других бумажек, где-то подшируются, а со временем гаснут, — они не могут противостоятя людскому напору жить. (А послать вагон леса назад никакой Армавир не решится: хватай, что дают, — на юге леса нет.)

Отметим, что и государство, МинЛес, серьёзно использует в своих народнохозяйственных сводках эти тухтяные цифры поваленного и обработанного леса. Министерству они тоже приходится кстати¹²⁴.

Но, пожалуй, самое удивительное здесь вот что: казалось бы, из-за тухты на каждом этапе передвижки леса его должно не хватать. Однако приёмщик биржи за летний сезон успеваеет столько приписать тухты на выкатке, что к осени у сплавконторы образуются в запонях реальные *избытки* леса! — до них руки не дошли, норму набрали и без них. На зиму же их так оставить нельзя, чтоб не пришлось весной звать самолёт на бомбёжку. И поэтому этот «лишний», уже никому не нужный лес поздней осенью *спускают в Белое море!*

Чудо? диво? Но это не в одном месте так. Вот и в Унжлаге на лесоскладах всегда оставался «лишний» лес, так и не попавший в вагоны, и уже не числился он нигде!.. И после полного закрытия очередного склада на него ещё много лет потом ездили с соседних ОЛПов за бесхозными сухими дровами и жгли в печах окорённую рудстойку, на которую столько страданий положено было при заготовке.

Чтоб этих избытков у вольных сплавщиков не образовывалось, — с лагпункта Талага Архангельской области посылали команды расконвоированных уголовников, — и они отбивали тайком у них плоты, перехватывали: то есть воровали в пользу лагеря добытый лагерем же лес, но пока он находится у вольных. И ежегодно планировалось изготовление мебели из... ворованной древесины.

И всё это — затея как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не — ограбить государство.

Нельзя государству быть таким слишком лютым — и толкать поданных на обман.

Так и принято говорить у заключённых: *без тухты и аммонала не построили б Канала.*

Вот на всём том и стоит Архипелаг.

¹²⁴ Так и тухта, как многие из проблем Архипелага, не помещается в нём, а имеет значение общегосударственное.

(Окончание следует)



СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

★

ИЗ ДУХОВНЫХ СТИХОВ

Стих об уверении Фомы

Глубину Твоих ран открой мне,
покажи пронзенные руки —

сквозные раны ладоней,
просветы любви и боли.

Я поверю до пролития крови,
но Ты утверди мою слабость:

блаженны, кто верует, не видел,
но меня Ты должен приготовить.

Дай коснуться отверстого
Сердца,
дай осязать Твою тайну,

открой муку Твоего Сердца,
сердце Твоего Сердца.

Ты был мертв и вот жив вовеки,
в руке Твоей ключи ада и смерти;

блаженны, кто верует, не видел,
но я ни с кем не поменяюсь.

Что я видел, то видел,
и что осязал, то знаю:

копье проходит до Сердца
и отверзает его навеки.

Кровь за кровь и тело за тело,
и мы будем пить от чаши;

блаженны свидетели правды,
но меня Ты должен приготовить.

В чуждой земле Индийской,
которой отцы мои не знали,

в чуждой земле Индийской,
далеко от родимого дома,

в чуждой земле Индийской
копье войдет в мое тело,

копье пройдет мое тело,
копье растерзает мне сердце.

Ты назвал нас Твоими друзьями,
и мы будем пить от чаши,

и путь мой на восход солнца,
к чуждой земле Индийской,—

и все, что смогу я припомнить
в немощи последней муки:

сквозные — раны — ладоней
и бессмертно — пронзенное —
Сердце.

* * *

Он сказал им: довольно.

Лука. 22:38.

Что нам делать, Раввуни, что нам делать?
Пять тысяч взалкавших в пустыне —
а у нас только две рыбы,
а у нас только пять хлебов?

Но Ты говоришь: довольно —

Что нам делать в час посещения,
где престол для Тебя, где пурпур?
Только ослица с осленком
да отроки, поющие славу.

Но Ты говоришь: довольно —

Иерей, Иерей наш великий,
где же храм, где золото и ладан?
У нас только горница готова
и хлеб на столе, и чаша.

Но Ты говоришь: довольно —

Что нам делать, Раввуни, что нам делать?
На Тебя выходят с мечами,
а у нас два меча, не боле,
и поспешное Петрово рвенье.

Но Ты говоришь: довольно —

А у нас — маета, и морок,
и порывы, никнущие втуне,
и сознание вины неключимой,
и лица, что стыд занавесил,
и немощь без меры, без предела.
Вот что мы приносим, и дарим,
и в Твои полагаем руки.

Но Ты говоришь: довольно —

Стих о святой Варваре

Диоскор говорит к Варваре,
к дочери обращает слово:

— Варвара, дочь моя, Варвара,
я велю рабам выстроить башню.

У самого берега моря
башню для твоего девства.

Рабы мои выстроят башню
по мысли своего господина.

Два окна они в башне устроят,
одно — на сушу и одно — на
море:

одно — во славу богов суши,
одно — во славу богов моря.

Таков приказ господина,
смерть — кара заслушанье.

— Диоскор, Диоскор, отец мой,
что увижу я в окна башни?

— В окно ты увидишь сушу,
в другое увидишь море.

Косны устои суши,
буйны пучины моря.

Род приходит, и род проходит,
но земля и море — вовеки;

что было, то и будет вечно,
и нет нового под солнцем.

— Диоскор, Диоскор, отец мой,
что увижу я в окна башни?

— Большие звери терзают малыя
на суше и в пучине моря;

кривого прямым не сделать,
и человек — злее зверя.

Сердца людей — жесткие камни,
и слава Кесаря — над миром.

Рука его легла на сушу,
другая рука — на море.

— Диоскор, Диоскор, отец мой,
что услышу я в окна башни?

— Услышишь, как поют на свадьбе,
услышишь, как воют над гробом.

Богатый и бодрый пляшет,
убогий и хворый плачет.

Голос сильного — грозен,
голос слабого — робок.

Голос Кесаря — над миром,
и никто ему не прекословит. —

Диоскор уехал из дома,
в доме — дочь его Варвара.

— Рабы отца моего Диоскора,
примите от меня ласку.

Я накормлю вас досыта
и сама послужу вам на пире,

я сама вам ноги омою
и вынесу отборные яства;

после отпущу вас на волю
на четыре стороны света.

Только сотворите мне милость,
три окна мне устройте в башне,

во имя Отца и Сына
и Господа Святого Духа. —

Диоскор в дом свой вернулся
и на третье окно дивится:

— Варвара, дочь моя, Варвара,
что в третье окно ты видишь?

— Я вижу в рубище славу
и свет — в темнице
непроглядной.

Рабы ликуют в оковах,
и дитя смеется под розгой.

До крови, до кости, до боли,
до конца и без конца — радость.

И земля, и море проходит,
но любовь пребывает вовеки.

— Варвара, дочь моя, Варвара,
что в третье окно ты видишь?

— Я вижу лицо Друга
за сквозными просветами ставней:

на челе Его — кровавые росы,
и в кудрях Его — влага ночи.

Голова Его клонится тяжело,
и нет ей на земле покоя.

Я отворила Ему сердце,
я вкусила от ломимого хлеба.

— Варвара, дочь моя, Варвара,
что в третье окно ты слышишь?

— Я слышу, как поет дева
в руках мучителей, в темнице:

отнята ее земная надежда,
и Жених ее с нею навеки.

И никто не научится песни,
что поют перед престолом Агнца;

кто однажды ее услышал,
пойдет за нею навеки.

— Варвара, дочь моя, Варвара,
меч мой творит Кесаря волю.

Моею отцовскою рукою
сотворю я Кесаря волю.

— Да будет воля Отца и Сына
и Господа Святого Духа!

* *
* *

Неотразимым острием меча,
Отточенного для последней битвы,
Да будет слово краткое молитвы
И ясным знаком — тихая свеча.

Да будут взоры к ней устремлены
В тот недалекий, строгий час возмездья,
Когда померкнут в небесах созвездья
И свет уйдет из солнца и луны.

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН

★

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ ЭКОНОМИКИ

1

Развал торгвозли — несомненно самая характерная и опасная мета времени. Ни одна живая душа не знает, какой товар исчезнет с прилавков завтра или на следующей неделе. Вот я побывал у родственников в Кировской области. Земляки хлопотливо запасаются солью и спичками, как перед войной. Областная газета растолковала, что добра этого на складах полно, а будет еще больше. Статью зачитали по радио. В селе Филиппово около автобусной станции я заметил старушечку с кошелкой соли. Спрашиваю: зачем столько? Собеседница, видно, приняла меня за какого-нибудь начальника, готового отобрать ее добычу, и понесла вздор насчет того, что солью она кормит корову. Вмешался прохожий: «Чего вяжешься к человеку? Радио надо слушать — тебе же русским языком сказали, что в магазинах ничего не будет». Если и дальше так, пожалуй, не дивом станет встретить на дорогах отечества одинокого путника с пудовой гирей, приобретенной про запас.

Чтобы овладеть ситуацией, в запасе у нас разве что месяцы. Когда эти строчки перейдут на восхитительно пахнущий типографский лист, многое успеет проясниться. Дай-то бог, чтобы я попал с прогнозом пальцем в небо, но покамест события идут вразнос — углубляется пропасть между денежной и товарной массами на потребительском рынке.

Роковым в этом смысле стал 1988 год. Среднемесячную зарплату рабочих и служащих планировали увеличить на 4 рубля, фактически она поднялась на 14 рублей. Умножьте прибавку на двенадцать месяцев, умножьте результат на 117,5 миллиона работников — вот вам уже без малого 20 миллиардов добавочных рублей. Кроме того, почти в 4 раза быстрее, чем намечалось, росла среднемесячная оплата труда колхозников, увеличивались другие выплаты. На потребительский рынок хлынула лавина денег.

На первый взгляд он достойно выдержал этот натиск: в 1988 году населению продано товаров на 25 миллиардов рублей больше, нежели годом раньше. О рекордном приросте товарооборота нам сообщили с гордостью. Еще бы! За 1986 и 1987 годы, вместе взятые, выручка от продажи товаров поднялась на 17,3 миллиарда, а тут сразу на 25 миллиардов, или по 300 с лишним рублей на семью из четырех человек. При такой раскладке жизнь должна была заметно улучшиться, однако мы, потребители, этого не ощутили. Значит, тут что-то не так.

Выясним для начала, за счет чего рос товарооборот. Публицисты по привычке пишут, что наша легкая промышленность взяла моду производить немодное. Обувь на душу в избытке, а на ноги не подберешь, одежды напасено горы, а покупатель ищет заграничные джинсы и платит за них столько, сколько за приличный транзистор. Успокойтесь, такого больше не наблюдается, с этой болячкой мы успешно справились. С магазинных полок, как корова языком, слизывают все — залежалое, модное, дорогое, дешевое. За три последних года запасы товаров в торговле сократились примерно на 17 миллиардов, и сегодня по многим изделиям они ниже норматива. Хорошего мало, когда торговля работает с колес — сегодня кастрюльки выбросили, завтра пиджаки.

Все же распродажей запасов можно объяснить лишь меньшую часть прибавки товарооборота. Неиссякаемым источником увеличения выручки стал рост розничных цен. Приглядимся к этому явлению. В прошлом году продажа мяса и мясoproдуктов в государственной и кооперативной торговле поднялась на 5 процентов. Прекрасно, не правда ли? Но увеличение исчислено не в килограммах, а в рублях выручки. Между тем средняя цена покупки выросла на 4 процента. Выходит, что количество проданного продукта увеличилось лишь

на процент. А поскольку на тот же процент прибавилось населения, продажа в расчет на душу сохранилась на прежнем уровне, с той лишь разницей, что мы с вами стали больше платить. Механизм этой маленькой хитрости прост: достаточно передать колбасу, например, из государственных магазинов в кооперативные, как цена ее подскочит вдвое. Впрочем, с мясopодуктами хоть то хорошо, что продажа их не сократилась. С другими товарами ситуация менее благополучна.

Возьмем одежду, белье, ткани. Средние цены покупок по этой товарной группе выросли за год на 10 процентов. Если бы товаров продали в точности столько, сколько годом раньше, выручка тоже увеличилась бы на 10 процентов. А она поднялась лишь на 4 процента. Следовательно, продажа одежды и белья в штуках, тканей в метрах упала за год примерно на 6 процентов. Обувь подорожала на 8 процентов, благодаря чему удалось увеличить выручку при сокращении продажи в натуре на 4 процента. В 1988 году холодильников произведено на 268 тысяч больше, чем в 1980-м, а продано на 313 тысяч меньше. Эти приборы продавали за рубеж, а дома подняли цену — и выручка увеличилась. Продажа сахара, маргарина, картофеля, фруктов, фотоаппаратов, мотоциклов, легковых автомобилей, лесоматериалов сократилась в прошлом году настолько, что потерю выручки не удалось перекрыть даже ростом цен. В целом три четверти годовой прибавки товарооборота объясняются повышением средних розничных цен.

Чего действительно на прилавках прибавилось, так это водки. При утверждении бюджета на 1988 год планировали сократить выручку от продажи спиртного на 11,5 миллиарда рублей, на деле она на 3 миллиарда выросла. В первом квартале нынешнего года во славу непросыхающего бюджета продажа водяры увеличилась почти в 1,4 раза! Историки экономики когда-нибудь, вероятно, включат в хрестоматию описание этого гениального маневра. Под предлогом борьбы с пьянством цену на водку удвоили и одновременно сократили продажу спиртного. Образовались дикие очереди, невиданный размах приобрела спекуляция. Когда недозволение достигло пика, власти пошли навстречу законным интересам широких пьющих масс: довольно, мол, унижать достоинство советского человека очередями. В восторге мы с вами: пей — не хочу. В восторге финансисты: поступления в казну от водки удвоятся сравнительно с теми, которые были до повышения цен. По потреблению крепких напитков мы уже занимаем с большим отрывом первое место среди 28 развитых стран, расходы на них поглощают 13 процентов семейного бюджета, а в США, например, — 1,5 процента. Борьба с пьянством свелась в конечном счете к меньшему потреблению закусок. Не стану утверждать, что так все и задумывалось, но в экономике важны ведь не намерения, а результаты.

Как видим, рекордный рост товарооборота в 1988 году имел своими источниками нездоровые факторы: распродажу запасов, галопирование цен и спаивание покупателей. Однако даже этиги крутыми мерами не удалось выкачать розданные населению деньги. Одержан еще один рекорд. В 70-е годы вклады в сберкассы прирастали ежегодно в среднем на 11 миллиардов рублей, в первой половине 80-х — на 13 миллиардов, а потом как с цепи сорвались: за один прошлый год они подскочили на 30,6 миллиарда. Попробуем опять проанализировать эти цифры. К экономическому явлению полезно подходить как к незнакомому человеку: взглянем на него по-хорошему, по-доброму, а уж не выйдет, тогда по-плохому. Может, оно и недурно, что сбережения растут, — как воспето в рекламе: кучу денег накопил, все, что надо, накопил? Да нет, не получается так при всем желании.

Чем обеспечены вклады? В 1960 году на книжках лежало 10,9 миллиарда рублей, а запасы товаров в торговле оценивались в 24,5 миллиарда. Если бы вкладчики разом пустили в оборот отложенные деньги, товаров не только хватило бы на всех, а был бы еще и выбор. Спустя десятилетие сумма вкладов и стоимость запасов сравнялись, стало быть, обеспеченность все же наблюдалась, но однократная. К исходу прошлого года вклады выросли почти до 300 миллиардов, тогда как товарные запасы упали до 81 миллиарда рублей. Легко подсчитать: лишь немногим более четверти учтенных сбережений обеспечены каким ни на есть товаром, остальные три четверти подкреплены честным благородным словом государства и ничем больше!

Таким образом, годовой прибавки денежных доходов оказалось достаточно для двух

¹ Экономист В. Н. Богачев в статье «Еще не поздно» («Коммунист», 1989, № 3) обратил внимание на такой факт: начиная с 1966 года неуклонно растет та часть прибавок денежных доходов, которую население не имеет возможности истратить и вынуждено складывать на сберкнижки. По его расчетам в 1976—1979 годах, а затем с 1984 года и по сей день вклады увеличиваются на большую сумму, чем весь прирост денежных доходов. Нисколько не оспаривая коренную мысль ученого, рискну выска-

рекордов разом: для оплаты неслыханного фиктивного прироста товарооборота и для небывалого увеличения пустых вкладов в сбербанки. Это сколько же денег надо было напечатать, чтобы их хватило и туда и сюда! Темпы эмиссии потрясают воображение: в 1988 году бумажных денег выпущено в 2 раза больше, чем в 1987-м, и в 4 раза больше, нежели печатали в среднем за год в прошлой пятилетке. Такой порчи рубля не наблюдалось с военных времен.

Ныне на потребительский рынок обрушился новый денежный вал. За прошлый год средняя месячная зарплата рабочих и служащих увеличилась с 203 до 217 рублей, что, как уже сказано, прибавкой товарной массы не подкреплялось. В первом квартале нынешнего года средняя зарплата подскочила до 234 рублей. Она растет в 10,4 раза быстрее, чем предусмотрено планом на год, а оплата труда колхозников увеличивается в 5 раз быстрее. Понятно, средние цифры они и есть средние. Хуже всех тем, кто на окладе, пенсионерам и прочим лицам с фиксированным доходом: денег у них почти не прибавляется, а покупательная сила рубля иссякает.

По всему видно, что прежние рекорды будут далеко превзойдены: даже если процессы не станут ускоряться, товарооборот фиктивно возрастет как минимум на 31 миллиард рублей, вклады в сбербанки — на 43 миллиарда. «Продолжается неуправляемый рост доходов населения. Вновь пришлось прибегнуть к эмиссии денег», — меланхолично заявил министр финансов.

2

Розничные цены выросли в прошлом году процентов на 8. Некоторые американские советологи поднимают эту цифру до 15—20 процентов. Неприятно, что и говорить, но не тут главная беда. В конце концов есть страны, где инфляция исчисляется десятками процентов — и ничего, живут. У нас инфляционные процессы приняли самую грозную форму. Катастрофически пустеют магазины, товар зачастую невозможно купить за любые деньги.

На карту поставлено все. Костлявая рука товарного голода вполне способна задушить перестройку, а с нею и наши надежды на лучшую долю. Нам, потребителям, уже не какой-то там отпетый ретроград, а сама житейская повседневность прозрачно намекает: вы хотели перестройки? вот и хлебайте ее ложками того размера, какими они будут при полном коммунизме, с пустых прилавков. Ученые люди тоже не могут не замечать связи между преобразованиями в экономике и товарно-денежной несбалансированностью. Отсюда идея: если прежние условия хозяйствования при всех их минусах таких последствий не принесли, то не вернуться ли к ним? На время, конечно, на время! Наш ведущий экономист академик Л. Абалкин разработал на сей счет обстоятельный план: отложить на три-четыре года реформы в экономике, за этот срок посредством чрезвычайных мер овладеть ситуацией, оздоровить финансы, а уж потом в благоприятных условиях постепенно совершенствовать хозяйственный механизм, имея в виду завершить эту работу примерно к 2000 году. В газете «Правительственный вестник» (1989, № 3) академик так и пишет: «Ситуация толкает к тому, чтобы вернуться назад, к командной системе».

Идея пришла к двору. Другой академик, В. Семенихин, весьма похвалив коллегу, развивает его мысль: «На переходном этапе, в условиях несбалансированной промышленно-сти и экономики в целом, только путем централизованного номенклатурного планирования, но не волевого и, естественно, не в «сталинской» и не в «брежневской» трактовке, возможно в наиболее короткие сроки выправить экономику...» Автор предлагает планировать производство не только конечной продукции по госзаказам, но и «поставки всех необходимых для ее производства входящих изделий и материалов». Тут уж впору говорить не о возврате к командно-административной системе, а о дальнейшем ее углублении, универсализации. Именно в таком духе в последние месяцы приняты важные директивы (о них речь впереди).

Спрашивается, способна ли командная система стабилизировать положение в экономике, решить самую неотложную сегодняшнюю задачу — оздоровить финансы? Не будем

зять сомнение в точности расчетов. Если на книжки поступала вся денежная прибавка, то чем оплачивался прирост товарооборота? А он, как мы убедились, исчисляется десятками миллиардов. Здесь не имеет значения, возрастал ли товарооборот за счет реальных продаж или вследствие повышения розничных цен, — в любом случае товар оплачен наличными. Разве что пущены в оборот деньги из чулка? Вместе с тем и по моим расчетам главным источником прибавок товарооборота служило повышение цен, так что можно согласиться с автором, когда он остроумно замечает: «Благосостояние росло лишь в абстрактной денежной форме».

гадать, обратимся к истории. Как ни странно, ответ на эти вопросы будет положительным. Нынешнее плановое управление в наиболее существенных чертах сложилось в 30-е годы. Тогда на потребительском рынке действовали две противоположные тенденции: ситуация с денежной массой должна была развиваться в одну сторону, с массой товаров — в обратную. То был период индустриализации. Как ясно уже из самого этого слова, ускоренно, приоритетно развивалась индустрия, ресурсы для нее черпали из сельского хозяйства. В самой индустрии упор сделали на тяжелую промышленность в ущерб отраслям, работающим непосредственно на человека. В итоге в общем объеме производства стремительно падала доля предметов потребления, важнейших товаров выпускали все меньше и меньше. Потребительский рынок скукоживался.

А что тем часом происходило с деньгами? Десятки миллионов человек перемещались из сельского хозяйства в промышленность, строительство, на транспорт. В 1932 году сравнительно с 1929-м численность рабочих и служащих удвоилась. Эти люди стали жить на зарплату. Масса наличных денег должна была многократно возрасти. Последствия известны: гонка цен, очереди, рационарование потребления. Все это было, однако инфляционные процессы оказались не столь катастрофическими, как следовало ожидать. Финансовая система обязана была просто рухнуть, подобно тому как она развалилась в период «военного коммунизма» (в ту пору масса денег исчислялась квадрильонами, миллионные купюры печатались едва ли не на оберточной бумаге). Историки давно заметили сходство экономических моделей «военного коммунизма» и 30-х годов. Однако в одном случае финансовый крах произошел, в другом — нет. Различие принципиальное: развал финансов в с е г д а означает и распад экономики, поскольку состояние денежного обращения точно отображает состояние хозяйства. Финансовая система периода индустриализации все-таки выдержала проверку.

Этот феномен требует объяснения. Спасло финансы, а стало быть, и экономику величайшее открытие режима: нищета масс может стать источником могущества державы. Подобно тому как потребление на душу населения мыслимо поднять либо приростом жизненных благ, либо сокращением числа душ, так и для товарно-денежной сбалансированности необязательно расширять производство товаров. Той же цели мы достигнем, не раздавая на руки денег.

Государство широко практиковало бесплатный труд. В классической форме — это лагерь. Несомненно, лагерники составляли большинство в составе строителей, золотодобытчиков, огромную долю среди углекопов, лесорубов... Зарплату они не получали, а стало быть, и не предъявляли ее к отовариванию. Конечно, расходы были и на них, но воспроизводство рабочей силы обходилось тем дешевле, что и не требовалось длительный срок поддерживать ее в нормальном состоянии — достаточно было исчерпать ресурсы человеческого организма, дарованные природой. Когда телесные резервы кончались, естественным образом прекращались и расходы казны на содержание человека. Взамен тех, кто выбыл в лучший мир, поступали новые спецконтингенты — по правилам расширенного воспроизводства рабочей силы.

Свыше двух третей населения составляли тогда сельские жители. Работая в колхозах «за палочки», труженики села практически тоже не получали денег — им позволили кормиться за счет труда в свободное время на приусадебных участках. Более того, чтобы уплатить денежные налоги, крестьяне вынуждены были продавать часть продукции личного хозяйства на базарах. Они отсасывали изрядную сумму зарплаты горожан и сдавали ее в казну. Таким образом, громадное большинство населения страны (крестьяне плюс зеки) не имело нахальства давить денежными доходами на потребительский рынок по той основной причине, что давить было нечем. Вот почему финансовая система выдержала суровое испытание.

Из нашего анализа следует, между прочим: сама по себе товарно-денежная сбалансированность необязательно благо для человека. Сегодня ее нет, а живем все же лучше, чем до войны, когда товар и деньги более или менее уравнивались.

Если перевести эти гуманитарные рассуждения в финансово-экономические категории, то картина будет такова. Созданный в сфере материального производства национальный доход включает в себя зарплату и, так сказать, пририск (прибыль и ренту). Замечено, что доля зарплат в большинстве стран весьма устойчива и колеблется в пределах 60—80 процентов от всего дохода. Так было и у нас до начала ускоренной индустриализации. В промышленности, например, в 1928 году зарплата занимала свыше 58 процентов суммы национального дохода, произведенного в индустрии. В дальнейшем эта доля быстро падала и к закату сталинской эры, в 1950 году, снизилась до 33,4 процента. Иначе говоря, лишь треть

рабочего времени человек трудился непосредственно на себя. В тот же период, подобно шагреновой коже, сокращалась и доля предметов потребления в общем объеме производства. Процессы взаимно уравновешивались, что и обеспечивало относительную устойчивость денежной системы.

Разумеется, ситуация не была одинаковой шестьдесят лет подряд. Наблюдались перепады — от развала денежного обращения в военные годы (что вполне объяснимо) до заметного оздоровления финансов (лучшим периодом в этом смысле были 50-е годы). Однако общие тенденции развития сохранились вплоть до нынешнего распада рынка. Итак, исторический опыт учит: да, командная система способна поддерживать стабильные финансы, способна упреждать разнотык между денежной и товарной массой, но исключительно за счет директивного планирования нищенского уровня жизни. Неизбежная при ее господстве крайняя неэффективность экономики не очень препятствует достижению амбициозных целей государства, претензиям на мировое лидерство по той причине, что растраченное при дурном хозяйствовании удавалось (по крайней мере до последнего времени) возмещать сокращением пая трудящихся в произведенном продукте.

Нам, правда, толкуют: верно, денежные доходы населения пока невысоки, но ведь и цены на жизненно необходимые товары поддерживаются на низком уровне благодаря государственным дотациям. А в развитых странах такой статьи расходов у казны практически не существует, и там продукты, например, дороже, чем у нас. Но что это вообще означает: дорого, дешево? Сравнительно с чем? В политэкономическом смысле одно и то же — сказать ли, что зарплата мала или что цены высоки. Честный способ определить дешевизну или дороговизну — это подсчитать, сколько времени надо работать, чтобы купить тот или иной товар (если он, конечно, есть в продаже). По такой мерке мясо нашему работнику обходится дороже, чем, скажем, американцу, в 10—12, птица — в 18—20, масло — в 7, яйца — в 10—15, хлеб — в 2—8 раза и т. д. Даже плата за равноценное жилье у нас много выше.

Есть и такое суеверие: да, непосредственно на себя человек трудится лишь треть рабочего времени, но это ни о чем еще не говорит — весьма крупная часть изъятого возвращается трудящимся через общественные фонды потребления. А они у нас велики не в пример другим странам — вспомните бесплатное образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и прочие льготы. Но вот недавно экономист А. Зайченко опубликовал расчеты: в США и большинстве стран Западной Европы в общественные фонды потребления поступает более весомая доля национального дохода, чем у нас. Заметьте, до 1 я. Абсолютные же суммы просто несопоставимы. Так, Америка при меньшей численности населения в 1985 году расходовала на образование 178,6 миллиарда долларов, мы — 37,9 миллиарда рублей, на здравоохранение соответственно 174,8 и 20, на социальное обеспечение и страхование — 458,3 и 61,1.

Такова практика командной экономики. А кто зовет нас вернуться к ней ради оздоровления финансов, тот, в сущности, предлагает упредить развал за счет трудящихся, ибо других способов плановая система не знала, не знает и знать не будет. И если даже предположить, что нынешние трудности вызваны отказом от нее, все равно позади спасения нет. По всей вероятности, мы как-то не так отказались от старого, в самом процессе перестройки сделали что-то не то, допустили где-то роковые просчеты. Эти ошибки надо непременно найти — тогда, исправив их, можно будет пойти вперед, а не назад. Но тут мне надо вернуться к началу перестройки.

3

В апреле 1985 года к руководству страной пришли новые люди. Они знали болячки экономики и в отличие от предшественников прямо и честно сказали об истинном положении вещей. Оценим по достоинству их мужество. Сложнее обстояло дело с положительной программой, с ответом на извечный вопрос: что делать? На первых порах перестройка не выдвинула принципиально новых конструктивных идей. Начальный ее этап я бы назвал периодом технологического романтизма.

Ход мысли был прост. Мы отстали в главном — в научно-техническом прогрессе. Революции в этой сфере идут вал за валом. В развитых странах активную часть основных производственных фондов обновляют раз в семь—десять лет — выжимают из техники все, пускают ее в переплавку, а взамен устанавливают новое поколение оборудования. Мы делаем это раз в двадцать—двадцать пять лет, причем новая техника зачастую мало отличается от старой. На таком оборудовании получить современную продукцию нельзя. Значит, ключевой вопрос — перевооружение народного хозяйства.

Подлость жизни состояла, однако, в том, что нечего было и думать за короткий срок, за какие-нибудь пять лет, перевооружить все отрасли. Довольно-таки жалкое существование влачила та ветвь индустрии, которая и дает орудия труда, то есть машиностроение. Поэтому решено было отвести целую пятилетку перевооружению и ускоренному развитию машиностроения, с тем чтобы в последующие периоды эта обновленная и окрепшая отрасль в достатке обеспечивала все народное хозяйство современной техникой. «Словом, задача подъема советского машиностроения — это магистральное направление нашего развития, и его надо твердо выдерживать сейчас и в будущем», — объявил М. С. Горбачев в июне 1985 года.

Наметки в этом смысле приняли весьма размашистые. Предстояло спрессовать в короткий временной отрезок целую эпоху развития отечественного машиностроения. Но дело не только в количестве — наметили, что 90 процентов продукции, выпускаемой отраслью, в 1990 году должно соответствовать мировому уровню. Вся вновь осваиваемая техника по производительности и надежности обязана в 1,5—2 раза превосходить выпускавшуюся тогда продукцию. Таких прорывов мировая практика не знала.

Но и это далеко не все. На июньском Пленуме ЦК КПСС в 1986 году М. С. Горбачев так очертил предстоящую работу: «В последнее время мы приняли крупные меры по кардинальным вопросам развития экономики. Имеются в виду постановления по коренной реконструкции металлургии, дальнейшей химизации народного хозяйства...» В докладе Н. И. Рыжкова на XXVII съезде сказано: «...особое внимание будет уделено топливно-энергетическому комплексу». А там еще аграрный сектор, лесная промышленность, транспорт — и все безотлагательно.

Под эту программу понадобились колоссальные деньги. «Где их взять? — размышлял М. С. Горбачев на представительном совещании в июне 1985 года. — Принципиальный ответ таков: намечаемые меры по ускорению научно-технического прогресса должны сами себя окупить. Они для того и проводятся, чтобы поднять производительность труда, а значит, ускорить и рост национального дохода. Но для этого потребуются определенное время, а средства нужны немедленно. И здесь не обойтись без маневра ресурсами, концентрации их на ключевых направлениях». Капитальные вложения в машиностроение решили почти удвоить, а общая их сумма во всем народном хозяйстве определилась в триллион рублей. Чтобы выйти на эту цифру, пришлось прибегнуть к крайней мере — увеличить и без того неподъемную долю накопления в использованном национальном доходе, сократив соответственно долю потребления.

Решение тяжелое, но, в общем-то, для нас довольно привычное. Да и вся манера мышления была традиционной. Более трех десятилетий по долгу службы я наблюдаю, как рождаются наши хозяйственные планы, и участвую в скромном качестве газетчика в их обсуждении. При подготовке очередной пятилетки повторяется одна и та же история. Авторитетные плановики фиксируют наше отставание в ключевых отраслях хозяйства и делают вроде бы логичный вывод: так мы превратимся в третьеразрядную державу, в какую-нибудь Верхнюю Вольту с ракетами; давайте поднапряжемся, затянем потуже пояса, подравняемся в приоритетной отрасли с передовыми странами — словом, проскочим неприятный период, а уж потом, в следующих пятилетках, у нас будут отличные возможности для повышения уровня жизни. Так оно и шло. Менялись лишь приоритеты. Сперва считалось, что главное — догнать и перегнать всех на свете по производству металла, добыче топлива. Достигли — а экономика все равно отсталая. Потом Н. С. Хрущев корил плановиков: они, мол, надели стальные шоры, а того не видят, что никто уже в мире не меряет развитость страны по металлу — меряют по химии. Значит, давай химизацию. Теперь вот, оказывается, машиностроение приоритетно — оно быстренько вытащит нас из грязи в князи. Иначе говоря, в лучших традициях старины новое руководство вычленило ключевое звено, ухватившись за которое можно вытащить народное хозяйство из застойного болота.

Разумеется, мы, экономисты, сразу оценили и масштабы и невероятную сложность принятой программы. Ну, допустим, затянем пояса еще на одну дырочку и таким способом наскребем триллион рублей капитальных вложений на пятилетку, как задано в плане. Сумма астрономическая, но достаточна ли она для финансирования проектировок? Да, формально она на 19 процентов больше, чем истратили в предыдущем пятилетии. Однако расчеты, выполненные разными экономистами, все время давали примерно одинаковую цифру: стоимость строительства растет на 5 с лишним процентов в год, или примерно на 30 процентов за пятилетку. Значит, по покупательной способности помянутой триллион рублей не превзойдет сумму, израсходованную в пятилетке предыдущей, а планы приняты более грандиозные. Поэтому не удастся профинансировать многие проекты (не забудем: когда

выделяют средства на какой-то объект, делают не деньги, а те ресурсы труда, материалов, оборудования, которые лишь символически обозначаются рублями). Вот и мы с известным экономистом Г. Ханиным при обсуждении проекта пятилетки смогли предупредить через газету: то, что строили четверть века назад за миллион рублей, ныне требует трех миллионов, а это в планах не учтено. К сожалению, мы тогда не были услышаны. Таким образом, в саму материю плана были заложены грядущие финансовые дебалансы.

Положительная программа, выдвинутая новым руководством, была традиционной еще в одном отношении. Спрашивается: какая сила заставит работника исполнять исключительно напряженные проективки? На этот непростой вопрос М. С. Горбачев в июне 1985 года ответил так: «...главная установка сегодня — осуществить всеми мерами перелом в умах и настроениях кадров сверху донизу, сконцентрировав их внимание на самом важном — научно-техническом прогрессе. Требовательность и еще раз требовательность — вот главное, что диктует нам, коммунистам, сложившаяся ситуация». Что ж тут нового? Мы, неразумные, своей пользы, конечно, не понимаем. Нам бы щи погуще, а интересы страны властно диктуют совсем другой приоритет. Начальники это за нас выяснили. Будут они решительнее требовать, строже спрашивать — мы всё, как надо, и сделаем.

Эта увлекательная программа вошла бы в историю как очередная обреченная попытка единым махом выскочить из отсталости, если бы не одно обстоятельство: переменилась политическая ситуация в стране. Обстановка гласности позволяла обсудить предложенный проект и выдвинуть альтернативный вариант. Вот его суть. Человек рождается не для того, чтобы произвести много хороших машин. Перестройка никому не нужна, если она не обеспечит работнику достойной жизни. Между тем отечественная экономика в принципе не способна работать на человека — она обслуживает самое себя и только. Эта ее особенность видна из динамического ряда цифр хотя бы по промышленности. В 1928 году 60,5 процента всей промышленной продукции составляли предметы потребления и лишь остальные 39,5 процента — средства производства, то есть все «несъедобное». Соотношение по мировым меркам нормальное, можно сказать, почти классическое. В 1940 году эти цифры поменялись местами: 39 процентов продукции индустрии представляли собою потребительские товары и 61 процент — средства производства. Столь жесткую пропорцию можно как-то оправдать особенностями момента: страна стояла на пороге войны. Однако и в дальнейшем доля потребительского сектора сжималась. К 1985 году уже менее четверти промышленной продукции составляли товары для народа, свыше трех четвертей — «несъедобное».

В этих условиях провозглашенное ускорение развития теряло смысл. Да, в застойные годы прибавки национального дохода упали даже по официальному счету до 2—3 процентов. Решили поднять их до 5—6 процентов или того больше. Но чем будут наполнены цифры прироста? Опять металлом, танками, ракетами, тракторами, станками? Этого добра и так вдоволь. А мы с вами от ускорения мало чего выгадаем. Повисали в воздухе и великие планы. Ведь отнюдь не только в силу традиционного мышления инструментом реализации пятилетки провозгласили «требовательность и еще раз требовательность». Иного способа не оставалось: при сложившейся самоедской структуре экономики нельзя было задействовать материальные, денежные стимулы — чем прикажете стимулировать? Хуже того, новые планы с приоритетом машиностроения предreshали дальнейшее сокращение потребительского сектора, а значит, и возможностей стимулирования работников. Но тогда объективно, помимо желания плановиков требуется более энергичный административный нажим на людей-винтиков, другими приемами воздействия новая власть не располагала. Разве что в очередной раз призвать к энтузиазму, а это горячее израсходовали к той поре едва ли не до последней капли.

Так возник конкурирующий вариант действий, в главнейших пунктах противоположный официальной программе. Прежде всего приоритет предлагалось отдать не машиностроению, а потребительскому сектору хозяйства, иначе говоря, развернуть экономику от самообслуживания к человеку, к его нуждам. Этой цели мыслимо достичь лишь при перестройке структуры хозяйства в пользу производства предметов потребления, на что нужно время. В период структурной сдвиги темпы развития неизбежно замедлятся и могут стать даже минусовыми. Ну и бог с ними, с темпами, с процентами роста, не в них счастье.

На сей раз мы были услышаны, по крайней мере наполовину — в ходе пятилетки потребительский сектор хотя бы в замыслах был признан предпочтительным а рядом с машиностроением. По здравому смыслу навешивать на экономику, пораженную глубоким кри-

зисом, одновременно два приоритета немножко многовато, она и без того работала с перегревом, особенно в инвестиционном секторе. Но больно уж замысел обнадеживал — все тут одно с другим ладно стыковалось. Раз машиностроение станет давать современную технику, с помощью ее каждый работник сможет производить больше продукции. А теперь у него появится еще и интерес к тому: хорошие заработки будет чем отоваривать, поскольку производство предметов потребления тоже пропускать вперед.

На первый взгляд события так и развивались, набирая инерцию движения. Если за 1986—1987 годы национальный доход вырос на 21 миллиард рублей, то за один 1988-й — на 25 миллиардов. Вроде бы денег должно было хватить на все — и на колоссальную программу развития машиностроения, и на увеличение производства потребительских товаров, и на прочие нужды. Общий доход страны увеличился за 1988 год на 4,4 процента. Таких темпов мы давно не знали. Так что же, выходит, концепция ускорения не столь уж вздорна? Может, большие скачки приводят к развалу хозяйства в Китае или еще где-то, а у нас все иначе? Вдруг плановая система явила наконец свое могущество? Вот же цифры...

Проверим их, воспользовавшись новыми приемами анализа. Этими способами мы с экономистом Г. Ханиным пересчитали не так давно темпы развития экономики за длительный период. Получилось, что с 1928 по 1985 год национальный доход увеличился примерно в 7, а не в 86 раз, как утверждает официальная статистика. После того как мы опубликовали расчеты, работники Госкомстата и лично председатель комитета М. Королев опровергают нас и настаивают на своей цифре. Хотя методики счета напечатаны в научных изданиях, оппоненты не упускают случая попрекнуть, будто мы держим их в секрете. Назову здесь одну из них — пусть читатель решает сам, насколько она достоверна, а уж там пусть оценит, что же происходит в современной экономике.

В статистике существуют устойчивые зависимости между величинами. Их, эти зависимости, необязательно даже объяснять себе, достаточно заметить, и тогда по цифре безусловно верной мы легко уточним другую, в которой почему-либо сомневаемся. Объясню примером. В 1928 году у нас было произведено 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в 1985-м — в 308 раз больше. Учет электричества поставлен строго, ошибки исключены. За тот же период согласно официальной статистике национальный доход вырос в 86 раз. Эту цифру экономисты не раз подвергали сомнению. Но какова она в действительности? А не надо гадать. Возьмем за аналог США. В 1902 году энергетики начинали там примерно с той же базы (6 миллиардов киловатт-часов). В 1972 году выработка электричества увеличилась в те же 308 раз. Соответственно национальный доход поднялся в США при сопоставимом счете в 7 раз. Совершенно невероятно, чтобы при одинаковом росте производства электроэнергии практически в одном и том же диапазоне у них доход вырос в 7 раз, у нас — в 86. Резонно предположить, что и у нас он поднялся раз в 7.

Нетрудно, впрочем, заметить, что как по официальному, так и по нашему способу счета национальный доход растет медленнее, нежели выработка электроэнергии. Разумеется, соотношения этих величин не строго постоянны. В ответ на мировой энергетический кризис в США, например, за последнее десятилетие произошла подвижка в сторону менее энергоемких производств, и в итоге скорости роста дохода и выработки электричества сблизились. У нас, судя по отчетам, случилось нечто необъяснимое. В 1987 году производство электроэнергии поднялось на 4,1 процента, национальный доход — на 2,3. Соотношение, в общем-то, нормальное, привычное. И вдруг в следующем, 1988 году эти величины, можно сказать, поменялись местами: прибавка электричества — 2, дохода — 4,4 процента. Таких скачков не отмечено даже в экономиках гораздо менее инерционных, чем наша.

Чудес не бывает. Отчетная прибавка дохода явно завышена. Проверка другими способами подтверждает: в 1988 году мы скорее всего «сыграли по нулям» — не было ни прироста, ни убыли национального дохода. По отчету он вырос с 600 до 625 миллиардов рублей. Что же представляет собою прибавка? А ничего не представляет, за нею не стоят реальные потребительские стоимости, изделия в натуре. В сущности, мы произвели увеличенную цифру, не более того.

Попробуем выяснить происхождение этого статистического фантома.

История перестройки в экономике сводится пока к медленному продвижению мысли от технологического романтизма к идее рыночного, товарного производства. Объявив о революционном характере перемен, сами реформаторы, как мне представляется, не вполне

осознали еще, сколь радикальной должна быть эта революция сверху. Вдумаемся в новые постулаты, прокламированные вроде бы спроста.

У нас устарели орудия производства, ненормальна структура отраслей, низко качество рабочей силы. Другими словами, нас не устраивают производительные силы общества, запланировано их преобразовать. Не раз подчеркивалось, что и производственные отношения никуда не годятся, они сковывают развитие производительных сил. Наконец, мы имеем не тот тип государства, какой нужен, — предстоит создать новое, правовое государство. Но по теории производительные силы в единстве с производственными отношениями образуют способ производства, а производственные отношения (базис) вкупе с государством и прочими надстройками составляют общественно-экономическую формацию, или, что то же самое, социальный строй. Выходит, что нам предстоит изменить способ производства и социальный строй, ни более ни менее. Это не объявлено, но это следует из тех теорий, которых придерживаются реформаторы.

Однако что на что менять? Нельзя же поступить по-армейски: махнемся не глядя. Ученый и общественный деятель Ю. Афанасьев недавно высказал в печати мнение: то, что у нас построено, не является социализмом, его еще надо создать в будущем. В таком случае цель общества, перспектива развития понятна: от несоциализма к социализму. Что же, однако, построено у нас за семь десятилетий? Неужто, как пушкинская царица, мы породили не мышонка, не лягушку, а неведомую зверушку? О. Лаис и другие ученые энергично возразили: нет, при всех деформациях и негативных наслоениях наш общественный строй остался социалистическим. Если это так, то на что прикажете его менять? Ведь однозначно предписано: от социалистических идеалов отступать никому не дозволят. Тогда и речи не может быть о революционных преобразованиях, достаточно совершенствовать нынешнюю систему.

В самом деле, базисом общества служат производственные отношения. А это отношения собственности — проще сказать, кому принадлежат либо не принадлежат средства производства. Главный довод в пользу того мнения, что у нас построено не что иное, как социализм, именно таков: средства производства являются не частной, а общей, пусть пока государственной собственностью. Значит, как ни крути, какие оговорки ни делай, создание единоличных хозяйств на земле (или, по принятому у нас деликатному выражению, семейных ферм), институция акционерной собственности и иные радикальные преобразования в этом духе означали бы отступление от базисных основ общества. Вынужденное, оправданное обстоятельствами, но все-таки отступление, нечто вроде передышки на пути в коммунистический рай, где собственности, товарного производства, денежных интересов определенно не предусматривается.

Теоретики быстренько свернули дискуссию, почувствовав, очевидно, к каким нежелательным фундаментальным выводам она может привести. Общество этих выводов не приняло бы. Для одних они слишком радикальны — и по меньшему поводу звучали решительные голоса: «Не могу поступиться принципами». Другие, в их числе и ваш покорный слуга, опасаются теоретиков новой волны пуще, нежели консерваторов, по иной причине — семь десятилетий страну мяли, ломали, топтали, толкали в рай, а теперь либеральные мыслители объявляют: ее как-то не так толкали, мы, мол, покажем, как это надо делать по-настоящему, и создадим желанный строй с человеческим лицом. Не покажут ли нам новую кузькину мать, вот вопрос.

А пока мыслители спорили, жизнь требовала безотлагательных действий. У всех на памяти законы, принятые вопреки отчаянному сопротивлению административного аппарата. Этими актами провозглашены новые хозяйственные правила: формирование заводских планов по заказам покупателей, переход к оптовой торговле средствами производства, самофинансирование, определенная свобода ценообразования и, наконец, самостоятельность в использовании дохода, оставшегося после расчетов с казной. Проиграем для наглядности эти правила на примере одной небольшой отрасли.

Наша страна производит в 14 раз больше зерноуборочных комбайнов, чем США. Только неисправных машин стоит столько, сколько американская промышленность способна выпустить за семьдесят лет. Ясно, что производство этой техники у нас избыточно. В согласии с новыми правилами следовало поступить так: а ну-ка, товарищи с Ростсельмаша, с Красноярского завода, пробегитесь с шапкой по стране, соберите реальные заказы хозяйств, готовых оплатить вашу продукцию собственными деньгами (именно собственными — раз самофинансирование, то казенных денег на эти цели не будет). На то смахивает, что предприятия не набрали бы и четверти нынешней производственной программы.

Что же им делать, как кормиться? А вот это государства не касается. Экономика не собес. Можем дать не директиву, а всего лишь добрый совет. За три последних года населению роздано более 4 миллионов садовых участков. Попробуйте выпускать мини-тракторы. Если они будут приличными по качеству и доступными по цене, их, вероятно, станут расхватывать, как горячие пирожки. Не пойдет это дело — ищите другое. И обряцете — в конце концов, у нас ненасытный рынок, колоссальный неудовлетворенный спрос едва ли не на все товары. Какими же растями надо быть, чтобы бедствовать с заказами!

В такой ситуации кто хорошо работает, тот пусть много и получает. Заработки автоматически подкреплены реальным товаром, оплаченным покупателем. Больно уж просто? Это как посмотреть. На Ростсельмаше сегодня заняты десятки тысяч человек, на него работают еще два десятка предприятий в разных районах. И вот, представьте, прибывают люди на смену, а им говорят: отправляйтесь по домам, сегодня работы не будет — нет заказов, и за получкой тоже не трудитесь приходить. Но еще бы ничего, когда б после таких речей рабочий люд вывез свою дирекцию на тачках за проходную. Боюсь, по пути разнесут учреждения поважнее. Принято считать, будто коллективы предприятий жаждут самостоятельности, да вот административный аппарат узурпирует права в свою пользу. Бросьте, мало кому нужна самостоятельность. Это штука жесткая, беспощадная. Лишь умелым и работающим она обеспечивает достаток и достойную жизнь, остальных сурово учит уму-разуму.

Худо ли сегодня тем же комбайнстроителям? Протянул одну руку — вот тебе план, вот тебе госзаказы. Казна все покупает — выделит колхозам кредиты на оплату машин, потом долг спишет, и ладно. Протянул другую руку — изволь получить под план фонды на продукцию, которая тебе потребуется в производстве. Недодадут чего-то по фондам — и с тебя не спросят за план. А искать на оптовом рынке товары, налаживать связи с поставщиками — занятие хлопотное, рискованное.

Радикальных, тем более революционных перемен, которые не ущемляли бы ничьих интересов, в жизни не бывает. Уже первое и относительно простое новое правило, а именно — составление заводских программ по заказам покупателей, лишало легкой жизни да, скажем прямо, куска хлеба тех, кто планирует, и многих из тех, кто планы худо ли, хорошо ли исполняет. И реформаторы отступили. Нет, провозглашенные принципы формально не отменены, однако на практике производство по-прежнему планируют директивами сверху.

Но реформа отброшена не целиком. Одно чрезвычайно важное правило продолжает действовать: предприятия имеют право увеличивать денежные выплаты работникам, если растет стоимостной объем производства. Им задают определенный норматив — допустим, с каждого рубля товарной продукции тридцать копеек поступает в фонд оплаты труда. Чем больше нашлепал продукции, тем больше накапает по этому нормативу денег для раздачи на руки. Нужны изделия покупателю или нет, значения не имеет: раз они изготовлены по плану, оплата гарантирована. Фонды стимулирования тоже привязаны к стоимостным объемам производства, причем источником наполнения этих фондов служит прибыль. Интерес предприятий очевиден: вздувай производство в рублях и увеличивай прибыль.

Как это сделать? Коль скоро директивные планы сохранены, предприятию фактически запрещено искать более выгодные заказы — делай, что велят. В этих условиях самый легкий и доступный путь к благополучию — поднимать цены на изделия. Тогда разом решаются все проблемы: ведь объем производства — это цена, умноженная на количество изделий, прибыль есть разница между ценой и себестоимостью. В рыночном хозяйстве производитель тоже, конечно, стремится продать свой товар дороже, но там существует естественный ограничитель цен — платежеспособный спрос. У нас цены по-прежнему назначаются в приказном порядке. Опыт показывает, что совсем нетрудно обойти декретированную цифру. Достаточно, например, присобачить к изделию буквы М (модернизированное) — усовершенствования на копейку, а цена удвоится. Обдурить чиновника-ценовика просто — его и обманывать не надо, он сам обманываться рад. А при рыночном ценообразовании в этом случае покупатель просто отказался бы приобретать товар и все труды пропали бы.

Продолжим пример с комбайнами. Машины «Дон» еще недавно продавали по 18 тысяч рублей, сегодня они стоят 56 тысяч за штуку. И, представьте, расходятся — не было еще случая, чтобы комбайн отправили в переплавку с конвейера. Вот откуда объявленные статистикой рекордные приросты объемов производства и национального дохода. Успехи свелись к ценовым намазкам, которые всего лишь изображали прибавку конечного продукта.

Вклад предприятий в произведенный национальный доход страны представляет собою сумму зарплаты и прибыли. О стремительном росте зарплаты я уже говорил. А что с прибылью? В прошлом году ее планировали поднять по народному хозяйству на 6,2 процента, по отчету она увеличилась на 10,3. Фантастическое повышение эффективности экономики, не правда ли? Только в жизни этого никто не заметил. Часть прибыли роздана работникам предприятий на руки в виде выплат из фонда материального поощрения. По плану этот фонд должен был вырасти на 6,1 процента, фактически увеличился... ну-ка кто смелее предположит? На 33,7 процента!

Обесценение и необеспеченность наличных денег в обращении отражают тот фундаментальный факт, что в сфере производства не происходило приращения вновь созданной стоимости. На потребительский рынок, где товаров не прибавилось, хлынула лавина фантомных денег и раздавила его. Вот где корень зла. Ошибка наша не в том, что мы затеяли экономические реформы. Причина развала хозяйства прямо противоположная: мы не провели перестройку в экономике. Из всего пакета реформ мы выхватили и задействовали самую простую позицию: поспешили дать предприятиям право увеличивать зарплату до того, как введена прямая и неотвратимая ответственность товаропроизводителя перед покупателем. Не перед планом, не перед государством с его заказами, а перед Его Величеством потребителем, который либо признает своим кровным рублем полезность чужого труда, либо отвергает товар, начисто обесценивая старания изготовителя. Иначе говоря, мы попытались вырвать из рыночной модели лакомую дольку (кто производит больше новой стоимости, тот и богатеет), хитроумно отвергнув менее приятные детали сурового, но и единственно эффективного товарного производства. Между тем нельзя пользоваться благами рыночного хозяйства, не введя его в полном объеме, вот ведь какая незадача.

5

Отчего, однако, продажа товаров сокращается абсолютно? Вроде бы стагнация и кризис должны были поразить потребительский сектор экономики в последнюю очередь — ему твердо отдали приоритет наряду с машиностроением. В развитие этих отраслей решили вкладывать больше средств, и сейчас, на четвертом году пятилетки, результат мог бы уже сказаться. Пусть реальных прибавок национального дохода и не наблюдалось, пусть сумма капитальных вложений, исчисленная в неизменных ценах, не росла — все равно приоритетные отрасли должны были развиваться быстрее, чем прежде, за счет перераспределения инвестируемой части национального дохода в их пользу. А возможности к тому у нас исключительные. Около 60 процентов всех капитальных вложений в промышленность поглощают сырьевые отрасли. Естественно, у них и планировали отъять инвестиции для предпочтительных отраслей.

Посмотрим, какие структурные подвижки произошли в действительности. В застойном 1970 году в развитие производства потребительских товаров (в группу Б промышленности) направили 5,3 рубля из каждой сотни капитальных вложений по стране. Эта и без того мизерная доля в дальнейшем еще падала и в 1985 году составила лишь 4,4 рубля. Что ж, много в брежневскую эпоху ждать не приходилось. Молва приписывает Леониду Ильичу бесмертную максиму: «Партия приняла решение обеспечить всем необходимым советского человека, и вы, товарищи, знаете этого человека». Но вот пришли другие времена, взошли другие имена. И что? За 1986—1987 годы пай группы Б уменьшился с 4,4 до 4,1 рубля из сотни. Когда в беседах с иностранными экономистами я называю эту цифру, меня всякий раз переспрашивают: не ошибся ли? Нет, так оно и есть.

До столь низкой отметки этот индекс не падал никогда. Даже в предвоенном 1940 году группа Б получила 5,8 рубля из каждой сотни инвестиций. Норма тощая, но действующая сейчас, в 1986—1987 годах в расширенное воспроизводство потребительских товаров вложили бы дополнительно почти 7 миллиардов рублей. За такие деньги можно построить завод для выпуска миллиона легковых автомашин в год. Сегодняшние капитальные вложения — это завтрашние мощности для производства жизненных благ. Откуда же взяться товарам при такой раскладке? Как говорится, пошли по шерсть — вернулись стриженными.

А что тем часом происходило с другим приоритетом? После страстных речей, планов и постановлений о пятилетке машиностроения доля этой отрасли в каждой сотне инвестиций упала с 8,9 в 1985 году до 4,6 рубля в 1988-м. Сокращение почти в 2 раза! Не люблю восклицательных знаков, но тут поставил бы три разом. И что самое удивительное, при такой-то бедности машиностроение бьет все рекорды по темпам роста производства. В 1988 году оно обскакало промышленность в целом в 1,6 раза. Загадки в том нет: темп

исчисляется по прибавкам производства в рублях, а машиностроение — рекордсмен по части вздувания оптовых цен. Выпуск же продукции в натуре (в полезном эффекте техники), по нашим расчетам, заметно упал. Однако снова парадокс: нехватки машин, в общем-то, не ощущалось. Напротив того, приходилось навязывать потребителям тракторы, роботы, комбайны, станки с числовым программным управлением и многое другое. В запасах лежит невостребованным оборудование стоимостью свыше 14 миллиардов рублей. Как видите, не техники нам недостает. Ума.

Если пай машиностроения и потребительского сектора в инвестициях уменьшился, то чья доля возросла? В чью пользу перераспределены ресурсы? А снова в пользу сырьевых отраслей. Один лишь топливно-энергетический комплекс поглотил в 1985 году 14,7 рубля из каждой инвестируемой сотни, в дальнейшем эта доля нарастала и достигла 21 рубля. В 1988-м произошло нечто, лежащее за пределами постижимого человеческим разумом: помнугтый комплекс истратил на развитие 45,1 миллиарда рублей, или в 1,5 раза больше, чем годом раньше. Скушал и не поперхнулся. Только годовая прибавка инвестиций (15 миллиардов) почти равна всем вложениям в группу Б на два года пятилетки.

А ведь в канун пятилетки вроде бы твердо договаривались о другом: мы давно вышли на первое место в мире по добыче топлива, выплавке металла, производству удобрений, заготовке древесины, так давайте впредь не будем ускорять развитие этих отраслей; разумнее сокращать расход сырья на единицу конечной продукции, тем более что по расточительству ресурсов мы всех опередили. Официальная статистика сигнализирует об успехе этого замысла. В сырьевых отраслях производство выросло в 1988 году примерно на 2 процента, тогда как национальный доход увеличился, судя по сводке Госкомстата, гораздо значительнее — на 4,4 процента. Значит, на единицу конечной продукции (на рубль дохода) мы стали тратить меньше всякого добра.

В сводке так и сказано: материалоемкость национального дохода снизилась на 1,5, металлоемкость — на 3,1, энергоемкость — на 2,5 процента. Вывод: «Продолжался процесс перехода от экстенсивного пути развития к интенсивному». В таких условиях лишь дуростью плановиков можно объяснить ускоренное накачивание сырьевых отраслей капитальными вложениями. Если же, как исчислили мы, в прошлом году прироста дохода не было, а сырья произведено и в самом деле больше (натуральным показателям отчета в отличие от стоимостных можно доверять), тогда на сопоставимый рубль национального дохода затраты добра увеличились, и, следовательно, народное хозяйство продолжало развиваться экстенсивным способом. Экономика ускорила движение по тупиковой дорожке: расточительство сырья компенсируется увеличением его производства.

Специалисты Госкомстата могут опровергать нас до посинения, но поскольку топят все-таки не цифрой, а горячими ископаемыми, их добычу приходилось наращивать вопреки прекрасодушным замыслам и радостным рапортам. В прошлом году план по топливу перевыполнен аж на 39 миллионов тонн (в пересчете на стандартный уголь). Это, кажется, единственная процветающая отрасль, если, конечно, не считать производство бумажных денег. А запросы растут. Ныне сверх задания пятилетки запланировали добыть 44 миллиона тонн топлива. Одно это превышение первоначальной проектировки равно уже состоявшемуся двухгодичному приросту добычи. «И мы надеемся,— отважно заявил председатель Госплана Ю. Маслюков,— что эти крайне трудные задачи окажутся под силу топливно-энергетическому комплексу». (Между прочим, надеяться и вообще-то надо безмолвно, в душевном трепете, а уж в данном случае был прямой резон промолчать — в том же выступлении Ю. Маслюков похвалялся заметным сдвигом в эффективности общественного производства. Тогда на кой ляд такие прибавки топлива?)

Ясно, что под эту увеличенную программу опять понадобятся громадные капитальные вложения. Сырьевой комплекс — самая настоящая черная дыра, способная вобрать в себя все инвестиционные ресурсы народного хозяйства. А коль скоро общий доход страны растет лишь в воображении статистиков, добавочные средства для развития сырьевых отраслей можно изыскать, только обездоливая и впредь другие секторы экономики, включая потребительский.

Тут меня так и подмывает съязвить: как видите, риторика о человеческом факторе — одно, реальная инвестиционная политика — совсем другое. Однако положи руку на сердце не решусь упрекнуть большое начальство в развешивании лапши на уши. Нет, оно искренне желает добра, да вот экономика наша как наладилась двигаться шесть десятилетий назад, как попала в предназначенную ей колею, так и ползет по инерции куда ей надо, а нам не надо. Вокруг этой бесформенной громады суетятся планировщики, предписыва-

ют ей новые пути, размечают желательные траектории. Тщетно! С тем же успехом можно пихать в сторону медлительный оползень — руки по локоть уходят в вязкую массу, и только.

Если мы чему-то способны учиться у жизни, то важнейший урок прожитых нами четырех лет перестройки в следующем: плановая система управления изжила себя. Она не в силах обеспечивать даже количественный рост производства, а ведь это относительно простая задачка. По объему валового национального продукта мы занимаем в лучшем случае седьмое место в мире — впереди нас США, Япония, ФРГ, Франция, Англия и Италия, за спиной дышат Испания и Канада. Вот так — в 1913 году были на пятом месте в мире, теперь откатились на седьмое, отдав на закание плану столько жертв. По уровню жизни (по так называемой потребительской корзине) мы скатились к сорок пятому — пятидесятому месту в мире. Тем менее плановая система может обеспечивать структурные подвижки в народном хозяйстве, переход к интенсивным способам развития, товарно-денежную сбалансированность, достойный уровень жизни. Планируем одни пропорции, на деле получаем другие. Сбываются лишь те планы, которые ратифицируют, одобряют самопроизвольные экономические процессы, развивающиеся, как правило, в губительном направлении. Это иллюзия управления — события и без плана шли бы туда же.

Отсюда следует: бессмысленно стимулировать исполнение самого лучшего, самого прогрессивного плана. По цифрам успех, возможно, и наступит, но более глубокий анализ всякий раз обнаруживает обратное. Само слово «стимулирование» говорит о многом. Стимул — это, как известно, палка, которой древний грек погонял быка. Молчаливо предлагается, что кто-то наверху выберет дорогу, а потом будет стимулировать кнутом ли, пряником ли тягловую силу экономикки, то есть работника. Многие так и понимают модные ныне экономические приемы управления: давайте больше платить тем, кто неукуснительно следует предначертаниям. В действительности это лжеэкономические методы. По существу, они призваны дополнить, а следовательно, и усилить приказное управление. Они подобны наркомовской чарке водки бойцам, штурмующим план.

Сбалансированное народное хозяйство, нормальные пропорции между отраслями достижимы только в рыночной модели. Отказ от директивного планирования, будучи первым шагом к рынку, сразу начал бы оздоравливать ситуацию. Нет спроса на машины — производство их автоматически прекращается, общество избавляет себя от оплаты бесполезного труда, сберегает металл, топливо, электричество. Вошедший в притчу Минводхоз ежегодно тратит 12 миллиардов рублей. Два миллиона человек кормятся по преимуществу тем, что портят землю-кормилицу. Не надо запретов! Продолжайте свое черное дело, если найдете заказчиков, готовых оплатить его собственными денежками. При таком порядке отпали бы сотни и тысячи безумных проектов, плановая реализация которых высасывает из страны последние соки. Опять говорю: решение тяжелое, зарплаты лишатся на какой-то срок десятки миллионов людей. Но тогда дефицитными станут деньги, а не товары, что является неперемennым условием, в сущности, синонимом оздоровления финансов.

Выражаясь научно, стране нужен дефляционный шок (дефляция — понятие, обратное инфляции). Решиться на него непросто. Командная система воспитала социального иждивенца. Начиная с первой пятилетки ввели планирование фонда зарплаты и средней заработной платы. Это и был тот инструмент, посредством которого государство целенаправленно снижало долю зарплаты в произведенном национальном доходе. Увеличить свой доход работник практически не мог, но зато казна не давала помереть с голоду тем, кто лучше б вовсе не приходил на службу. С тех пор в нашу плоть и кровь вошло убеждение, будто казна обязана содержать нас: произвожу я нужную или лишнюю продукцию, добротные изделия или скверно замаскированный брак — зарплату ты мне обеспечь, а иначе что за социализм, когда нет социальной защищенности? Отступление от такого правила означало бы, что власть вступает в конфликт с большими, самим процессом производства организованными коллективами, которые по приказу той же власти приставлены к выпуску ненужных, не находящих спроса товаров. Противостояние опасное. Куда как легче запустить печатный станок и удовлетворить спрос на деньги. Для каждого отдельного человека прибавка зарплаты не совсем пустая, и потому эмиссией удаётся сбить недовольство конкретных коллективов за счет снижения покупательной способности рубля у всех, кто получает доход. С выпуском очередного мешка фальшивых денег казначейство как бы отщипывает дольку от каждого рубля — и накопленного в сбережениях, и выдаваемого в день получки. Беда, размазанная на двести миллионов лиц, получающих доходы, сию минуту не столь заметна, как снятие с казенного кошта отдельного коллектива. Однако бес-

порядочная эмиссия, наблюдающаяся с весны 1988 года, развалила потребительский рынок всего лишь за год и сегодня довершает его разрушение.

Считайте сами. Ныне за четыре месяца прибавка номинальных доходов населения достигла 20 миллиардов рублей. Чтобы выкачать эти деньги, в продажу надо выбросить... ну, скажем, два миллиона легковых автомобилей, что равно годовой программе трех таких заводов, как ВАЗ. Если каждые пять лет строить по ВАЗу, понадобится три пятилетки, чтобы отоварить лишь четырехмесячную дополнительную раздачу рублей населению. А для обеспечения предположительной годовой прибавки доходов пришлось бы почти сравняться по производству автомашин с Америкой. Да кто же поверит в такие чудеса?

В рамках плановой системы решения проблемы нет. На Первом Съезде народных депутатов нам, экономистам-товарникам, был брошен упрек: вот, мол, годами высиживали идеи и не нашли ничего лучшего как вернуться к рыночному хозяйству. Но экономист не должен в угоду кому бы то ни было утешать общество, так сказать, прописывать касторку при туберкулезе. Его обязанность — поставить верный диагноз экономике и назначить исцеляющее лечение. Да, дефицит денег, дефляционный шок, отказ от содержания работников за счет казны — лекарство горькое, но что же поделаешь, когда другого нет.

Разумеется, я набросал лишь общую схему. Пока предприятие подлаживается к спросу, придется платить людям, продукта еще не производящим. Государство отнюдь не устраняется от регулирования хозяйственных пропорций, а напротив того, косвенными по преимуществу приемами направляет экономику в желательную сторону, как оно и происходит во всем мире. При всем том директивный план и рынок несовместимы, перестройка в хозяйстве откладывается ровно на тот срок, пока мы не осознаем эту истину, не извлечем из нее практических выводов.

Четыре года неудач доказали, что нельзя делать два дела разом: выполнять план и проводить экономические реформы. По счастливому выражению члена Политбюро А. Н. Яковлева, «пятилетний план — это лобовая броня механизма торможения. За этой броней и надеются отсидеться наиболее умные противники перестройки». Гвоздь вопроса, однако, в том, что лобовую броню соорудили сами инициаторы перестройки. По их команде сверстан неподъемный план на 1986—1990 годы. Государство не только не сняло каких-либо амбиций, а, наоборот, ввело новые дорогостоящие приоритеты. Ресурсов, которыми располагала экономика, не могло хватить даже на исполнение проектировок, финансируемых из казны. И вдруг правительство открывает второй шлюз для утечки скудеющих источников — объявляет в рамках перестройки самофинансирование предприятий. За счет вздувания оптовых цен производственные коллективы резко увеличили свои накопления в фонде соцкультбыта и в «феррапнте» (так острословы обозвали фонд развития производства и новой техники). Когда пустые деньги обрушились на безналичный оптовый рынок, они раздавили его в точности так же, как фальшивые бумажные ассигнации похоронили под собою рынок потребительский...

Щедринский градоначальник, желая изобразить набожность, постился оригинальным способом: ко всем скоромным блюдам добавлял рыбу тюрбо. Подобно этому государство к умноженным плановым «блюдам» повелело подать самофинансирование. Последствия такой «разблюдовки» не заставили себя ждать: не исполнены ни план, ни заводские программы. Только неиспользованных денег на заводских счетах в прошлом году осталось 11 миллиардов рублей — под них не случилось цемента, кирпича, проката, оборудования.

Анализ снова подвел нас к выводу: распад экономики произошел не оттого, что мы ввязались в перестройку, а как раз от задержки с реформами. В компромиссе между планом и рынком планового начала оказалось достаточно, чтобы заблокировать зачатки рыночных реформ, и одновременно выпятилась, обострилась беспомощность плана, имманентно ему присущая.

6

Опасны не поражения и провалы — от них никто не застрахован. Гибельно неумение либо нежелание учиться на ошибках, косность мышления. Обреченность двенадцатой пятилетки, сверстанной в худших застойных традициях, ясна была экономистам еще до ее начала. И тем не менее план, сковывающий реформацию хозяйства, так и не отброшен. Более того, выводы из горького опыта сделаны с точностью до наоборот: в перечне чрезвычайных мер, призванных оздоровить финансы, на первом месте стоит ужесточение планирования, усиление плановой дисциплины. За первые три года пятилетки при всех ухищ-

рениях с розничными ценами план по выпуску потребительских товаров недовыполнен на 43 миллиарда рублей, впредь предписано сильно перекрывать задания. За прожитые годы пятилетки производство непродовольственных товаров прирастало в среднем на 10 миллиардов рублей в год, а на один будущий год намечена прибавка в объеме 45—50 миллиардов. Можно, спрашивается, провести в жизнь такие сногшибательные планы? Отчего бы нет. Передо мною репортерский отчет о совещании у заместителя председателя Совмина СССР В. Гусева. На ковер вызваны министры — решается, сколько товаров дадут их отрасли в будущем году. Министерство минеральных удобрений, мобилизовав резервы, готово увеличить производство ширпотреба с теперешних 600 миллионов рублей до 665. Министр Н. Олышанский оглашает эти гордые цифры и ждет заслуженной похвалы — для отрасли такая продукция не по профилю, а смотрите, какой прирост. Ведущий, однако, не спешит с изъявлением восторга: «Ну а если хорошо подумать, поискать, семьсот миллионов можете?» Помявшись, повздыхав, министр соглашается: 700 так 700. А что? Сделает.

Есть притча о новаторе. Пришел он на ферму и сообщил, что есть у него изобретение, благодаря которому удои от коровы повысятся с ведра до полутора ведер в день. Его спросили: а нельзя два ведра? «Нет, — отверг автор. — Это будет одна вода». В нашем случае будет «вода» роста цен — торг-то шел о приросте, исчисленном в миллионах рублей, а мы уже видели, что такие приросты бесхлопотно достигаются при сокращении производства и продажи товаров в натуре. Простенький расчет показывает: даже если удастся исполнить увеличенный план 1989 года по ширпотребу хотя бы игрою цен, потребительский рынок не оздоровить — прибавки денежных доходов ныне опять сильно опередят рост товарооборота.

На план нынешнего года навешено множество других неподъемных заданий. В 1,3 раза растут бюджетные ассигнования в машиностроение. Продолжается финансирование гигантской программы модернизации той ветви промышленности, которая будет хранить, перерабатывать, расфасовывать и упаковывать будущее изобилие сельскохозяйственной продукции. Общая стоимость программы — 77 миллиардов рублей. По затратам это примерно пять БАМов, так что дефицита упаковки в обозримой перспективе не предвидится.

Начато строительство колоссального нефтегазохимического комплекса в Тюменской области. Это еще шесть-семь БАМов. В секрете от народа ведомства заключили сделки с иностранными фирмами о поставках оборудования. Тайна, однако, просочилась, и общественность энергично выступила против проекта. Много писано о возможных экологических бедах от новостройки. Но всякого разбирательства надо немедленно вычеркивать объект из плана — у страны нет таких денег, другие соображения уже неинтересны.

Мы прожили одиннадцать пятилеток и по натуральным показателям (а в них смысл планирования) не исполнили ни одной, успешно проваливаем двенадцатую. Какое чудо произойдет, что в виде исключения будут реализованы фантастические задания на нынешний год? Быть может, в материи плана содержатся какие-то новые, прежде упускавшиеся резервы? Простите за плохой каламбур, но в этой материи мы обнаруживаем прореху. На сессии Верховного Совета СССР, принявшей план на нынешний год, тогдашний министр финансов Б. Гостев сделал поразительное сообщение: «В связи с тем, что разработка бюджета осуществлялась, исходя из плановых показателей экономического и социального развития на 1989 год, а темпы роста национального дохода несколько не достигают заданий пятилетки, будет получено меньше, чем намечалось, и денежных накоплений».

Понятно или не очень? Разъясняю. Когда верстают пятилетку, сразу делают и ее разбивку, то есть определяют задания на каждый год. По ходу дела выясняется, что достичь намеченного невозможно. Раньше в таких случаях поступали просто: план на очередной год сокращали сравнительно с первоначальной разбивкой (к чему планировать недостижимое?). Если уменьшенное задание не исполняли, план корректировали задним числом, подгоняя его под результат. Выходило, будто все годовые планы успешно реализованы, а значит, и пятилетка в целом. Окончательные итоги имели мало общего с исходной программой, но кто станет сличать цифры пятилетней давности с отчетом? С началом перестройки твердо объявили: этого обмана больше не будет, план на каждый год останется таким, каков он по первоначальной разбивке — и баста. Именно так поступили при верстке плана нынешнего года, о чем и сообщил министр финансов. То есть, не считаясь ни с чем, депутаты проголосовали за прежние и даже увеличенные цифры, а теперь ты, Борис Иванович, профинансируй нам этот план. Ему бы возразить: раз национальный доход «несколько не достигнет», нет у меня таких денег, а на нет и суда нет. Как быть? А меня это не колышет — жить надо по средствам. Вон в Англии какие баталии в парламенте, когда утрясают бюджет. Спорьте и вы, где расходы поджать, какие проекты исключить, на

то вы законодатели. Да только наш министр финансов — человек послушный, коль надо, вот вам бюджет с прорехой: «В результате недостаток финансовых ресурсов складывается в 36,3 миллиарда рублей». Ни одно живое существо не ведает, откуда взять эту сумму. Впрочем, с цифрой министр чуток лукавил. Чтобы дыра в бюджете выглядела сколько-то прилично, ее предварительно замаскировали: в доходы перевели 63 миллиарда рублей из ссудного фонда. Что это за фонд? Продукция печатного станка, других резервов у казны давно нет. Не считать же кредитным фондом 300 с лишним миллиардов на сберкнижках — те деньги влчат жалкое номинальное существование. Каждая пятая проектировка, заложенная в план, обеспечена лишь воздухом, из коего сподручно фабриковать разве что воздушные замки.

Но и это еще не весь дефицит. Я уже говорил, что рекордная прошлогодняя прибавка национального дохода (25 миллиардов) есть миф. Между тем плановики и финансисты делили те миллиарды как настоящие: столько-то сталеварам, столько-то пивоварам. Распределяли-то они дым, или, лучше сказать, прилаживали на экономику новое платье короля, с комичной серьезностью объясняя публике, где какая складка ляжет. На нынешний год намечен новый рекорд: общий доход страны должен прирасти примерно на 40 миллиардов. Эти деньги считаются реальными и опять поделены в основном для финансирования плановых мероприятий. А ну как прибавка дохода снова окажется дутой, чисто ценовой? Для такого прогноза ныне больше оснований, чем прежде. Если в прошлом году по нашему счету доход не возрос, но и не снизился, то в первом квартале нынешнего, по моим прикидкам, он упал процента на 2—3, хотя официальная статистика отважно объявила о его прибавке на 4 процента. Каким будет дефицит бюджета при таком развитии событий?

В конечном счете расстыковка между доходом и расходом перерастает в катастрофическую. Можно ли при такой раскладке выполнить план? Инвестиционный его раздел, разумеется, нет — это опереточная программа. Лишь в виде исключения будет завершено строительство некоторых объектов из числа обязательных к вводу. Каких конкретно? События нетрудно предвидеть. Раз денег на все плановые стройки не хватит, какие-то надо обездолить, а какие-то финансировать сполна. Кто получит предпочтение? Можно не сомневаться: если дело ведет крепкая строительная организация, если успех обозначился и есть шансы закончить объект к исходу года, финансирование пойдет по потребности. Не худо будет и с проектами, опекаемыми важными начальниками, — «свои» стройки они оголеть не позволят. Таким образом, случайные факторы (ширина начальнического горла, сила подрядчика в данном регионе и т. п.) становятся решающими в инвестиционной политике. Вступят в действие не те мощности, которые более всего нужны народному хозяйству, а совсем другие. Система сработает случайным образом, с уверенностью можно сказать одно: задания по вводу мощностей опять будут провалены, объемы незавершенного строительства еще увеличатся. В нынешней пятилетке незавершенка подскочила на 30 миллиардов рублей и достигла астрономической суммы — 150 миллиардов.

Это же проклятье боже: чуть завелась у страны копейка — строители в согласии с планом хватают ее и срочно закапывают в землю, омертвляют в котлованах, фундаментах, стенах. Да разве так мы когда-нибудь будем жить богаче? Нельзя этого делать, убейте меня, нельзя, и все.

Объективности ради отмечу, что в перечне чрезвычайных оздоровительных мер значится и такая: сократить безмерно растянутый фронт строительства. Замысел не нов. Помню, в свое время Н. С. Хрущев поставил перед плановиками ультиматум: если те не прекратят распылять капитальные вложения, то лично он, руководитель государства, будет включать в титул каждую новостройку, без него не смей. И что? В ту пору было 100 тысяч строек производственного назначения, сегодня — больше 300 тысяч, причем на один объект в среднем приходится 13 строителей. В прошлом году действительно законсервировали приказом объекты стоимостью 24,2 миллиарда рублей, но другой рукой начали новостройки ценою в 59,1 миллиарда.

Инвестиционный сектор экономики перегрет, однако плановой указкой, грозной директивной его не охладить. Нужно снижать инвестиционную активность, спрос на капитальные вложения. Как этого достичь, экономистам надоело писать, а публике читать: желаешь строиться — на казенный каравай рот не разевай, заработай денежки сам. Но самофинансирование, как мы сто раз предупреждали, да кто нас слушает (гласность какая-никакая есть, со слышностью пока швах), — самофинансирование немисливо ввести изолированно, вне полного пакета экономических реформ. Если вы продолжаете планировать, какую продукцию предприятие обязано изготовить, тогда будьте любезны указать, кому ее отдать, с кого деньги получить. Значит, сохраняется дележка ресурсов по фондам. И пош-

ло-поехало: нет свободной оптовой торговли предметами производственного назначения — нет и самофинансирования. Мало ли что предприятие заработало деньги — на них ничего не купишь без фондов, карточек, жди, пока тебе выделят металл, цемент, кирпичи, оборудование. Получается самофинансирование по особому разрешению чиновников в каждом отдельном случае.

В этих условиях самофинансирование даже вредно, ибо к бесчисленным казенным стройкам добавляются заводские (та самая щедринская рыба тюрбо). В 1986—1988 годах министерства и предприятия аж на 31 процент увеличили количество строек, планы по которым они утверждают самостоятельно. Задумано одно, жизнь идет в обратную сторону.

Того же свойства и другие чрезвычайные меры, которые предстоит провести до реформ. На содержание 9 тысяч убыточных предприятий в прошлом году казна выложила 5 миллиардов рублей. «Правительство,— заявил Н. И. Рыжков,— придерживается твердой позиции, что 1990 год должен быть последним для такого недопустимого... явления». Это возможно, но надолго ли? Разберемся. Далеко не всегда убытки свидетельствуют о малом усердии работников. В командной системе зачастую одним коллективам на руду написано понисить убытки, другие, так сказать, обречены на высокую прибыльность. Сейчас убыточны либо низкорентабельны сырьевые отрасли. Никто, однако, не доказал, что шахтеры, металлурги, лесозаготовители работают хуже всех — просто цены на их продукцию назначены такие, что едва покрывают затраты. С января 1991 года цены на сырье и топливо резко повысят, и, скажем, добывать уголь станет столь же выгодно, как производить машины для добычи угля. Убыточных шахт действительно не будет, однако надо же понимать, что успех окажется чисто счетным, цифровым. Дальнейший ход дела я знаю в точности. До следующего пересмотра оптовых цен (а он происходит раз в десять — пятнадцать лет) стоимость угля не изменится — цена записана в прейскурант, дороже никто не заплатит. Технику, конечно, тоже будут продавать по новым назначенным ценам, не дороже. Но разница в том, что под флагом обновления продукции изготовители снимут с производства теперешние машины — они останутся только в прейскурантах. Взамен предприятия станут выпускать якобы усовершенствованную технику, а на нее и цена новая. По нашим расчетам, ползучий рост цен на продукцию машиностроения — не менее 30 процентов за пятилетку. Уголь же вы не усовершенствуете, значит, и цену на него не поднимете. Но если топливо долгие годы в одной цене, а машины для его добычи стремительно дорожают, то ясно, что уже на втором и третьем году после тотального пересмотра оптовых цен шахты опять будут низкорентабельными, а затем и убыточными при самой лучшей работе коллективов. Так что же, прикрыть их? А чем топить?

Если уж на то пошло, закрывать надо не убыточные, а рентабельные заводы. Производство комбайнов, тракторов, металлорежущих станков очень даже прибыльно. Изготовители разоряют страну, но их-то и ставят в образец иным прочим. И еще парадокс: производство сырья убыточно, однако именно туда, как мы убедились, перетекают капитальные вложения из приоритетных отраслей. Поистине вывихнутая экономика!

Стабильность оптовых цен — это легенда. На деле мы более или менее успешно поддерживаем бросовые цены на сырье, давно потеряв контроль над ценами в обрабатывающих отраслях, где номенклатура продукции быстро меняется. Этот порок неискореним, пока мы не перейдем к установлению цен по согласию между товаропроизводителями и покупателями. Лучшего инструмента, чем рынок, человечество не изобрело — товар стоит не столько, сколько насчитали чиновники, а сколько за него готов выложить покупатель. Тогда не понадобится приказом закрывать убыточные предприятия, они сами закроются, будучи неконкурентоспособными на рынке. Нужен, следовательно, не очередной пересмотр цен сверху, а изменение самого принципа их определения, то есть глубокая реформа ценообразования. Это ключевой пункт перестройки. Без такой реформы мы шагу не ступим в экономических преобразованиях, объявленное снятие с казенного кошта убыточных предприятий останется благим пожеланием либо бухгалтерской операцией, создающей видимость успеха.

Баланса между деньгами и товаром мыслимо достичь и без роста производства товаров — достаточно сократить денежные доходы населения. В нынешней чрезвычайной обстановке правительство предписало покончить с выплатой незаработанных денег. Четыре наших экономических ведомства направили на сей счет предприятиям директиву, остроумно названную одним из делегатов недавнего Съезда народных депутатов письмом «банды четырех»: отныне зарплата не может расти быстрее, чем производительность труда. Вроде бы ограничение справедливое, однако в плановой, нетоварной экономике связь между этими величинами примерно такая же, как между огородной бузиной и киевским дядькой.

Допустим, те, кто делает ракеты, перекрывает Енисей, выпускает станки, поднимут производительность труда на 10 процентов, а среднюю зарплату — только на 5. Соотношение замечательное — любой скажет, что тут-то уж розданы честно заработанные рубли. Но чем, каким товаром подкреплена скромная пятипроцентная прибавка зарплаты? Дополнительными ракетами, станками, перекрытым Енисеем, то есть продукцией, которая в магазины не поступает, на внешний рынок, где ее можно бы обменять на потребительские товары, она не пробивается. Заслуженная прибавка к жалованью останется голенькими деньгами, ибо масса потребительских товаров не приросла. С другой стороны, в швейной, например, промышленности, где зарплата занимает всего-навсего 5 процентов в стоимости товара, смело можно бы увеличивать заработки в обгон производительности труда, лишь бы это стимулировало увеличение производства, — ведь здесь создается продукция, необходимая для покрытия розданных населению рублей.

Как видим, строжайший контроль за ложным соотношением ни на шаг не приблизит нас к утолению товарного голода. К тому же запреты совсем просто обойти. Производительность труда измеряют у нас по выпуску продукции в рублях в расчете на одного работника. Поднимите цены на продукцию — производительность при тех же затратах труда подскочит, что послужит законным основанием для повышения зарплаты. Фактически письмо четырех ведомств ввело еще один стимул к гонке цен.

Жизнь не обманешь. С увеличенной получкой работник приходит на потребительский рынок и видит, что цены там поднялись, товары исчезают из продажи. Чтобы прокормиться, он найдет способы вырвать новую прибавку к зарплате, с которой явится на еще более дорогой и скудный рынок. Действует знаменитая инфляционная спираль. Введенное ограничение зарплаты означает попытку переложить тяготы инфляции и товарного голода на плечи трудящихся. Из финансовых трудностей нам предлагают выйти за счет снижения жизненного уровня. Не надо быть семи падей во лбу, чтобы понять, что только в этом смысле и реалистична вся объявленная правительством программа оздоровления экономики.

7

Между тем под предположительный эффект плано-административных оздоровительных мер твердо обещано: роста розничных цен больше не будет. О том издали специальное постановление. Намерения, конечно, благородны, но еще персонаж драматурга Островского называл благородными такие замыслы, в которых очень много благородства и очень мало шансов на успех. Во времена получше нынешних и то не удавалось держать цены стабильными: рубль образца 1985 года покупательной способностью соответствовал 54 копейкам начала 60-х годов. Сейчас потребительский рынок разрегулирован как давно не бывало. Мы уже проскочили тот момент, когда еще можно было провести компенсированное повышение цен на продукцию животноводства. Одной из капитальных целей той несостоявшейся реформы была сдвижка спроса в сторону промтоваров, менее дефицитных, чем продукты питания. Сегодня сдвигать спрос некуда — все дефицитно. Варианта, при котором и цены стабильны и товар есть в продаже, более не существует. И если вопреки экономическому императиву избран все-таки этот вариант, то стабильными будут не цены, а ценники — бирочки на муляжах товаров. Так, знаете ли, не бывает, чтобы развал финансов, тяжелые недуги хозяйства не задели потребителя. Всем нам предстоит платить и за десятилетия застоя, и за четыре года разговоров о перестройке при блистательном отсутствии дел, и за коренные ошибки при обновлении хозяйственного механизма.

Жизнь неумолимо поворачивает нас к тяжелому выбору из трех альтернатив. Первая: стабильные цены — и пустые прилавки. Вторая: быстро растущие цены — и товар в продаже. Третья: и цены стабильны и товары есть, но по карточкам. В годы перестройки мы наблюдаем вычурную комбинацию всех этих вариантов, а в самые последние месяцы отчетливо видна экспансия карточного распределения в зону свободной торговли.

Психологически население более подготовлено к карточной системе, к распределительной справедливости, нежели к гонке цен. Вопрос этот имеет почтенную историю. В знаменитом сборнике «Вехи» (1909) один из авторов, С. Франк, размышлял: «Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения. Правда, в качестве социально-политической программы социализм предполагает реорганизацию всех сторон хозяйственной жизни; он протестует против мнения, что его желания сводятся лишь к тому, чтобы отнять богатство у имущих и отдать его неимущим. Такое мнение действительно содержит искажающее упрощение социализма как социологической или экономической теории; тем не менее оно совершенно точно передает морально-общест-

венный дух социализма. Теория хозяйственной организации есть лишь техника социализма; душа социализма есть идеал распределения, и его конечное стремление действительно сводится к тому, чтобы отнять блага у одних и отдать их другим. Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею».

Трудно оспаривать автора, если мы вспомним, что именно с тотального перераспределения жизненных благ и начиналось новое общество: под дулом пулемета отнимали хлеб, произведенный крестьянами, и распределяли «по справедливости». Соблазнительно было бы оправдать эти меры чрезвычайной обстановкой тех лет, да только против такого объяснения протестует сам Ленин: «...мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, — и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение»². Да, Ленин называет эту практику ошибкой, но ошибка-то была отнюдь не тактического свойства: в согласии с теорией мыслилось посредством внетоварной дележки благ шагнуть прямехонько в коммунизм.

В нашей экономической истории идея «справедливого» распределения занимает едва ли не главенствующее место и охватывает все стороны жизни — от фондового снабжения предприятий до периодического введения карточек на продукты, от потолка зарплат до печально известной особой секции ГУМа, от дележки мяса из общесоюзного фонда по градам и весям до бесплатной раздачи квартир, от первой заповеди колхозов до рэкета в отношении кооператоров, от талончиков на мыло до спецпайков. Результатом стало отчуждение производителя от плодов его труда — создают богатства одни, распоряжаются ими другие. И если эта мертвая идея все еще держится, значит, кому-то она выгодна.

Помянутый выше автор статьи в «Вехах» упрекал ту старую, бескорыстную еще интеллигенцию: она хлопочет не о создании, а лишь о распределении богатства и, как выражается мыслитель, «в метафизическом смысле... ведет паразитическое существование на народном теле». Совсем в духе перестройки он призывает: пора, мол, «сократить число... администраторов и распределителей всякого рода».

Оно бы как и пора, да вот распределители всякого рода, не заглядывая в «Вехи», уяснили для себя простую вещь: «Производство благ во всех областях жизни ценится ниже, чем их распределение». Ценится не в каком-то там метафизическом смысле, а при дележке пирогов, пышек и должностей для шишек. Администраторы и распределители стали не только хозяевами продуктов чужого труда, но и коллективным собственником производительных сил. По теории социализм есть строй, при котором собственность принадлежит всем вместе и никому в отдельности. Но я глубочайше убежден, что ничейной собственности не существует — экономическая природа не терпит пустоты. Место экспроприованных частных лиц занимает, так сказать, коллективный рябушинский — с той, однако, разницей, что прежний собственник хозяйствовал рискованно и нес экономическую ответственность за свои действия, тогда как его мультиплицированный преемник в принципе не способен вести дело толково. Ведь конкурентов, готовых воспользоваться его промахами, у него нет. Впрочем, беда невелика: потери в производстве всегда можно возместить приобретениями в процессе распределения.

Люди не одинаковы. Были, есть и всегда будут одни богаче, другие беднее. А раз это неискоренимо, надо так устроить общество, чтобы личное богатство можно было нажить не экспроприациями и воровством, но прибыльным производством товаров, добротных и доступных по цене. Товаропроизводитель стремится всего-навсего к прибыли, да вот извлечь ее может, лишь удовлетворяя за деньги чужие потребности. Эту диалектику описал еще Адам Смит. А кому не люб отец классической, или, по определению словарей, буржуазной, политической экономии (она такая же буржуазная, как физика Ньютона), тот пусть заглянет в XI Ленинский сборник и вникнет в замечания Ленина на полях книги Бухарина «Экономика переходного периода». В согласии с бородатными основоположниками, Бухарин пишет: «Производство при господстве капитала есть производство прибавочной ценности, производство ради прибыли. Производство при господстве пролетариата есть производство для покрытия общественных потребностей». Ленин энергично возражает: «Не вышло. Прибыль тоже удовлетворяет „общественные“ потребности». Совершенно очевидно, что здесь имеется в виду прибыль частных собственников. Теперь мы знаем, что она делает это лучше, чем водится у нас.

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 157.

Учимся помаленьку выговаривать слова «рыночное хозяйство». Но что есть рынок? Это добровольный и постоянный обмен между собственниками товара и собственниками денег. Если вся собственность монополизирована государством, кто с кем будет торговать? Рынок станет игрушкой, плохо замаскированной формой распределения. Рынок — дело такое: он либо есть, либо его нет, и не бывает он социалистическим, капиталистическим или серо-буро-малиновым. И вот в бедовые наши головушки заглядывает мысль о демонополизации собственности. Мы пугливо отрециваемся: свят-свят,— но соблазн слишком велик, и, как нашкодившие монахи, мы успокаиваем тех, кто не может поступиться принципами: мол, не противоречит это Священному писанию. Уж не всегда brave вояки вырывают из рук митингующих и втапывают в грязь почти что забытые лозунги «Земля — крестьянам!», «Фабрики — рабочим!». Но ведь раньше ту землю, те фабрики надо у кого-то отнять. Начинаем туго соображать: у кого бы это? Кого на сей раз предстоит экспроприировать? Скажите, мы готовы. Батюшки, да ведь целый класс-собственник народился, пока мы внимали речам про общенародное государство. Что-то, помнится, и Карл Маркс по этому поводу толковал во младости: государство может стать частной собственностью бюрократии...

Работник останется инвентарем государства, и никакой писанный закон не сделает его вольным человеком, пока у него нет собственности, хотя бы она и состояла всего лишь из пары работающих рук. Именно здесь глубинная связь между экономическими и политическими реформами, здесь в последнем счете наш путь в сообщество процветающих цивилизованных стран. Так пусть на равных конкурируют все формы собственности — частная, кооперативная, государственная.

На селе скорее всего будет преобладать единоличное хозяйство, или, как его деликатно называют, семейная ферма. Оно и везде так: в других отраслях — концентрация вплоть до межнациональных компаний с сотнями тысяч работников, а основой сельскохозяйственного производства как были, так и остались семейные предприятия. Значит, есть в этой таинственной сфере нечто такое, что делает единственно выгодной простую комбинацию: самая прочная ячейка общества, семья, одновременно является и производственной единицей, устойчивой, живучей, конкурентоспособной. Будь иначе, тамошние капитаны экономики давно прибрали бы их к рукам и слили в гигантские предприятия. Земля может остаться национализированной, это и на Западе бывает, но непременно поступает в бессрочное владение семьи (владелец не имеет права продать или испортить землю — не его собственность). Но этот вопрос спорный, а вот все прочие средства производства, нажитые семьей,— ее полная собственность, тут двух мнений быть не должно.

Именно так порешили китайцы в своих реформах — раздали мужикам землю и за год накормили миллиардное население. Мы же люди, которые вечно опаздывают. Страна на краю пропасти, а мы все рассусоливаем на тот предмет, что не худо бы семейную аренду испытать. Да разве в марте надо было проводить пленум по сельскому хозяйству? Самое позднее — в ноябре, чтобы успеть до сева разделить землю: весной посеял, осенью жди результата. Теперь год пропал, а его еще прожить надо.

Да ведь и не решили ничего на том пленуме. Как дошло до дела, докладчик сказал будто отрезал: «...было бы неправомерно делать вывод о неэффективности колхозного строя. Нет, в природе коллективного хозяйства заложены огромные потенциальные возможности...» Видно, они тогда раскроются, когда нефть до капли выкачаем, обменяем на хлеб Аризонщины и Канзасстана, наших аграрных придатков. А пока лежачим хозяйствам опять дана отсрочка. Много ли их, лежачих? А треть хозяйств дает 80 процентов сельхозпродукции, остальные две трети — 20 процентов. Теперь им списывают долги — начинайте по новой разорять страну. Не справитесь — в отдельных, как сказано, случаях придется передать земли «крепким колхозам, совхозам, другим предприятиям, коллективным и семейным арендаторам». Но это когда еще будет...

И будет ли? Председатель созданного на Первом Съезде народных депутатов Комитета по аграрным вопросам А. Вепрев позвал меня на заседание этого нового органа и предложил высказать соображения касательно будущего закона о земле. Законодатели весьма дружно отвергли мои мысли о муниципальной собственности на землю, о порядке выхода из колхозов: кто же пожелает наделять фермеров средствами производства из артельных неделимых фондов? Нет, по их мнению, крестьянин может арендовать землю только у колхоза, сеять по колхозному плану. Видно, новый закон этим людям не нужен, для них и старый недурен. Оно и понятно: в большинстве своем члены комитета — руководители передовых хозяйств, плохих в народные депутаты не выберут. Они жизнь положили, чтобы доказать, что и артельное хозяйство может работать прекрасно. И противостоит-

венно было бы ждать, чтобы они поступились делом своей жизни. Но сколько их, передо-виков, в стране? Мудрый Аркадий Филимонович невесело пошутил: «А почти все здесь, в этом зале».

Навряд ли они дадут мужику вольную. На самом Съезде знаменитый председатель В. Стародубцев, выступая от имени 400 с лишним депутатов-аграрников, страдал: «Что можно сегодня сказать противникам колхозов? Вы хотите нанести последний удар по крестьянину и таким образом на долгие годы оставить народ на полугодичном пайке». Тут же оратор в драматических тонах сообщил: «Госплан СССР 5 мая этого года постановлением № 25 по оздоровлению экономики страны (какое кошачье слово!) на 1989 год снимает с Агропрома 20 тысяч тракторов, 10 тысяч грузовых автомобилей, 1100 экскаваторов, 1677 бульдозеров с последующей передачей Центросоюзу для продажи частному сектору. Товарищи руководители сельского хозяйства, сидящие здесь! Мы годами мечтаем о тракторе, о бульдозере — получить их не можем. Теперь, видимо, не получим вовсе».

Даю справку: ежегодно село получает по 330—350 тысяч тракторов, 300—330 тысяч грузовиков. Около 600 тысяч тракторов и комбайнов не укомплектовано кадрами механизаторов даже для работы в одну смену. Выходит, пусть техника лучше ржавеет без дела, а частнику, семейному фермеру — кукиш. Таково равноправие форм собственности в понимании законодателей. Мощное аграрное лобби, сложившееся на съезде, требует финансового допинга одряхлевшим секторам сельского хозяйства. А это еще одна черная дыра экономики.

Теперь о собственности кооперативной. Признаться, не без душевного смятения решаюсь написать, что она в высшей степени перспективна во всех отраслях хозяйства. Вот я недавно поехал по Кубани, встречался с моими читателями. И в любой аудитории, хоть в колхозной, хоть в университетской, — злые, как собака, вопросы: когда же наконец бандитов-кооператоров прихлопнут? они извели все мясо на шашлыки, скупили всю ткань. Часами ходил по базарам, просто по людным местам — может, мне как-то особенно не везло, но ни одного шашлычника так и не заметил. Да и кто рискнет? Отвинтят голову и скажут: так и было.

В судебном процессе над Бухариным зафиксирован любопытный эпизод: бывшего любимца партии обвинили в том, что он сыпал битое стекло в масло. Поистине чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят: откуда взялась маслу в магазинах, когда его нарочно перепортили? На то смахивает, что в общественном сознании обязанности врагов народа исполняют сегодня кооператоры: они-то и растащили товары, все слопали, а нам ничего не оставили.

Можно, конечно, доказать, что шашлычник, заработавший большие тысячи, тем самым благотворно повлиял на состояние рынка. Каков бы ни был его доход, не съест он за день пуд мяса и не напаялит два пиджака разом. Лишние деньги он отложит в сбережения, то есть на какой-то срок выключит их из обращения. А вот люди, живущие от получки до получки, не издержки они денег на шашлыки, обязательно предъявили бы те рубли государственной торговле и тем обострили товарный голод. Можно вспомнить, что за прошлый год новые кооператоры произвели на миллиард рублей потребительских товаров. Неужто это лишнее в нынешней ситуации? Можно привести другие доводы. Однако зачем? Хуже глухого не желающий слушать, сильнее разума зависть, или, как говорят китайцы, болезнь красных глаз: пусть мне плохо, но чтобы и соседу было не лучше. «Где справедливость, если кооператор получает больше министра?» — вопрошает человек, который десять минут назад поливал того министра и его аппарат предпоследними словами как тормоз перестройки, поносил министерские привилегии.

Мне кажется, высшие власти превосходно понимают, какое необыкновенное рвение к труду может разбудить и уже будит кооперативное движение. По их инициативе принят закон о кооперации, несомненно лучший правовой документ во всем пакете новых хозяйственных правил. Но реформаторы вынуждены считаться с настроениями людей. Писанный закон вообще не может сильно опережать состояние общественного мнения. К примеру, юристам-профессионалам ясно, что надо бы отменять смертную казнь, а закон такой ввести нельзя — общество его не примет. Так и тут. Помню, сидели мы на телевидении за «круглым столом», обсуждали только что вышедший закон о кооперации, хвалили его, выискивали какие-то изъяны. В конце встречи поднялся заместитель министра финансов и пояснил: утверждена шкала налогов, по которой кооператоры обязаны сдавать в казну до 90 процентов прибыли. Она мог сказать и проще: о чем вы тут трепались, забыть и наплевать, решаем-то мы. В тот раз пресса дружно осудила самоуправство финансистов, кооперативы удалось отстоять. Но это было, когда общество видело в будущих коопера-

торах рыцарей без страха и упрека. Дальше истребление предприимчивых людей пошло веселее. Специальным постановлением запретили кооперативы по изготовлению оружия и наркотиков. Само собой, таких коллективных предприятий и не было зарегистрировано — старые законы не позволяли их. Запрет, однако, не бессмысленный: тем же документом попутно разогнали лечебные, издательские и еще некоторые кооперативы — в непочтенном соседстве с наркобизнесом они худо гляделись.

Затем кооператоров пристегнули к казенным предприятиям — пусть работают по их заказам и под присмотром. Только приспособились — новая напасть. Я говорил уже, что теперешний хозяйственный механизм создает идеальные условия для того, чтобы коллективы предприятий взвинчивали заработки, не увеличивая выпуск продукции. В частности, стремительно растут заводские фонды стимулирования. Собственно, заводчан интересует лишь фонд материального поощрения — его раздают на руки. К двум другим фондам (соцкультбыта и развития производства) работники достаточно равнодушны — там деньги безналичные, заработка они не прибавляют, да и потратить их некуда, раз на оптовом рынке пустота. Тут-то и появились кооперативы при заводах. Расходы на исполнение заказов, включая и зарплату, им возмещали как раз из фондов развития производства. Таким образом, безналичные деньги превращались в наличные.

Госкомтруд быстренько спохватился и пресек это дело: желаете нанимать кооператоров — рассчитывайтесь с ними из фонда оплаты труда. И теперь если кооператоры зарабатывают хоть на десятку больше, чем штатные заводчане, средняя зарплата на предприятии увеличится и может опередить прибавку производительности труда. Тогда по новейшей инструкции (письмо «банды четырех») будут заморожены выплаты всему коллективу. Легко представить себе ненависть штатного рабочего к кооператору: мало ли что я сачковал, а ты выкладывался — свою лишнюю десятку ты отнял не у общества в целом, а у меня лично, сукин сын. Надо быть очень наивным человеком, чтобы предположить, будто в Госкомтруде загодя не просчитали столь очевидного эффекта своей акции. Если каждый получает, сколько заработал, зачем тогда комитет? А перессорить меж собой различные слои общества — это же до второго пришествия понадобятся согласования и регулирования. Чиновники опять при деле.

Можно перечислять и перечислять подножки кооператорам (чего стоит, например, передача налогообложения местным властям! Они покажут, почем сотня гребешков), но, пожалуй, достаточно привести выдержку из программного доклада нашего премьера. Указав на «совершенно отрицательные устремления отдельных категорий кооператоров», докладчик прояснил: «Это наносит непоправимый вред самой природе кооперации, которая не приемлет таких элементов, как рвачество, нажива, личное обогащение, корысть, игнорирование интересов граждан. К сожалению, все это есть в нашем кооперативном движении, вызывает гнев трудящихся. Они требуют новости порядок». Заметьте, до чего экспрессивно названа здесь самая надежная мотивация к труду — материальный, денежный интерес: личное обогащение, нажива, корысть, рвачество. Мне по невежеству неизвестно, где расположены инкубаторы, в коих разводят бескорыстных предпринимателей. Или уже найден метод выращивать в колбах-ретортах идеальных гомункулюсов взамен традиционного размножения порочных людских особей? На мой вкус, и старый способ, в сущности, хорош.

Как хотите, а мы наблюдаем беспорядочное отступление реформаторов с генерального направления — с перестройки отношений собственности. Лишенный корысти, презирающий личное обогащение, не владеющий какой-либо собственностью — это же не работник и не гражданин. Это люмпен, равнодушный к себе, к семье, к обществу. Он требует хлеба и зрелищ от перестройки, хотя на ее знаменах написано: не полагайся на милость казны, будь кузнецом своего счастья, в труде обретешь ты право свое. На люмпенской социальной базе перестройка не устоит. Ее и начинать не стоило, если дрожат коленки перед «гневом трудящихся» к расторопным, удачливым, работающим. Кто перепугался — отойди от греха подальше, не мешай, схватка идет нешуточная. А там будет видно, кто кого. Выиграют предприимчивые — тогда не проиграют и сегодняшние их противники, всем станет лучше жить. Победят социальные иждивенцы — тем и другим уготована братская могила, а заодно и державе. Исход борьбы сильно зависит от того, чью сторону примет власть, а покамест она мечется, получая тумачи оттуда и отсюда, как оно и положено в доброй драчке. Нельзя же до бесконечности подыгрывать люмпенскому сознанию. Вот недавно социологи провели опрос 62 тысяч человек: какой участок сферы обслуживания вызывает наибольшие нарекания? На первое место вышли палатки, где принимают пустые бутылки. Так что ж, и тут глас народа — глас божий?

Не об одних кооперативах да частниках тут речь. Я так думаю, что и казенная собственность, ныне преобладающая, должна претерпеть революционные изменения, обрести хозяина. Предлагаю план постепенного превращения государственных предприятий в акционерные. Одна часть их стоимости создана за счет централизованных бюджетных капитальных вложений. На эту сумму выпускаются акции, принадлежащие государству, доход с них поступает в казну. Другая часть основных фондов оплачена заводскими деньгами. Соответствующие акции станут коллективной собственностью, на дивиденды с них можно расширять и обновлять производство, строить жилье. Наконец третий вид акций — собственность работников предприятия. Пай конструктора и сторожа, ветерана и новичка не должен быть одинаковым. Простое и, в общем-то, справедливое решение — делить акции этого сорта пропорционально окладу, полученному каждым за все время работы на данном заводе. Доходы от ценных бумаг станут весомым дополнением к зарплате.

С переходом к самофинансированию казна не будет вкладывать денег в расширенное воспроизводство на действующих заводах, а значит, и новых акций не получит. Между тем стоимость основных фондов удваивается раз в десятилетие, ну пусть за двадцать лет. Ясно, что государственный пакет акций, оставаясь неизменным, будет занимать все меньшую долю в общей их стоимости, предприятие постепенно превращается в акционерное. Поступления в казну необязательно уменьшатся — она свое получит за счет налогов, как и происходит во всем западном мире. Было бы крайне неразумно ограничивать право акционеров на вольную продажу ценных бумаг. Тогда в перспективе маячит рынок капитала — обязательный спутник товарного рынка. Смотри по обстоятельствам, государство, как и любой владелец денег, может скупать акции либо выбрасывать их на фондовую биржу, тем самым уменьшая или увеличивая долю казенной собственности относительно собственности частной, кооперативной, акционерной.

Это и будет коренным изменением производственных отношений, то есть отношений собственности с далеко идущими животворными последствиями в экономической и социальной сферах. В нашем варианте перестройка обретает ясную перспективу, проверенную мировым опытом.

Действительно, давно ушел в небытие описанный Марксом капитализм, когда крупное предприятие было собственностью одного хозяина. Как сообщает С. Меньшиков («Новый мир», 1989, № 3), в концерне «Дженерал моторс» занято 750 тысяч рабочих, а число владельцев его акций приближается к миллиону, причем никто из самых крупных собственников не имеет даже одного процента акций. В свое время основоположники самой передовой теории немало потешались над утопистами, которые мечтали выкупить у хозяев фабрики: нищелюбы, не имеющие чем заплатить за кружку плохого пива, разглагольствуют в кабачке, как они разбогатеют, став коллективным собственником. Не проще ли, мол, начеканить монет из серебра лунного света? Но жизнь меняется. Сейчас в США 10 миллионов человек занято на предприятиях, выкупленных работниками. Государство всячески поощряет эту форму собственности. И нам бы так...

Закон об акциях у нас принят. Он мог бы стать полезным вдвойне. Когда на руках у населения громада пустых денег, сразу нашлись охотники вложить их в ценные бумаги — это выгоднее, чем хранить сбережения на книжке. С потребительского рынка отвлекались лишние деньги, что способствовало оздоровлению экономики. Таков ближайший выигрыш. Брежнев и дальний: начиналась перестройка отношений собственности в самом мощном секторе экономики — на государственных предприятиях. Однако другая оздоровительная мера испортила всю обедню. Как только государство взяло под свирепый контроль соотношение между ростом производительности труда и зарплатой, первые акционеры стали сдавать ценные бумаги обратно — с учетом дивидендов зарплата повышается быстрее, нежели производительность труда, и выплаты по акциям пришлось заморозить. Пользы от контроля за ложным соотношением все равно нет, а вред перестройке, как видите, налицо. Опять отступление реформаторов, и опять с направления главного удара.

Лишь на поверхностный взгляд я далеко уклонился от начатого разговора о талонах на сахар и мыло. Переход к рационированию, к карточкам направляет развитие производственных отношений в сторону, обратную перестройке. Собственности на средства производства работник у нас не имеет шесть десятилетий и потому не больно-то по ней и тоскует — давно забыто, что это за штука. Постепенно мы привыкли к тому, что и продукт труда принадлежит не его создателю, а чиновнику, который делит его по своему усмотре-

нию. С вводом карточек на ширпотреб отчуждение человека от собственности становится тотальным, достигает своего логического завершения: теперь уж и зарплата, личный доход лишь номинально принадлежит частному лицу — деньги обретают силу только после того, как чиновник разрешил тебе купить отмеренный им кусок колбасы, рубаху или телевизор. Возникает экономика принципиально нетоварная, в том даже буквальном смысле, что в магазине нет товаров, есть пайки.

Тут полезно поставить классический вопрос: кому выгодно? Нас убеждают: вам, потребителям. Зачем, мол, тебе стоять в очередях или переплачивать — по дешевке получи, что положено, по талончику и топай за следующим. Но еще выгоднее система распределения тем, кто приставлен делить блага. Уж себя-то они не обидят. Скажем, дележка мяса из общесоюзного фонда — мероприятие первостепенной государственной важности, за этим делом особый контроль. Но почему при такой нехватке продукта в Москве он почти всегда в продаже? Что, перед иностранцами пофорсить охота? А то они не знают истинного положения в стране. Все проще: в столице живут самые важные чиновники, и для себя, для своего окружения они расстарались. К тому же, будем откровенны, недовольство москвичей, появившись такое, хлопотнее для власти, нежели ворчание бывших чухломских мясоедов. Где следующие по значению чиновники? В столицах республик. Тем столицам тоже перепало при дележке мясного фонда. Следующие? В областных центрах. И там еда есть, хоть и по скудной норме. Вот соответствующая статистика: по государственным ценам покупают мясо в Москве 97 процентов жителей, в столицах союзных республик — 79, в областных центрах — 36. Однако по крайкам-то еще целая несытая страна, она платит за килограмм мяса где пятерку, а где и десятку.

Учтем далее, что зарплата в городах выше. В среднем по стране бедные платят за кило мяса 4 рубля 20 копеек, богатые (с месячным доходом на члена семьи 150 рублей и больше) — 2 рубля 90 копеек. Дотация казны к госцене в расчете на килограмм мяса — около 3 рублей. Это как бы премия тем, кто сподобился жить в благополучных городах. Низкооплачиваемые покупают по 15—20 кило в год, стало быть, их премия — 45—60 рублей. Богатые приобретают в среднем по 100 кило на душу, экономя в год уже 300 рублей. Вспоминаю давнюю встречу с академиком Лаврентьевым. Михаил Алексеевич с юмором рассказывал, как его гость, английский ученый, удивлялся нашим порядкам: «Первый раз вижу страну, где существует воспомоществование богатым». Такова социальная «справедливость» в системе распределения.

Мы дружно клянем закрытые распределители. Ликвидация привилегий стала беспроигрышным пунктом предвыборных программ. Суть вопроса, однако, не в том, что блага поделены неверно, не по заслугам. Каждый считает, что он-то как раз и заслужил. Всякое распределение несправедливо изначально, ибо оно заменяет собою истинное мерило заслуг — деньги. Оно, распределение, если хотите, безнравственно и вполне способно освободить общество от остатков морали. Трудолюбие ради себя и ближних, личное достоинство, честность становятся излишними, даже обременительными, когда благополучие семьи зависит от расположения чиновника, выдающего талон на лоскуток счастья. Подхалимствующие перед последним из начальников, издерганные распрями вокруг куска мыла, бдительно следящие, чтобы сосед не ухватил больше тебя, — да что же мы будем за общество?

Особенность момента, однако, в том, что экономике нечем пока вознаградить добродетель. Если не карточки, то рост розничных цен, иначе нам просто не выжить. Голосую за второе, сознавая, сколь непопулярна такая перспектива. Однажды я высказал по телевидению этот тяжелый императив и получил ругательные отклики вплоть до обидных: ты, мол, верили тебе, а оказывается, вон ты кто такой — продался начальству и агитируешь за рост цен. Мать семейства из Перми прислала целую тетрадку с раскладкой своих доходов и расходов: объясни, как мне жить, если все станет дороже.

Попробую. Раньше всего, рационирование не упреждает гонки цен. Мы ведь не впервые используем карточную систему, так что сценарий событий известен. Первым делом усилится расслоение цен на государственные и рыночные. Это уже было в истории. В 1929 году ввели карточки. В 1932-м рыночные цены превышали карточные почти в 8 раз, в 1933-м — в 12—15 раз. Государство, разумеется, не могло терпеть, чтобы такие переплаты миновали казну. Уже в 1931 году десятую часть товаров, проходящих через госторговлю, продали в так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам, а годом позже — 39 процентов. Легко подсчитать: средний уровень цен в государственной торговле поднялся почти в 4 раза. В 1933—1936 годах карточки отменили, одновременно повысив цены на все виды товаров в 5,4 раза. Примерно так же развивались события в 1941—1946

годах, когда опять действовала карточная система. Нет оснований надеяться, что на сей раз получится иначе.

Прелесть карточек и талонов в том, что посредством их государству удастся обеспечить минимальный паек всем и таким образом приглушить недовольство. Постоянный ползучий рост цен при свободной торговле тоже, понятно, не сахар, но тогда, чем черт не шутит, вдруг и профсоюзы наши вспомнят о прямых своих обязанностях. Покамест они призывают нас трудиться прилежнее, что, конечно, нелишне, хуже у них выходит с защитой интересов работников. В нашем варианте необязательно фантастикой станет такая картина: при заключении коллективного договора профсоюз требует повышения зарплаты в меру роста цен. А если трусит потребовать — тогда мы выберем другой профком, на дворе, слава богу, гласность.

Предвижу возражение: что же мы тут выиграем, кроме нового витка инфляционной спирали? Не скажите. Сейчас все последствия товарного голода и гонки цен переложены на плечи потребителей. Когда прибавка денежных доходов аккуратно оседает на сберкнижках и в кубышках, то совершенно очевидно, что государство, не спросив нас, освободило себя от заботы о товарном покрытии этих сотен миллиардов рублей. Ресурсы труда, сырья, оборудования, которые следовало израсходовать для производства товаров под отложенные в сбережения рубли, государство безответственно истратило на какие-то одному ему известные цели, будь то несостоявшееся приоритетное развитие машиностроения, пагубная мелиорация, не принесшие пользу инвестиции в Нечерноземье, поддержка нежизнеспособных режимов за рубежом или что-то еще. А когда заработки станут расти в меру повышения цен, власть не в силах будет переносить удовлетворение платежеспособного спроса на потом, на те счастливые времена, в кои реализуются наполеоновского размаха программы, — потребителю, что положено, отдай сегодня, сейчас. Наверняка поменьше будет дырявых бюджетов и трухлявых планов. А не обучатся планировщики по одежке протягивать ножки — скрытое банкротство казны станет наконец явным, понятным каждому.

Может, найдется тогда мужественный человек, который встанет перед телекамерой и объявит: «Братья и сестры, друзья мои! Государство не способно вас накормить, обусть, одеть, да и не его это задача. Кормитесь-ка кто как умеет, а мы твердо обещаем одно: мешать больше не будем. Что в нашей власти, так это защитить крестьянина от агрессивного соседа, уберечь кооператора от бандита, заводского работника — от планов и ценных указаний». Это уже немало. Да что там, это много, очень много, ибо такой оборот дела и есть начало перестройки в экономике. Потом всякое нас ждет, и хорошее и дурное, но вектор перемен будет нацелен к здоровому народному хозяйству.

К такому повороту не готовы пока ни власти, ни общество. Мы все еще рассчитываем, что государство как-то там извернется и обеспечит достаток товаров по стабильным ценам. А нет, так позовем других начальников — вон их сколько, кто обещает завтра удвоить зарплату, содержать матерей, пока детишки в школу не пойдут, всем выдать по даче и квартире. Этого не будет. Избежать расплаты за старые грехи и нынешнее бездействие нельзя. А вот смягчить последствия нерешительности и прямых ошибок в проведении перестройки можно и должно. Кое-какие резервы у нас, к счастью, остались, небольшой простор для маневра пока есть. Надо проводить реформы немедленно и в полном комплекте, поскольку частные меры, даже очень хорошие, поодиночке не работают. Какие конкретно изменения нужны, мы знаем, с чего начинать, тоже ясно: отмена директивных планов, переход к производству по заказам покупателей, раздача земли крестьянам, прекращение эмиссии, движение к вольным ценам.

Не хуже других понимаем, что трудно решиться на такое в сложившейся обстановке: въязались в реформы — и прилавки опустели. Они все равно опустеют, поведем перестройку или нет, да каждому этого не объяснишь. Рынок надо оздоравливать в любом случае. Как подсчитали экономисты, чтобы упредить его окончательный развал, нужно выкачивать у населения дополнительно хотя бы 70 миллиардов рублей ежегодно. Достичь такого прироста выпуска товаров, реального, а не дутого, страна пока не в состоянии. Остается мировой рынок. Ширпотреб, который мы там покупаем за валютный рубль, продается внутри страны за десятку. Значит, надо изыскивать дополнительно на импорт потребительских товаров по 7 миллиардов валютных рублей в год. Деньги большие, но хотя конъюнктура на мировом рынке нам не благоприятствует, худо-бедно нынешняя выручка от внешней торговли составит 66 миллиардов.

Тут требуется внести ясность в один важный вопрос. В докладе на Съезде народных депутатов Н. И. Рыжков сообщил, что настоящих денег, свободно конвертируемой валюты мы выручим за год лишь 16 миллиардов, а затем привел раскладку, из которой следовало:

на покупку товаров для народа средств нет. Достоинно удивления, что никто из депутатов не поинтересовался: а где же остальная выручка? Как так вышло, что вывозим за год своего товара еще на 50 миллиардов валютных рублей и получаем за него фальшивыми деньгами, которые настоящие купцы к оплате не принимают? Кто так расторгнулся? Подать его сюда! Мы ломаем голову, как бы прибавить пенсион калекам, а он спустил богатства страны за пустые бумажки...

Такие вопросы на Съезде не прозвучали. Быть может, стоило бы провести на эту тему слушания в Верховном Совете? Для затравки разговора назову несколько цифр. По статистическим справочникам я подсчитал: мы платим за кубинский сахар-сырец до 11 мировых цен, ежегодные переплаты все время колеблются вокруг 3 миллиардов валютных рублей. Это полноценная валюта — ведь в обмен мы поставляем нефть, горючее, металл, древесину, зерно, которые можно продать хоть за доллары, хоть за фунты. Вот мы с вами и нашли 3 миллиарда рублей валюты из 7 миллиардов, необходимых для оздоровления внутреннего рынка. И это только по одному товару и по одной стране. Желаящие пусть продолжат поиски — обнаружатся вещи прелюбопытные.

В сущности, национальные экономические интересы принесены в жертву идеологическим постулатам. В отличие от ленинских времен сегодня наша родина в открытую не рассматривается властью как база мировой революции, но если судить не по словам, а по делам, недра страны, ее богатства распахнуты как никогда прежде к услугам социалистического лагеря. На него падает две трети оборота внешней торговли. Вывоз туда нашего добра никого, впрочем, не осчастливил. Я бывал в странах СЭВ — там убеждены, будто они нас кормят.

И перемен не предвидится. В программном докладе Н. И. Рыжкова, в разделе о внешней торговле, сказано: «Как и прежде, приоритетное внимание будет уделяться укреплению взаимоотношений с социалистическими странами...» Если так, на маневр валютой ради стабилизации потребительского рынка рассчитывать нечего. Но кто ж тут виноват?

Кругленькие суммы можно выручать от продажи населению строительных материалов, а в магазинах — шаром покати (знаю, сам строю садовый домик). Выбрось на рынок в достатке кругляк, доски, цемент, кирпич — застройщики станут зарабатывать деньги на производстве, сон забудут. Люди семейные, мало пьющие — это же наша опора и надежда. Нет, строительные материалы опять отданы ведомствам, а им сколько ни дай, все мало, отблагодарят опять каким-нибудь БАМом или каналом.

Словом, резервы у страны есть. Все их надо подчинить проведению экономических реформ, чтобы получить отдачу уже через два-три года. Иначе и оборону проедем, и валюту, а в итоге опять окажемся у разбитого корыта.

В главнейших пунктах эта программа расходится с предложениями титулованных экономистов. Действительно, с ноября прошлого года сложилось нечто вроде самоновейшего официального курса в управлении хозяйством. Он сильно отличается от первоначальных планов перестройки. До недавнего времени реформаторов упрекали в робости, непоследовательности и тут же давали благовидное объяснение: слишком, мол, влиятельны антиперестроечные силы, аппаратчики сводят на нет прогрессивные начинания, искажают объявленные сверху новые принципы. Сегодня ситуация, на мой взгляд, иная: сами решения, принятые на высшем уровне, в сумме своей образуют достаточно целостную, логически не противоречивую и, увы, слишком известную нам концепцию приказного регулирования хозяйства. Авторы ее словно сами не верят в идеи перестройки, опять подхлестывают, пинают вроде бы отвергнутую планово-командную систему: вывози в последний раз, яви на прощание свое могущество, а там и за реформы примемся. Не вывезет. Не явит. Тогда не приспело ли время защищать перестройку от ее инициаторов?

Пусть никого не вводят в эйфорию посулы вернуться к реформам после оздоровления экономики. Эта затея обречена. Не исключено, что время, отпущенное для управляемого процесса перемен, уже истекло. Если я и ошибаюсь, запас исчисляется не годами — месяцами, хозяйство разваливается на глазах. Оздоровительные меры до реформ, в м е с т о реформ не пройдут. Потеряв темп, мы все равно начнем радикальную перестройку, другого шанса на спасение у нас просто нет, однако вынуждены будем перестраиваться в обстановке хозяйственного хаоса. Могли и не сделали — история не простит нам такого разгильдяйства.

РОБЕРТ КОНКВЕСТ

★

ЖАТВА СКОРБИ

Советская коллективизация и террор голодом

Имя английского историка Р. Конквеста, автора трудов по истории советского общества, получило широкую известность после выхода на Западе его книги «Большой террор» (*The Great Terror*). London. 1968; русский перевод — *Edizioni Aurora, Firenze*. 1974) — первого в западной историографии широкого и тщательного исследования деятельности сталинской карательной машины 30-х годов.

Новая книга Р. Конквеста «Жатва скорби» (*The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror—famine*). London. 1986; русский перевод — 1988) повествует еще об одной акции, предпринятой Сталиным и его окружением и унесшей в «мирное время», по самым осторожным оценкам, больше человеческих жизней, чем потеряли все враждующие стороны, вместе взятые, в первую мировую войну. Речь идет о преднамеренно организованном сталинским руководством голоде 1932—1933 годов, голоде, который был выбран в качестве одного из наиболее эффективных методов борьбы с крестьянством, сопротивлявшимся насильственно навязанной ему «высшей форме операции». За попытку сказать правду об этой трагедии в нашей стране десятилетиями расстреливали, сажали, ссылали, чтобы в парализованном ужасом сознании свидетелей стерлась сама возможность памяти о ней.

Публикуя сегодня одну из наиболее сильных, на наш взгляд, глав из произведения Р. Конквеста — главу, рассказывающую о голоде на Украине, — хотим подчеркнуть особенность ее исторического стиля, не часто встречающуюся в трудах западных советологов. Анализ фактов, приводимый Р. Конквестом, точен и беспощаден (хотя специалисты еще спорят о количестве миллионов жертв), но его рассказ начисто лишен и позитивистского равнодушия и политического злорадства. За перечнем и сопоставлением объективных фактов ясно различим собственный авторский голос, полный боли и сострадания к великой беде, казалось бы, совершенно чужого ему народа. И за это мы, соотечественники безвинно загубленных, должны поблагодарить английского историка.

Текст русского перевода публикуется нами с небольшой стилистической правкой, согласованной с автором. В журнальном варианте авторский научный аппарат дается в сокращении. Редакция не имела возможности проверить все факты, сообщаемые автором.

БУЙСТВО ГОЛОДА

Указ требовал того, чтобы крестьяне Украины, Дона и Кубани вымерли вместе со своими малыми детьми.

Василий Гроссман.

В украинские крестьяне, видевшие депортацию кулаков, говорили: «И мы, дураки, думали, что нет худшей судьбы, чем судьба кулаков». Теперь, спустя два года, и они попали под самый страшный из всех когда-либо наносившихся им ударов. Июльский указ, установивший цифры госпоставок зерна для Украины и Северного Кавказа, теперь был подкреплен новым указом от 7 августа 1932 года, который обеспечивал законность санкций в поддержку конфискации зерна у крестьян.

Указ постановлял, что колхозная собственность, такая, как скот и зерно, отныне приравнивалась к государственной собственности, «священной и неприкосновенной».

Винные в посягательстве на нее будут рассматриваться как враги народа и приговариваться к расстрелу, который при наличии смягчающих вину обстоятельств может быть заменен тюремным заключением сроком не менее десяти лет с конфискацией имущества. Крестьянки, подобранные несколько колосков пшеницы на колхозном поле, получали меньшие сроки. Декрет постановлял также, что кулаки, которые пытались «заставить» крестьян выйти из колхозов, должны приговариваться к заключению в «концентрационные лагеря» на срок от пяти до десяти лет. В январе 1933 года Сталин назвал этот декрет «основой революционной законности на текущий момент» и сам его сформулировал¹.

Как всегда, активисты, сначала поощряемые к максимальному террору, задним числом потом обвинялись в «перегибах», и Вышинский с возмущением заявлял, что «некоторые представители местной власти» восприняли этот указ как сигнал к тому, «чтобы убивать или загонять в концентрационные лагеря как можно больше народу». Он упомянул случаи, когда за кражу двух снопов кукурузы приговаривали к смертной казни, и развлекал аудиторию рассказом о молодом человеке, приговоренном к десяти годам заключения за то, «что резвился с девочкой ночью в хлеву, нарушая покой колхозных свиней»².

Но и до опубликования августовского указа в украинской прессе можно было прочесть такие сообщения: «Недремлющее око ГПУ обнаружило и приговорило к суду фашистского саботажника, который прятал хлеб в яме под стогом клевера»³. После же указа мы видим, как постоянно возрастает степень применения закона, его суровость и сфера приложения. За один только месяц в харьковском городском суде было вынесено 1500 смертных приговоров.

Украинская пресса постоянно помещала статьи о смертной казни «кулакам», которые «систематически похищают зерно». В Харьковской области в пяти судах случилось 50 таких дел, и в Одесской области происходило нечто подобное: в прессе подробно описывались три случая кражи снопов пшеницы; одна супружеская пара была приговорена к расстрелу просто за абстрактное, не расшифрованное «хищение». В селе Копань Днепропетровской области банда кулаков и подкулачников просверлила дырку в полу амбара и похитила много пшеницы: два человека были расстреляны, остальных приговорили к заключению. В селе Вербки той же области перед судом предстали председатель сельсовета и его заместитель, а также председатели двух колхозов с группой из восьми кулаков. К расстрелу приговорили только трех кулаков⁴. В селе Новосельское (Житомирская область) один крестьянин был расстрелян за то, что у него обнаружили 25 фунтов пшеницы, собранной на полях его десятилетней дочерью.

К десяти годам заключения приговаривали за «кражу» картофеля. Женщину приговорили к десяти годам тюрьмы за то, что она срезала сто початков зреющей кукурузы со своей же собственной делянки: за две недели до этого ее муж умер от голода. За такое же преступление к десяти годам приговорили отца четырех детей. Другую женщину приговорили к десяти годам тюрьмы за то, что она собрала десять луковиц на колхозной земле. Советский ученый Н. Немаков упоминает случай приговора к десяти годам принудительных работ без права на помилование и с конфискацией всего имущества за сбор 70 фунтов колосьев пшеницы.

Тех, кто совершал меньшие нарушения, отправляли в «отряды заключенных» при государственных хозяйствах, где им выдавали небольшую норму хлеба. Но там они могли воровать продукты, например помидоры, и поэтому обычно не стремились из этих отрядов бежать. В целом только случайная неразбериха, некомпетентность или намеренное попустительство могли защитить от жестокости нового закона. Так, в одном из районов Черниговской области арестовывали за утайку 5 или более килограммов зерна. Колхозник из колхоза «Третий решающий год» в селе Пушкарево Днепропетровской области был приговорен только к пяти годам заключения (очевидно, ему было предъявлено обвинение в нарушении другого закона), после того как у него дома нашли бутылку с его собственным зерном.

Женщина, арестованная вместе с одним из сыновей за попытку срезать немного ржи у себя на участке, смогла убежать из тюрьмы. Забрала второго сына, взяла не-

¹ См.: И. Сталин. Сочинения. М. 1953—1955, т. 13, стр. 213—214, 402.

² А. Я. Вышинский. Революционная законность на современном этапе. М. 1933, стр. 99—103.

³ «Вісті», 11 июня 1933 года.

⁴ См. «Вісті» — 27 августа, 14 сентября, 30 ноября 1932, 2 февраля 1933 года.

сколько простынь, спички и кастрюли и жила почти полтора месяца в соседнем лесу, ворую по ночам с полей картофель и зерно. Когда она вернулась домой, то обнаружилось, что в суматохе предстоящей жатвы о ее преступлении забыли.

Рассказывают о случаях, когда людей судили на основании других, хотя и не менее жестоких указов: в селе Малая Лепегиха, около Запорожья, расстреляли несколько крестьян за то, что они съели труп лошади. Видимо, так поступили потому, что лошадь была больна сапом и ГПУ опасалось эпидемии.

* * *

Для осуществления июльского и августовского указов были снова задействованы сельские активисты, и снова в поддержку им мобилизовали членов партии и комсомола, присланных из городов.

Как и в деле высылки кулаков, активисты с недостаточно взнузданной совестью оказались перед страшной необходимостью навязывать волю партии невинным мужчинам, женщинам и детям. Но если в 1930 году вопрос стоял о лишении имущества или о выселении крестьян, то сейчас речь шла уже непосредственно о жизни и смерти людей.

Некоторые активисты, даже те, у которых раньше была дурная слава, старались добиться справедливого отношения к крестьянству. Иногда порядочный партийный активист как-то старался помочь селу — для этого ему приходилось изворачиваться, чтобы, с одной стороны, не возбудить подозрений начальства, а с другой — не дать повода наиболее яростным из своих подчиненных выступить против него. Иногда кто-нибудь из таких «яростных» чрезмерно превышал отпущенный властями уровень жестокости (или коррупции), и его смеяли. Несколько чаще мог пройти незамеченным незаконный возврат продуктов крестьянам, особенно если последующий хороший урожай побуждал областные власти оставлять такой проступок без внимания.

Иногда под воздействием всего происходящего некоторые активисты выказывали вызывающее неповиновение властям. Один молодой коммунист, посланный в деревню Мерефа Харьковской области, доложил начальству по телефону, что он может выполнить госпоставки мяса, но только человеческими трупами. Затем он исчез из этих мест. В другом селе в 1933 году группа молодых активистов отрубила голову сельскому коммунисту.

* * *

В 1932 году после ряда чисток предыдущих лет доведенные до крайности некоторые председатели колхозов и местные партийные деятели решили больше не отступать ни на шаг. В августе 1932 года, когда стало очевидно, что выполнить план по зерну невозможно, в селе Михайловка Сумской области произошли беспорядки. Председатель колхоза, член партии и бывший партизан по фамилии Чуенко, объявил односельчанам о спущенном плане и сказал, что не намерен отдавать зерно без согласия членов колхоза. В ту же ночь он покинул деревню, но был схвачен и арестован ОГПУ вместе с председателем сельсовета. На следующий день в деревне вспыхнул «бабий бунт». Женщины потребовали освобождения арестованных, снижения налогов, выплаты недоплаченных трудодней и снижения зернопоставок. В результате 60 человек было осуждено, включая Чуенко, который был приговорен к расстрелу.

Всю вторую половину 1932 года газеты постоянно обрушивались с нападками на председателей колхозов и сельских коммунистов, которые-де «примкнули к кулакам и петлюровцам и из борцов за зерно превратились в агентов классового врага»⁵. Среди прочего их обвинили в раздаче зерна в уплату за рабочие дни⁶. Однако современный советский ученый Ю. Мошков в своей книге «Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР 1929—1932» рассказывает, что все же в 1932 году «некоторые колхозы Северного Кавказа и Украины сумели избежать организованного давления партии и государства».

Осенью того же года Компартия Украины опять жаловалась на колхозы, которые распределили «все зерно... весь урожай» среди местных крестьян⁷. Такого рода

⁵ «Большевик Украины», 1932, № 19-20.

⁶ См. там же. 1932, № 21-22.

⁷ «Вісті», 1 сентября 1932 года.

поступки были расценены партийным руководством как акция, «направленная против государства»⁸. Печатный орган Компартии Украины обрушился в ноябре на секретарей местных партячеек в селах Катериновцы и Ушаковцы, отказавшихся выполнять приказы о сборе зерна; подобные акции не были единичными⁹.

Пресса обличала колхозных председателей и в других проступках: многие не открыто противостояли приказам сверху, но прибегали к различным ухищрениям, чтобы обойти эти распоряжения. Некоторые, например, пытались укрывать зерно, списав его по всевозможным статьям¹⁰. Центральные партийные органы продолжали разоблачать «пассивно-лицемерные связи между некоторыми парторганизациями и кулацкими оппортунистами на Украине»¹¹. В целом это сопротивление связывалось с пытавшейся противостоять Сталину «контрреволюционной группировкой Рютина».

В украинском декрете говорилось о «группе сельских коммунистов, которые возглавляли саботаж»¹². Печатный орган комсомола обличал «коммунистов и комсомольцев», которые «крали зерно... и действовали как организаторы саботажа...»¹³. Харьковский областной комитет разослал строго секретные циркуляры, предупреждавшие, что если показатели поставок зерна не увеличатся, то все, кто за это отвечает, будут «вызваны для дачи показаний непосредственно в районный отдел ОГПУ».

За пять месяцев 1932 года 25—30 процентов среднего управленческого аппарата в сельском хозяйстве было арестовано. Зимой 1932/33 года коммунистическая пресса Украины объявила о многих случаях исключения из партии, а иногда и арестах как рядовых членов Компартии Украины, так и официальных лиц районного масштаба¹⁴. Вот типичный случай пассивного сопротивления и типичный же путь расправы: один председатель колхоза произвел массовые обыски, ничего не нашел и объявил: «„Зерна нет. Никто не скрыл его, никто не получил его незаконно. Поэтому план поставок выполнять нечем“». В результате его самого обвинили в организации преступной кражи зерна»¹⁵.

* * *

Несмотря на все «отклонения», кампания продолжалась. Несговорчивых коммунистов ликвидировали, заменив их более сговорчивыми.

К этому времени на Украине были созданы так называемые «буксирные бригады», участники которых мало чем отличались от обычных головорезов. Техника их работы сводилась к избиванию людей и к поиску зерна с помощью специального инструмента, щупа,— стального прута толщиной в пять восьмых дюйма в диаметре, длиной от трех до десяти футов, с рукояткой на одном конце и острием или подобием сверла на другом. Вот как описывал работу бригад один из крестьян:

«Бригады эти имели следующий состав: член правления сельсовета или просто депутат, два-три комсомольца, один коммунист и местный учитель. Иногда в них включали председателя или члена правления сельпо, а во время летних каникул и нескольких студентов.

В каждой бригаде свой «специалист» по поиску зерна. Он-то и был вооружен «щупом».

Бригада переходила из дома в дом. Сначала они входили в дом и спрашивали: «Сколько зерна у вас есть для советской власти?» «Нет нисколько. Не верите, ищите сами»,— следовал обычный короткий ответ.

Начинался обыск. Искали в доме, на чердаке, в погребе, кладовке и в сарае. Переходили во двор, в коровник, свинарник, амбар, на сеновал. Измеряли печь и прикидывали, достаточно ли она велика, чтобы вместить зерно за кирпичной кладкой. Ломали балки чердака, поднимали пол в доме, перекапывали весь двор и сад. Если какое-то место казалось подозрительным, то в ход шел лом».

В 1931 году еще были случаи утайки зерна, которое находили при обыске, обычно 100 фунтов, иногда 200. Но уже в 1932 году такого не было ни разу. Больше, что

⁸ «Вісті», 9 декабря 1932 года.

⁹ См. «Коммунист» (Харьков), 24 ноября 1932 года.

¹⁰ См. «Вісті», 30 января 1933 года.

¹¹ «Правда», 16 ноября 1932 года.

¹² «Вісті», 9 декабря 1932 года.

¹³ «Комсомольская правда», 23 ноября 1932 года.

¹⁴ См. «Вісті» — 30 ноября, 21 декабря 1932, 1 января, 4 января, 9 января 1933 года.

¹⁵ «Вісті», 28 января 1933 года.

могли найти,— это 10—20 фунтов, отложенных для кур. Но даже этот «излишек» отбирался.

Один из активистов рассказывал физику Александру Вайсбергу: «...борьба с кулаками была очень трудным временем. В меня дважды стреляли в деревне, один раз ранили. Сколько буду жить, не забуду 1932 год. Крестьяне с опухшими конечностями лежали в своих землянках без всякой помощи. Каждый день выносили новые трупы. И все-таки нам приходилось как-то добывать хлеб в деревнях, чтобы выполнить план. Со мной был мой друг. Его нервы были недостаточно крепкими, чтобы вынести все это. «Петя,— сказал он однажды,— если таков результат сталинской политики, разве она может быть правильной?» Я строго отчитал его за это, и на следующий день он пришел ко мне извиняться...»

Другой очевидец и непосредственный участник «акций» так рассказывал о «работе» активистов в украинских селах: «В некоторых случаях они были и милосердными и оставляли немного картофеля, гороха, зерна для прокорма семьи. Но педантичные исполнители мели все подчистую. Такие забирали не только продукты и живность, но «все ценное и излишки одежды», включая иконы в окладах, самовары, расписные ковры и даже металлическую кухонную посуду, которая могла ведь оказаться серебряной. И все деньги, которые обнаруживали в записке»,

* * *

Сами представители государства и партии от голода не страдали — они получали хороший паек. Лучшие из них иногда отдавали продукты крестьянам, но общая установка была такая: «От тебя будет мало проку, если, взявши в руки кнут, ты испытываешь жалость. Нужно научиться есть самому, когда вокруг мрут от голода. Иначе некому будет собирать урожай. Всякий раз, когда у тебя чувства преобладают над разумом, надо сказать себе: „Единственный путь покончить с голодом — обеспечить следующий урожай!“. О результатах подобной политики можно узнать, например, из письма одной женщины мужу в армию: «Почти все в деревне опухли от голода, кроме председателя, бригадиров и активистов».

Сельские учителя могли получать 18 килограммов муки, два килограмма круп и килограмм жира в месяц. За это они обязаны были после уроков поработать «активистами»...

На ранних стадиях голода в больших селах, где легче скрыться от посторонних глаз, женщины ради еды соглашались на сожительство с партийными чиновниками. В районных центрах партийные чиновники просто роскошествовали. Вот описание предназначенной для них столовой в Погребницах:

«День и ночь ее охраняла милиция, отгоняя голодных крестьян и их детей от столовой. Здесь по очень низким ценам районному начальству подавали белый хлеб, мясо, птицу, консервированные фрукты (компоты) и сладости, вина и деликатесы. В то же время работники столовой получали так называемый «микояновский паек», состоявший из двадцати различных наименований продуктов. А вокруг этого оазиса свирепствовали голод и смерть»...

* * *

Как в деревне, так и в городе официально поощрялась жестокость. Наблюдатель (сторож) на Харьковском тракторном заводе видел, как старика, просившегося на работу, прогнали со словами: «Пошел вон, старик... катись помирать в поле!»

В селе Харсин Полтавской области женщину на седьмом месяце беременности избил доской за то, что она рвала в поле озимую пшеницу. Вскоре после этого она умерла. В Бильске вооруженный часовой застрелил Настю Слипенко, мать троих детей, жену арестованного, за то, что она ночью выкапывала колхозную картошку. Трое ее детей умерли с голоду. В другой деревне этой же области сын крестьянина, у которого экспроприровали все имущество, был забит до смерти сторожем-активистом за то, что собирал кукурузные початки на колхозном поле.

В Малой Бережанке Киевской области председатель сельсовета расстрелял семь человек, из них троих детей четырнадцати и пятнадцати лет (двух мальчиков и девочку), застав их за сбором зерна в поле. Правда, он был посажен в тюрьму и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых работ.

Теперь бригады производили официальные обыски каждые две недели. Забирали уже и картофель, и горох, и свеклу. Если кто-то не выглядел голодающим, это вызывало подозрение. В таких случаях активисты проводили обыск особенно тщательно. Однажды активист после такого обыска в хате крестьянина, который чудом не опух от голода, в конце концов нашел-таки мешок муки, смешанной с корой и листьями, и высыпал муку в деревенский пруд.

Существуют свидетельства, как наиболее безжалостные члены бригад настаивали на том, чтобы умирающих свозили на кладбище вместе с трупами, чтобы сократить число ездов. В течение нескольких дней дети и старики лежали живыми в общих могилах. Председатель сельсовета в Германовке Киевской области увидел в общей могиле труп крестьянина-единоличника и приказал выбросить его из могилы. Прошла неделя, пока председатель позволил захоронить его. Методы террора и унижения были повсеместными — это явствует из письма Михаила Шолохова Сталину от 16 апреля 1933 года. Шолохов сообщал своему адресату о дикой жестокости на Дону:

«Примеры эти можно бесконечно умножить. Это — не отдельные случаи перегибов, это — узаконенный в районном масштабе «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету».

Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над советской властью, но и дела тех, чья рука их направляла.

Если все описанное мной заслуживает внимания ЦК — пошлите в Вешенский район дополнительно коммунистов, у которых хватит смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только тех, кто применял к колхозникам смертельные «методы» пыток, избиений и надругательства, но и тех, кто вдохновлял их»¹⁶.

Сталин ответил Шолохову, что сказанное им создает «несколько одностороннее впечатление», но тем не менее вскрывает «болячку нашей партийно-советской работы, вскрывает то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы Вашего района (и не только Вашего района) проводили «итальянку» (саботаж) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой товарищ Шолохов... Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как утверждаете Вы, нашими работниками... И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали»¹⁷.

* * *

Лев Копелев вспоминает:

«Я слышал, как... кричат дети, заходятся, захлебываются криком. Я видел взгляды мужчин: испуганные, умоляющие, ненавидящие, тупо равнодушные, погашенные отчаянием или взблескивающие полубезумной злою лихостью.

— Берите. Забирайте. Все берите. От еще в печи горшок борща. Хотя пустой, без мяса. И все ж таки: бураки, картопля, капуста. И посоленный! Забирайте, товарищи-граждане! Вот почекайте, я разуюсь... Чоботы, хоть и латаные-перелатаные, а может, еще сгодятся для пролетариата, для дорогой советской власти...

Было мучительно трудно все это видеть и слышать. И, тем более, самому участвовать. Хотя нет, бездейственно присутствовать было еще труднее, чем когда пытался кого-то уговаривать, что-то объяснить... И уговаривал себя, объяснял себе. Нельзя

¹⁶ «Правда», 10 марта 1963 года.

¹⁷ Там же.

подаваться расслабляющей жалости. Мы вершим историческую необходимость. Исполняем революционный долг. Добываем хлеб для социалистического отечества. Для пятилетки.

И как и все мое поколение, я твердо верил в то, что цель оправдывает средства. Нашей великой целью был небывалый триумф коммунизма, и во имя этой цели все было дозволено — лгать, красть, уничтожать сотни тысяч и даже миллионы людей, — всех, кто мешал нашей работе или мог помешать ей, всех, кто стоял у нее на пути. И все колебания или сомнения по этому поводу были проявлением «гнилой интеллигентности» и «глупого либерализма», свойств людей, которые не способны «из-за деревьев увидеть леса».

Так я рассуждал, и так думали все мне подобные, даже когда... я увидел, что означала «всеобщая коллективизация», увидел, как они «кулачили» и «раскулачивали», как безжалостно они грабили крестьян зимой 1932/33 года. Я сам принимал в этом участие, прочесывая деревни в поисках укрытого зерна, прощупывая землю с помощью железного стержня, чтобы обнаруживать пустоты, куда могло быть спрятано зерно. Вместе с другими я обшаривал сундуки стариков, не желая слышать плач детей и вопли женщин... Просто я был убежден, что выполняю великое и необходимое преобразование деревни; что благодаря этому люди, живущие в ней, станут жить лучше в будущем, что их отчаяние и страдание были результатом их собственной отсталости или происками классового врага; что те, кто послал меня, — как и я сам, — знали лучше крестьян, как им следует жить, что они должны сеять и когда жать.

Страшной весной 1933 года я видел, как люди мерли с голода. Я видел женщин и детей с раздутыми животами, посиневших, еще дышащих, но уже с пустыми мертвыми глазами. И трупы... трупы в порванных тулупах и дешевых валенках, трупы в крестьянских хатах, на тающем снегу старой Вологды, под мостами Харькова... Я все это видел и не свихнулся, не покончил с собой. Я не проклял тех, кто послал меня отбирать у крестьян хлеб зимой, а весной убеждать и заставлять их, едва волочивших ноги, до предела истощенных, отечных и больных, работать на полях, чтобы «выполнить большевистский посевной план в ударные сроки».

Не утратил я и своей веры. Как и прежде, я верил потому, что хотел верить».

Другой активист рассказывает о том, что он мысленно был способен, следуя сталинскому курсу, обвинять в злоупотреблениях отдельных «плохих» коммунистов, но, продолжает он, «подозрение, что все ужасы были не случайными, а запланированными и санкционированными верховной властью, уже закрадывалось в мое сознание... Мне легче было переживать стыд за все происходящее, пока я мог винить в этом отдельных людей...».

Но даже и такие, наиболее человеческие активисты постепенно ко всему привыкали. «Я уже привык к атмосфере ужаса; я развивал в себе внутреннее сопротивление действительности, которая еще вчера ломала меня», — писал позднее о себе очевидец событий 1932—1933 годов.

Эти люди либо сумели заставить свою совесть замолчать, либо кончали жизнь в лагерях. Как предвидел Бухарин, подобное положение дел привело к дегуманизации партии, для членов которой «террор отныне стал нормой управления, а безоговорочное выполнение всякого приказа сверху — высокой добродетелью».

* * *

Пока в последние месяцы 1932 года бригады активистов переворачивали вверх дном дома крестьян в поисках зерна, люди всеми силами старались хоть как-то уберечь оставшееся...

Если крестьянин нес молоть утаенное зерно на местную национализированную мельницу, представители государства немедленно это зерно отбирали. Поэтому некоторые ремесленники конструировали «ручные мельницы». Когда такие мельницы обнаруживали, их конструктора и пользователей сажали. Подобного рода «домашние жернова» стали одним из главных предметов критики партийной печати того времени; 200 ручных мельниц было найдено в одном районе и 755 (всего лишь за месяц!) в другом¹⁸.

С помощью подобных орудий труда или без них изготовлялся необычный «хлеб» — лепешки, замешенные на подсолнечном масле с водой, из просяной и гре-

¹⁸ См. «Вісті», 11 января 1933 года.

чишной мякины с небольшим добавлением ржаной муки, чтобы не распадались. Писатель И. Стаднюк приводит рассказ о том, как крестьянин измельчал доски от бочки, в которой прежде хранили масло, и варил дерево, чтобы извлечь из него остатки жира.

В. Астафьев говорит о том, что игра в кости — бабки, — в которую с незапамятных времен всегда играли дети, начисто исчезла, поскольку все старые кости съеденных животных «выпаривались в котлах, измельчались и съедались».

В другой деревне из-под снега вырывали желуди и пекли из них некое подобие хлеба, иногда добавляя немного картофельных очистков или отрубей. По этому поводу один парторботник сказал, выступая в сельсовете: «Посмотрите на этих паразитов! Они отправились голыми руками откапывать желуди из-под снега — они готовы делать что угодно, только бы не работать».

* * *

Даже в ноябре 1932 года еще было несколько случаев восстания украинских крестьян и временного роспуска колхозов.

Обычно крестьян доводили до восстаний тем, что в нескольких милях от них был хлеб, а их обрекали на голод. В дореволюционное время, даже когда случался голод куда меньший по масштабам, предпринималось все возможное для помощи голодающим. В. Гроссман в своей повести «Все течет...» пишет о 1932—1933 годах: «Старики вспоминали голод при царе Николае. Тогда им помогали. Им выдавали еду. Крестьяне шли в города христарадничать. Открывались кухни, где варили суп, чтобы накормить их, а студенты собирали пожертвования. А тут под властью рабочих и крестьян им не дали и зернышка».

Далеко не все зерно экспортировалось или отправлялось в города и армию. Местные амбары были полны «государственными резервами». Так, зернохранилище в Полтавской области, по имеющимся сведениям, «почти трещало» от зерна. Это зерно хранили «на всякий пожарный случай», такой, как война, например. Голод же не был достаточно веским поводом для использования этих ресурсов.

Молоко, отобранное у крестьян, тоже часто перерабатывалось на масло на заводах, расположенных неподалеку от голодающих деревень. Туда допускались только парторботники и представители власти. Очевидец рассказывает, что хмурый заводской завод показал ему нарезанное на бруски масло. Брусочки были завернуты в бумагу с надписью на английском: «СССР. МАСЛО НА ЭКСПОРТ».

Запасы продовольствия имелись, но голодающие не получали его. Это было ужасно. И порой походило на провокацию. Особенно когда зерно хранилось открытым способом и гнило. Груды зерна лежали на станции Решетиловка Полтавской области. Зерно гнило, но охранялось сотрудниками ОГПУ. Американский корреспондент видел из окна поезда «огромные пирамиды зерна, которые курились от гниения».

Картофель тоже был свален в кучи и гнил. Как свидетельствуют очевидцы, несколько тысяч тонн картофеля было собрано в поле возле Лоботина и окружено колючей проволокой. Он уже начал портиться, тогда его передали из картофельно-овощного треста в трест спирто-водочных изделий, но и там его держали в поле до тех пор, пока он стал непригоден даже для производства алкоголя.

Естественно, что в официальных отчетах подобные факты сваливали на «саботаж»: мол, урожай саботируют не только в степи, но и на элеваторах и в зернохранилищах. Бухгалтер на зерноэлеваторе был приговорен к смертной казни за то, что платил рабочим за их труд мукой, и когда через два месяца его все-таки выпустили (сам он тоже голодал, он умер на следующий день от истощения).

Известны многие случаи крестьянских восстаний того времени. Единственной целью этих восстаний было стремление людей получить зерно из зернохранилищ или картофель на спирто-водочных заводах. В деревне Пустоваровка восставшие убили секретаря партячейки и забрали картофель, после чего было расстреляно 100 крестьян. В Хмелеве участницы «бабьего бунта» атаковали зернохранилище, три из них были осуждены. Как пишет один из очевидцев этих событий, «они происходили в то время, когда люди были голодными, но еще имели силы».

Были и другие акты отчаяния. В некоторых местах крестьяне поджигали урожай. Но в отличие от того, что происходило в 1930 году, подобные акты стали теперь

спонтанными и нескоординированными отчасти из-за физической слабости людей. К тому же ОГПУ с помощью шантажа и угроз сумело к этому времени создать в больших деревнях сеть секотов (тайных осведомителей).

Но все же бунты вспыхивали даже в 1933 году, в самый пик голода. К концу апреля крестьяне Ново-Вознесенска Николаевской области пытались силой взять зерно из кучи (оно уже начало гнить на открытом воздухе) и были расстреляны охранниками ОГПУ из пулеметов. В мае 1933 года голодные сельчане захватили склад зерна в Сагайдаке Полтавской области, но многие умерли от истощения, так и не донеся его домой, остальных на следующий день арестовали — многих расстреляли, другим же дали от пяти до десяти лет. Весной 1933 года крестьяне из нескольких окрестных деревень напали на зерновой склад станции Гоголево Полтавской области и наполнили свои мешки кукурузой, которая там хранилась. (Как ни удивительно, арестовали всего пятерых.) Такие акции были следствием крайнего отчаяния. Уже осенью и зимой, не дожидаясь, пока голод схватит их за горло, многие крестьяне начали покидать деревни, как два года назад это сделали кулаки.

Власти не пропускали украинских крестьян на территорию России; и если кому-то удавалось пробраться и он возвращался с хлебом, который еще можно было там достать, то на границе хлеб отнимали, а самого крестьянина нередко сажали.

ГПУ пыталось не пускать голодающих и в зоны, пограничные с Польшей и Румынией; есть сведения, что сотни крестьян из пограничных районов были убиты при попытке перебраться через Днестр, чтобы попасть в Румынию. (С другой стороны, похоже, что в эти годы украинским крестьянам не мешали ездить на Северный Кавказ, где в отдаленных районах Дагестана и Каспия можно было раздобыть еду.)

По некоторым подсчетам, к середине 1932 года три миллиона крестьян покинули деревню и толпились на станциях, устремляясь в более благополучные районы¹⁹. Один из иностранных коммунистов вспоминает такую сцену:

«Грязные толпы заполняют станции; толпы мужчин, женщин и детей дожидаются бог знает каких поездов. Их разгоняют, но они возвращаются уже без денег или билетов. Садятся в любой поезд, если им это удастся, и едут, пока их не высаживают. Они молчаливы и пассивны. Куда они едут? Просто ищут хлеб, картофель, работу на заводах, где рабочих кормят чуть лучше. Хлеб — великий двигатель этих толп».

Но все-таки большинство крестьян до самой весны, когда голод достиг своей высшей точки, все еще пытались продержаться на всевозможных суррогатах в надежде на следующий урожай и помощь правительства, помощь, которой они так и не дождались.

А пока люди отдавали все что имели в обмен на хлеб.

Надо сказать, крестьянину совсем не легко было легально переехать в город, даже в пределах Украины. Однако на этой стадии голода запрет соблюдался уже не так тщательно. Многим удалось добраться до Киева и других больших городов. Жены высоких чиновников, у которых были большие пайки, продавали излишки на киевском базаре, беря у крестьян по дешевке их немудреные ценности. Богато расшитая скатерть шла за буханку хлеба в четыре фунта, хороший ковер — за несколько буханок. А «красиво вышитые кофты из шерсти или полотна... обменивались на одну или две буханки хлеба».

Однако государство предусмотрело и другие, гораздо более эффективные способы выкачивания из крестьянской семьи ее ценностей. Даже в малых райцентрах или больших селах имелись магазины торгсина («торговля с иностранцами»), которыми крестьянам позволяли пользоваться. В них торговали только на валюту или на драгоценные металлы и камни и купить можно было любые товары, в том числе и продукты питания.

У многих крестьян имелись какие-то золотые украшения или монеты, за которые они могли получить немного хлеба (хотя ходить в торгсины было небезопасно: ГПУ, пренебрегая самым смыслом существования таких магазинов, часто пыталось изъять ценности, которые посетители торгсина не успели там потратить). Создание торгсинов было обусловлено стремлением правительства изыскать все возможные ресурсы для использования их на мировом рынке. В торгсинах золотые кресты или

¹⁹ См. «Социалистический вестник», 23 июля 1932 года.

серьги шли за несколько килограммов муки или жира. За серебряный рубль некий учитель получил «50 граммов сахара или кусок мыла и 200 граммов риса».

В одном из сел Житомирской области местные помещики и другие богатые жители были католиками. На католическом кладбище до революции покойников хоронили с кольцами или другими драгоценностями. В 1932—1933 годах жители этой деревни тайно вскрывали могилы и на добытые украшения покупали еду в торгсинах. Относительная смертность здесь была ниже, чем во всей округе.

* * *

С наступлением зимы дела шли все хуже и хуже. 20 ноября 1932 года постановлением Совнаркома Украины была приостановлена оплата зерном трудовой колхозным крестьянам до выполнения ими нормы госпоставок.

6 декабря 1932 года вышел еще один декрет Укрсовнаркома и ЦК Компартии Украины, в котором шесть сел (по два в каждой из трех областей: Днепропетровской, Харьковской и Одесской) были объявлены «саботирующими поставки зерна». По отношению к ним предписывалось:

«Приостановить немедленно поставку продуктов, прекратить местную кооперативную и государственную торговлю. Изъять все имеющиеся товары из государственных и кооперативных магазинов.

Запретить продажу сельхозпродуктов всем колхозам, их членам и единоличникам.

Прекратить выплату авансов, наложить запрет на все кредиты и иные финансовые обязательства.

Проверить и вычистить все иностранные и враждебные элементы из аппарата кооперативов и государственных предприятий, что должны осуществить органы Рабоче-Крестьянской инспекции.

Проверить и провести чистку в поименованных выше селах всех контрреволюционных элементов...»²⁰.

Последовали еще и другие указы, и те украинские села, которые не могли выполнить норму зернопоставок, оказались буквально закрытыми для проникновения в них продуктов из городов.

15 декабря 1932 года был опубликован список районов, в которые поставка коммерческих продуктов запрещалась до тех пор, «пока они не достигнут решительного улучшения в выполнении коллективных планов по зерну». Таких районов насчитывалось 88 (из 358 во всей Украине) — в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Одесской и Харьковской областях. Жителей этих «блокированных» районов массами депортировали на север.

Несмотря на все усилия партии, к концу 1932 года было поставлено 4,7 миллиона тонн зерна, то есть только 71,8 процента от плана.

В официальном «Списке крестьян с высоким установленным налогом в натуре и выполнением зернопоставок на 1 января 1933 года» в Криницком районе значилось 11 сел и 70 имен проживавших в них крестьян. Из них лишь 9 выполнили установленную норму. Большинство же сумело поставить только половину или четверть обязательных поставок. Единственный случай перевыполнения ее единоличником объяснили тем, что «все поставленное зерно было выкопано им из ям. Приговорен». Кроме него, «приговорили» еще шестерых (в их числе жену и сына двух отсутствующих «виновных» крестьян); у 39 конфисковали и распродали имущество, 21 человек «исчез из деревни». Так было по всей Украине.

В начале 1933 года была объявлена третья принудительная поставка зерна, и в самых страшных условиях продолжалось наступление на уже не существующие резервы зерна украинского крестьянства.

* * *

Сталин и его «сподвижники» не простили Украине невыполнение плана поставки зерна (которого не существовало). Они вновь стали оказывать жестокое давление на украинские власти.

²⁰ «Вісті», 8 декабря 1932 года; «Пролетарская правда», 10 декабря 1932 года.

На совместном заседании Политбюро и Центрального Исполнительного Комитета в Москве 27 ноября 1932 года Сталин сказал, что прошлогодние трудности в поставке хлеба объясняются, во-первых, «проникновением в колхозы и совхозы антисоветских элементов, которые организовали саботажи и срывы», и, во-вторых, «неверным, антимарксистским подходом значительной части сельских коммунистов к проблеме колхозов и совхозов...». И добавил, что эти «сельские и районные коммунисты слишком идеализируют колхозы», полагая, что раз они уже организованы, то в них не может возникнуть никакого саботажа или чего-то антисоветского. «А если они сталкиваются с реальными фактами саботажа или явлениями антисоветского характера, то проходят мимо них... и не понимают, что такой взгляд на колхозы не имеет ничего общего с ленинизмом!»²¹

«Правда» от 4 и 8 декабря 1932 года призывала к решительной борьбе с кулаками, особенно на Украине; а в номере от 7 января 1933 года в редакционной статье она писала, что Украина оказалась в хвосте в деле выполнения поставок по зерну, потому что Компартия Украины допустила ситуацию, когда «классовый враг на Украине сумел организовать саботаж».

На пленуме Всесоюзного Центрального Комитета и Центрального Исполнительного Комитета в январе 1933 года Сталин сказал, что причины трудностей, связанных со сбором зерна, следует искать в самой партии. Первый секретарь Харьковского горкома Терехов заявил прямо, что на Украине свирепствует голод. Сталин усмехнулся и назвал его фантазером. Все дальнейшие попытки обсудить вопрос пресекались просто взмахом руки²².

С докладом выступил Каганович. Он также утверждал, что «в деревне все еще есть представители кулачества... кулаки, которых не депортировали, зажиточные крестьяне, тяготеющие к кулачеству, и кулаки, избежавшие ссылки, спрятанные родственниками, а иногда и «мягкосердечными» членами партии... на деле оказавшимися предателями интересов трудящихся». И наконец, есть еще «представители буржуа — белогвардейцев, петлюровцев, казаков, социально-революционной интеллигенции»²³. Сельская интеллигенция в это время состояла из учителей, агрономов, врачей, и поэтому перечисление всех этих групп в качестве объектов для будущей чистки от антисоветских элементов выглядело угрожающе.

Снова прозвучал призыв к борьбе с «классовым врагом». «Каковы же,— спрашивал Каганович,— проявления классовой борьбы в деревне? Прежде всего организующая роль кулака в саботировании сбора зерна для госпоставок и сева». Он обличал саботаж на каждой стадии сельскохозяйственных работ, а также и в центральных сельскохозяйственных организациях, критиковал нарушения трудовой дисциплины; говорил, что кулак использует мелкобуржуазные тенденции «вчерашних единоличников» и терроризирует честных колхозников²⁴.

24 января 1933 года союзный ЦК принял специальную резолюцию относительно парторганизации Украины (позднее названную «поворотным моментом в истории КП(б)У, открывающим новую главу в победной битве большевиков Украины»²⁵). Компартию Украины обвиняли в провале сбора зерна, особенно в «ключевых областях»: Харьковской (во главе с Тереховым), Одесской и Днепропетровской,— которые инкриминировали «недостаток классовой бдительности». Пленум постановил назначить секретаря ЦК ВКП(б) Павла Постышева вторым секретарем ЦК Украины и первым секретарем Харьковского обкома (Хатаевич, оставаясь секретарем ЦК Украины, был назначен первым секретарем в Днепропетровск, а Вегер — первым секретарем в Одессу). Три прежних секретаря этих обкомов были сняты.

Отставание в сельском хозяйстве, как потом объявил Постышев, в значительной степени объясняется «притуплением большевистской бдительности» и является «одним из самых серьезных обвинений, выдвинутых ЦК ВКП(б) против украинских большевиков».

* * *

Постышев практически стал полномочным представителем Сталина в деле «большевизации» Компартии Украины и последующего изъятия зерна у голодающих селян.

²¹ «Большевик», 1933, № 1-2.

²² См. «Правда», 26 мая 1963 года.

²³ «Большевик», 1933, № 1-2.

²⁴ См. там же.

²⁵ «Правда», 24 ноября 1933 года.

Прибыв на Украину, он сразу заговорил об остатках кулаков и националистов, которые проникли в партию и колхозы и саботируют производство²⁶. Он немедленно отказал в отправке продуктов в села, одновременно заявив, что не может быть и речи о государственной помощи посевным зерном: крестьяне должны изыскать его сами²⁷. (В московском указе «О помощи в севе колхозам Украины и Северного Кавказа», изданном 25 февраля 1933 года, говорилось о выделении 325 тысяч тонн посевного зерна Украине и 230 тысяч — Северному Кавказу²⁸. В Москве знали, что в противном случае не будет нового урожая. Однако реальной эта помощь стала позднее.)

В партии все еще чувствовалось сопротивление. Сельскую администрацию вообще обвиняли в попытке «укрыть» или «свести на нет» запланированные ЦК ВКП(б) поставки зерна, а Харьковский горком «пытался изобразить» замещение Терехова Постышевым как чисто кадровый вопрос. На пленуме горкома даже не упоминались основные положения решения Пленума ЦК.

Только на февральском пленуме ЦК Украины была намечена новая, более жесткая линия. Первый секретарь Косиор произнес речь по поводу зерновых поставок, которая ясно обозначила пропасть между требованиями партии и действительностью.

«Сейчас мы столкнулись с новой формой классовой борьбы, связанной с поставками зерна, — сказал Косиор. — Когда приезжаешь в район говорить о поставках зерна, то партработники показывают тебе статистику и таблицы низкого урожая, которые везде составляются враждебными элементами: в колхозах, сельскохозяйственных отделах и МТС. Но эта статистика не учитывает зерно на полях или то, что было украдено и спрятано. Наши товарищи, включая различных уполномоченных, не понимая, что цифры эти ложны, доверяют им и часто становятся защитниками кулаков и тех, кто стоит за этими цифрами. В бесчисленных случаях уже было доказано, что такая арифметика — это арифметика кулака. В соответствии с ней мы не получим даже половины намеченного количества зерна. Ложные цифры и раздутые формулировки служат в руках враждебных элементов также для покрытия воров и массовой кражи хлеба».

Косиор подверг критике многие районы в Одесской и Днепропетровской областях, которые представили различные оправдания для отсрочки зернопоставок и «непрерывно говорят о необходимости пересмотреть план». В некоторых районах этих областей и в других местах, жаловался Косиор, были случаи «организованного саботажа, допущенные на самом высоком уровне»²⁹ местными парторганизациями.

* * *

Постышев вместе с новым начальником ОГПУ Украины В. А. Балицким вскоре сместил 237 секретарей райкомов и 249 председателей райисполкомов³⁰. Руководителей некоторых районов сделали козлами отпущения — в частности, руководство Ореховского района Днепропетровской области, которое, «как выяснилось, состоит из председателей рабочего класса и колхозного крестьянства».

ОГПУ занималось также жестокой чисткой среди ветеринаров, обвиняемых в падеже скота: только в одной Винницкой области из-за грибка, обнаруженного в кормовом ячмене, с 1933 по 1937 год было расстреляно около 100 ветеринаров.

Козлом отпущения стало также метеорологическое управление, весь штат которого был арестован по обвинению в фальсификации прогнозов погоды с целью нанести ущерб урожаю. В марте 1933 года были расстреляны 35 служащих двух наркоматов — земледелия и совхозов — за различные виды саботажа, такие, например, как порча тракторов, намеренное допущение сорняков и поджоги. Еще 40 из них получили лагерные сроки³¹. Как было сообщено, они пользовались своим положением для «организации голода в стране»³² — редкий случай признания, что голод вообще имел место.

Одновременно в деревню было послано 10 тысяч новых активистов, включая 3 тысячи назначенных председателей колхозов, партсекретарей или организаторов³³.

²⁶ См. «Правда», 6 февраля 1933 года.

²⁷ См. там же.

²⁸ См. «Правда», 26 февраля 1933 года.

²⁹ «Вісті», 13 февраля 1933 года.

³⁰ См. «Правда», 24 ноября 1933 года.

³¹ См. «Вісті», 12 марта 1933 года.

³² «Известия», 12 марта 1933 года.

³³ См. «Правда», 24 ноября 1933 года.

В 1933 году в Одесской области сменили 49,2 процента всех председателей колхозов, а в Донецкой — 44,1 процента (соответственно 32,3 и 33,8 процента бригадиров и примерно столько же других колхозных должностных лиц). Председатели двух коммунистических колхозов дважды добились снижения нормы поставок, но ни разу не сумели выполнить даже пониженных планов. Их обвинили в саботаже и в том, что они сошлись с «кулацко-петлюровскими отщепенцами», и предали суду.

17 тысяч рабочих были посланы в политотделы МТС и 8 тысяч — в политотделы совхозов. В целом от 40 до 50 тысяч человек было послано для укрепления партии на селе. В один только Павлоградский район Днепропетровской области, насчитывавший 37 сел и 87 колхозов, в 1933 году было послано 200 специальных сборщиков из областного комитета партии и почти столько же из областного комитета комсомола.

Сильно «почищенная» партия снова была брошена на борьбу с голодающим крестьянством.

А. Яковлев, народный комиссар земледелия СССР, выступая на съезде колхозников-ударников в феврале 1933 года, искренне (или почти искренне) заявил, что украинские колхозники потерпели неудачу в посевной кампании в 1932 году, «нанеся ущерб правительству и себе самим». Плохо управившись с урожаем, они «заняли последнее место среди всех районов страны по взятым перед правительством обязательствам... Своей плохой работой они наказали себя и правительство. Давайте, товарищи украинские колхозники, сделаем из этого надлежащие выводы: пришло время подвести итоги плохой работы прошлых лет»³⁴, — резюмировал Яковлев.

Истерическая жестокость, сопровождавшая вмешательство Постышева, принесла очень мало зерна. Истожились последние запасы, и есть стало нечего.

* * *

Люди умирали всю зиму. Но, по данным всех источников, становится очевидно, что массовые масштабы голодная смерть приняла только в начале марта 1933 года.

«Когда снег стаял, начался настоящий голод, — свидетельствует В. Гроссман. — Люди ходили с отеками на лицах, ногами и вздутыми животами. Им нечем было мочиться... Теперь они ели все подряд. Они ловили мышей, крыс, воробьев, муравьев, земляных червей. Они перемалывали в муку кости, а также кожу и подметки; они нарезали старую кожу и мех и делали из них макароны, варили клей. Когда выросла трава, они стали выкапывать корни, ели листья и почки. В ход шло все, что можно: одуванчики, лопухи, колокольчики, ивняк, крапива...»

Липа, акация, щавель и крапива, которые теперь составляли основу питания, не содержали протеин. В тех районах, где водились улитки, их варили и пили отвар, а ракушки перемалывали, смешивали с листьями и съедали или, скорее, заглатывали. Это помогало от отеков и продлевало жизнь. В южных районах Украины и на Кубани иногда можно было спастись от голода ловлей сурков и других мелких животных. В других районах можно было ловить рыбу, хотя за ловлю рыбы в реке, прилегающей к деревне, можно было получить срок. В Мельниках отбросы с местного спирто-водочного завода, признанные непригодными для корма скоту, были съедены окрестными крестьянами.

Даже в конце следующего года иностранные корреспонденты приводили ужасающие свидетельства. Американский журналист Томас Уолкер видел, что в двадцати километрах от Киева все кошки и собаки в деревне были съедены: «В одной хате варили месиво, которое не поддается определению. В нем были кости, сорняки, кожи и что-то, похожее на голенище. По тому, как радостно смотрели на это варево полдюжины жителей, можно было судить о степени их голода».

Учитель украинской школы сообщает, что, кроме эрзац-борща из крапивы, свекольной ботвы, щавеля и соли (когда ее можно было достать), детям — за исключением детей «кулаков» — иногда выдавали немного бобов. Агроном из села в Винницкой области вспоминает, что, когда в апреле поднимались сорняки, крестьяне «начинали есть вареные лебеду, щавель, крапиву... Но после потребления этих растений люди заболели водяжкой и во множестве умирали от голода. Во второй половине мая уровень смертности был таким высоким, что специально был выделен колхозный фургон, чтобы возить трупы на кладбище (тела бросали в общую могилу без всякой церемонии)».

³⁴ «Правда», 19 февраля 1933 года.

У нас есть свидетельские показания разных людей, включая самих жертв голода, бывших активистов и советских писателей, которые в юности наблюдали эти события, а затем много лет спустя, когда стало возможно, описали их. Например, писатель М. Алексеев утверждал на страницах журнала «Звезда»: «В 1933 году был страшный голод. Вымирали целые семьи, дома разваливались, улицы деревни пустели».

Другой очевидец того же периода — писатель И. Стаднюк — пишет:

«Голод — холодящее душу мрачное слово. Те, кто никогда не переживал его, не могут представить себе, какие страдания приносит голод. Нет ничего страшнее для мужчины — главы семьи, — чем чувство собственной беспомощности. Нет ничего ужаснее для матери, чем вид ее истощенных, изможденных детей, за время голода разучившихся улыбаться».

Если бы это длилось неделю или месяц, а это длилось месяцами, когда семье нечего было ставить на стол. Все сараи были чисто выметены, в деревне не осталось ни единой курицы; даже семена для кормовой свеклы были съедены...

Первыми от голода умирали мужчины. Потом дети. И позднее всех — женщины. Но прежде чем умереть, люди часто теряли рассудок, переставали быть человеческими существами».

А вот выдержка из заметок бывшего активиста:

«На фронте люди погибают, но они сражаются с врагом, их поддерживает чувство товарищества и долга. Здесь я видел людей, умирающих в одиночестве, медленно, страшно, бесцельно. Их загнали в угол и оставили подыхать от голода, каждого в своем доме, политическим решением, принятым в далекой столице за круглым столом совещаний и банкетов. Им не было оставлено даже утешения неизбежной необходимости того, что происходит, чтобы уменьшить ужас. Самый страшный вид имели маленькие дети, с конечностями, как у скелета, растущими из вздутых, как шары, животов. Голод согнал с их лиц все следы детства, превратив их в замученных горгулий; только в глазах у них еще сохранилось что-то от детства. Везде мы видели мужчин и женщин, лежащих ничком, с опухшими лицами, вздутыми животами и с пустыми, ничего не выражавшими глазами».

В мае 1933 года один из туристов увидел шесть трупов на участке между двумя деревнями Днепропетровской области протяженностью двенадцать километров. Иностраный журналист, прогуливавшийся днем по деревне, наткнулся на девять трупов, в том числе двух мальчиков примерно восьми лет и десятилетней девочки.

Солдат рассказывает, что когда поезд, в котором он ехал со своими товарищами, проходил по территории Украины, все пришли в ужас. Солдаты стали раздавать свои пайки просящим крестьянам, и об этом доложили их начальству. Однако командир корпуса Тимошенко прибег к очень мягкому наказанию. Когда подразделения развернулись на местности, «мужчины, женщины и дети вышли на дорогу, которая вела в лагерь. Они стояли молча. Стояли, страдая от голода. Их прогнали, но они собрались в другом месте. И снова — стояли, страдая от голода». Политинструкторам пришлось провести большую работу среди солдат, чтобы вывести их из состояния подавленности. Когда начались маневры, за полевыми кухнями потянулись измороженные голодом крестьяне. Когда солдаты получали пищу, они отдавали ее голодающим. Командиры и комиссары делали вид, что ничего не замечают.

Очевидец голода рассказывает, как в начале 1933 года в центре одной из больших украинских деревень, «около развалин церкви, которая была взорвана динамитом, расположился деревенский базар. У всех опухшие лица. Все молчат, а если хотят сказать что-нибудь, то едва шепчут. Движения их медленны и слабы из-за опухших рук и ног. Они продают корни кукурузы, кочерыжки початков, сушеные корни, кору деревьев и корни водорослей».

Девушка из деревни Полтавской области, меньше пострадавшей от голода, так описывает Пасху 1933 года. Отец ее пошел продавать «последнюю рубашку (полотно и вышивки все уже были проданы), чтобы купить еду на праздник». На обратном пути его арестовали за спекуляцию, найдя у него 10 фунтов зерна и 4 фунта отрубей. Через две недели выпустили, но продукты конфисковали. Не дождавшись отца в тот вечер, «мать сварила суп из высушенных и перемолотых картофельных очистков и восьми небольших картофелин». Потом явился бригадир и приказал им выходить на работу в поле.

Женщина из деревни Фадеевка Полтавской области, мужу которой дали пять лет лагерей за членство в СВУ³⁵, как-то сумела прокормить семью до апреля 1933 года. Потом умер ее четырехлетний сын. Но и тут не оставили ее в покое и заподозрили, что могила, которую она выкопала для своего сына, на самом деле была ямой для зерна. Могилу раскопали, нашли труп и разрешили захоронить его заново.

Жизнь замирала.

«Старшие классы ходили в школу до начала весны. Но младшие перестали ходить уже зимой,— пишет В. Гроссман.— Весной школы закрылись совсем. Учитель уехал в город. Фельдшер тоже уехал. Ему нечего было делать. Нельзя лечить голод лекарствами. Всякие представители тоже перестали приезжать из города. Зачем? С голодающих взять нечего... Раз дело дошло до того, что государству нечего больше выжать из человека, он бесполезен государству. Зачем учить его? Зачем лечить?»

* * *

Постановление, запрещавшее передвижение по дорогам без специальных документов, стали применять с особой строгостью весной. Приказ от 15 марта по Северодонецкой дороге запрещал всем железнодорожникам пропускать крестьян без командировочного предписания от председателя колхоза.

Запрет принимать крестьян на работу на промышленные предприятия относился, по крайней мере в теории, в равной степени как к сельской промышленности, так и к городской. Администрации кирпичного завода, например, предписали в 1933 году не брать на работу местных жителей. Иногда можно было получить работу по перестройке железнодорожного полотна, идущего к сахарному заводу, где люди, не видевшие хлеба уже шесть месяцев, получали 500 граммов в день плюс 30 граммов сахара. Но чтобы получить паек, нужно было выполнить норму — выкопать 8 кубометров земли в день, а это лежало за пределами физических возможностей голодных людей. Кроме того, хлеб выдавали только на следующий день после выполнения нормы; люди умирали на работе или ночью. В совхозе около Винницы овощеводческому хозяйству, где выращивали помидоры, огурцы и сельдерей, требовались тысячи рабочих. По окрестным деревням были разосланы объявления, предлагавшие работу за килограмм хлеба, горячую пищу и два рубля в день. Откликнулись многие, но больше половины из них уже были нетрудоспособны. Каждый день кто-нибудь умирал после первого же приема пищи, наиболее опасного для человеческого организма, истощенного длительной голодовкой.

В апреле отменили хлебные карточки, и горожане смогли во вновь открывшихся булочных покупать по килограмму хлеба на человека в день (хотя и по высокой цене). На крестьян же это положение не распространили.

Теперь многие из тех, кто был еще в состоянии передвигаться, окончательно отчаявшись, покидали села. Если им не удавалось добраться до города, они слонялись вокруг железнодорожных станций. К этим маленьким украинским станциям обычно примыкали небольшие садики. Туда-то железнодорожники, сами уже качавшиеся от голода, сносили трупы. В окрестностях Полтавы трупы, найденные вдоль путей, сваливали в вырытые глубокие рвы. Когда крестьяне не могли добраться до станций или их туда не пускали, они стояли вдоль путей и просили хлеб у пассажиров проходящих поездов. Иногда им бросали корки. Но позднее у многих уже не было сил даже на нищенство.

В маленьком городке Харцизск в Донбассе, по рассказам железнодорожника, крестьяне попрошайничали целыми семьями. Их ловили. Весной число нищих возросло ежедневно, они жили и умирали на улицах и площадях. В апреле 1933 года они наводнили весь город.

Сложнее обстояло дело в больших городах. В Киеве те, кто имел работу и продовольственные карточки, не голодали. Но можно было купить только килограмм хлеба в день, и снабжение было плохое. Товаров в магазинах хватало только на нужды привилегированных слоев населения. Для них существовали и закрытые распределители, которыми пользовались государственные служащие, члены солидных партков, работники ОГПУ, старшие армейские командиры, директора заводов, некоторые инженеры и т. д.

³⁵ Союз вызволения Украины. (Прим. ред.)

Номинально размеры доходов в городах были как бы уравнены, однако система привилегированных пайков и привилегированного снабжения товарами сводила формальное равенство к абсурду. Так, учитель получал половину зарплаты рядового сотрудника ОГПУ, но особая карточная система на товары потребления, покупаемые по низким ценам в специальных магазинах, делала реальный доход сотрудника ОГПУ в 12 раз выше реального дохода учителя.

Даже квалифицированный рабочий в городах Украины зарабатывал не больше 250—300 рублей в месяц и жил на черном хлебе, картошке, соленой рыбе. Ему всегда не хватало одежды и обуви. В начале лета 1932 года в Киеве дневные пайки хлеба были урезаны для служащих в 2, а для промышленных рабочих в 1,5 раза. Студенты Киевского института животноводства получали 200 граммов эрзац-хлеба, тарелку рыбного супа, немного каши, капусты и 50 граммов конины в день.

У магазинов Киева стояли очереди на полкилометра. Люди в них едва держались на ногах. Выдавали по 200—400 граммов хлеба на руки, но последним несколькими сотням человек, как правило, ничего не доставалось, кроме талончиков или номера очереди на завтрашний день, написанного на ладони.

Крестьяне стекались в города, чтобы занять место в таких очередях или перекупить хлеб у тех, кому посчастливилось отовариться. Несмотря на блокированные дороги и строгий контроль, кое-кому все-таки удавалось пробраться в город. Днепропетровск был переполнен голодающими крестьянами. По подсчетам одного железнодорожника, больше половины крестьян, которым удавалось добраться до Донбасса в поисках пропитания, «доживали свои последние дни, часы, минуты».

Чтобы доехать до Киева в обход заслонов на дорогах, крестьяне, по словам В. Гроссмана, «продирались через болота и леса... Удавалось это лишь самым удачливым, одному из десяти тысяч. Но даже добравшись туда, они не находили спасения. Они лежали на земле, умирая от голода...».

Жуткие, внушающие суеверный страх картины можно было видеть в городах. Люди, как обычно, спешили по делам, а между ними на четвереньках ползли голодные дети, старики, девушки, у которых уже не было сил просить, и никто не замечал их.

Один из врачей рассказывает, что на собрании медперсонала Киева был зачитан приказ, строжайше запрещающий медицинскую помощь всем крестьянам, нелегально проживающим в городе.

В Харькове, Днепропетровске и Одессе стало обычным делом по утрам собирать на улицах города трупы. В 1933 году в Полтаве подбирали в день по 150 трупов. То же происходило и в Киеве.

«Утром лошади тащили по городу повозки, в которые собирали трупы умерших за ночь,— пишет В. Гроссман.— Я видел одну такую повозку с детьми... Некоторые из них все еще бормотали что-то и вертели головами. Я спросил о них возницу, но он только развел руками и сказал: „Пока доедем до места, и эти замолчат“».

Живых же беженцев время от времени вылавливали и выгоняли из города. В Харькове еженедельно производились специальные операции по сгону голодных крестьян, которые осуществляла милиция с помощью специально мобилизованных для этого отрядов местных коммунистов. Делалось это часто самым безжалостным способом, как вообще все операции, направленные против крестьян. Один из очевидцев, рабочий, так описывает результаты милицейского рейда в Харькове 27 мая 1933 года: «Пойманных крестьян посадили в вагоны, свезли в ров около станции Лизово и бросили умирать голодной смертью. Нескольким крестьянам все же удалось выбраться и сообщить крестьянину в соседней деревне Жидки, что его жена и ребенок лежат в Лизове во рву. Но этот человек умер от голода дома, а мать с ребенком погибли во рву на следующий день».

Голодающий, говорит Гроссман, «испытывает муки и отчаяние сжигаемого заживо, у него одинаково болят и живот и душа». Поначалу он бежит из дома и бродит, но в конце концов «приползает обратно домой. И это означает уже, что голод и смерть победили».

* * *

Из сельского населения Украины, составившего в начале 30-х годов 20—25 миллионов человек, от голода умерло около 5 миллионов, то есть почти одна пятая. Уровень смертности в разных селах и даже деревнях был различным и колебался от 10 до 100 процентов.

Наибольшего показателя смертность достигла в зерновых областях: Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской — в среднем 20—25 процентов от общей численности населения (во многих селах этих областей смертность была еще выше). В Каменец-Подольской, Винницкой, Житомирской, Донецкой, Харьковской и Киевской областях показатель смертности был чуть ниже — около 15—20 процентов. На самом севере Украины, в районах, где выращивали сахарную свеклу, процент смертности был самым низким — отчасти благодаря тому, что в лесах, реках и озерах водилась живность и имелись растения, которые использовались в пищу.

Врачи, находящиеся на государственной службе, фиксировали смерть от разных заболеваний, как, например, «внезапная болезнь» и т. п. В селе Романково, например, удачно расположенном в шести километрах от больших металлургических заводов Каменска, где работали многие селяне, получая за работу продукты, за пять месяцев 1933 года умерло 588 человек из общего числа в 4—5 тысяч жителей. Сохранились свидетельства о смерти за август, сентябрь и середину октября. Почти во всех свидетельствах в графе «причина смерти» указано: «истощение» или «дизентерия»; в свидетельствах пожилых людей значится: «старческая слабость».

Начиная с зимы 1932/33 года свидетельства о смерти выдавать перестали, но многие люди самостоятельно вели списки умерших односельчан; в отдельных селах этим занимались даже официальные лица.

Сохранились короткие записи событий, которые велись теми, кто выжил: «Судьба села Ярески», «Гурск потерял 44 процента своего населения», «Голод опустошил село Плешкань», «430 смертей от голода в селе Черноклови», «Опустошение голодом села Стрижевка» и т. д. На окраинах деревень и даже маленьких городов Киевской и Винницкой областей на мерзлой земле лежали груды человеческих тел, и не было никого, кто был бы в силах выкопать могилы.

В деревне Маткивцы Винницкой области стояло 312 домов и население достигало 1293 человека. Трех мужчин и двух женщин расстреляли за сбор колосьев зерна на своих собственных участках, 24 семьи были депортированы в Сибирь. Весной 1933 года многие умерли. Остальные бежали. Вокруг пустой деревни был поставлен кордон и повешен черный флаг, оповещавший об эпидемии тифа. Один мой русский товарищ рассказывал мне подобную историю со слов своего отца. Тот, будучи в свое время комсомольцем, состоял в отряде, посылаемом в такие якобы от эпидемии вымершие села, чтобы расставить там знаки «вход воспрещен» и создать санитарный кордон. На самом же деле на местах просто не было физической возможности захоронить все трупы.

Официальные представители нередко сообщали, что при посещении деревень, где никого не осталось в живых или проживало всего несколько человек, они находили в домах множество трупов. В деревнях с населением в 3—4 тысячи человек (Орловка, Смолянка, Грабовка) в живых осталось только от 45 до 80 человек. Деревня Мачюки Полтавской области с двумя тысячами домов потеряла половину своего населения. Хутора и села той же области, в основном состоявшие из развитых индивидуальных хозяйств, были стерты с лица земли. Это Сороки (50 семей), Лебеди (5 семей), Твердохлебы (5 семей), Малолитка (7 семей).

В некоторых селах уровень смертности был сравнительно низким. Весной 1933 года в селе Харьковцы умерло только 138 человек. По сравнению с другими местами это было благополучное село.

За общее правило можно принять сообщение американского коммуниста, работавшего на советском заводе. Он утверждает, что ни в одном из 15 совхозов и колхозов, которые он посетил в сентябре 1933 года, уровень смертности от голода для работавших там крестьян не опускался ниже 10 процентов. В Орджердове ему показали книги записей. Население в селе уменьшилось с 527 человек в сентябре 1932 года до 420 в апреле 1934-го (число коров снизилось с 353 до 177, свиней — со 156 до 103).

В селе Ярески, расположенном на берегу Ворсклы, где часто проходили съемки советских фильмов, население уменьшилось с 1500 до 700 человек. В одном селе Житомирской области с населением в 3500 человек только в одном 1933 году от голода умерло 800 жителей, но родился один ребенок — сын активиста. В селе Рязском Полтавской области тщательный подсчет показал, что из населения примерно в 9 тысяч человек 3441 умер от голода. В селе Вербки Днепропетровской области в сентябре 1933 года больше половины домов опустело.

После отмены запрета на въезд иностранных журналистов осенью 1933 года корреспондент «Кристчен сайенс монитор» поехал на Украину. Он посетил два района: один под Полтавой, другой — под Киевом. Люди говорили ему, что нигде коэффициент смертности не был ниже 10 процентов. Один секретарь сельсовета утверждал, что из 2072 жителей умерло 634 человека. В предыдущем году только одна пара пожелела. Родилось 6 детей, из которых выжила только один. В четырех семьях остались 7 детей и одна женщина; 8 взрослых и 11 детей умерло.

Еще более выразительно этот корреспондент описывает события в селе Черкассы, в семи-восьми милях к югу от Белой Церкви, где смертность была значительно выше десятипроцентной «нормы»: «Иконы, висевшие на столбах и деревьях по дороге в село, были сняты, а терновый венок разрешили оставить — весьма подходящий символ того, что произошло в этом селе. Войдя в него, мы видели опустевшие дома с провалившимися оконными рамами. Сорняки и пшеница росли вперемешку, и некому было их собрать. На пыльной деревенской улице мальчик выкликал имена крестьян, умерших во время катастрофы прошлых зимы и весны».

В Шиловке, которая очень пострадала в кампанию раскулачивания, смертность от голода была такой, что фургон забирал трупы дважды в день. Однажды возле здания местного кооператива нашли сразу 16 трупов.

Бывший житель еврейского местечка Коростышев, что неподалеку от Киева, побывавший на своей родине в 1933 году, пишет: «Я нашел буквально труп того местечка, какое знал когда-то». Синагогу превратили в веревочный завод. Дети мерли от голода.

В Каменец-Подольской области было протестантское село Озаренц. Большая часть его жителей вымерла. Деревня немецких протестантов Хальбштадт Запорожской области была заселена меннонитами еще во времена Екатерины Великой. Небольшая помощь поступала меннонитам от их единоверцев из Германии, и потому они не умирали в таком массовом масштабе в 1933 году, но с 1937 по 1938 год жители Хальбштадта были все сосланы как шпионы.

В селе Буденновка Полтавской области от голода умерло 92 человека: 57 колхозников и 33 единоличника. В соответствии с классовой схемой среди них были — 31 бедняк, 53 середняк и 8 «зажиточных», включая двоих, исключенных из колхоза.

На практике те, кого коммунисты считали «бедняками», или, во всяком случае, те из них, кто не мог или не захотел примкнуть к новой сельской элите, и стали в общем итоге основными жертвами голода.

Один из отчетов о конфискации кукурузы в городе Запорожец-Каменск и окрестных деревнях фиксирует 9 случаев «сокрытия» зерна. Все укрыватели обозначены как «рабочие» (2) или «середняки» (7).

Мы располагаем цифрами смертности для целых районов, которые частично были урбанизированы. В Чернухинском районе, как показывают официальные, хотя и секретные отчеты, с января 1932 по январь 1934 года из населения в 53 672 человека погибло 7387, почти половина из них — дети. В другом районе Украины из 60 тысяч человек умерло в 1932—1933 годы 11 680 человек (то есть примерно каждый пятый) и было зарегистрировано только 20 новорожденных.

* * *

Один из тех людей, кто пережил голод, дает ясную картину физических признаков голодания:

«Клиническая картина голода хорошо известна. Он разрушает ресурсы организма, создающие энергию, и разрушение прогрессирует по мере исчезновения из организма необходимых жиров и сахара. Кожа приобретает пыльно-серый оттенок и сморщивается. Человек заметно старится. Даже дети и младенцы выглядят стариками. Глаза их становятся огромными, выпученными и неподвижными. Процесс дистрофии иногда захватывает все ткани, и голодающий напоминает скелет, обтянутый тонкой кожей. Но чаще имеет место отек тканей, особенно рук, ног и лица. Кожа лопается, и появляются гноящиеся болячки. Утрачивается двигательная сила, и малейшее движение вызывает сильную усталость. Жизненно важные функции, такие, как дыхание и кровообращение, поглощают саму ткань и альбумин (белковое вещество), то есть организм съедает сам себя. Ухудшаются дыхание и сердцебиение. Зрачки расширяются. Начинается голодный понос. Положение становится уже опасным, поскольку малейшее физическое напряжение может привести к остановке сердца. Часто это и

происходит на ходу, во время подъема по лестнице или при попытке побегать. Появляется общая слабость. Теперь человек уже не может встать, повернуться на кровати. В таком полубессознательном состоянии голодающий может протянуть почти неделю, пока не остановится сердце. Кроме того, прогрессируют цинга и фурункулез.

Менее клиническое описание одного страдающего от голода крестьянина дает его бывший сосед: «Под глазами у него были два вздутых мешка, обтянутых странного оттенка блестящей кожей. Руки тоже вспухли. На пальцах кожа прорвалась, и из ран сочилась прозрачная жидкость с каким-то резким отвратительным запахом». На ступнях и лодыжках тоже были волдыри. Крестьяне садились на землю, чтобы проколоть пузыри, потом поднимались и, едва волоча ноги, шли собираться.

Хотя мы приводим здесь лишь несколько частных случаев, следует помнить, что такова была судьба миллионов.

Пережившие голод говорят о смерти своих соседей простыми, лишенными эмоций словами.

В селе Фадеевка в начале 1932 года жило 550 человек. «Первыми умерли Рафаэлики — отец, мать и ребенок. Потом семья Фадеев из пяти человек умерла от голода. За ними последовали семьи Прохора Литвина (четыре человека), Федора Гонтова (трое), Самсона Фадея (трое). Второй ребенок этой семьи был забит до смерти за то, что пробовал рвать лук на чужом огороде. Потом умерли Микола и Ларион Фадей, после них Андрей Фадей и его жена; Стефан Фадей, Антон Фадей, его жена и четверо детей (две маленькие дочери выжили). Борис Фадей, его жена и трое детей. Оланвий Фадей и его жена. Тарас Фадей и его жена. Федор Фесенко, Константин Фесенко. Маланья Фадей, Лаврентий Фадей, Петр Фадей и его брат Фред. Исидор Фадей, его жена и двое детей. Иван Гонтов, жена и двое детей. Василий Перч, жена и ребенок. Макар Фадей, Прокон Фесенко, Абрам Фадей, Иван Сказка, жена и восемь детей. Только некоторые были похоронены на кладбище, остальных оставили лежать там, где умерли. Так, Елизавета Лукашенко умерла на лугу, и труп ее съели вороны. Других просто закапывали где попало. Труп Лаврентия Фадея пролежал на пороге его хаты, пока его не съели крысы».

И еще:

«В деревне Лисняки Яхотинского района Полтавской области жила семья Двирко, родители и четверо детей, двое взрослых и два подростка. Семью раскулачили, выгнали из дому, а дом сломали. Во время голода 1932—1933 годов вся семья, кроме матери, погибла от голода.

Однажды председатель колхоза Самокиш пришел к этой старухе и «мобилизовал» ее на работу в колхозном поле. Тоненькая старая женщина, собрав последние силы, пошла в колхозный центр, но не дошла. Силы ее иссякли, и она упала замертво у двери правления».

А вот как выглядит судьба двух семей из другого села:

«Антон Самченко, его жена и сестра умерли, осталось трое детей... В семье Никиты Самченко остались отец и двое детей... Сидор Однорог умер с женой и двумя детьми, одна девочка осталась... Юрий Однорог, его жена и трое детей умерли, одна дочь выжила».

В маленькой деревне Орехово под Житомиром в 1933 году только 10 из 30 домов были еще обитаемы. Вымирали семьями. Характерным примером является семья Витовичей: «Их младший сын шестнадцати лет умер по дороге из школы в Шахворовке... Старшая дочь, Палашка, умерла на колхозном поле. Старая мать — на улице по дороге на работу... Тело отца нашли в Коростовском лесу наполовину съеденным зверями». Выжил только старший сын, служивший в ОГПУ на Дальнем Востоке.

Еще один из очевидцев событий, связанных с голодом, вспоминает, что несколько трагических эпизодов в деревне Вихнино произвели на него неизгладимое, тяжелое впечатление:

«Среди первых жертв голода в конце 1932 года была семья Таранюк: отец и трое сыновей. Двое сыновей были комсомольцами и активно помогали в «сборе зерна». Родители умерли дома, а сыновья под соседними заборами.

В это же время умерло шесть человек в семье Зверкановских. Чудом уцелели сын Владимир и дочь Татьяна.

Опущенного от голода кузнеца Иллариона Шевчука, который в 1933 году пришел в сельсовет просить помощи, заманили в кузницу и забили железными палками. Убий-

цами были: председатель сельсовета Я. Коновальский, его помощник И. Антонюк и секретарь В. Любомский.

Несчастную вдову Данилулу и ее сыновей ждал трагический конец. Труп ее съели черви, а два сына, Павло и Олеска, умерли, прося милостыню. Выжил только третий сын, Трофим, сумевший раздобыть еду в городе.

Порфир Нетеребчук, один из самых старательных мужиков, ставший хромым от тяжелой работы, был найден мертвым у церковного забора.

Старый Иван Антонюк умер после того, как его дочь Ганна накормила его «хлебом», приготовленным из зеленых хлебных колосков, срезанных вопреки бдительности сельских властей на полях.

Олеска Войцеховский спас жизнь себе и своей семье (жене и двум маленьким детям), кормя их мясом колхозных лошадей, павших от сапа и других болезней. Он выкапывал их по ночам и приносил мясо домой. Его старший брат Яков и невестка до этого умерли от голода».

Рабочий, посетивший свою старую деревню, узнал, как умер его тесть Павло Гусар, опухший от голода. «Он отправился в Россию в поисках хлеба и умер в зарослях возле села Лиман, в трех с половиной милях от дома. Жители Лимана помогли похоронить его. Они-то и рассказали мне, как сестра жены наелась мякины и корней и померла на следующий день; как вдова моего старшего брата поехала за хлебом в Россию: ее несколько раз хватали, она меняла одежду на еду, чтобы накормить трех своих детей и мою старую мать, и в конце концов сама умерла от голода. Потом умерло двое детей — шестилетний Яков и восьмилетний Петро».

Двое американцев, родом с Украины, посетили родную деревню в конце 1934 года. Их родители умерли, лицо сестры изменилось неузнаваемо. В одной украинской хате кто-то еще дышал, другие уже нет, «дочь хозяина... лежала на полу в состоянии безумия и гладала ножку стула... Когда она услышала, что кто-то вошел, она не повернула головы, а зарычала, как рычит собака, когда она гложет кость и кто-нибудь подходит близко».

Репортеру агентства Ассошиэйтед Пресс показывал письмо своего отца, еврея с Украины, сотрудник газеты «Правда»:

«Любимый сын мой!

Пишу тебе, чтобы сообщить о смерти твоей матери. Она умерла от голода после многих месяцев страданий. Я тоже близок к смерти, как и многие другие в нашем городе. Иногда нам удается перехватить кое-какие крохи, но слишком мало, чтобы продлить нам жизнь, если из центра не пришлют каких-нибудь продуктов. На сотни верст вокруг есть совершенно нечего. Последним желанием твоей матери перед смертью было лишь одно — чтобы ты, наш единственный сын, прочел по ней Кадиш. Как и твоя мать, я тоже надеюсь и молюсь о том, чтобы ты забыл о своем атеизме теперь, когда безбожники обрушили на Россию гнев Божий. Надеюсь, я не перейду границ дозволенного, если попрошу тебя написать мне, что ты прочел Кадиш по матери, хотя бы единожды, и что ты сделаешь то же и для меня? Ведь это очень облегчило бы мне смерть».

Американский корреспондент «Кристчен сайенс монитор» был в деревне Жук Полтавской области в сопровождении председателя местного колхоза и агронома. Они водили его по домам довольных жизнью бригадиров и коммунистов. Потом он захотел войти в хату по собственному выбору, сопровождавшие последовали за ним. Единственной обитательницей ее оказалась пятнадцатилетняя девочка, с которой он и побеседовал:

«— Где твоя мать?

— Умерла от голода прошлой зимой.

— У тебя есть братья и сестры?

— Было четверо, но все умерли.

— Когда?

— Прошлой зимой и весной.

— А твой отец?

— Он работает в поле».

Когда они вышли, председатель и агроном не произнесли ни слова.

В лагере для перемещенных лиц в Германии в 1947—1948 годах была опрошена группа лиц, 41 человек (большой частью горожане, родственники которых остались

в деревне). На вопрос, умер ли кто-нибудь в их семье от голода, 15 ответили отрицательно, 26 — положительно.

Крестьянские семьи, постепенно вымиравшие от голода в своих пустых хатах, встречали смерть по-разному:

«В одной хате шла постоянная война. Все напряженно следили друг за другом. Отнимали друг у друга крошки. Жена набрасывалась на мужа, а муж на жену. Мать ненавидела детей. В другой семье до самого конца царила любовь. У одной женщины было четверо детей. Она рассказывала им все время сказки и притчи, чтобы заставить их забыть о голоде. Язык ее едва ворочался, и, хотя у нее не было сил поднять руку, она все время брала в свои руки ладошки детей. Любовь не умирала в ней. Люди замечали, что там, где царила ненависть, умирали значительно быстрее. Но, увы, и любовь никого не спасла от голодной смерти. Погибла вся деревня, все как один. Не выжил никто».

Помимо физических симптомов, голод порождал симптомы и психические. Было много доносов, обличающих того или иного крестьянина в утайке зерна. Убийство стало делом привычным:

«В селе Белка Денис Ищенко убил сестру, ее мужа и их шестнадцатилетнюю дочь, чтобы забрать тридцать фунтов муки. Он же убил своего друга Петро Коробейника, когда тот нес четыре буханки хлеба, добытые им как-то в городе. За несколько фунтов муки и несколько буханок хлеба голодные люди лишали других жизни».

Имеется множество сведений о самоубийствах, почти всегда через повешение. Нередко матери таким образом избавляли детей от страданий. Однако самым страшным явлением, порожденным голодом, был канибализм:

«Многие сходили с ума... Были люди, которые разрезали и варили трупы, убивали своих детей и съедали их... Это людоеды, их надо расстреливать, говорили о них. Но доведшие матерей до такого сумасшествия, что они поедали своих детей,— эти, по-видимому, не виноваты ни в чем!.. Пойдите спросите у них, и они ответят вам, что делали это во имя добра, во имя всеобщего блага. Вот, оказывается, во имя чего они доводили матерей до людоедства».

Не существовало закона против канибализма (его, наверное, нет и на Западе). Секретная инструкция от 22 мая 1932 года, подписанная заместителем начальника ГПУ Украины К. М. Карасоном и спущенная всем ГПУ и главным прокурорам областей Украины, гласит: «Поскольку в Уголовном кодексе нет статьи о канибализме, все обвиняемые в этом должны быть немедленно доставлены в местные отделения ГПУ». И дальше: если людоедство предшествовало убийству, наказуемое по статье 142-й Уголовного кодекса, то и эти случаи должны быть переданы судами в ведение ГПУ. Не все людоеды были расстреляны. По имеющимся данным, 75 мужчин и 250 женщин еще в конце 30-х годов отбывали сроки наказания — пожизненные — в лагерях на Беломорско-Балтийском канале.

Известны страшные случаи людоедства: некоторые ели собственных детей, другие ловили детей или подстерегали в засаде чужаков. Например, в селе Калмозорка Одесской области обнаружили сваренные трупы детей.

Людоедство и готовность к нему не всегда были следствием приступа внезапно-го отчаяния. Один из активистов, мобилизованный во время кампании коллективизации на работу в Сибирь, в 1933 году вернулся на Украину. Население его деревни «почти вымерло». Его младший брат рассказал ему, что они питаются только корой, травой и зайцами, но что если этого не станет, то «мать говорит, чтобы мы съели ее, когда она умрет».

Местная элита — партработники, сотрудники ГПУ — легко пережила голод, их прекрасно кормили. Но хорошее питание не было доступно рядовым активистам.

«Комитеты бедняков беспощадно противостояли всем усилиям кулаков и контрреволюционных элементов сорвать поставки зерна». В финале подобных кампаний активистов обычно переводили в другие села, а все продукты, которые они сами припрятали, конфисковывались в их отсутствие. Когда же 8 марта 1933 года миссия комбедов завершилась и они были распущены, их членов оставили голодать вместе с остальными крестьянами.

Комбедовцев, конечно же, не любили. Слишком много всего было на их совести. Поэтому когда пришло их время умирать, то жалости они ни у кого не вызвали.

По имеющимся данным, почти во всех деревнях активисты погибли от голода весной 1933 года.

* * *

Еще один поразительный аспект психопатии сталинизма проявился в том, что ни прессе, ни какому-либо иному источнику информации не позволено было даже упоминать о голоде. Люди, обмолвившиеся о нем хоть словом, арестовывались по обвинению в антисоветской пропаганде, получая, как правило, пять или более лет трудовых лагерей.

Преподавательница сельскохозяйственной школы в Молочанске под Мелитополем вспоминает, что ей запретили произносить слово «голод», хотя еды не хватало даже в городе, а в одном из соседних сел в живых не осталось ни одного человека.

В Нежинском лицее (Черниговской области), где учился Гоголь, школьников, которым не хватало еды, строго-настрого предупредили не жаловаться на голод, иначе их обвинят в «распространении гитлеровской пропаганды». Когда умерли старая библиотекариша и девушки-уборщицы и кто-то произнес слово «голод», партийный активист закричал: «Контрреволюция!»

Солдат, служивший в 1933 году в Феодосии, получил письмо от жены, в котором она писала о смерти соседей и бедственном положении ее и сына. Работник политотдела перехватил письмо, и на завтра сам солдат объявил его фальшивкой. И жена и ребенок этого солдата погибли.

Рассказывают о докторе, который был приговорен к десяти годам заключения «без права переписки» (обычный эвфемизм при смертном приговоре) за то, что он рассказал кому-то, что его сестра умерла от голода после конфискации у нее всех продуктов питания.

Агроном направил старика с отчетом в местную МТС, тот по дороге умер. Агронома обвинили в том, что он послал больного, но тот возразил, что вся деревня голодает. В ответ ему заявили: «В Советском Союзе нет голода, ты слушаешь сплетни, которые распускают кулаки. Заткни пасть!»

Даже официальным лицам запрещалось (да они и сами запрещали себе) видеть «смерть от голода».

Это нежелание признать правду и отказ допустить какое-либо упоминание о реальной действительности несомненно были составной частью генерального сталинского плана...



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

С. Н. БУЛАКОВ

(1871—1944)

★

МОЯ РОДИНА

Статьи. Очерки. Письма

Если бы спросили, какой род творчества, занятий, служения применительно к разносторонним дарованиям и умственной продукции Сергея Николаевича Булгакова следует выделить как определяющий — экономист, публицист, философ, богослов, священник, преподаватель, критик, — то после некоторого раздумья мог бы последовать ответ: общественный деятель. Это словосочетание прозвучит слишком буднично и бескрыло для тех, кто уже сколько-то знаком с масштабами творческой личности Булгакова, кто отдался «созерцаниям и умозрениям» его «Света Невечернего» (1917) и иных монументальных трудов, кто поражался бесстрашию его теорий, его художественной и душеведческой интуиции, равно проявлявшейся в истолковании Достоевского, Чехова, Льва Толстого и в ошеломительно неожиданным домысливанием евангельских образов — Иоанна Претечи, Иуды Искариота... Ну а кому попадались на глаза мемуарные и автобиографические свидетельства о мягкости и видимой непрактичности булгаковского характера, об интровертивности и сокровенности его натуры, столь не вяжущейся с привычным обликом «политика», нередкие его самопопреки в мечтательности, недостатке решимости, — тому отнесенные к Булгакову слова «общественная деятельность» покажутся тем более неадекватными, как бы ставящими под знак безуспешности самые итоги его жизни.

Между тем словами этими охватывается «от» и «до» булгаковских странствий, диапазон его жизненной стратегии. На одном полюсе — высочайший идеал, не вмещаемый всей человеческой историей, на другом — «черновые», текущие, уходящие в родную почву социальные и культурные заботы, но — в свете такого идеала. Это и есть общественное дело в глубоком, ответственном смысле. В беседе со своей духовной дочерью Сергей Николаевич — тогда уже отец Сергей (он принял сан в 1918 году) — говорил: «У меня странно непоследовательно соединяется этот «пророчесственный» максимализм и практически-аскетический минимализм, подставление своего плеча под очередной прозаический крест...» «Непоследовательности» в этом, конечно, не было — была грама, если угодно, трагедия политического идеалиста: того, кто при жизни обречен на несовпадение с реальным ходом дел, на кажущуюся неплодотворность практических усилий, от коих он, однако, не может, не вправе отказываться, но кто по истечении времени предстает более зорким и более продуктивным, чем прагматик, лишенные его компаса.

Сколько дел переделал за свою жизнь этот нешумный интеллигент, сколько «прозаических крестов» взвалил на себя, сколько начинаний, проектов, инициатив, сколько, соответственно, и разочарований! Но разве хоть одно из этих ныне выходящих из забвения дел осталось в конечном итоге без плода или не аукнулось будущему? Вот он, еще будучи «легальным» марксистом, посвящает себя нелюбимым, но, как он тогда считал, общественно насыщенным занятиям политической экономией — и что же? Со временем создает собственную «философию хозяйства», предполагающую гуманизированное природопользование на этических и, говоря по-нынешнему, экологических основаниях (тогда эти мысли казались его противникам невыносимой идеалистической

чушью, но теперь им обеспечено, думаю, иное отношение). А в самом начале этих занятий он, углубившись в проблему «капитализм и земледелие» (так назывался его ранний научный труд), приходит к неортодоксальному для ученика Маркса выводу о жизнеспособности индивидуального трудового крестьянского хозяйства, не подпадающего под закон концентрации капитала. «Деревня,— напишет он чуть позже, — есть истинный фундамент <...> промышленного развития России», «действительная основа <...> исторического могущества русского народа»; трудовое крестьянское хозяйство «со стороны этической оценки <...> совершенно неуязвимо»; «когда <...> Русь увидит невиданную и даже неслыханную еще у нас диковинку: не мужика-плательщика, конягу, а мужика-гражданина, тогда посмотрим, насколько жизнеспособно окажется крестьянское хозяйство...». Ленин с негодованием откликнулся на аграрные выкладки Булгакова¹, но как не заметить, что в 1921 году его практические взгляды на этот вопрос, пожалуй, приблизились к булгаковским и что «нежизнеспособность» крестьян-единоличников Сталину пришлось уже доказывать аргументами искусственного голода и геноцида.

Вот Булгаков, воодушевленный идеями Владимира Соловьева, в годы первой русской революции задумывает создать широкую политическую партию, основывающуюся на этических идеалах христианства, — «Союз христианской политики». Затея не удалась, но сегодня становится понятно, что булгаковский проект превзошел многие опорные концепции западных демохристиан, скажем, идею «смешанной экономики», неизбежность подвижного балансирования между правами личности и государственным вмешательством в хозяйственную жизнь. И даже оставив навсегда мысль о политической партии христиан, Булгаков, уже за границей, реализует тот же пафос в культурно-общественных движениях — христианской молодежи и церковно-экуменическом, стоя у колыбели их обоих, развивающихся и по сей день.

Вот Булгаков — депутат II Государственной думы, депутат неподходящий, по его собственной позднейшей оценке, с первых же дней разочаровавшийся в тогдашнем русском парламентаризме. Но когда этот «неумельный» депутат выступил с мужественной (ибо не угодной ни правым, ни левым) речью о недопустимости как революционного, так и правительственного террора, под впечатлением от этой речи впервые забрезжила надежда (как замечает историк думы В. Герье) сформировать думское большинство на моральной и правовой основе (впрочем, возможность, так и не сбывшаяся). Этот эпизод сегодня читаешь с понятным волнением.

А ломовая, что называется, работа в религиозно-философском издательстве «Путь», организованном на средства Маргариты Кирилловны Морозовой? Нам еще послужит превосходная его продукция. А бесчисленные публичные лекции (публика, говорится в одном из отчетов, «переполнила как зал, так и прилегающие к нему комнаты; сверх того, большое количество лиц, желавших войти, не было впущено во избежание окончательной давки»), университетские и институтские курсы, съезды, симпозиумы и конференции, сопровождавшие Булгакова всю жизнь по обе стороны отечественной границы? А создание Православного богословского института в Париже — одного из фундаментальных центров русского культурного зарубежья?

Здесь не место проследить всю духовную одиссею этого выходца из семинаристов, начавшего свой путь, как Добролюбов и Чернышевский, но продолжившего совсем иначе: движение его «от марксизма к идеализму», потом от кантианства к Владимиру Соловьеву, от «Вех» к дружбе с П. А. Флоренским и надеждам на заглавную роль России в семье культурных народов; потом священство, жизнь в изгнании, сохранность веры в русское будущее, но прежде всего упование на преображение мира, обещанное Новым заветом; тяжкая болезнь, смерть посреди ужасов войны и оккупации и поразительное просветление на смертном ложе как апофеоз многотрудной и многодумной жизни².

¹ «Будь у человека сколько-нибудь чувство партийности, сознание ответственности перед всеми *genossen* <...>, он бы не решился так наезднически «насканивать» <...>. Он чувствует себя, очевидно <...> «свободным» и индивидуальным представителем профессорской науки» (из письма В. И. Ленина А. Н. Потресову от 27 апреля 1899 г. — Полное собрание сочинений, т. 46, стр. 23).

² Читатель может получить основные сведения о Булгакове в недавно вышедшем первом томе биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917» (М. 1989). См. также: Монахиня Елена, «Профессор протоиерей Сергей Булгаков» («Богословские труды». Сб. 27. М. 1986, стр. 107—179; там же — библиография его трудов).

Но что же все-таки мотивировало его неустанную, на пределе сил деятельность, не затихавшую параллельно с писанием философских и богословских «сумм» обширнейшего содержания?

Булгаков верил в божественную основу мира, в причастность земли небесной, первообразной красоте (мудрости, лагу), приобщение к которой и составляет задачу и положительный смысл исторического, культурного, социального творчества людей и народов. Это предполагаемое высшее начало, в качестве миростроительного принципа исходящее от Бога к миру, русские философы начиная с Соловьева и включая Флоренского именовали Софией (греческое: премудрость). Учение о Софии стало для Булгакова центром его философской онтологии и путеводителем на жизненной дорожке; он поплатился за него обвинениями в ереси, но не мог от него отказаться, ибо тогда, по его логике, лишалась бы конечного оправдания, луча вечности вся человеческая культура, а отгавать ее «небытию» он не соглашался. И здесь мы приближаемся к источнику его деятельной энергии. «София» вообще была специфической, характерной темой для русской мысли с ее верой в объективную, побеждающую силу красоты, с ее чувством космоса. Но, пожалуй, именно у Булгакова вживание в эту тему так интенсивно окрашено в церковные и национальные тона: можно сказать, что у его Софии русский лик, что предстала она ему в идеальном образе родины, «святой Руси». Этот образ светил ему различимым, невыдуманым светом: в природе, духовно-бытовом укладе, в столь любимом им искусстве Достоевского, Васнецова, Нестерова,— но он же совершенно затемнялся тучами исторических бурь — несовпадение мучило и мобилизовало.

В одной из сравнительно поздних статей о Сергии писал: «Существует не только естественная любовь, но и долг любви, а следовательно, и верности своей родине, как своей психе и своему телу. Эта любовь не должна быть самоутверждающейся в ограниченности своей, которая оборачивалась бы враждой или презрительностью к другим народам, но она не может не быть исключительной. Вл. Соловьев, развивая идею «национального альтруизма», выставил совершенно фальшивую и утопическую максиму: любви чужие национальности как свою собственную. Это подобно тому, как если бы сказать: надо любить чужих жен и чужих детей, чужих друзей как своих собственных. Эта идея неверна онтологически, ибо существуют такие отношения, которых сама природа состоит в их исключительности. Сюда относится любовь к своим и к своему <1...> Однако такой вид любви отличается особенной трудностью и подвергается особой опасности <2...> любовь к своему всегда угрожает стать себялюбием». Этой опасности национального себялюбия и самодовольства Булгаков, думается, избежал, ни при каких обстоятельствах не утверждая «недопустимый для христианина примат нации» (из той же статьи «Нация и человечество», 1934) и твердя вслед за великодушными классиками старого славянофильства: «Надо любить в своем народе, как и в себе самом, не себя, но свое призвание». Однако не миновала его другая опасность, подстерегающая страстную любовь: он понукал и выпрямлял ход истории, строил торопливые схемы грядущего, лишь бы доказать себе, что Россию все-таки не сотрясет кризис, в который вверглось новоевропейское человечество накануне первой мировой войны. Он трезво и ясно сознавал, что новейшая цивилизация движется трагическими, противоречивыми путями («Трещина в самом мире и в человеческом сердце», — писал он в 1913 году В. В. Розанову), но для своей родины хотел исключения; этим объясняется слепой энтузиазм первых месяцев войны четырнадцатого года у человека, который не был ни «шовинистом», ни «империалистом». Жизнь все это зачеркнула, оставив, однако, упрямую надежду на высший тип культуры и социального устройства, где и Россия скажет свое слово...

Ряд философских сочинений мыслителя готовится к переизданию и, надо надеяться, станет доступен. В предлагаемой же публикации зафиксированы некоторые вехи и грамматические моменты исканий С. Н. Булгакова как участника и диагноста русской общественной жизни. Ближко знавший его в эмиграции литератор В. Вейдле писал с сочувствием о «беспорядочной восторженности» его слога, «почти в духе Дмитрия Карамазова», в духе Митиной «исповеди горячего сердца». Это впрямь заметно в слове Булгакова, обращенном к интеллигентной молодежи, в очерке детства. Думаю, что даже читателей, совершенно чуждых ходу его мысли, поучительно тронет искренность вложенных в нее любви и боли.

МОЯ РОДИНА

Посвящается жене моей.

Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он чрез лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан чрез родину и с матерью-землей и со всем Божиим творением. Человек существует в человечестве и природе. И образ его существования дается в его рождении и родине. Каждый человек имеет свою индивидуальность и в ней неповторим, но равноценен каждой другой, это есть дар Божий. И она включает в себя не только лично-качественное Я, идущее от Бога, но и земную, тварную индивидуальность — родину и предков. И этот комплекс для каждого человека также равноценен, ибо он связан с его индивидуальностью. И как нельзя восхотеть изменить свою индивидуальность, так и своих предков и свою родину. Нужно особое проникновение, и, может быть, наиболее трудное и глубокое, чтобы познать самого себя в своей природной индивидуальности, уметь полюбить свое, род и родину, постигнуть в ней самого себя, узнать в ней свой образ Божий. Часто завидуют родившимся среди потрясающих красот природы, хотя в очах Божиих, в Софии Божественной все красоты одинаково потрясающи. Есть предустановленное для каждого откровение Софии в его рождении и в его родине. Чем я становлюсь старше, чем более расширяется и углубляется мой жизненный опыт, тем яснее становится для меня значение родины. Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что вся дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое — о т у д а. И умирая, возвращусь — т у д а же, одни и те же врата — рождения и смерти.

Моя родина, носящая священное для меня имя Л и в н ы, небольшой город Орловской губернии. — кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его — в нагорье реки Сосны, — не блещет никакими красотоми, скорее даже закрыта некрасотоми, серостью, одета не только в скромной, но и бедной и даже грязноватой одежде. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей средней России: красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и — в неподвижности своей — прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей — некричащую, благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, — все это мне было дано в восприятии родины. И ей свойственна также такая тихость и л а с к о в о с т ь, как матери. Она задушевна как русская песня и, как она, исполнена поэзии музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. Она робко напоминает лишь о потерянном рае, о той надмирной обители, откуда мы пришли сюда. И теперь, когда я пишу эти строки и собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине родину можно — и должно — любить вечною любовью. Это не только страна, где «впервые вкусили сладость бытия», это — гораздо большее и высшее: это страна, где нам открылось небо, где нам виделось видение лестницы Иаковлей, соединяющей небо и землю¹. Но для этого надо изжить свою родину, воспринять и услышать ее. Не всем это дано, иные, гонимые ветром жизни, оставляют или меняют родину, прежде чем она войдет в их душу. Я был ее избранником, я жил с ней все отрочество и юность, у меня ничего, кроме нее, не было в то время, и вся моя жизнь была с ней и в ней, и только позже вошли иные, более оглушающие впечатления или присоединились к ней иные, новые пласты (Орловская губерния соединилась с Крымом²), но все это было позднее. Определился же я в своем естестве через Ливны. Я — ливенец.

Попытаюсь как-нибудь рассказать о родине, хотя это так же трудно, как и рассказать о матери...

Ливны — небольшой (12 т<ысяч>) город Орловской губернии, расположенный на высоком берегу р. Сосны*, со впадающей в нее маленькой речкой Ливенкой**. Город древний, исторический. Еще во времена татарских нашествий здесь была крепость, от которой остались следы монастыря в виде Сергиевской церкви. В могилах при постройке соседнего храма св. Георгия были находимы обширные кладбища, очевидно военные, хотя и более поздние, близ бывшего монастыря обретались св<яты>е останки

* Слободка за рекой называется Засосна.

** С слободкой Заливенкой.

в могилах, чтимые как мощи. Земля была исполнена и освящена человеческими останками как некое кладбище с позабытым и оставленным алтарем. Я разумею ту нагорную часть, высившуюся над рекой, где тихо сияла Сергиевская церковь, близ которой я был рожден. Город был довольно обширен, большею частью из бедных деревянных домов, хотя в центре были и каменные. Был пылен и грязен. Мало растительности, хотя и был городской сад и чудный кладбищенский, теперь обращенный в парк. Кое-где были небольшие садики при домах; был и у нас, такой дорогой, тихий, нежный, хотя и бедный, маленький. Наш дом, в котором я родился, был недалеко от нагорной части над рекой в пяти минутах от Сергиевской церкви. Он был деревянный, в пять комнат, расширявшийся пристройками. Он принадлежал семейству моей матери. Сколько здесь было рождений и смертей — тоже алтарь предков. Он был одноэтажный, серый, выходящий на угол своими многими небольшими окнами. Такой интимный, задушевный. Но я не помню, чтобы в нем праздновались браки, но помню много, много похорон. Он был живой, этот дом, как будто часть нашего семейного тела и излияния души предков. Когда приходилось приезжать домой издалека, он тихо обнимал странника и нашептывал ему песни детства... Святая колыбель. Внутри его все было бедно и просто (хотя и выше среднего убогого уровня ливенской жизни), скромная деревянная мебель, но даже «диван» и два «кресла» в гостиной. Везде иконы и горящие перед ними лампы, словно церковь. Вокруг — колокольни с разными звонами, ближними и дальними. Это была сладкая и благородная музыка, которую освящался воздух и неприметно питалась душа. Этот скромный дом был срочен с душой, ее не покоряя. Но он был все-таки больше и выше, чем дано было большинству в нашем городе, и это преимущество неизменно отражалось в моей совести как некая незаслуженная привилегия и ее будило и брело этой своей незаслуженностью, тревожило социальную совесть, давало ей заповедь на всю жизнь.

Мы были горожане в самом дурном смысле слова. От города мы не имели ничего положительного, но были лишены и не знали никогда прелестей деревенской жизни, никогда не переживали сельскохозяйственного года, пашни, косьбы, уборки урожая, ничего, ничего. Поистине с варварским равнодушием и вместе безразличием бедности мы никогда не жилали в деревне (на «даче»), и — самое большое — мне случалось провести в деревне два-три дня, причем я изнывал от бессонницы, от жары, от непривычных условий жизни, от блох. Даже и за город, в лес, мы собирались два-три раза в лето, — эти сборы были событием, и хотя лесок — дивный сказочный Липовчик со степными цветами, которыми мы все упивались, — был в трех верстах от города, мы ездили (и непременно ездили, и лишь в поздние годы ходили пешком). Обычно мы ходили гулять на «линию» (по ветке железной дороги) или в городской сад (на «музыку» или «над Сосну»)... Таково было наше варварство. Я замечал, что мужики так равнодушны к природе, хотя сами составляют ее часть; они относятся к ней или как корыстные хозяева, или как... звери (в хорошем и плохом смысле слова). Край наш прекрасен своей широтой и своими полями, но беден и однообразен природными красотоми. Он безгорен и безлесен — наш крохотный Липовчик только оазис здесь, и можно ехать десятки верст на лошадях и в поездах, и «все поля, поля и поля». Вероятно, были красоты в «имениях» помещиков, полумифических аристократов, приезжающих на тройках, но эти уголья представлялись сказкою нам, бедным попovichам. Красой природы для нас были тихие, иногда глубокие речки, с возможностью рыбной ловли. На нашей реке Сосне летом мы жили то в купальне, то на рыбной ловле, это было самое интенсивное общение с природой нашего детства. На рыбную ловлю ходили и дальше, хотя все это было неумело, убого, лишено настоящего оборудования и снарочки. Но это давало нам живое дыхание природы. И такое же дыхание давала зима, которую мы переживали, с ее дивными закатами, с ее коньками, снежками и саями. И весна с ее бегущими ручьями, с ее ледоходом, хрустящим и шумящим, с обнажающимися от снега сухими пятнами земли, с первыми травками... Каждый дюйм весны, каждый миг пробуждения природы был нами измерен и возлюблен. И сейчас тихие слезы любви и благодарности туманят мои глаза — как это было бедно и прекрасно, как живо. Мы в природе и в нас природа. И может ли быть, даже и при нашем варварском и пауперском неумении брать ее, может ли быть ее мало? Она являлась царственно, тихо и прекрасно и приносила поэзию душе, будила в ней ее грезы. Как царица София она являлась мне, вдохновляя и не объясняя, лаская и не утрашая, сокровенная в своей Красоте и прекрасная Ею. И детская душа навсегда услышала, узнала, возлюбила и отдалась этому видению. И все эти детские радостные грезы были осенены небесной

музыкой церковного звона. Наши Ливны были для меня Китежем. О нашей Сосне, быстро обмелевшей и затягиваемой песками (по всеобщему равнодушию и варварству, соединенному с бедностью), были китежские легенды, которые пели моей душе, и она пела о них. Одна была о Колоколе, который будто бы сорвался во время подвешивания и скатился с горы в реку, но иногда гудит под водой. Я воспевал это в детских неумелых виршах:

Тьма ночная над водою,
Город весь заснул,
И несется над рекою
Колокола гул...
Заунывный... как тоскою
Полон этот звон...

Но родина моей родины, ее святыня была Сергиевская церковь, «Сергие», как сокращенно она называлась в обычной речи. Для нас она была чем-то столь же данным и само собою разумеющимся, как и вся эта природа. Она была прекрасна, как и эта природа, тихую и смиренную красотой. Она, очевидно, представляла собою остаток древнего стиля: голубая с белыми колоннами, главная древняя ее часть была трогательна своей интимностью и прелестью, она и была — Сергиевская, и к ней была построена главная часть с престолом Успения — храмовой праздник 15 августа. Я никогда не задумывался о том, почему здесь соединены Сергиево и Успение, — явное созвучие Троице-Сергию в Лавре. Я не знал и не понимал, что это был столь же Софийный храм, как и Успенский собор в Лавре: я не знал тогда, что я получил имя, был крещен и духовно рожден в Софийном храме, причтен к лику служителя Софии Премудрости Божией преп. Сергия. Я не знал, что все мои вдохновения, которым в будущем суждено было развиться в целую богословскую систему, в корне своем были всеяны в душу Промыслом Божиим в этом умильном храме. Только теперь, в старости, я постигаю этот дар Божий. Как мы любили этот храм — как мать, как родину, как Бога, — одной любовью, и как мы вдохновлялись им. Он был для нас и святилищем, и источником восторгов красоты — больше у нас ничего не было, но этого было довольно. Мы были привязаны к своему храму исключительно и ревниво — другие храмы, как даже, напр<имер>, Кладбищенский, где служил мой отец, были как бы не храмы, полу-храмы, лишь этот был настоящий. В нем душа дышала красотой. Он весь был голубой, софийный: особо стояла колокольня, особо храм, род удлинненной базилики, но какой домашний, уютный, теплый, с теплом намоленных икон (чтимой иконы Тихвинской Божией Матери). Хора, конечно, не было, да правду сказать, в нем и не нуждались, храм сам пел. Был гнусавый дьячок, наивно любивший свой клирос и право правивший свое клиросное послушание, — бедный, с красным носом, вероятно от выпивания. Но краса нашего «хора» был бас «Степаньч», пьяница, неизвестно как существовавший. Как сейчас вспоминаю, был он, вероятно, подлинно музыкален, артист в душе и голос имел прекрасный, благородный, хотя и пропитый, дребезжащий. Как мы трепетали, придет или не придет от своего запоя Степаньч петь в Вел<икий> Четверток («Вечери Твоея Тайныя»), заутреню в Вел<икую> Субботу («Волною морскою») или в Св. Пасху петь пасхальную заутреню. А другая краса нашего храма, другой столп нашей эстетики был дьякон: прекрасный тенор, бархатный, музыкальный, задушевный. Тоже пил, и тоже мы трепетали, будет ли в голосе и будет ли петь в Страстную субботу и пасхальную заутреню. И когда оба пели, душа уходила в небеса, горела и трепетала в божественном сиянии. Премудрость Божия смотрела в душу во Славе Своей. Священник о. Иван, старенький, заикающийся, сама простота, сам ничего не вносил от себя в эту эстетику, но и не противоречил ей. Он был принят в это целое, потому что был принят этим храмом. И храм стоял над рекой, на высоте, и окружен был, пусть простым и убогим, цветником. Он тоже жил и дышал одной жизнью с природой. Во время великого поста, с его печальными, строгими звонами, дивно соединялась музыка бегущих весенних ручьев, шорохи и шумы ледохода, ширь весеннего разлива, а позже и пасхальная радость нежной трепетной весны. А в день Успения его икона была неизменно украшена осенними астрами, бархатками и резедой, и их благоухание с тех пор трогает сердце радостью Успения. Это не внешняя только ассоциация, но благоухание от гроба Пречистой. И уже свежее лунные вечера над рекой с площадками около храма... Да, здесь я принял в сердце откровение Софии, здесь в мою душу была вложена та жемчужина, которую искал я в течение всей своей слепой и смутной жизни, искал умом и сердцем, больше умом, чем сердцем, и когда обрел, то узнал ее как сокровище, да н н о е мне как дар Божий в духовном моем рождении.

Но наша церковная эстетика включала и «кладбище», то есть кладбищенскую церковь моего отца, которая находилась на другом конце города. Это считалось «далеко», и туда ездили «на лошади»: зимой на санях, летом на «тарантасе», причем и эта лошадь и кучер «Федорок» также вошли в память о святине. Мы неохотно изменяли «Сергию» для «кладбища» и лишь иногда, в определенные времена, как бы из любезности отцу отправлялись с ним на его служение. Здесь было меньше эстетики: пение (тоже дьячка, трогательного в своей простоте и благочестивой наивности) нас не пленяло. Церковь была мужицкая, серая. Но здесь было другое: отец, совершающий таинство Евхаристии и потрясающий тем нашу душу, его детская восторженность в пасхальную ночь, когда посредине храма водружалась жаровня фимиама и он наполнялся благоуханием (по типикону³), и из светлого храма выходили в темную ночь сада с могилами, поющими своими молчаливыми, но слышными голосами: Христос воскрес. С «кладбищем» соединяется у меня еще и небесная музыка сфер: когда ночью, во втором часу, ехали на санях в праздник Рождества Христова или Крещения, то небесный свод сиял своею славою. Звезды горели и посылали в душу свои ангельские звуки среди мороза, как Господь родился на морозе в зимнюю ночь в пещере. И все — одно об одном: о Славе Божией. Душа воспринимала многое и сохраняла немного, но это сохраняла, потому что только это есть сокровище души, ее жемчужина — остальное кожа или оболочка...

Вместе с церковью я воспринял в душу и народ русский, не вне, как какой-то объект почитания или вразумления, но из нутра, как свое собственное существо, о д н о мною. Нет более народной и, так сказать, нарбдящей, онародивающей стихии, нежели церковь, именно потому, что здесь н е т «народа», а есть только церковь, единая для всех и всех единящая. Однако никогда я не был слеп и глух к страданию народному, к неравенству и обиженности. Себя мы чувствовали все-таки привилегированными, как бы ни было в действительности скромно наше существование, и это сознание вносило острое чувство стыда и социального покаяния, хотя и бессильного. По-детски это выражалось так: к Празднику Пасхи нам обыкновенно шилась какая-нибудь новая принадлежность туалета: уродливые сапоги, не менее уродливый костюм, вообще обновки, которые, конечно, весело и не без горделивости самолюбования чувствовались ее обладателем. И однако к этому всегда примешивался щемящий звук, как ноющий зуб: а такой-то (Ванька, Кузятка и под.) будет в своем единственном, старом, замусоленном уродливом дипломате⁴ или свитке, потому что ему нечего больше надеть. И красуясь в церкви в своей обновке, я робко искал глазами и находил его — в его уродстве. Правда, сам-то он едва ли так остро чувствовал свое убожество, а сам я отлично приспособлялся к некоторому духовному неудоству и благополучно забывал об укорах совести. Но они всегда были, эти укоры. И психология «кающегося интеллигента», которую он не умеет отличить от христианского покаяния, вместе с его «народничеством» зародилась именно здесь. Я всегда был народником, потому что был народен от рождения. Больше ничего у нас не было в детстве из области «культуры»: ни музыки, ни другого искусства, которого так жаждала душа. Но она была полна, потому что все дано было в церкви, истина чрез красоту и красота в истине. Здесь, в Софийном храме Успения, я родился и определился как читель Софии Премудрости Божией, как читель преп. Сергия в его простоте и смиреннии, соединенной с горением и дерзновением, в его народолюбии и социальном покаянии. И здесь я определился как русский, сын своего народа и матери — русской земли, которую научился чувствовать и любить на этой горке преп. Сергия и на этом тихом смиренномудром кладбище. И по велению Божию конец своего жизненного пути совершаю под кровом Успения-Сергия⁵, хотя и в стране далекой, в земле чужой, без аромата бархатов и резеды в августовский вечер... Мое великое богатство, особое благословение Божие, было не только в том, что я родился и вырос под кровом двух храмов и на лоне нежной, смиренно-целомудренной природы, но и в семье православного священника, в атмосфере дома-храма, как будто продолжавшего собою храм. По своему происхождению от отца я — левит до шестого колена⁶ (приблизительно до времени Иоанна Грозного, когда — возможно — захудалый боярский сын с явной примесью татарской крови, по обычаю того времени, вступал в духовное сословие). По матери, вероятно, происхожу от левитско-дворянского рода, со следами утонченности (и, может быть, некоторой дегенерации). Мой отец был смиренный и скромный священник, сорок семь лет прослуживший в своей кладбищенской (бесприходной) церкви с каждодневным служением, на панихидные гроши вскормивший и воспитавший всю нашу семью (семь человек детей, из которых остались в живых только два). Оба они — и отец и мать — были проникнуты церковной верой с простой и наивной

цельностью, которая не допускала никакого вопроса и никакого сомнения, а вместе с тем никакой вольности и послаблений. Типикон был нашим домашним уставом в постах и праздниках, богослужениях и молитве. Вместе с этой природой, которая тоже как будто следовала церковному уставу, строй нашей жизни дышал этой атмосферой и не мнил быть иным. Поэтому для нас было самоочевидным, как бы законом природы, что постные дни, и особенно суровый режим великого поста, не могут быть не соблюдаемы; что ранние, даже ночные вставания к службе, независимо от времени года и погоды, неотменны, и не может даже возникнуть вопроса о человеческой слабости, состоянии здоровья и проч. Да они и не возникали, не могли возникнуть эти вопросы в нас самих, в детях, так мы сами были проникнуты этим, так мы любили и храм и красоту его службы. Не знаю, каким горем и лишением было переживаемо (как иногда случалось), <ес>ли болезнь отлучала от храма. Но, как правило, все времена церковного года, все праздничные и торжественные службы, особенно все посты и пасхи, нами переживались, каждое в своем роде, как особое торжество. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися. Вот Рождественская и Крещенские службы: два часа ночи, мороз, звезды, холодная церковь, борьба с дремотой, а вокруг летают ангелы. Но что скажу о величии великого поста: о преждеосвященной литургии, о стоянии Марии Египетской⁷ и, наконец, о Страстной Седмнице, где были у нас на учете все дни и часы? Исповедь в Вел<икую> Среду и литургия Вел<икого> Четверга (с «Вечери Твоея тайныя»), погребение Спасителя («Волною морскою»), литургия Вел<икой> Субботы и, наконец, Пасха, когда мы не знаем где были: на небе или на земле. Словно хоровод небесных светил зажжены были в душе эти звезды, и они не могли погаснуть даже в тьме безбожия, но всегда они звали к небу. И вся эта церковная, типиконская жизнь была обрамлена и связана с жизнью природы, которая в ней участвовала. Это был детский христианский «пантеизм», софийное чувство жизни и мира. Это был простертый над землею свод небесный, на веки вечные вошедший в душу: небо и земля. И когда от рассказов о монастыре (одного куща) горела душа, то видела она себя в детском воображении украшенной ангельским золотым поясом, горевшим и светящимся...

Но вся эта безмерная поэзия, радость озлащенной жизни соединялась с бытом прозаическим и суровым. Мои родители для своего круга были исключительно заботливы, тревожны, чаdolюбивы. Нашим отношениям всегда присуща была природная нервность, свойственная в равной мере и всем членам нашей семьи, особенно матери (вместе с изнурительными бессонницами). Но это не могло уберечь от гнета бедности (или по крайней мере постоянного недостатка) и возникающих на этой почве семейных ссор в связи с неудержимой склонностью матери дарить, а для этого занимать (она была исключительно добра и в силу этого расточительна — не по нашим средствам, — моя мама, для себя же самой довольствовалась самым малым и как будто даже не существовала: не спала, не ела и только всегда беспокоилась и нервно курила). К этому надо прибавить тяжелые впечатления от «русской слабости», не чуждой и нашему дому. Алкоголизм скосил две молодые жизни (моих братьев, по-своему трогательных и благородных) в нашей семье, и только милостию Божией и сам я спасся от этой гибели. Эти же заболевания моего отца, очевидно, унаследованы были от предков (вместе с хронической нервной экземой), они сопровождались после прекращения большой его раздражительностью, это есть самое, может быть, тяжелое воспоминание детства вместе с криком в доме от семейных раздоров, преимущественно почти исключительно возникавших на почве денежных затруднений. Но это проходило, и снова водворялся мир с жизнью словно в церкви или по крайней мере при церкви.

Наша семья состояла из родителей, братьев и дедушки. Все они, кроме двух братьев (меня и Лели), и умерли в нашем доме. Раньше всех дедушка от паралича, от которого он лежал разбитым более года. Это был чистый и благообразный старец Косма Сергеевич Азбукин с ясным любящим сердцем и каким-то прирожденным духовным достоинством. Он рано овдовел (его жена умерла после пожара, в котором будто бы считала себя виноватой от какой-то неосторожности, — из-за большой нервной и духовной утонченности). Оставшись один, он посвятил себя всецело воспитанию дочери «Саши» (Александры Косминичны, нашей мамы). Был педагогом и хотя светским, но, конечно, до дна церковным. В своей жизни был безупречен и строг. Нас, внуков, любил безгранично — меня менее, чем старшего брата, из-за моей суровости (которая на самом деле была застенчивостью). Он был как патриарх. С его кончиной смерть впервые вошла в детское сознание (лет двенадцать), я был, с одной стороны, мистически потря-

сен, а с Другой — оборонялся животным себялюбием. Хорошо в Ливнах хоронили: это прямо какой-то Египет. И прежде всего никакого страха перед смертью. С каким-то скорее радостным, важным чувством приходят родственники, а прежде всего женщины, обряжать покойника, молиться о нем, помогать на дому: особое вдохновение смерти входит в дом. А затем самые похороны в храме с несением по городу под погребальный перезвон колоколов, предание земле и почитание могилы, молитвенная память... Хорошо в Ливнах хоронят, и, если можно сказать про софийность и в похоронах, то скажу, софийно хоронят: печать вечности, торжество жизни, единение с природой: земля еси и в землю отыдеши...⁸

Отец был провинциальный священник, который хотя и родился в селе Гуторове (Кромского уезда Орловской губернии), однако совершенно перевоплотился в горожанина со всей ограниченностью этого типа. Он хорошо учился в семинарии, но вообще был ограничен, без особых умственных запросов и без всякой трагики в характере. У него был здоровый ум и жесткий сарказм, не лишенный остроумия. В характере его (как и у меня) было мало ласковости, по крайней мере способности ее обнаруживать. Дедушка говорил обо мне с порицанием: булгаковская суровость. Может быть, в последнем счете это — татарская кровь. Главное достоинство моего отца была его добросовестность и ответственная точность во всех делах его: таков он был в исполнении своего семейного долга — воспитания детей с ответом себе и в бережливости худой лишней копейки (что так несвойственно было маме), в своем служении в храме и школе (женской гимназии, где он законоучительствовал), в своих счетах и личных отношениях. Это был человек доброй совести, на ответственность которого можно было положиться. Он не лишен был и своеобразной поэзии, любил природу, хотя и пользовался ею редко, и в Липовчике что-то напевал полуженским своим тенорком. Вообще же мужественность не была свойственна его характеру, он был робок и весьма законопослушен. В нем была крепкая воля в исполнении долга, как он его понимал: не могу иначе, — но совсем не было способности настойчиво хотеть и осуществлять свое воление. Своей судьбой он и не был призван к борьбе. Я унаследовал от него и эту робость, и отсутствие хотящей воли, но меня судьба поставила в неизбежность борьбы. И я всегда чувствую это как тяжелую, на меня извне как бы наложенную необходимость, связанность, бремя. Мне труден мой удел.

Мама была открытая. Она всегда была несколько obsédée* навязчивыми идеями, большею частью очередными пустяками: чтобы мною надета была крахмальная рубашка, которой я не выносил, чтобы кого-то «позвать» (в гости), написать поздравление и прочее (и это я от нее унаследовал как внимательность к людям). Но обычно «эти ее пункты» все-таки выходили за пределы нужд обыденности, относились к тому, что можно было назвать поэзией жизни. Она любила и поэзию, хотя при слабом ее образовании круг ее знаний был ограничен, любила книгу и стихи. Вообще являла в себе тип какого-то неуравновешенного и несколько дегенеративного (фантастическая бессонница) аристократизма. Была не лишена и незлобивого тщеславия в детях — в отношении к моим успехам — и устливой говорливости.

В своей нервной многозаботливости была и деспотична в соединении с слабозахарактерностью. При волнениях, которые были обычны, много курила. Поэтически любила храм и богослужение, но благодаря нервности будила нас раньше времени: Сережа, вставай! Миша, вставай!.. — раздавались по дому ее крики, даже тогда, когда я терял уже веру и переживал эти бужения как насилие над собой и когда, принужденный уходить из дома, шатался по городскому саду.

Мои братья... Ко всем им (разумею старших) я относился свысока, а они признавали мое превосходство, великодушно не замечая моего свинства и эгоцентризма в своем трогательном смирении и великодушии. Старший брат Володя явился наиболее трагической жертвой наследственного алкоголизма. Он был прост сердцем, но неистов в страстях, алкоголь делал его безумным. Он погиб от чахотки, будучи уже священником в Москве (если удастся, расскажу особо). Младший мой брат Миша, робкий и кроткий ребенок, также погиб от чахотки (через две недели после Володи) в Ливнах. У меня и сейчас через сорок лет глаза застилает слеза, когда я вспоминаю его святую прекрасную смерть. Как ангел он был послан отряхнуть сокровище своей смерти в мою душу, пред тем как уйти из мира. Это было ночью. Явно началась агония. Все встали, окружили его, и отец начал читать отходную (это для всех явилось так естественно). «Это — отходная?» — спросил Миша и затем начал прощаться со

* Одержима (франц.). (Прим. ред.)

всеми, выразительно каждого целуя. И меня поцеловал так... Он особенно хотел, чтобы я был около него, когда я был полон собой, только собой... Он тихо отошел, и было светло таинство смерти. Руки его, как у чахоточных, были прекрасны своей белизной. Мы вышли в сад с братом Лелей, рассветало, и на сердце была такая небесная музыка, такое торжество, которое дает только смерть ласковая, тихая, верующая, смерть, открывающая небо и ангелов. Да, смерть была наша воспитательница в этом доме, как много было в нем смерти... Впрочем, все это уже было позже, в юношеском возрасте, но и в детстве смерть стояла к нам близко, никогда не отходя. Один за другим умерли два маленьких «Кузи» (в честь деда Космы Сергеевича). Мама не хотела уступить смерти и после смерти одного Кузи наименовала тем же именем другого ребенка, но умер и этот. Помню ночь с детским мертвым телом в доме и ее плач, ночные воющие звуки... Это вкралось в сердце каким-то зовом и страхом и грозной памятью о вечности, так же как и когда стояло тело бабушки, то приносились — неизвестно откуда — страшные плачущие и торжественные звуки, которые переворачивали душу. Это черничка Параша читала Псалтырь. Но самая тяжелая рана была смерть Коли, прелестного, умного, одаренного мальчика, в пятилетнем возрасте, общего любимца, с печатью херувима, предшественника нашего Ивашечки. Он болел горлом и долго боролся с болезнью. Еще накануне смерти отец шутил сказал: «А бутуз бутузит». Явилась надежда. А утром он скончался. Отец неизменно поехал служить свою раннюю службу, он был человек долга. Приехав в церковь сам в слезах и диакон в слезах, но стали служить. Никогда не могу забыть этой кончины, даже Ивашечкина кончина ее не изгладила («Зовы и встречи» в Свете Невечернем). Так он был прекрасен в своей рубашечке, так истекала слезами его няня Татьяна, так мучительно болело и мое себялюбивое сердце, все горевало. И каждое утро этого трудного лета (я готовился к экзамену, решавшему судьбу мою) начиналось для меня слезами Татьяны и этой мукой о подстреленном младенце. Все это — Ливны. Сокровище моей души. Капли небесной росы, которые падали в себялюбивое, но все же не мертвое сердце и, прожигая его, ложились в него бриллиантами. Сейчас кажется, что все они не для себя умерли, а для меня умирали, как какая-то жертва любви ко мне. И не явится ли за гранью земной жизни явью эта тайна любви...

Но лик жизни нашей был суров и важен. Не раз тогда говорили мы об этом в беседах с мамой: не странно ли? Смерть никого не минует, но почему же тогда, в эти ранние годы, она миновала дома наших сверстников и сродников, но ангел смерти неотступно стоял над нашим домом?

Хочется призвать и другие милые тени, которые одаряли меня дарами любви и поэзии: няня Зинаида, которая бдела над нами в наших детских бедах и была такая замечательная рассказчица о своей жизни, из крепостного быта. Она и пела нам свои песни из этого прошлого, и это пение ложилось в душу как музыка жизни. Помню оттуда такие бесхитростные слова:

В посиделках девки пряли, (2)
 Оне пряли, веселились, всякая с своим дружном.
 Вдруг мальчишка девке красной (2)
 Бросил взор свой распрекрасный,
 Что-то на ухо шепнул,
 Что шепнул, я не слыхала, (2)
 Как взглянул, я не видала,
 Только милая узнала, что он ее сердцу мил...

А дальше следует другая картина:

Как во городе в Орле в большой колокол звонят —
 То Парашу хоронят,
 А Ванюша-то Параша гробову доску вскрывал,
 Сам Парашу целовал.
 Ты прости, прости, Параша, прости, милая моя,
 Не досталася, Параша, ты ни мне, никому,
 Ни злодею моему.

Она рассказывала про крепостной театр, про свою былую жизнь. И сама она как будто не существовала, она была стихией, стихией русской ласки, жалости, любви к нам. И подобной была и другая няня, Елисавета, сказочница. Как она умела рассказывать сказки, страшные, фантастические... софийные.

Ливенцы жили, кроме исключений, для нас не существовавших, в великой бедности и убожестве. Это был город не крестьян, людей производительного труда, и не купцов, и не дворян, но мелких мещан, существование которых зависело от случайного барыша и не носило в себе никакой обеспеченности. Это было ниже, чем пролетарии, трясущееся приниженное существование. Конечно, оно выработывало и инстинкт приниженности, было и это, но запечатлелась во мне какая-то смиренная простота, с которой несли свое существование, да кротость. Это то, что я унес со своей родины.

Родина святыня для всякого, и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрасный дар Божий, благословение и напутствие на всю жизнь. И вот бреду я эту долгую жизнь и внемлю завещанию, и все яснее она раскрывается мне, как первозданная улыбка Софии Божественной, которой она позвала, приласкав меня как младенца, и тихим, тихим шепотом сказала мне свое имя. Этот шепот был тих, и Царица была закутана в рубище поверх своей царственной ризы, но я полюбил ее на всю жизнь и всю жизнь искал встречи с ней, хотел узнать ее имя. В суете жизни я ушел из отчего дома, и в погоне за видимым я перестал ощущать невидимое и лишь просвечивающее. Но ложные обманные следы для меня гасли вместе с видимыми красотами, и душа прозревала вечное и нездешнее. И теперь, на пороге иной и новой жизни, я возвращаюсь сердцем на эту мою родину и узнаю ее Имя. Узнать его — значит перейти в другой мир. Не увидеть мне Ливны в этой жизни.

Но изломанными и таинственными путями Бог дал мне и вторую родину — Крым, но это не вторая, а тоже единственная, но которая явилась мне в другом образе славы и также с ангелом смерти⁹. Только там родина, где есть смерть. И потому последнее слово о родине — о смерти. Ливны запечатлены и освящены могилами отца и матери. Об этом нужно сказать сердцу.

<1938>

Печатается по изданию: Прот. Сергей Булгаков. Автобиографические заметки. (Посмертное издание). Париж. 1946, стр. 7—23. Там же воспроизведена приписка автора: «10.VII.1939. Это было написано около 1½ года назад в течение вынужденного досуга на пароходе. А затем жизнь с ее заботами заставила оставить и даже позабыть начатое. <...>». При жизни автора не печаталось.

¹ Иаков «увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней (Бытие. 28. 12). «Лестница Иаковля, Об ангелах» — богословский труд С. Н. Булгакова (Париж. 1929).

² Булгаков с женой и детьми подолгу жил в Крыму на даче родителей жены близ Ялты. Там в 1909 году скончался в возрасте четырех лет Ивашечка, его младший сын, и эта смерть потрясла Булгакова (см. в его кн. «Свет Невечерний». М. 1917, стр. 12—14). Из Крыма же, куда занесла его гражданская война, Булгаков был выслан и в январе 1923 года прибыл с семьей пароходом в Константинополь.

³ Т и п и к о н — церковный устав.

⁴ Д и п л о м а т — род длиннопалого пальто.

⁵ Имеется в виду православный храм в Париже в помещении Православного богословского института (в так называемом Сергиевском подворье), профессором которого был о. Сергей Булгаков.

⁶ Л е в и т — в Ветхом завете: человек из Левина колена, предназначенного к священнослужению. Здесь: потомок православных священников, выходец из духовного сословия.

⁷ С т о я н и е М а р и и Е г и п е т с к о й — служба в пятой седмице Великого поста с чтением Великого канона Андрея Критского.

⁸ Бытие. 3,19. Булгакову принадлежит посмертно опубликованный труд «Софиология смерти» («Вестник РХД». Париж, 1978, № 127; 1979, № 128).

⁹ См. прим. 2.

РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мм. Гг!

Приглашенный С.-Петербургской группой международной студенческой христианской ассоциации выступить в ее торжественном годичном собрании и поделиться с слушателями своими мыслями и чувствами по поводу современности, я долго колебался, прежде чем принять это приглашение. Мне слишком ясны были все трудности, и внешние и внутренние, которые неизбежно возникают, если в беглом и случайном чтении приходится касаться наиболее интимных и мучитель-

ных вопросов жизни современной души, и если я не без борьбы с собой преодолел это замешательство и это колебание, то потому, что я считал особенным своим долгом отозваться на этот призыв, как идущий непосредственно из среды студенчества, ибо духовное воздействие на наше студенчество и идейное соприкосновение с ним было и остается для меня постоянной заботой и светлой мечтой. И если речь моя является случайной по своему поводу, то она не такова по содержанию, ибо в ней найдут выражение медленно и трудно складывавшиеся убеждения, то, что я считаю за истину в результате посильной научной работы, философских размышлений и жизненного опыта, «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Некоторым из моих слушателей, может быть, неизвестен и по моим предыдущим научным и литературным работам пережитой мною духовный перелом, в результате которого от атеистического мировоззрения, опиравшегося на известные научные и философские послышки, проверяя их умом и сердцем, наукой и жизнью, отступая шаг за шагом, я возвратился сознательно к вере детских дней, вере в распятого Бога и Его Евангелие как к полной, высочайшей и глубочайшей истине о человеке и его жизни. Способ усвоения Евангельского учения и путь к нему исторически и индивидуально может быть чрезвычайно различен: сынам нашего века приходится преодолевать особенно много препятствий, умственных и нравственных, для того, чтобы усвоить себе то, что открывается детскому или простому, но чистому сердцу даром и, может быть, полнее и чище, чем нам. Христианство не есть религия одних ученых, или философов, или только женщин, детей и невежественной черни, как думает полуобразованная толпа нашего времени, его всечеловечность и всенародность открывается больше всего в том, что оно доступно в меру веры, личного подвига и сердечного устремления и глубочайшему философу и ребенку, Августину и пастуху, Канту или Гладстону и русскому крестьянину. Под корою внешнего человека, внешней деятельности и суеты каждый хранит частицу своей детскости, изначальной божественной чистоты, о которой плачет чеховская героиня в «Вишневом саде»: «О мое детство, о чистота моя!»¹ И это чувство глубже и потому могущественнее всех эмпирических и исторических различий. Как переживание оно дано в религиозном опыте каждого, кто ему не чужд, и тому не нужно об этом рассказывать. Но в то же время для интеллигенции это кажется столь чуждым, непонятным, отвлеченным. Может быть, понятнее здесь окажется могучее слово и признание поэта, притом типичного поэта-интеллигента, с больной, разъеденной жизненными противоречиями душой, родного нашего Некрасова, коего тридцатилетнюю тризну мы еще недавно праздновали. Не всем, может быть, памятны эти дивные строки. Поэт описывает свое возвращение на родину и родные впечатления. Я узнаю — пишет он:

Суровость рек, всегда готовых
С грозой выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревушек тишину,
И нив широкие размеры...
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
«Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слышали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неутолимой
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...»

Я внял... я детски умилился..
 И долго я рыдал и бился
 О плиты старые челом,
 Чтобы простил, чтоб заступился,
 Чтоб осенил меня крестом
 Бог угнетенных, Бог скорбящих,
 Бог поколений, предстоящих
 Пред этим скудным алтарем!²

Вот слияние интеллигенции с народом, полнее и глубже которого нет. Но многие ли из интеллигентов, читателей и почитателей Некрасова, склонялись пред «этим скудным алтарем», соединяясь с народом в его вере и его молитве? Нет, не многие. Скажу прямо: единицы. Масса же, почти вся наша интеллигенция, отвернулась от простонародной «мужицкой» веры, и духовное отчуждение создано между нею и народом. Мне вспоминается по этому поводу одна случайная картинка из жизни второй Государственной думы. В один из весенних солнечных дней, когда во время думского заседания многие депутаты и журналисты прогуливались в Таврическом саду, мое внимание привлекла собравшаяся группа нарядной петербургской публики из депутатов и газетных сотрудников, к чему-то прислушивавшаяся и время от времени покатывавшаяся от смеху: в середине толпы оказался забредший туда волынский крестьянин, старик с чудным скорбным лицом, с характерной головой, с которой можно было лепить статую апостола или писать икону. Прислушавшись, я понял, что старик рассказывает про какое-то бывшее ему видение, в котором Бог послал его возвестить народным представителям Свою волю. Речь его была сумбурна, но всякий раз, когда он возвращался к своей миссии и говорил о Боге, слова его покрывались дружным смехом, а он кротко и терпеливо, скорбя о смеющихся господах, снова начинал свою повесть. Мне было невыразимо грустно и больно наблюдать эту сцену, в которой так ярко отразилась духовная трагедия новой России, и я с горечью отошел и лишь издали долго видел благородную голову старика, старавшегося что-то разъяснить и убедить, и смеющуюся толпу любопытных. Впрочем, может быть, я и не вполне точно воспроизвожу эту сцену, но так я ее тогда воспринял. «Не строим ли мы Вавилонскую башню?» — тихо сказал мне по этому поводу бывший здесь же католический священник-депутат.

Я не обманываю себя и теперь и тоже чувствую себя отчасти в положении думского старика. Всякому, кто в наши дни перед русской интеллигенцией рискует говорить не только о текущих, главным образом политических делах, а об общих целях жизни и религиозном смысле ее и кто в то же время находит его только на почве христианской религии, тому приходится заранее иметь против себя безличного, но могущественного и в высшей степени реального противника в духе времени. Атмосфера безрелигиозности вообще отличает новое время, особенно конец XVIII и XIX век. Отличительные черты нашей эпохи в этом отношении с неподражаемой силой и сжатостью переданы нашим поэтом-философом Тютчевым в стихотворении «Наш век»:

Не плоть, а дух растлился в наши дни.
 И человек отчаянно тоскует..
 Он к свету рвется из ночной тени
 И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
 Невыносимое он днесь выносит..
 И сознает свою погибель он,
 И жаждет веры... но о ней не просит..

Не скажет век с молитвой и слезой,
 Как ни скорбит перед закрытой³ дверью:
 «Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
 Приди на помощь моему неверью!..»

Конечно, при общей характеристике эпохи нельзя не делать различия между разными странами европейской культуры, нельзя не отметить, например, религиозности англосаксонской расы, которая в значительной мере сохранилась и до наших дней, причем она перенесена англосаксами и за океан, и в Новую Зеландию, и в С<оединенные> Штаты.

Самое замечательное в этой англосаксонской религиозности это то, что она не является только простонародной, каково по преимуществу наше русское благоче-

стие, и не рассматривается английской интеллигенцией как «религиозные предрассудки». Проф. Шульце-Гевэрниц говорит в своем новейшем труде*, что

«религия и до сих пор есть нерв англосаксонской культуры». «Внешние факты,— продолжает немецкий экономист,— подтверждают это континентальному туристу на каждом шагу. До сих пор воскресенье кладет еще свою печать на всю страну. Наряду с духовенством всюду выступают светские проповедники: врачи, юристы, вожаки рабочих не только в закрытых молельнях, но и по преимуществу на открытом воздухе, напр. в парках больших городов, в которых в качестве кафедр употребляются экипажи или тумбы. Здесь едет по стране миссионерский вагон, покрытый изречениями из Библии и дающий приют странствующим проповедникам, там сестры милосердия проникают в винные лавки и берлоги преступников, являясь носительницами «агрессивного христианства». Мостовые кишат солдатами „армии спасения“ и т. д. и т. д.

Руководящие умы нации, ее духовные вожди, разделяют в большей или меньшей степени эту национальную религиозность. Знаменитые государственные деятели Англии Дизраэли (лорд Биконсфильд) и Гладстон были ревностными христианами и ежедневными читателями Библии. Гладстон, перу которого принадлежит сочинение «Незыблемая скала Священного Писания», как известно, любил выступать проповедником в Гавардене и вообще высказывал такое убеждение (в письмах к жене):

«...я убежден, что благополучие человечества теперь не зависит от политики, действительная борьба ведется в области мысли, в которой происходит убийственная атака против величайшего сокровища человечества, веры в Бога и Евангелия Христа».

И недавний премьер Англии Артур Бальфур тоже написал книгу в защиту христианского учения под заглавием «Основы веры». Мне достаточно только напомнить далее имена Рескина и Карлейля⁴, у которых нельзя ничего понять, не принимая во внимание их исключительной религиозности, так называемых христианских социалистов: Кингсли, Людлоу, Мориса и других и их современных продолжателей среди английского духовенства. Конечно, нельзя сказать, чтобы и Англия осталась чужда отрицательному движению нового времени. В кузнице английской мысли и науки были выкованы едва ли не злейшие и не сильнейшие аргументы против религии. Гоббс и Юм, Бентам и своеобразно понятый Дарвин и Бэкон вместе с другими мыслителями оказали свое влияние, но, может быть, в большей степени на континент, нежели у себя дома. Тем не менее и в Англии тот дух времени, о котором я сказал, начинает чувствоваться все более, но еще сильнее проявился он на европейском континенте, особенно в некоторых странах и в отдельные эпохи, например во Франции во время великой французской революции, да в значительной степени и теперь, в протестантской части Германии и т. д. Но все же можно сказать, что ни в одной стране в Европе интеллигенция не знает такого повального массового индифферентизма к религии, как наша. В истории русской мысли сыздавна обозначились и борются до сих пор два течения: одно насчитывает на своей стороне немногих представителей, но зато в этом числе цвет нашего национального ума и гения, предмет нашей национальной славы и гордости. Это те, которые или остались духовно с народом в его мужицкой церкви, или во всяком случае не отделялись от него в его верованиях в живого Бога. В числе этих немногих мы считаем: Жуковского, Пушкина, Тютчева, в известном смысле Лермонтова, Гоголя, Хомякова, Киреевского, Чаадаева, Аксаковых, В. Соловьева, Достоевского, Пирогова, Фета, А. Толстого и Льва Толстого, насколько он вообще стоит на религиозной почве.

Противорелигиозное идейное течение, считающее в своих рядах большинство прогрессивных публицистов и общественных деятелей от Белинского до наших дней, усвоило себе рационалистически-атеистическое мировоззрение, которое широкой волной разлилось и составляет господствующую веру русской интеллигенции. Я не обмолвился: это неверие есть действительно вера, вера в научность, в рационализм. Масса нашей интеллигенции с необыкновенной легкостью в самый ранний период развития ума, отроческий или юношеский возраст, принимает догматику атеизма, усвоя ей предикат научности. Не раз было замечено, что предубеждение более удалено от истины, чем полное незнание. Относительно религии у нас существует наследственный предрассудок, что наука и философия исключают религию. Подобное мнение может объясняться только полным незнанием с научной и философской работой, которая кипела и кипит до настоящего дня по вопросам истории и фи-

* G. von Schulze-Gävernitz. *Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.* Leipzig. 1906.

лософии религии, ее догмы, культа с нескончаемыми и, по существу, понятно, бесконечными спорами об этих вопросах. Повторяю, наше русское неверие обычно оказывается на уровне слепой, догматической веры. Эту особенность русского духовного развития, конечно, имеющую свои исторические и бытовые причины, с обычной своей пронизательностью указал Достоевский, сделавший изучение русского, да и мирового, атеизма как бы своей специальностью. Достоевский влагает в уста князю Мышкину (в «Идиоте»), своему alter ego, следующую его характеристику:

«...атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль» — и, прибавляет Достоевский, происходит это «не все ведь от одних скверных, тщеславных чувств», «а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу...»⁵

Много раз задумываясь над двоящимся и доселе не разгаданным и не определившимся облик русской интеллигенции, я обращался мыслью к этому тезису Достоевского о религиозной ее тоске, о жажде крепкого берега, праведной жизни, нового неба и новой земли. И если порой нельзя не усумниться в правильности этой характеристики, то нельзя ее и отвергнуть. И во второй Государственной думе, в раскаленной атмосфере политических страстей, прислушиваясь и присматриваясь вокруг себя и силясь разгадать подлинную природу русской интеллигенции, иногда я ясно видел, как в сущности далеко от политики в собственном смысле, то есть повседневной прозаической работы починки и смазки государственного механизма, отстоят эти люди. Это психология не политиков, не расчетливых реалистов и постепенцев, нет, это нетерпеливая экзальтированность людей, ждущих осуществления Царствия Божия на земле, Нового Иерусалима, и притом чуть ли не завтра. Невольно вспоминаются анабаптисты и многие другие коммунистические сектанты средневековья, апокалиптики и хилиасты, ждавшие скорого наступления тысячелетнего царства Христова и расчищавшие для него дорогу мечом, народным восстанием, коммунистическими экспериментами, крестьянскими войнами, вспоминается Иоанн Лейденский со свитой своих пророков в Мюнстере. Конечно, сходство это касается лишь психологии, а не идей. В области же идейной, хорошо это или плохо, счастье или несчастье для нас, но Россия отражает идеи и настроения века решительнее и прямолинейнее, чем даже Запад, отражает на себе и ту мировую духовную драму богоборчества и богоотступления, составляющую нерв новой истории; перед нею бледнеют и отступают на задний план все великие политические и социальные интересы, вздымающие волны и рябь на груди исторического моря.

В чем же тут борьба и почему это драма? Духовная борьба, составляющая основную тему и основное содержание новой истории, начиная с Ренессанса и особенно явственно с XVIII века, определяется усилиями культурного человечества «устроиться без Бога навсегда и окончательно», как выразился Достоевский, или «умертвить Бога», как еще смелее выразился один из яростнейших богоубийц Ницше, свести жизнь исключительно к имманентному без всякой связи с трансцендентным, лишить землю неба, не коперниковского, холодного, астрономического неба, но Монсева, библейского или хотя бы даже кантовского неба, престола Божия. В мыслях, в чувствах, в интимной жизни, во внешнем ее устроении, в науке, в философии идет эта борьба, столь ясно предуказанная в Евангелии и Апокалипсисе, и величайшие усилия употребляются, употреблялись и будут употребляться как для того, чтобы подорвать, так и чтобы оправдать права религиозной веры. В этом смысле наша историческая эпоха не имеет себе подобной в истории, ибо всегда встречались отдельные антирелигиозные течения, но не было такого сознательного и убежденного, такого фанатического и непримиримого стремления свести человека на землю и опустошить небо. Если бы нужно было выразить духовную сущность нашей эпохи в художественном образе, в картине или в трагической мистерии, то эту картину или мистиери следовало бы назвать «Похороны Бога», или самоубийство человечества. И в этих образах следовало бы со всей силой и наглядностью показать, на что покушается человечество и что оно над собой делает. Как бы ни размещались фигуры на этом фантастическом полотне, но одно несомненно, что общее содержание его будет не идиллия или пастораль, изображающая триумф науки и знания, и не мещанская комедия, в которой в конце концов все препятствия преодолеваются и дело кончается веселой свадьбой жениха-человечества с невестой-государством или обществом будущего, но серьезная, мучительная трагедия.

Почему же это такая трагедия, почему эти похороны Бога неизбежно обращаются в похороны самих похоронщиков? Да потому, что, хороня Бога в своем сознании, они вынуждаются хоронить и божественное в своей душе, а божественное есть действительная, реальная природа человеческой души. Можно думать о себе как угодно, считать себя человековидной обезьяной, рефлексом экономических отношений, автоматической машиной, куском материи, в силу механической необходимости одаренной сознанием, — все это высказывается и высказывалось о человеке, — но вопреки всем этим мнениям он не перестает быть тем, чем сделали его «руки, сотворившие и создавшие его» и наделившие его запросами и свойствами высшей духовной природы. Можно убеждать человека голодного, что он сыт, и даже настолько оглушить логикой аргументов, что он сочтет себя обязанным постараться этому поверить, но он будет мучиться голодом, испытывать беспокойство; можно уверять себя и других, что дикие рожки, которыми питался блудный сын на чужбине, не хуже, а лучше тельца, уготованного для него у отца⁶, но и это не успокоит, не даст мира душе, не примирит ее ни с собой, ни с жизнью. Ибо *tu nos fecisti ad te, cog nostrum inqueitum est, donec requiescat in te**, как восклицает в своей «Исповеди» блаженный Августин. Человек рожден для вечности и слышит в себе голос вечности, он слышит его тонким ухом своих величайших мыслителей, ученых и поэтов, своих чистых сердцем праведников, творческим гением своих художников. Жить во времени для вечности, переживать в относительном абсолютное и стремиться дальше всякой данности, дальше всякого данного содержания сознания, *excelsior***, всегда *excelsior*, к этому призван человек, и это стремление *excelsior* само говорит о Том, Кто живет *in excelsis****, есть живое богооткровение в нас. Сам для себя человек потому и не может стать абсолютным, самодовлеющим, что он никогда не удовлетворится собой, своим данным состоянием, если только не ниспадет в низменную животность и не уподобится в действительности неосмысленной твари. Но вместе с тем человек сознает в себе эту силу и эту волю вмещать абсолютное содержание, расти и расширяться, становясь живым образом абсолютного, образом и подобием Божиим. Эта незаглушимая жажда высшего содержания жизни рождала и рождает религиозную веру.

«Многое на земле от нас скрыто (говорит Зосима у Достоевского), но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой нашей связи с миром иным, с миром горним и высшим, и корни наших мыслей и чувств не здесь, но в мирах иных. Бог взял семена из миров иных и посеял здесь на земле и взрастил сад свой, <...> но возвращенное живо и живет лишь чувствами соприкосновения своего таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен, возненавидишь ее»⁷.

Так Люцифер у Байрона, обогатив Каина множеством ненужных ему и мертвых знаний, но тонкой клеветой отвратив его от прежней веры, приводит его лишь к сознанию, что он — ничто. И подтверждает:

И это будет разум
 Всех знаний человеческих — предел
 Всей мудрости, доступной вам:
 Что вы ничто с своей природой смертной.
 Ты завещай науку эту детям...⁸

Нашей эпохе свойственна чрезвычайно высокая оценка своих умственных завоеваний, многим из наших современников представляется, что настоящая жизнь человечества начинается только теперь, а вся предыдущая история есть пролог или тьма дикости и варварства. Этот своеобразный исторический каннибализм, как выразился когда-то Герцен, в наших глазах совсем не имеет оснований. Про наше время нельзя не повторить диалога Люцифера с Каином, когда последний спрашивает Люцифера: «Вы счастливы? Нет, мы могучи. Вы счастливы? Нет». И наш век более могуч, чем счастлив. Представляя беспримерное богатство в благах внешней, преимущественно материальной, но также и духовной культуры, он в самом существен-

* Ты сотворил нас по Себе, наше сердце неспокойно, пока не успокоится в Тебе (лат.). (Прим. ред.)

** Выше (лат.). (Прим. ред.)

*** В вышних (лат.). (Прим. ред.)

ном — в душевной силе, свежести и вере — не богаче, но беднее предыдущих, и эта бедность рельефно выступает именно на фоне этого оглушительного прогресса.

Упразднив религию Бога, человечество старается изобрести новую религию, причем ищет божеств для нее в себе и кругом себя, внутри и вне; пробуются поочередно: религия разума (культ разума во время великой французской революции), религия человечества Конта и Фейербаха, религия социализма, религия чистой человечности, религия сверхчеловека в новое время и т. д. В душе человечества, теряющего Бога, должна непременно образоваться страшная пустота, ибо оно может принять ту или иную доктрину, но не может заглушить в себе голоса вечности, жажды абсолютного содержания жизни. И, погасив солнце, оно стремится удержать свет и тепло, делает судорожные усилия к тому, чтобы спасти и удержать божественное и заполнить пустоту новыми богами, но зыбкая почва проваливается под ногами, и духовная атмосфера становится все напряженнее и тяжелее. В высшей степени трогательна эта борьба человечества за духовное свое существование и мучительные его усилия искать твердую почву то там, то здесь.

В деяниях апостольских есть приснопомытный рассказ о проповеди ап. Павла в Афинах, этом Париже древнего мира, средоточии наук и искусств, философов, ученых и художников⁹. Этот город был полон идолов, как и наша культура, так что и великий апостол «возмутился духом». При виде их, однако, он усмотрел среди этих алтарей жертвенник с надписью «неведомому Богу», которая и послужила внешней темой его проповеди. Следует искать, по примеру апостола, такого жертвенника и в современных Афинах, и, конечно, можно найти его и здесь и под покровом отрицательных слов и разрушительных идей усмотреть тлеющую искру веры и благочестивый жертвенник. Если спросить себя, чем живет современный человек, во что он уверовал вместо Бога, ну хотя если спросить среднего русского студента или взрослого гимназиста из «сознательных», то, конечно, он тотчас ответит: хочу принести пользу человечеству, затем, подумав, прибавит: выработав себе научное мировоззрение. Вера в прогресс, в науку, в возможность разрешить все жизненные противоречия в историческом развитии науки и человечества составляет несложный катехизис современного человека. Это — общее, а затем начинаются частности, различия: с.-р, с.-д, к. д. (и другие комбинации букв). В основу его положен догмат веры в разум, всеислие науки. Однако совместима ли эта вера в разум с общим учением о человеке как двуногом животном, которое в силу случайности, игры материальных атомов и борьбы за существование достигло теперешнего состояния, а в будущем имеет достигнуть еще большего? Откуда у этого «оципанного пегуха», как определил человека философский нигилист-циник Диоген, берется разум и наука и на чем опирается такая вера в них? Что есть истина, которую хочет познавать наука?

Этот пилатовский вопрос¹⁰, обращенный к Тому, Кто сказал о Себе: «Я путь, истина и жизнь»¹¹, к самому божественному Логосу, звучит на всю историю человечества и не находит ответа иначе как в связи с религиозной верой. Как возможна наука и знание законов мира? Вот вопрос, поставленный человечеству критической философией в лице Канта. Как и почему комочек материи, хотя и известным образом организованной, может познавать вселенную, воспроизводя ее в себе идеально? Что это за таинственная сила идеальной репродукции? Иногда отмахиваются от этих вопросов ссылкой на завоевания науки: да разве современная техника не свидетельствует о силе ума и знания!

Но отвечать так — значит неизвестное подтверждать неизвестным, только отодвигать проблему, и не требует ли в таком случае уже самый этот факт объяснения? Орган познания — головной мозг с нервной системой — и функция познания настолько несоизмеримы и несоответственны между собой, что говорить о познании мозгом и нервами мира и его законов — значит впадать не только в мистическую, но прямо мифологическую бессмыслицу или же утверждать громовое чудо, которого вообще не допускают представители новейшей науки. Одно из двух: или человек действительно есть такое ничтожество, ком грязи, каким его изображает материалистическая философия, но тогда непонятны эти притязания на разум, науку; или же человек есть богоподобное существо, сын вечности, носитель божественного духа, и возможность научного познания объясняется именно этой природой человека. Очевидно, что достоинство науки и ее права не ограничиваются, а только утверждают религиозным учением о человеке, а вместе с устранением последнего подрывается и первое. Наука принципиально опирается на религию, а не противоречит ей, как это

странным образом сложилось в современных представлениях. Рассматривая же разум и науку как продукт и орудие борьбы за существование при свете своеобразно понятого дарвинизма, мы должны окончательно развенчать их. Если сила и значение научной истины только в полезности, как говорят дарвинисты в биологии и в гносеологии, то откуда взяли, что истина всегда полезна и что не полезнее иногда, а может быть и всегда, заблуждение? Это сомнение, высказанное Ницше и повторенное в некоторых сочинениях по теории познания, нечем обессилить. «Нет ничего более нездорового, чем мышление», — вырвалось у О. Уайльда; вслед за греческими софистами он вместе с другими модернистами считает возможным «все доказывать», ничего не считая истиной, подсмеиваясь над тяжеловесным благочестивым отношением к науке. Науке приставляют к горлу нож, ею же сточенный, надвигается кризис научного и философского сознания, сходный с кризисом, пережитым античным миром, и не придется ли еще науке искать опоры у гонимой ею теперь религии? Назревающий кризис науки, софистико-пилатовский скептицизм, быть может, яснее установит действительное отношение между религией и наукой, которое сознавалось и всегда великими учеными и мыслителями, но не понималось полунаучной. Наука сама основывается на вере в разум, в единство разумного начала в микрокосме и макрокосме, на религиозном и благочестивом признании ценности истины и любви к ней.

В новое время часто раздаются голоса о кризисе и даже о банкротстве науки, причем иногда эти утверждения выставляются как аргументы в пользу веры. Я считаю эти сетования и эти утверждения совершенно немотивированными и вижу в них род недоразумения. Наука жива и здорова и, конечно, будет жить и здравствовать. *Vivat, crescat, floreat!** Под кризисом науки разумеется обыкновенно утрата ею совершенно не принадлежащей ей компетенции, ее универсалистических притязаний, которые ей приписываются лишь теми, кто хотел религиозную веру заменить наукой. Задачи и значение науки вполне относительны и ограничены: она имеет дело с определенным (логически или философски) кругом проблем опытного (в кантовском смысле) знания, причем она способна к бесконечному прогрессу по самой своей идее; горизонт постоянно отходит перед нею, новое знание раздвигает шире область незнания, но остров знания по-прежнему окружен морем тайны и вечности, по слову поэта:

Как океан объемлет шар земной,
Так наша жизнь кругом объята снами,
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной.
Таинственно глядит из вышины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены!²

Таким челном, окруженным «пылающей бездной», несущимся по стихии тайны, чувствует себя строгая наука, и этим чувством питается религиозная вера великих ученых. Перед последними вопросами жизни и смерти, добра и зла наука стоит безответно теперь, как и прежде.

Заслуживает внимания еще и то обстоятельство, что наука как конкретное целое существует лишь в виде совокупности наук, беспрерывно разрастающихся научных специальностей. Это машина, составленная из великого множества колес или частей. Целое знания, мировой разум или книга природы открываются человечеству лишь в его истории, и конкретно каждая индивидуальность, как бы велика ни была ее умственная сила, прочитывает в этой книге только страницы или строки. Поэтому предположение, что наука действительно разрешает все вопросы, может быть основано только на общей вере в силу науки, в научный метод, в научный разум, но эта вера опытной поверки не допускает.

Итак, наука не в состоянии ни заменить, ни упразднить религиозной веры, ни даже не может сама защитить свое существование против набегов бесшабашного

* Пусть живет, растет, процветает! (Лат.) (Прим. ред.)

скептицизма без молчаливого или открытого признания религиозных предпосылок, именно веры в объективный разум.

Сказанным я хотел определить только самые принципиальные отношения науки и религии как отношения солидарности, соподчиненности. В частности же отдельные учения науки, касающиеся вопросов, то или иное решение которых не безразлично и для религии, конечно, могут входить во временный конфликт с теми или иными религиозными учениями. Развитие науки представляет бесконечное количество таких примеров, хотя оно же представляет и немало примеров разъяснения или устранения этих конфликтов с дальнейшим развитием науки... Работать над выяснением этих вопросов есть уже дело религиозной мысли, которая поэтому вовсе не представляет из себя догматическую и покойную подушку под головой, но должна находиться в постоянном напряжении.

Но если даже наука с своей тяжелой артиллерией остается беззащитной против ядовитого жала скептицизма, то тем беззащитнее оказываются современные суррогаты религии, в которых роль божества отводится человечеству и основной догмат которых состоит в учении о прогрессе. Мне лично приходилось уже много говорить и писать на эту тему¹³, и потому я буду краток. Здесь мы попадаем в целый лабиринт противоречий и трудности. Их легче вскрыть, если сопоставить с основными чертами христианского учения о человеке. Согласно христианской вере, человеку принадлежит нравственная свобода хотения добра и зла, причем нравственная жизнь и состоит в склонении воли от зла к добру. Этой борьбой и ее подвигом, аскезой, совершается возрождение личности при помощи свыше. Перед человеком стоит абсолютный идеал самосовершенствования: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»¹⁴ и «Бог есть любовь»¹⁵. Христианский подвиг есть потому подвиг любви и непрерывного самоотвержения. Человек не может ни мыслить, ни чувствовать себя в разрыве или отъединении с своим ближним: человечество, спасающееся во Христе и Христом, для него есть живое единство, тело, коего он член. Потому любовь к Богу и любовь к ближнему и находятся здесь в такой неразрывной связи между собою. Эта задача не превышает того, что доступно возрожденному человеку, ибо он носит образ Божий, печать божественной любви. «Образ есмь неизреченная Твоя слава, аще и язвы ношу прегрешений», как поется в величественных погребальных песнопениях перед лицом открытого гроба и разлагающегося в нем трупа: смерть в силах только временно исказить этот образ, но не может навсегда его уничтожить. Поэтому в качестве разрешения мировой драмы христианством обещается действительно сохранение всех ценностей и восстановление человечества для новой, вечной жизни. Человек, стало быть, здесь не самозванный человекобог, но действительно обоженная тварь, бог по благодати. Можно ли больше возвеличить человека? Недаром в обряд православного богослужения введено каждение не только иконам, но и молящимся, которые приравняются иконам. И действительно, если человек почтен образом Божиим, как бы ни искажал он его в себе, разве он не есть живая икона, живой «образ»?

Современное мировоззрение отвергло всю религиозную основу этого учения, но удержало те его стороны, которые непосредственно относятся к человеку: удержало любовь к ближнему, обозвав ее альтруизмом, веру в божественность человека, возведя его в человекобога, веру в спасение человечества, настаивая на учении о прогрессе. Удалены, казалось бы, лишь религиозные суеверия, осталось же все существенное, по крайней мере для современности. Но не рухнет ли без фундамента и постройка, не ползет ли почва из-под ног современного человечества, не ускользает ли из рук, как бледный призрак, как дух земли, явившийся Фаусту, это человечество, когда мы хотим обнять его? Есть много признаков, что это так, и много причин, почему это иначе быть и не может.

Человеку внушается, что он есть высшее в мире, что он автономен, что он прекрасен, что он разумен, самодовлеющ, что он бог, если не в единичности и обособленности своей, то в своем целом, вместе с другими. Но Богу свойственна жизнь, а этот бог есть разлагающийся труп, дни его и годы есть постепенное умирание, приближение к могиле, в которой, как известно, «и гения череп наследье червей»¹⁶. Когда Платон схоронил своего Сократа, божественного мужа, бывшего для него светом жизни, каким кладбищем стал для него этот мир, и не становится ли он таким кладбищем для каждого из нас, когда мы опускаем в могилу самое любимое и дорогое, то, что любим более себя! И когда столько жизнью вокруг отдается ради

верно или неверно понятых идей, не становится ли это противоречие особенно жгучим, мучительным! Можно ведь силой закаленной воли подавлять в себе эти чувства или привычкой дисциплины оставаться в строю, когда падают кругом близкие и дорогие, но пересилить боль напряжением воли, стиснув челюсти, не значит победить ее. Смерть вносит такой диссонанс в мир, которого не может не слышать и глухой; отсюда и постоянная борьба со страхом смерти то мечниковской прививкой¹⁷, то слабыми утешениями Фейербаха.

Итак, смертен бог в отдельности, смертен и в целом, поколение за поколением неспешной чередой тянутся в могилу, оставляя все дела и все заботы. И нас хотят уверить, что служение этим делам и этим заботам само ради себя способно не только наполнить, но и осмыслить жизнь. Эта религия человечества есть какая-то кладбищенская философия; неудивительно, что она все больше теряет кредит, уступая место культу гордого, обособленного Я, в свою очередь раскалывающегося на отдельные переживания, или в конце концов культу этих переживаний! Зачем мне искать какого-то кумира вне себя, в другом, в таком же, как я, или хуже меня, вообще в толпе, во многих (Viel zu Viele), когда я сам себе доволю и сам себе могу поклоняться, когда я «единственный» (der Einzige)?¹⁸ Зачем святыня, зачем добро и зло, когда можно стать и выше — точнее, вне этого различия? Оставим мораль попам и филистерам, перестанем быть колпаками, станем свободными личностями. Независимый живет в свободе абсолютной пустоты, повелительного своеволия момента. Почему обязательна и последовательность, зачем даже внутреннее единство личности, логика настроений, когда ведь есть только отдельные, разорванные переживания! Умей проложить себе дорогу, умей устроиться, и горе погибавшим.

Нигилистический индивидуализм, к которому приводит наша культура, подобно и античной, составляет самое серьезное явление духовной жизни современности. В борьбе с индивидуализмом изощрают все свои усилия общественники, чтобы как-нибудь сплотить рассыпающееся, амортизирующееся человечество господством сплоченного большинства, анархический индивидуализм обуздать социалистической муштрой. Но какие же орудия для этого сплочения имеются, чем побеждается разлагающий яд индивидуализма?

С того времени, как отвергнута была религиозная санкция морали, перед сознанием стал вопрос о природе морали. Поскольку философия в лице Канта и его школы делала и делает отчаянные усилия спасти мораль долга, над чем изощрает свою логику в настоящее время и немецкий идеализм, она приходит к религии как необходимой предпосылке нравственности. В системе Канта практический разум приводит к постулатам бытия Бога и бессмертия души, то есть к религиозной опоре. Напротив, в тех мировоззрениях, которые лишены всякой религиозной окраски, проблема морали принимает характер совершенно безнадежный: мораль приводится к самоупряднению с отвержением идеи долга и заменой ее идеей интереса, личного или группового, инстинктом звериного самосохранения. Подобно тому как в медицине развитие литературы об известной болезни есть лучшее свидетельство ее распространенности и серьезности, так и кризис морали в новое время, так же как и в эпоху античного декаданса, вызывает необыкновенное развитие литературы по нравственной философии: каждый изобретает свою мораль и доказывает ее посвоему.

Но нас уверяют, что этот кризис непродолжителен, что близится золотой век не только свободы и равенства, но и братства; на чем же опираются эти радужные надежды: на духовном перевороте, на возрождении личности, на новой вере? Нет, говорят нам, это произойдет в силу исторической, по преимуществу экономической необходимости. Об этом говорит экономическая наука, это предсказывает социология. Позвольте на это заметить, что наука, оставаясь наукой и обладая присущей ей остротностью и скромностью, вовсе не предсказывает таких вещей, об этом говорит вера, а не наука. Во-первых, самая способность социальной науки делать предсказания вообще многими не без основания оспаривается, и именно новейшие логические исследования о природе социальной науки (назову хотя бы Риккерта¹⁹) как раз приводят к этому заключению; во-вторых, и это самое главное, если экономическая наука и может еще кой-что предусмотреть о характере экономического строя в ближайшую эпоху, то ведь этим ничего еще не сказано о том, какова будет духовная жизнь этой эпохи, какова будет человеческая личность. Ведь поверить, что экономическая реформа приведет к духовному возрождению, можно, только приняв

предварительно такое учение о человеке, по которому он «есть только то, что есть»²⁰, есть вполне рефлекс экономической обстановки или классового положения. Да и при принятии всех этих неприемлемых положений остается еще вопрос, какие именно перемены в психологии, в чувствованиях, в самооценке вызовет перемена экономической обстановки и будет ли эта перемена именно такова и совершится ли в том направлении, как это представляют себе теперь. Позволительно думать, что человеческая личность хотя и зависит от еды, экономической обстановки, вообще условий своей материальной жизни, но есть прежде всего то, во что она верит, чем живет, чего хочет, что чтит; исходя же из такого понимания, правильнее заключить, что и в новом строе личность тоже может оказаться опустошенной и морально разлагающейся. Потому сколь бы высоко мы ни ставили заботы о материальных нуждах обездоленных классов, нельзя забывать и о духовных нуждах человека. В современном человечестве не только у нас, но и на Западе произошел какой-то выход из себя вовне, упразднение внутреннего человека, преобладание в жизни личности внешних впечатлений и внешних событий, главным образом политических и социальных. Отсюда такая потребность суеты, внешних впечатлений. Современный человек стремится жить, как бы не бывая дома наедине с собою: сознание заполнено, но достаточно приостановиться этому калейдоскопу внешних впечатлений, и можно видеть, как бедна или пуста его жизнь собственным содержанием. История сохранила нам ослепительной яркости и глубокого значения образ, символизирующий наше теперешнее духовное безвременье, поучающий и предостерегающий. Один из крупнейших представителей раннего гуманизма, носивший уже в себе противоречия нашей теперешней эпохи позднего гуманизма, Петрарка, рассказывает в описании одного из своих путешествий, как он, взойдя на высокую гору, откуда открывался чудный вид, раскрыл наудачу Исповедь Августина, которую всегда имел при себе, и в ней прочел следующие слова: «И вот люди идут и с удивлением смотрят на высокие горы и далекие моря, на бурные потоки и океан и небесные светила, но в это время забывают о самих себе». Петрарка погрузился в глубокое раздумье.

Эпохи упадочные, сопровождающиеся высоким уровнем развития культуры, отличаются вообще господством философии эпикуреизма, наслаждения жизнью в ее утонченных, эстетически облагороженных формах. Этот культ наслаждений разработало античное язычество в эпоху своего упадка, в эту же колею вступает и современное неоязычество.

Итак, добилось ли, начинает ли добиваться человечество счастья и радости, гармонии и покоя? Приближается ли оно к нему? Едва ли кто, наблюдая симптомы духовной жизни европейского человечества, решится это сказать. Напротив, морщины напряженной тревоги, мучительной тоски, замалчиваемого, но тем не менее грозного, ибо непобедимого, страха смерти легли на его челе. «Уныние народов и недоумение»²¹ — этими евангельскими словами может быть характеризовано настроение века. Или как сказано в Апокалипсисе: «Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания»²².

Леденящий пессимизм и какой-то страх жизни, смешанный со страхом смерти, заползают в душу, маловерные легко становятся суеверными, чувство тайны, живущее в душе, разрешается в искании таинственного, потребность в религии ищет выразиться в беспредметной религиозности, утолится хотя музыкой религиозного чувства, создается мистицизм без религии, демонизм без веры в Бога. Муки современной души, тоска современного сердца о Боге яснее всего, конечно, отражаются в искусстве, которое не может лгать, не может притворяться. Но красноречивее всяких книг эпидемические самоубийства, которые по поводу и без повода, просто от тоски и беспечности жизни становятся чаще и чаще, особенно среди нашей нервной, оторванной от почвы молодежи и даже детей; конечно, влияют и внешние события и поводы, но они нередко только обостряют назревавший кризис.

Уже Достоевский с обычной своей пронизательностью отметил симптоматическое значение этого явления, теперь так усилившегося, и связал его с потерей религиозной веры²³. Эпоха упадка римской империи, насыщенная неверием и пессимизмом, отличалась эпидемией самоубийств. Киренский философ Гегезий получил даже прозвище оратора смерти и был выслан из Александрии за успешность своей проповеди самоубийств. «Против бедствий жизни есть благодеяние смерти», — учил Сенека, у которого находим настоящий гимн добровольной смерти. У одних смерть

была введена в систему эпикурейского использования жизни, у других была выходом для отчаяния. И тогда эпикуреизм оказывался столь же смертоносен, как и теперь. Но на небе уже восходила тогда Вифлеемская звезда, и на нее взирали ученые и неученые, волхвы и пастухи, рождалась в мире великая радость, радость навеки. «Да радость Моя в вас пребудет и радость ваша да будет совершенна»²⁴. Теперь сумерки снова надвигаются над человечеством, уходящим в удушливое подполье и изнемогающим там от ига жизни, но Вифлеемская звезда светит и теперь и льет кроткий луч свой, и с этим лучом каждому раскрывающемуся сердцу приносится тихий зов: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»²⁵. Пессимизм, раз он появился и осознан, непобедим иначе как религиозной верой, ибо он питается сомнением в смысле мира и в возможности мировой гармонии. Зло в мире и дисгармония настолько реальны и непобедимы внешними средствами, что пессимизм безысходен, если не откроется в душе целебный родник веры и надежды, который «игу» жизни сделает «благим и легким»²⁶, хотя оно и не перестанет быть игом. Не безболезненный праздник, о котором так тщетно мечтают земные устроители человечества, сулит религия, напротив, тяжелый подвиг и крест, но она дает и силы его нести, указуя его высший смысл и цель и скорбь и труд, напоая радостью, той чистой радостью, которая утеривается человечеством.

Какое поразительное сопоставление получается, если мы сравним духовное состояние античного общества в I веке нашей эры с его культурой, но и с его разращенностью и пессимизмом и духовное состояние первых христианских общин, описанное в Деяниях апостольских! Каким небесным светом озарено это повествование, нельзя его читать без радостного волнения! Я думаю, что никогда в истории люди не жили радостнее, нежели эти бедные общины, состоявшие из рыбаков, рабов, пастухов и лишь немногих представителей образованного класса. Они не имели тех культурных благ, с которыми влачило свои дни античное общество, но в их душе бил живой ключ радости и веры — благодатная жизнь детей Божиих!

Мне, однако, представляется этот современный пессимизм здоровой и даже благородной реакцией души на попытку развенчать человека, лишить его веры в высшее добро и заставить его удовлетворяться самим собой. Ибо это самоудовлетворение, самодовольство и равновесие в таком положении, в котором невозможно человеку оставаться в равновесии, есть уже извращение человеком своего естества, угашение духа, продажа прав первородства за чечевичную похлебку. Это есть то мещанство, от которого так задыхался наш Герцен²⁷. Человек не в силах вынести земного благополучия, ему дана только борьба, только крест, и когда он землю проклятия, которая так глубоко пропитана потом и кровью, превращает для себя в удобную постель и покойную подушку, забывая о всех противоречиях своего бытия, он опускается и пошлеет. Нет, в современном пессимизме залог того, что человек создан для вечности и для Бога, но, потеряв это, страдает и тоскует тем напряженнее, чем выше он сам. Вот почему «царство зверя», то есть цивилизация, воздвигнутая без Бога и против Бога, неизбежно должна быть мрачной, когда люди начинают кусать языки от боли. И как бы ни ломали головы ученые и философы, какие бы суррогаты религии они ни придумывали, они не дадут человеку того покоя, который дает лишь живая вера в Того, Кто обещает: «Приидите ко Мне и обратите покой душам вашим»²⁸.

Что в неверующем человечестве не умерли, а только замерли религиозные силы души, доказывается в моих глазах тем значением, которое получает в такие эпохи эстетический интерес, чувство и служение красоте. Красота — божественна, ею Бог облек мир при создании его, и божественное в красоте действует на душу непосредственно или, как удачно выразился Соловьев, магически, помимо рефлектирующего рассудка. В восприятии красоты человек дышит божественным, хотя бы он головой его и отрицал. И в искусстве с его особым миром современной душе открывается единственная возможность, так сказать, религиозного питания, которого она лишена непосредственно путем молитвенного и религиозного подвига. В силу такого исключительного значения искусства естественно ожидать, что в неверующие эпохи люди особенно дорожат эстетикой, так жадно ищут они красоты, так ревностно отдаются служению ей. Чувство красоты природы чрезвычайно развито в наш век, едва ли не больше, чем когда-либо ранее: музыка сфер небесных, высоты гор, бездна моря, красота органических форм, цветов — все это интимно сродняется с душой современного человека, ищущей лучей божественной любви в мире:

И, порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты:
Нам вестью лес о ней звучит отрадной,
О ней поток гремит струю холодной,
И говорят, качаяся, цветы ²⁹.

Настроение эстетического пантеизма Гёте вообще очень сходно современности. Этим чувством природы, скрыто-религиозным, спасается современная душа от сухости и мертвенности своего рационализма, как и великими произведениями искусства. «Святым Духом всяка душа живится» — поется в церковном песнопении, и Крастоа есть дар св. Духа и якорь спасения для обнищавшего духовно человечества. Когда я думаю об этом животворящем действии красоты, мне вспоминается больная, страдальческая душа Гл. Успенского, который, подобно Гаршину и некоторым другим, несомненно страдал от несоответствия своего интеллигентского мировоззрения религиозным запросам души. Успенский рассказывает, как в деревне глухой зимой вспомнились его герою (то есть ему самому) впечатления от Венеры Милосской, виденной им в Париже, и как это воспоминание «выпрямило» душу (очерк так и называется «Выпрямила!»). Это трогательные признания интеллигентской души, тоскующей о Боге и не сознающей действительной природы своей тоски.

«С первого момента, как только я увидел статую, я почувствовал, что со мною случилась большая радость. До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искаленного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего хрустнуть именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом... Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как лившегося в него? Я решительно не мог ответить себе ни на один вопрос, я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа. Разбить это! — продолжает он, — да ведь это все равно, что лишить мир солнца, тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни ощущать этого».

Искусство покоряет себе даже и в таких чувствах и настроениях, которые совершенно не соответствуют современному мировоззрению. Современный человек может вместе с Бёклином видеть нимфу в сыром гроте и наяд в морских волнах, он может в молитвенном экстазе восторгаться Сикстинской Мадонны и всем искусством Возрождения *, ему доступна сумрачная мистическая величавость готического храма, он может хвалить Творца вместе с Бетховеном, загораясь от пламенного гимна радости и любви к Творцу в девятой симфонии. Многие из того, чего не позволяет себе современный человек логически и за личной своей ответственностью, он может вместить эстетически; благодаря красоте у него вырастают крылья, он чувствует себя не комком материи или двуногой обезьяной, но бесконечным духом, питающимся абсолютным и божественным.

Однако в этом переводе религиозной жизни на язык исключительно эстетический и выражается ограниченность нашей эпохи, ее однобокость и бедность. Эстетические эмоции еще не создают возрождающей веры, эстетизм энциклопедичен, он уподобляется пчеле, перелегающей с цветка на цветок, он может совмещать совершенно несовместимое.

Кроме того, эстетические восприятия пассивны: они не требуют подвига, напряжения воли, они даются даром, а то, что дается даром, способно развращать. В настоящее время часто уже провозглашается эстетика и ее критерии выше этики, благодаря господству эстетизма получается впечатление, что наша эпоха, как и вообще высококультурные эпохи, исключительно художественна, между тем как это объясняется ее односторонностью, разрушением остальных устоев человеческого духа и даже в чисто художественном отношении является вопросом, способна ли внутренне подгнивающая эпоха декаданса создать свое великое в искусстве или она преимущественно коллекционирует и регистрирует старое. Некоторые держатся именно этого последнего мнения. Во всяком случае при оценке современного эстетизма сле-

* Я никогда не забуду того неотразимого и потрясающего впечатления, которое испытал от Сикстинской Мадонны в пору полного еще увлечения марксизмом ³⁰.

Аует иметь в виду эти обе стороны: гипертрофия его, развитие эстетики за счет мужественных и активных свойств души отмечает упадочный и маловерный характер нашей эпохи, но в то же время в ней пробивает себе дорогу через пески и мусор вечная стихия человеческой души, ее потребность жить, касаясь ризы Божества если не молитвенной рукой, то хотя чувством красоты и в ней — нетленности и вечности. Много значений имеет вещее слово Достоевского о том, что «красота спасет мир»; оставляя в стороне его, так сказать, апокалиптический смысл, можно сказать, что и теперь красота спасает мир от отчаяния, от рационализма, от самодовольного мещанства, и теперь она поит жаждущего больного и, может быть, поддерживает силы его до выздоровления.

В самом деле, так ли уже решительно и окончательно утвердилось выше описанное направление умов в культурном человечестве или это только полоса, настроение, которое может миновать как изжитое? Ведь ярко обозначилось оно с XVIII века, а особенно резко во второй половине XIX, причем в пределах этого направления успело смениться несколько волн: можно считать уже пережитым и изжитым так называемое просветительство XVIII века с его прямолинейным рационализмом и упрощенным отрицанием. Век Мефистофеля сменился веком Фауста, торжеством немецкого спекулятивного идеализма, начавшегося с Канта, а он, каков бы он ни был, не может считаться эпохой только разрушительной. Затем последовало кратковременное торжество поверхностного материализма и позитивизма с его отрицанием всякой философии. Но материализм и позитивизм в настоящее время безусловно пережиты. Вновь возрождается религиозный идеализм вместе с философским и религиозным интересом, получающим в настоящее время такую обильную пищу от научных исследований по истории христианства и других религий. В центре этих научных исследований религиозно-философского и исторического характера стоит изучение всего, относящегося к личности Спасителя. «Можно сказать, — говорит проф. Вейнель, — что никогда еще ни одно столетие столь интенсивно не занималось Иисусом и не вопрошало об его значении как истекшее»* — и, добавим к этому, интерес этот в начале XX века не ослабевает, а все увеличивается. По-видимому, мы снова вступаем в эпоху христологических споров, хотя и ведущихся в иной плоскости и в иной постановке, нежели в период вселенских соборов (современные споры об исторической личности Иисуса), и, по нашему убеждению, эта новая эпоха только начинается. Наблюдающие духовную жизнь Запада констатируют, что религиозному омертвлению приходит конец**.

Охарактеризованный кризис личности и мировоззрения нигде не переживается с такой трагической мучительностью и роковой силою, как у нас, хотя, может быть, он и слабо еще сознается. Это объясняется отчасти общими свойствами русской души и той особенной жгучестью, с которой она относится к вопросам религиозного (в широком смысле) сознания, затем специфическими чертами интеллигентской психологии с ее слабостью традиций и исторических связей, ее теоретичностью и доктринализмом. Но особенно обостряющее значение имело здесь то историческое потрясение и кризис, который мы пережили последние годы и переживаем теперь. Если духовная анемия имеет скрытый или хронический характер в обычное время, то она обостряется в эпохи исключительные.

Я не позволю себе ни описывать, ни характеризовать всего пережитого нами, слишком это близко и свежо для всех, и не настало еще время для объективного, бесстрастного к этому отношения. В настоящее время русское общество, по крайней мере та его часть, которая способна размышлять и учиться, находится в тяжелом раздумье и силится извлечь исторические уроки из пережитого в области политической, экономической, культурной, готовая набираться новых сил для творческой работы. Выдержала ли огненное испытание духовная личность нового человека, все ли в ней благополучно? Нет никакого сомнения, что политическое и общественное движение последних лет было всецело интеллигентским — не по своим участникам, которыми сделались и массы народные с их многоразличными социальными интересами, но по своим идеям, идеалам, вообще по всей своей идеологии. Сила идей и идейных настроений в истории обнаружилась здесь с стихийной мощью.

* Heinrich Weinel. Jesus im neunzehntum Jahrhundert. Tübingen und Leipzig. 1904, стр. 3.

** Ср., напр.: Rudolf Eucken. Hauptproblem der Religionsphilosophie der Gegenwart. Berlin. 1907, стр. 113 и следующие.

Выяснилось с полной очевидностью, что интеллигенция в России теперь уже есть историческая сила, значение которой в дальнейшем историческом развитии может только увеличиваться, и несомненно, что это растущая сила будущего. И такая оценка исторической роли интеллигенции, как и вообще значения идей в истории, заставляет считать идеи и настроения интеллигенции имеющими особенную историческую важность, а положение ее сугубо ответственным. Я полагаю, что историческое будущее России, ее процветание или разложение, рост или гниение — в руках и на ответственности интеллигенции именно как растущей силы будущего. Исходя из такой оценки, с тем большей осторожностью и с тем большей тревогой спрашиваешь себя: все ли благополучно в душе интеллигенции, не сдвинута ли интеллигентская душа с своих устоев и не больна ли она? Я больше всего не хотел бы, чтобы суждения мои были приняты как осуждение или желание кого бы то ни было обвинить и свалить ответственность за ужасы, в которых мы все, за круговой порукой, виноваты. Я пытаюсь, как и все, разобраться в причинах той едкой горечи, которая запозла в душу последние годы, оглядеться в той мгле, которая нас окутала. Многие искренние люди из интеллигенции, которые не связывают своих суждений доктриной или программой, признаются, что и у них на душе остается осадок горечи и тяжелого недоумения. Граница между добром и злом, дозволенным и недозволенным, свободой и деспотическим или анархическим своеволием, партийной дисциплиной и общечеловеческой моралью слишком часто утрачивалась и слишком легко переступалась за это время, чтобы это не могло не оставить впечатления, не заронить в душу сомнения и тревоги. Эксцессы партийности и напряженная атмосфера политической междуособицы ставили под сомнение самую возможность взаимного понимания и соглашения, необходимого в целях практической созидательной работы, ради общего национального дела, грозили сделать невозможной вообще какую бы то ни было созидательную работу. Такие опасения мучительно угнетали меня лично во второй Государственной думе под влиянием непосредственных впечатлений от думской жизни и думской работы. В какой степени наши исторические неудачи последних лет вызваны неотвратимыми историческими обстоятельствами и темными историческими силами, а в какой степени указанными особенностями нашего интеллигентского настроения, учесть в точности нельзя. Но несомненно, что и доля участия последних значительна. И не столько отдельные программные положения тех или иных партий делали несогласными и ожесточенными врагами всех против всех, но именно их моральное обличье возбуждало настроение не примирения, а распри и раздора, создавало атмосферу политических страстей, не растворенную ничем примиряющим. Человека не было, были только члены разных партий или представители разных интересов, которые могли только размежевываться между собою. Но общество не может развиваться и жить без известного этического минимума солидарности и взаимного понимания, как бы ни было сложно и многообразно оно по своему составу, иначе оно распадется на несколько враждующих тел, а в конце концов атомизируется. И потому то, что Достоевский в «Бесах» и «Преступлении и наказании» описывал лишь как возможность, как предостережение, многим казалось даже как политический пасквиль, все это у нас вошло в обиход. То, что мы пережили и переживаем горького, морально-отрицательного в нашей интеллигенции, есть в моих глазах экспериментальная проверка слабости распространенного антирелигиозного мировоззрения и доказательство от противного в пользу религиозного. Отсутствие духовного здоровья отражается во всех проявлениях жизни, во всем ее тоне. Вообще в новое время умалется историческое значение нравственной личности и ее здоровья; я склонен, напротив, считать его одним из определяющих факторов исторической жизни, а в самоопределение личности необходимо входит и то, что она думает о себе, во что верует, все ее вероучение. Нельзя даже представить себе, как изменилась бы вся жизнь, насколько иначе сложились бы и протекли минувшие события, как осветилось бы и темное настоящее, если бы мы сами стали другие. В этом смысле философско-религиозное credo русской интеллигенции, объединяющее большинство ее молодых и старых представителей без различия политических оттенков, именно ее атеистический нигилизм я признаю одним из важнейших факторов русской истории и одной из основных причин, определивших течение событий последних лет в России.

Это положение, может быть, покажется менее парадоксальным для не разделяющих нашей общей точки зрения, если мы остановим внимание еще на одной

особенности нашего времени. До 900-х годов мировоззрение и настроение интеллигенции оставалось замкнутым, или кружковым, и можно было думать, что народная душа недоступна и непроницаема для интеллигентской проповеди. Последнее десятилетие, в частности же последнее трехлетие, показало иное, именно, что народ, особенно молодое поколение деревни и городские рабочие оказываются восприимчивыми к интеллигентскому воздействию и постепенно обывтелигенизируются, или, как это называется, становятся «сознательными». Я оставляю совершенно в стороне те или иные политические или экономические положения различных программ, излагавшихся народу, ибо не они нас интересуют, и не они имеют в моих глазах первостепенное значение, и вовсе не они действительно революционизируют сознание и совершают в народной душе глубокий переворот. Нет, всякое такое приобщение народа к «сознательности», или его обывтелигенизация, начинается безразлично во всех интеллигентских партиях и по всем их программам разрушением религиозной веры и прививкой догматов материализма и философского нигилизма. Конечно, необразованный простолудин совершенно бессилён отнестись критически и безоружен, как ребенок, пред напыльбом новых учений. И с той же легкостью, с какой уверовали в неверие некогда его просветители, принимает и он безраздотную, мертвящую веру в неверие. Разумеется, не приходится преувеличивать сознательности и прочности этой его старой веры, разлагающейся иногда от первого прикосновения. Конечно, это детская, наивная вера, но ведь все-таки она давала ему различие между добром и злом, учила жить по правде, по долгу, по-божески. Она воспитывала ту дивную красоту народной души, которая запечатлена и в русской истории, и в житиях русских святых, и в русской литературе, и в искусстве. Благодаря ей народ вынес и выносит на плечах своих крест своего исторического существования, и татарщины, и московской государственности, и петербургского периода и свой идеал, свое представление о праведной жизни выразил, дав себе наименование «святая Русь», то есть, конечно, не почитая себя святым, но в святости видя идеал жизни. Неужели заблуждался сердцеведец и народолюбец Достоевский, который изучал народную душу не только в здоровье, но и в болезни, не только в родной деревне, но и на каторге?

И вот эта старая вера и связанный с ней духовный строй рушатся, дичку народной души делается совершенно новая прививка. Такой силы, столь исключительной важности прививки, которую теперь делает народу наша интеллигенция, не делала и не могла сделать ему ни Москва, ни татарщина, ни Петербург; только Владимир Святой совершил равного значения дело, крестив Русь, которую интеллигенция теперь постепенно раскрещивает. С крещения Руси началась история России, христианское семя пало здесь на совершенно девственную почву, на невозделанную целину, с раскрещиванием начинается совсем новая эпоха истории. Чем же заменяется старая вера, какими правилами жизни, какими нормами? Мы знаем, что по этому поводу значитесь в интеллигентском катехизисе: Бентам, Маркс, Конт и Фейербах (в русской переработке Лаврова или Михайловского), Штирнер, — преследование своих интересов отдельно или преследование тех же интересов сообща с другими, как классовых или групповых, или же свобода самоутверждающейся личности, анархическое «все позволено». Но для интеллигенции все эти понятия интереса суть чистая идеология, псевдоним этических и даже религиозных настроений; она борется не за свой, а за чужой интерес, интерес угнетаемых классов. Кроме того, самые разрушительные выводы самых разрушительных доктрин далеко не всегда и не вполне переходят здесь в действие, но парализуются задерживающими центрами, влиянием среды и общественного мнения, культурными навыками, вообще привычкой обращаться с теориями и принимать разные страшные слова и формулы бездейственно и безбоязненно. Правда, последние годы и интеллигенция потеряла равновесие, но нет никакого сравнения с тем впечатлением, которое должен производить кодекс атеистической догматики на народную душу. Людям изболевшим и истрадавшимися и без того в силу своего классового положения склонным к враждебности по отношению к привилегированному меньшинству, людям, не имеющим ни умственной подготовки, ни цивилизованных навыков, вообще стоящим в самых неблагоприятных культурных условиях, сообщают в качестве догматов для жизненного руководства положения, которые явились во всяком случае продуктом длинного философского и культурного развития, выросли на культурно богатой и насыщенной почве. Вообще русская история богата крайностями, но едва ли можно себе представить крайность большую, чем это сообщение неграмотному, бедному крестьянину, не выходящему из своей деревни или за пределы своей фабрики, результатов

работы мысли Юма и Вольтера, энциклопедистов и просветителей, Фейербаха и Ницше и т. д. и т. д. В этом есть нечто поистине головокружительное. Я не возьмусь учитывать, насколько плодотворна и в политическом и социальном отношении оказалась эта замена просвещения агитацией, но морально-психологическое и общечеловеческое значение этого учесть можно и теперь. Результат этот — разложение личности, глубокий паралич воли и нравственного чувства — мы имеем теперь в скорбной и нескончаемой эпопее quasi-идейных преступлений, от которых с ужасом отрешиваются все интеллигентские группы и все направления. И, конечно, они правы, поскольку действительно никто не хотел всего этого и это явилось непредусмотренным результатом тех потрясений в народной душе, тех опустошений в сокровищнице его веры, которые внесла доктрина атеизма в связи с тяжелыми событиями и испытаниями нашего времени. Я совершенно убежден в том, что чрезвычайное развитие преступности, и притом в патологической обстановке своеобразной идейности, есть симптом болезни народной души, острая реакция духовного организма на ту нездоровую пищу, которая была введена в него в виде новых учений, объединявшихся отрицанием религиозных ценностей и абсолютной морали. И иных исходов на русской ниве при всей исторической совокупности обстоятельств сев этот и не мог дать. Я никоим образом, конечно, не забываю ни тех ужасов, среди которых приходилось жить последние годы, ни той политической обстановки и экономической нужды, которые и сами по себе выбивали из духовного равновесия и обостряли, как и, в свою очередь, были обострены указываемым мною духовным кризисом. Он имел еще и другое, хотя и побочное, но очень важное последствие: создал и обострил междуусобицу, придав ей оттенок религиозного фанатизма, сделав ее борьбой не только разных политических мнений, но и разных вер. Этим обстоятельством объясняются многие черты прискорбных и трагических событий осени 1905 года, каковы бы ни были причины их во всей сложности. Эта религиозная междуусобица и в настоящее время чрезвычайно туманит русские горизонты и затрудняет наше положение. Народ наш нуждается в знаниях, нуждается в просвещении, однако таком, которое не делало бы его беднее духовно, чем он был, и не разлагало бы его нравственную личность. Христианское просвещение, развивающее и воспитывающее личность, а не случайное усвоение обрывков знания, употребляемых как средство агитации, — вот в чем нуждается народ наш. Историческое будущее России, возрождение и восстановление мощи нашей родины или окончательное ее разложение, быть может политическая смерть, находятся, по моему убеждению, в зависимости от того, разрешим ли мы эту культурно-педагогическую задачу: просветить народ, не разлагая его нравственной личности. И судьбы эти история вверяет в руки интеллигенции. Опыт последних лет показал, что она находит доступ к душе народной и в то же время она всегда имела страстное, неудержимое, жертвенное стремление к служению народу в той форме, как она его понимает. В этом-то понимании и все дело, и вот почему мировоззрение самой интеллигенции приобретает такую исключительную важность, как состояние нервов и мозга всей страны. В сердце и голове русской интеллигенции происходит борьба добра и зла, животворящего и смертносного, зиждательного и разрушительного начала в России, а поскольку происходящее у нас имеет несомненно также и мировое значение, то и борьба эта мировая. Но это понимание своей исторической миссии и своего значения должно удесятерять чувство ответственности за свои действия. Ведь нигде больше нет такого положения: великий народ, беспомощный, беззащитный духовно как ребенок, находящийся на уровне просвещения почти что эпохи св. Владимира, и интеллигенция, которая несет просвещение Запада преимущественно с разными последними словами, сменяющимися с быстротою моды, и которая, как ее ни удерживают и ни отстраняют, находит и, конечно, будет находить дорогу к этому ребенку. Два электричества: когда они соединятся, что дадут они — благодетельный свет и тепло или разрушительную и испепеляющую молнию?

Если мировоззрение самой интеллигенции, которое она несет народу, останется тем же, что и теперь, то и характер влияния ее на народ не изменится; оно будет только расти количественно. Но нельзя, конечно, и думать, чтобы интеллигенции, по крайней мере в обозримом будущем, удалось обратить в свою веру всю народную массу, часть ее во всяком случае останется верна прежним началам жизни. И на почве этого разномыслия неизбежно должна возникнуть такая внутренняя религиозная война, подобие которой следует искать только в войнах реформационных. При этом духовная и государственная сила народа будет таять и жизнеспособность государственного организма уменьшаться до первого удара извне. От этого пути достаточно предупреждают нас

пережитые события. Но неужели напрасно возгремели над нами небесные громы? Неужели мы, немного поотдохнув да поправившись от пережитого, заживем опять по-старому, старыми чувствами, старыми мыслями, старым легкомыслием, так, как будто ничего не случилось, ничего не раскрылось, ничего не нажито? Просто сорвалось, да и все гут, а могло бы и не сорваться, если б оказалось немного больше сил; надо стараться, чтобы другой раз уже не сорвалось. Русский интеллигент склонен к такой беспечной лени души, и сейчас уже начинает складываться такое успокоительное, доосвободительное настроение и в печати и в кружках, как будто мы не увидали голову Горгоны, как будто мы просто просчитались, и остается только отступить несколько шагов назад, вернуться на старые позиции. Нет, вернуться на старые духовные позиции нельзя, мы отделены пропастью, полной мертвецов, мы выросли и исторически постарели, бесполезно и недостойно нам молодиться. Надо начать что-то новое, учесть исторический опыт, познать в нем самих себя и свои ошибки, ибо иначе, если мы будем видеть их только у других, на противной стороне, то мы останемся заипнотизированы своей враждой к ней и ничему не научимся. Потребно самоуглубление, самоисследование, потребно накопление духовных сил, творчество культуры.

Разных сторон должно коснуться это самообновление, но если спуститься на самое дно, в глубину души, то это создание новой личности и новой жизни должно начаться религиозным самоуглублением, новым и более сознательным религиозным самоопределением. Новый человек, новый тип общественного деятеля может родиться лишь на почве этого самоуглубления, это будет то новое русской жизни, о чем, умирая, мечтал Достоевский в последнем своем романе, то новое, чего не было в русской жизни последних лет и что, может быть, и загубило последнее общественное движение и обрекло его на бессилие. Россия, в противоположность Англии, за единичными исключениями, не видала еще христианской интеллигенции, которая, пыл своей души, жаждою своего служения людям и крестного подвига вложил в христианский подвиг деятельной любви, победила бы ту тяжелую атмосферу вражды и человеконенавистничества, в которой мы задыхаемся и в которой ничто, кроме разрушения, не может спориться. В нашей интеллигенции так много потенциальной религиозной энергии, она так неотступно приносит жертвы на своем алтаре «неведомому богу» — неужели же навсегда это неведение? Я знаю, как далека от действительности, как смешна может казаться эта мечта о христианской интеллигенции и прекращении того разрыва между интеллигенцией и народом, который поддерживается теперь религиозным разрывом. Но слишком прекрасна эта мечта, чтобы можно было с нею расстаться и слишком нужно для жизни ее осуществление, нужен новый свет, новая влага, изливающаяся на иссохшую и растрескавшуюся землю. В этой духовной опустошенности нашей эпохи, в этой ее безысходности заключается наша величайшая надежда, духовная смерть может оказаться кауном духовного воскресения, как это было и девятнадцать веков назад, как это неоднократно бывало потом в истории, когда христианский пламень с новой силой вспыхивал из едва тлеющего костра.

С развитием исторических событий все яснее раскрывается религиозный смысл русской драмы, которая, выражаясь в политическом и социальном кризисе, коренится в духовном распаде и внутреннем раздоре русского народа. И несмотря на столько жертв и испытаний, она не разрешилась. Болезнь вогнана внутрь, из острой лишь перешла в хроническую. Мы опытно познали, что нельзя безнаказанно нарушать заповеди: «Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и вся прочая приложатся вам»³¹. Мы заботились исключительно об этом прочем, оставляя в небрежении духовный мир человека, эту подлинную творческую силу истории. И мы потеряли духовное равновесие и разбрелись в разные стороны в погоне за этим «прочим», которое все более дробилось и разъединяло людей. И в этом лежит подлинная причина нашего исторического бессилия, слабости творчества при такой энергии разрушения. Только обновленному человеку посильна задача устроения расстроившейся жизни, но обновление это создается не пересмотром программ или тактики или новой политической комбинацией (как бы ни были важны сами по себе и эти последние). Рождение нового человека, о котором говорится в беседе с Никодимом³², может произойти только в недрах человеческой души, в тайниках самоопределяющейся личности. Подвиг исторического творчества не может быть отделен от духовного подвига возрождения человеческой личности, которое не совершается помимо нашей воли. Прав был Гладстон: не в парламентах или народных собраниях происходит теперь самое решительное столкновение добра и зла, но в душах людей, и исторические судьбы России взвешиваются ны-

не в той незримой внутренней борьбе, которая происходит в русской душе. К ней, к этой борьбе, и к нам, в которых она совершается, применимо поэтому грозное слово Моисея, предсмертное завещание пророчесственного вождя Израиля к своему народу, предопределившее его земные судьбы: «Призываю во свидетели небо и землю: жизнь и смерть положил я тебе, проклятие и благословение. Избери же жизнь, да живешь ты и семя твое!»³³

1908.

Печатается по тексту: С. Булгаков. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. М. 1911, т. 2, стр. 128—166. Снабжено примечанием: «Речь в собрании студентов и курсисток, устроенном христианским студенческим кружком в Соляном Городке 27 января 1908 года. Повторена в Москве, в Историческом музее, 12 марта 1908 года. Напечатана в «Русской мысли» (1908, № 3) и отдельно под заглавием „Интеллигенция и религия“».

¹ Не вполне точно процитированная фраза из монолога Любви Андреевны Раневской в первом действии «Вишневого сада».

² Из поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» (1856—1857). У Некрасова: «И деревенек тишину»; «Своей тоски неодолимой».

³ У Тютчева: «замкнүтой».

⁴ Дж. Рёскину и Т. Карлейлю Булгаков посвятил специальные исследования: «Социальное мировоззрение Джона Рёскина» (1909); «Карлейль и Толстой» (1904).

⁵ «Идиот», часть четвертая, VII.

⁶ См.: Евангелие от Луки. 15, 11—32.

⁷ «Вратья Карамазовы», книга шестая, III. Цитировано с неточностями.

⁸ Из мистерии Дж. Г. Байрона «Канн», действие второе. Перевод Е. Зарина.

⁹ См.: Деяния. 17, 16—23.

¹⁰ См.: Евангелие от Иоанна. 18, 38.

¹¹ Там же. 14, 6.

¹² Стихотворение Ф. И. Тютчева. У Тютчева: «Земная жизнь кругом объята снами»; «Таинственно глядит из глубины».

¹³ Булгаков имеет в виду в первую очередь свои статьи «Основные проблемы теории прогресса» (1902), «Религия человекобожия у Фейербаха» (1905), «Карл Маркс как религиозный тип» (1906).

¹⁴ Евангелие от Матфея. 5, 48.

¹⁵ Первое послание Иоанна. 4, 8.

¹⁶ Неточно процитированная строка из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гёте».

¹⁷ Имеется в виду диетологические и т. п. рекомендации русского биолога И. И. Мечникова, связанные с его теорией продления жизни; его «Этюды оптимизма» вышли в 1907 году.

¹⁸ Намек на индивидуалистическую философию немецкого младогегельянца Макса Штирнера, автора книги «Единственный и его достоинство» (1844).

¹⁹ Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ-неокантианец. По его воззрению, если естествознание занято общими законами, то история — единичными, неповторимыми явлениями.

²⁰ Изречение Л. Фейербаха.

²¹ Евангелие от Луки. 21, 25.

²² Откровение. 16, 10.

²³ См.: «Дневник писателя» за октябрь 1876 года (глава первая; очерки «Два самоубийства», «Приговор») и за декабрь того же года (глава пятая; очерк «О самоубийстве и о высокомерии»).

²⁴ Евангелие от Иоанна. 15, 11.

²⁵ Евангелие от Матфея. 11, 28.

²⁶ Там же. 11, 30.

²⁷ Эта тема развивалась в статье Булгакова «Душевная драма Герцена» (1902), знаменовавшей перелом в его собственном мирозерцании.

²⁸ Евангелие от Матфея. 11, 29.

²⁹ Из стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоём ревнивном взоре...».

³⁰ «И вдруг неожиданная, чудесная встреча: Синстинская Богоматерь, в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца, и затрепетало оно от Твоего зова <...> Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро <...> бежал туда, пред лицо Мадонны, „молиться и плакать“» (С. Н. Булгаков. Свет Невечерний, стр. 8—9). Спустя годы на основании более позднего религиозного и эстетического опыта Булгаков корректирует это впечатление: «..ослепительная мудрость православной иконы <...> обезвусила для меня Рафаэля вместе со всей натуралистической иконографией <...>» (С. Н. Булгаков, «Две встречи». — «Автобиографические заметки». 1898—1924, стр. 107).

³¹ Евангелие от Матфея. 6, 33; здесь, как и в некоторых других случаях, текст Священного писания цитируется автором с мелкими отклонениями от синодального перевода.

³² См.: Евангелие от Иоанна. 3, 1—7.

³³ Второзаконие. 30, 19.

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

К вопросу об образовании политических партий

В настоящей заметке я хочу, пользуясь гостеприимством и широкой терпимостью редакции «Полярной Звезды», затронуть чрезвычайно жгучий и очень важный, хотя и не поставленный вопрос — об отношении религии и политики.

Самый вопрос для уха современного читателя звучит дико и чуждо. Какой еще разговор может быть о религии, этой исторической тени, имеющей скоро отойти в прошлое, в особенности в связи с политикой? Однако такое отношение, в особенности в устах тех, кто хочет вести «реальную политику», совершенно ошибочно, ибо существование религии есть такой факт, с которым приходится считаться политику, даже совершенно отрицающему религию по общефилософским основаниям. Мы имеем в виду не только религию в собственном смысле слова, но и атеистические религии, существование которых, каково бы ни было их качество, не подлежит сомнению. Религия человечества, вера в прогресс, Zukunftstaat *, рай на земле и подобное — все это суть разновидности атеистической религии, человек не может жить одним настоящим, одной обыденщиной и, по божественной природе своей, так или иначе «взыскует грядущего града»¹. И этот факт всеобщности религии или, что здесь важнее, существование различных религий, религиозность в смысле отсутствия индифферентизма к религиозной (в широком смысле) проблеме и в то же время факт разноречности, принадлежности людей к разным религиям распространяет свое влияние на все области человеческой жизни, а в частности, и на политику.

Политические ценности, которые руководят политической деятельностью людей, не представляют или, точнее, не должны представлять собой высших, самостоятельных и самодовлеющих ценностей. Самостоятельностью политических ценностей характеризуется лишь безыдейная политика, руководимая интересом, личным или классовым, как непосредственным выражением личного или группового эгоизма. Такая политика, лишенная всякого идеала и основывающаяся на низших, грубых инстинктах природного человека, конечно, чужда всякой религии (кроме культа своего чрева), и трудно вообще говорить об этической или религиозной, вообще высшей ценности такой политики.

В противоположность этой классовой или эгоистической политике идейная политика, руководимая определенным идеалом, не представляя самостоятельной ценности, является средством для служения идеалу, вдохновляется высшей, не политической, но этической или религиозной ценностью. Отсюда она черпает свой энтузиазм, свой пафос, свою духовную мощь. Момент идеологический представляет собой, стало быть, совершенно реальную силу, ибо что может быть реальнее воодушевления идеалом.

Отсюда прямой вывод относительно того значения для политики, какое имеет общее мировоззрение или религия данного лица, ибо только она приводит его к той или иной программе той или иной политической партии и оживляет мертвую букву партийных требований, которые без этого связующего цемента рассыпаются в отдельные параграфы, частные и маловоодушевляющие в отдельности требования. Партии образуют собой духовные организмы, полные идейного воодушевления не только деловой, практической частью программ, но и своей общей верой. И вера эта, сообразно своей природе, подчеркивает, делает более значительной ту или иную часть практической программы, устанавливает духовную перспективу и сравнительную оценку разных требований.

Итак, вот первая классификация политических партий или различных форм отношения к политике: отношение эгоистическое, определяемое классовым или групповым интересом, и идейное, или религиозное, приводящее политическую деятельность в связь с высшими духовными ценностями. В дальнейшем мы будем говорить, конечно, только об этом втором.

Можно представить себе два типа партийного единения, в одном случае оно происходит на почве общего мировоззрения, так сказать, на программе максимум или, иначе, основывается на полном единоверии не только политическом, но и идеологическом, религиозном, — таковы обе наши социалистические партии, которые в такой же мере можно считать партиями, как и религиозными сектами², — не принимая в надлежащее внимание этого обстоятельства, нельзя понять их деятельности и надлежаще оценить их влияние на жизнь. Подобной религиозной партией (мы имеем в виду здесь, конечно, чисто формальное сходство) является католическая партия центра в Германии, группы христианских социалистов в разных странах, наши старообрядцы и... наша «черная

* Государство будущего (нем.). (Прим. ред.)

сотня», насколько в нее входят искренние, фанатичные сторонники мировоззрения, выражаемого в девизе: православие, самодержавие и народность! (Видеть в черной сотне одних правительственных агентов, как расположены многие в нашем образованном обществе, есть, по моему мнению, удивительное легкомыслие, избобличающее отсутствие исторической вдумчивости.) Второй тип партийного единения единоверия не требует, мирится с религиозным разноверием, если только разные веры эти приводят к практическому единогласию, признанию очередных исторических требований, формулируемых в программе партии. Иногда это равнодушие к религиозному разнообразию проистекает просто из безыдейности партии, движимой своекорыстием и прикрывающейся лишь теми или другими девизами. Но такая терпимость вполне искренно может быть возведена в принцип, так что партийное единение опирается только на тождество практической программы. В сущности, при такой принципиальной беспринципности каждый член представляет собой как бы отдельную партию, опирающуюся на полную программу-максимум и объединяющуюся с другими на общем практическом блоке: это федерация автономных и до известной степени разнотермированных штатов. Такова в настоящее время конституционно-демократическая партия, которая не спрашивает приходящего в нее: како веруешь, требуя лишь признания своей программы, и, подобно императорскому Риму, в нее могут входить с одинаковым правом атеисты и верующие, позитивные сторонники религии человекобожества Канта и Фейербаха и неокантианцы-идеалисты, равнины и христианское духовенство, старообрядцы и магометане, социалисты и индивидуалисты. Таким образом, все, что разделяет, но вместе с тем дает высшую ценность и смысл практическим требованиям, оставлено в скобке, а эти последние, сами по себе еще мало говорящие сердцу и уму, выведены за скобку как нечто общее и объединяющее. Практический блок в практических целях и стремлении к единению есть, несомненно, прекрасное и похвальное дело, в особенности у нас в России, где каждый сейчас тянет в свою сторону и хочет основать свою партию. Но в том-то и дело, что речь идет не о блоке, а о партии, о партии общенародной и всенародной, какой она рисуется в глазах лучших представителей ее. Такая партия должна представлять собой единый духовный организм, иметь общую душу, общую мысль, общую волю, должна представлять собой сверхиндивидуальный коллективный организм. Объединение человеческих атомов, отдельных автономных личностей, удерживающих все свое индивидуальное мировоззрение при вступлении в партию, может существовать в больших городах, в замкнутых интеллигентских кругах, где хорошо известно, что думает профессор А, журналист Б, адвокат С, и где они великодушно прощают друг другу индивидуальные вольномыслия. Но раз нужно выходить за пределы гостиних и идти к народу, интеллигентский индивидуализм обессиливает и вредит, атомистическая совокупность должна превратиться в более полную, истинную соборность, имеющую одну душу и одну проповедь, ибо к народу нужна проповедь. Какую же общую проповедь, то есть от имени партии, могут произнести атеист и священник, равнин и мусульманин и т. д.? Ведь одно из двух: или для того, чтобы проповедь могла быть действительна и полна энтузиазма, проповедник должен вложить в нее всю свою веру, изложить всю свою религию и вылить, как вывод из нее, действительную программу партии, но тогда, очевидно, партия распадается на несколько, ибо не может же одна и та же партия санкционировать все заразы эти проповеди и издавать их все заразы с клеймом партии в качестве партийных изданий, или же партийный проповедник должен оставить дома все, что для нее всего дороже: христианство — свою религию, равнин — свою, атеист — свою, — и ограничиться лишь проповедью практической программы. Но не будет ли она страдать тем практицизмом, приурочиваться лишь к низшим практическим интересам как среди безыдейных, грубо классовых партий?

Ведь то, что для самого проповедника или агитатора есть вывод из его общего мировоззрения, идеалов более широких и отдаленных, он будет сообщать только в обескрыленном виде, доказывая практичность, выгодность этих требований. И как бы ни была искренна, трезва и реальна эта проповедь, палка будет вышиблена из рук первым ударом меча, когда рядом с этой практической и трезвой проповедью в головы вступает политический хмель социального утопизма, широких перспектив. Ведь когда происходят столкновения к.-д. и с.-д., то обе стороны говорят на совершенно различных языках: на одной стороне все преимущества знания, трезвости, осторожности, действительной гуманности, на другой чаще всего фанатический пыл, нередко в соединении с слабыми знаниями, совершенно невыполнимыми требованиями, хотя они, по обычной фразеологии, прикрываются словами о «научной закономерности», «классовых интере-

сах» и т. п. И если победа в рабочих массах пока остается все-таки не на первой, а на второй стороне, то это объясняется, конечно, не тем, чтобы реальная политика к.-д. меньше обещала действительным «интересам» рабочих, но совсем другим. Проповедь в народных массах, в которых живо еще чувство соборности, «кафоличности», утраченное индивидуалистической, «уединившейся» интеллигенцией, должна быть религиозна, если только рассчитывает захватить народную душу в лице наиболее пылких представителей народа, а не уловлять только «умеренных и аккуратных», «хозяйственных мужичков», рассудительных скопидомов. Поэтому в народе, нам думается, может иметь широкий успех проповедь христианского социализма или, шире, христианской общечеловечности. В народе, вернее в одной его части, оторванной от христианства, имеет успех проповедь атеистического социализма, религии «государства будущего», классовой ненависти и вражды. Этот социализм не является религиозно-индифферентным даже и в узком смысле слова: и теоретически в основе всего этого мировоззрения, и практически в тактике партии лежит воинствующий атеизм, сознательное и боевое антихристианство. В социал-демократии не могут совмещаться, как в к.-д., христианин, согласившийся спрямить в карман свою религию, и атеист, снисходительно прощающий своим партийным сочленам религиозные предрассудки, нет, здесь вопрос поставлен остро и непримиримо, как он ставится самой природой религии и существом дела. Ибо, как бы ни было велико сходство и близость между практическими программами и требованиями атеистического и христианского социализма, между ними существует наибольшая полярность и непримиримая противоположность,— должна идти борьба, какая идет между Христом и Антихристом. В партии же к.-д. заключен как бы род перемирия, существующие противоречия погашены. Все признано несущественным по сравнению с практической программой, но что же вообще осталось существенного, если несущественно то, во что верит человек, во имя чего он живет и действует? Скажут, что нужно спасти Россию. Да, нужно, но в том и состоит проклятый вопрос, как можно ее спасти (как в смысле историческом, так и религиозном) и есть ли взаимное духовное самооскопление действительно вернейший путь спасения?

Даже в практической программе, где различие вер все же вносит некоторые нюансы, стремление соборности нейтралитет привело к недомолвкам или умалчиваниям. Укажу, как на самый яркий пример, на вопрос церковный, затрагивающий насущные религиозные интересы многомиллионного православного населения и влиятельного — в особенности в деревне — духовенства. Гнет самодержавия над православной церковью (как я указывал это еще на страницах «Освобождения»³ в статьях о «Православии и самодержавии», напечатанных за подписью Ак.) сильнее всего испытывается всеми не отравленными казенщиной христианами, и в стремлении к освобождению церкви, помимо прочего, заключается для них один из сильнейших мотивов в пользу освободительного движения. Вопрос о раскрепощении церкви от государства, о будущих судьбах и положении церкви занимает первое место в их душе и не может занимать иного места в их проповеди*. Что же находят такие члены к.-д. партии in spe** в ее программе по церковному вопросу? Равнодушную, небрежно брошенную оговорку, соответствующую либеральной «римской» терпимости ко всем верованиям и ко всем заблуждениям, такого содержания: «православная церковь и другие вероисповедания должны быть свободны от государственной опеки». Этот пункт остался без всякого изменения и распространения и на 2-м, партийном съезде, когда он снова подвергался обсуждению.

Разве можно себе представить партийное издание к.-д. по церковному вопросу, несколько не противоречащее программному пункту об «освобождении церкви от государственной опеки», но, конечно, трактующее этот вопрос с единственно возможной и уместной здесь положительной христианской точки зрения? Конечно, нет, может быть, это и может сделать отдельный член партии, но не партия, которая остается «religionslos»***. А между тем не естественно ли, напр<имер>, духовенству ждать разъяснений прежде всего по этому наиболее важному вопросу.

Я понимаю, что партия к.-д. поступила в данном случае вполне корректно, ибо большего она не могла сказать, не выходя за пределы своего идейного блока, не нарушая нейтралитета в какую бы то ни было сторону. И, однако, столь же несомненно, что сказанного мало, и неудивительно (хотя и прискорбно), если союз 17-го октября, в религиоз-

* Мне самому приходилось слышать из уст представителей духовенства, в общем сочувствующего партии к.-д., пожелание, чтобы в программе ее нашел более ясное разрешение вопрос церковный.

** В перспективе (лат.). (Прим. ред.)

*** Безрелигиозной (нем.). (Прим. ред.)

ном вопросе занявший в силу своего более однородного в этом отношении состава позицию более решительную и определенную, проявивший гораздо больше внимания к существующим в церковной среде течениям в пользу всестороннего восстановления соборности и выборности в церковной жизни, перетянет на свою сторону многих.

Я не берусь судить, могут ли отрицающие религию отказаться от скрытой или открытой проповеди своих отрицательных взглядов, но искренняя христианская вера не может мириться со второй ролью или намеренно быть оставляемой в тени, в особенности, если дело идет о проповеди среди народных масс и о движении народном. Можно в практических требованиях совпадать с другими партиями и в целях практической политики входить в те или иные соглашения с ними,— но в проповеди своей христиане могут выступать только во имя Христа и, следовательно, оставаясь верны себе, не могут и не должны участвовать в каком бы то ни было идейном блоке, основанном на умолчаниях, взаимных вежливостях и приводящем к засариванию жизни безыдейным практицизмом безрелигиозной политики, которая для религиозного человека есть величайшее зло нашего времени. Поэтому-то, ввиду, с одной стороны, обязательности для христиан участия в общественной и политической жизни в целях преобразования ее в духе заповеди любви, свободы, равенства и братства, а с другой стороны, ввиду затруднительности и даже прямой невозможности идти в идейном блоке, молчаливо отказываясь от Христа, следует признать, что рано или поздно должна у нас возникнуть чисто христианская партия, совершенно чуждая клерикализма, обскурантизма и прочих признаков прошлого, но воодушевленная христианской верой, и во имя этой веры, и идеалами демократии и социализма (которые, конечно, в христианском их понимании не имеют ничего общего с атеистическим социал-демократизмом).

Возвращаясь снова к к.-д. партии, я повторяю в заключение, что главное препятствие для превращения ее в партию всенародную (о котором мечтает П. Б. Струве и, конечно, многие другие члены партии) есть ее принципиальная безрелигиозность или вне-религиозность в вышеперезяясненном широком смысле слова. Представляя из себя не только практический (и вполне допустимый, и целесообразный) блок как минимум очередных требований, но и идейный блок разноречивых и отчасти непримиримых мировоззрений, устраняющий возможность общей веры и партийного энтузиазма, она находится в состоянии неустойчивого равновесия, отражая на себе переходный характер нашей эпохи. Такой блок был возможен в пределах интеллигентского конспиративного и замкнутого по своему составу «Союза Освобождения», но он трещит по швам, как только заходит речь о всенародной широкой партии и проповеди к народу, требующей полной искренности, не допускающей никаких умолчаний и идейных блоков. Одно из двух: или партии к.-д. придется окончательно разложиться на несколько разнородных духовных тел, входящих теперь в ее состав, и осуществить разные идейные возможности, в ней заложенные, или же превратиться в блок разных течений, соединяющихся на общих практических требованиях. Но такому сознательному и прочному соединению должно предшествовать предварительно и принципиальное разделение, работа углубленного самопознания.

Сказанное относится, конечно, исключительно к вопросу об образовании партий как прочных сооружений, в которых каждый находит свой идейный дом и дорогие себе духовные блага. Что же касается очередного вопроса о ближайших выборах в Государственную думу, застающих нас неготовыми и несорганизованными, то для меня не может быть никакого сомнения, что здесь программа к.-д. партии должна быть общим блоком для этих выборов, ибо лишь искренно демократического состава дума имеет некоторые шансы умиротворить Россию, и поддерживать на выборах искренно-демократических кандидатов в думу есть наш общепатриотический долг.

Печатается по тексту в еженедельнике «Полярная звезда», издававшемся П. В. Струве (1906, № 13, стр. 118—127). Булгаков под влиянием освободительного движения в эпоху первой русской революции был воодушевлен идеей создания христианской социалистической партии — «Союз христианской политики», более широкой и менее радикальной, нежели нелегальное «Христианское братство борьбы» (с участием В. Эрна, В. Свенцицкого, П. Флоренского, А. Ельчанинова); проект программы этой партии изложен Булгаковым в статье «Неотложная задача» («Вопросы жизни», 1905, № 9—12). Замысел Булгакова не был осуществлен; в 1917 году в брошюре «Христианство и социализм» он писал «Нередко высказывается пожелание о том, чтобы у нас возникла самостоятельная партия христианских социалистов. Однако <...> выступать с проповедью особой партии христианского социализма это значит приносить вселенские глаголы христианства и самую Церковь ставить в положение партии».

П. Б. Струве на страницах того же номера «Полярной звезды» ответил заметкой «Несколько слов по поводу статьи С. Н. Булгакова», где определяет «собственную позицию в затронутом вопросе огромной теоретической и практической важности». «В отличие от Булгакова,— пишет он,— мы полагаем, что у христианина и у атеиста, у идеалиста и у позитивиста может быть общая политика, имеющая единый религиозный корень. <...> Даже и широкие массы народа — вопреки мнению Булгакова — способны очень хорошо отделять элемент церковный или вероисповедный от той сверхцерковной или вневероисповедной «правды Божьей», признание которой лежит в основе таких широких политических программ, какова, напр., программа конституционно-демократической партии». Булгаков, по словам его оппонента, «упустил из виду, что связь политики с церковною или вероисповедной религиозностью по существу есть всегда двойное злоупотребление: политикой — во имя религии и религией — во имя политики».

Спор этот — в сущности, спор о единодушии вокруг идеала и о плюрализме на прагматической основе,— по-видимому, не утративший значения и для наших дней, привлек, в частности, внимание американского историка Дж. Патнэма, автора книги «Русские альтернативы марксизму» (Putnam G. F. Russian alternatives to Marxism: Christian socialism and idealistic liberalism in twentieth-century Russia. Knoxville. 1977); подробнее об этом см. обзор «Христианский социализм или социальное христианство?» («Проблемы православия в зарубежных исследованиях». М. ИНИОН. 1988). По словам последнего, Булгаков метко предвосхитил затруднения либеральной политики в XX веке перед лицом массовой политической аудитории с ее потребностью в вере и надежде; но и опасения противной стороны относительно религиозной или квази-религиозной абсолютизации политических целей Патнэм также признает справедливыми. Как бы то ни было, Булгаков, по мнению исследователя, постиг нечто важное касательно грядущих политических битв в Европе и России, недоступное пониманию традиционного либерализма образца XIX века.

¹ Псаломе к Евреям. 14, 14.

² То есть социал-демократы и социал-революционеры (эсдеки и эсеры).

³ «О с в о б о ж д е н и е» — нелегальный орган либералов-оппозиционеров, издавался за границей в 1902—1905 годах под редакцией П. В. Струве; с 1903 года — орган «Союза Освобождения», объединения либеральной и земской интеллигенции, в октябре 1905 года давшего начало партии кадетов. Булгаков поддерживал политическую и отчасти экономическую программу кадетов, но баллотировался во II Государственную думу (от Орловщины) в качестве независимого «христианского социалиста».

НА ВЫБОРАХ

Из дневника

Беру перо, чтобы по поводу выборов говорить о том, чем полна душа и от чего она болит. Меньше всего я имею в виду чисто политические вопросы. Мне хочется высказать вслух те общие жизненные впечатления, которые я получил здесь. Ими, как черным ядом, отравлена душа, от них опять болит она своей старой, никогда не утешающейся болью, тоскует своей неутешной, никогда не утихающей тоскою, волнуется всегдашней, никогда не прекращающейся тревогой — о России. Эти выборы нагоняют острые приступы духовной ностальгии.

Россия! родина! те, кто любил тебя, жил тобою, верил в тебя, знали ли они от тебя что-либо, кроме муки? За муки любили, чрез муку верили, но и когда колебалась вера, когда бросали они тебе в лицо горечь плача и желчи, они знали, что для них нет жизни вне тебя, нет родины, нет обетованной земли, кроме тебя, Россия, нет скинии завета, кроме сердца твоего, святая Русь! И отчаиваясь в тебе, в себе же отчаивались, произнося приговор над тобой, себя судили.

Для меня эти выборы были такими днями скорби и муки, близкой к отчаянию. Слепо, глупо верую (да разве иначе вообще веруют?) в неотменность призвания и избрания России и живу этой верой, но и вижу, как смеется действительность над этой верой, как отличается «Россия» от «святой Руси», как уродливое чудовище, помесь дикости, хамства и лени, заслоняет собой «святой остаток»¹, в который не уставали верить пророки Израиля и даже после падения обоих царств... Верили и оправдались своей верой.

Я уже третий раз присутствую на выборах² и имею материал для сравнения. Было на этих выборах многое, что бывало и на предыдущих, к чему уже успел приглядеться глаз. По-прежнему баллотировались в депутаты все без исключения крестьяне, привлекаемые преимущественно «диетами»³ (кто их за это осудит?). Как и прежде, зарождались у иных выборщиков совершенно фантастические надежды на депутатское кресло, в расчете на шальную удачу, благодаря которой выборные комбинации выносят в Таврический дворец иногда совершенно случайных людей, а то, что удалось одному, начинает маячить и другому. Черта низкой политической культуры, — эти претенденты совершенно не задаются вопросом, пригодны ли они к чему-нибудь в за-

конодательной палате, — как дети, они интересуются только избранием, наивно и просто. Есть сравнительно небольшая группа политических деятелей, знающих, чего они хотят, и сознательно ведущих политическую борьбу. Все это было как и раньше. Особенность теперешних выборов — их организованность, притом нового типа, не справа и не слева, но сверху; бюрократия, приглядевшись к новому орудью, научилась владеть им и приспособила его к своим нуждам. Организация эта подготавливалась с двух сторон, от представителей светской власти — губернаторов, и духовной — епархиальных архиереев, руководимых инструкциями из предвыборного бюро при св. синоде. Я наполовину не верил газетным сообщениям об этой организации выборов до тех пор, пока своими глазами не увидал, с какой бесцеремонностью и с каким неуважением к праву и самой идее выборов велась эта кампания в нашей губернии: здесь были применены все средства — запугивания со стороны начальства, исключение из выборов в последний момент, правительственные эмиссары, правительственные кандидаты. В результате смысла всей выборной кампании свелся к тому, чтобы со стороны администрации провести намеченных правительством кандидатов во главе с известным губернатором одной из северных губерний, которого предварительно такими же средствами провели в выборщики, со стороны же всех остальных — этот блок опрокинуть (что, в конце концов, все-таки не удалось). Здесь не было политических партий в обычном смысле слова, потому что эти официальные кандидаты и их избиратели столь же мало имеют право именовать себя «правыми», насколько солдат или чиновник, исполняющий распоряжения своей власти, который остается при этом чужд какой бы то ни было политической окраски. Здесь просто была группа «помпадурицев»⁴ с «примыкающими» и борющаяся с ней группа независимых людей, в которой причудливым образом объединялись октябристы, «прогрессисты», кадеты, даже социал-демократы. Все независимые избиратели были тем самым объединены и отброшены «влево»: к несчастью, от левизны в этом смысле в русской жизни отбрыкаться слишком трудно, и нет труднее задачи, как, с умом и совестью, быть политически-правым, имея даже самую правую идеологию (классический пример — наши славянофилы!). Ибо в официально-правом лагере существует спрос не на убеждения, независимые и свободные, но на послушливое низкопоклонство, не на принципы, а на беспринципность, даже и правые принципы с требовательностью, свойственной каждому принципиальному убеждению (как у наших славянофилов), здесь оказываются также неудобны. Величайшее несчастье русской политической жизни, что в ней нет и не может образоваться подлинного («английского») консерватизма: таким мог бы сделаться настоящий, не каучуковый, но идейный октябризм, и явный провал октябризма, которому многие теперь радуются, есть ясный симптом того, что для октябризма еще незрела наша политическая культура, которая предъявляет спрос только или на сервильность, или на «левизну» безответственной оппозиции, или слепой революционизм.

Политическая атмосфера избирательного зала оказалась совершенно отравленной, и смысл выборов совершенно извращен: на переднем плане оказались не политические партии, но главный кандидат администрации — «губернатор», который зарвался в своей губернии и нуждается в депутатском кресле для поправки своей пошатнувшейся карьеры, да главный организатор выборов по губернии, тип приказного (собственная кандидатура в награду за все его действительно немалые труды была снята в последний момент его же собственными клиентами), имеющего неусыпный надзор над выборщиками — крестьянами и батюшками, и представители «первенствующего сословия». Ах, это сословие! Было оно в оные времена очагом русской культуры, не понимать этого значения дворянства значило бы совершать акт исторической неблагодарности, но теперь это — политический труп, своим разложением отравляющий атмосферу, и между тем он усиленно гальванизируется, и этот класс оказывается у самого источника власти и влияния. И когда видишь воочию это вырождение, соединенное с надменностью, претензиями и, вместе с тем, цинизмом, не брезгающим сомнительными услугами, — становится страшно за власть, которая упорно хочет базироваться на этом элементе, которая склоняет внимание его паркетным шепотам*.

Совершенно новым в этих выборах было принудительное участие в них духовенства, причем оно было заранее пристегнуто властью к «правому» блоку и все время находилось под надзором и под воздействием архиерея, осуществляемом как непосредственно, так и через «приказного». Нужно знать, как велика и безответственна власть архиерея над духовенством, чтобы понять, какой кулак был поднят над головами духо-

* Конечно, я говорю про политическое значение сословия, но не про отдельные личности, к которым отношусь с глубоким уважением.

венства и в какое мучительное положение были они поставлены. Чтобы оказать неповиновение, — именно положить по усмотрению шар в «тайном» голосовании, которое фактически было явным, ибо за ним следили и у самого баллотировочного ящика, и на основании учета голосов, надо было сознательно рисковать потерей места, переходом на худшее, если не окончательным его лишением, то есть полным разорением (и это одинаково во всех стадиях выборов). Надо знать и многосемянность нашего духовенства, и его вековую забитость, мягко выражаясь, «аполитичность», чтобы понять, что для него совершить этот элементарный акт осуществления политических прав — значило идти на мученичество. Пусть требует от других мученичества тот, кто идет на него сам!.. И пусть ответственность за грех, который совершен был у избирательных урн рукой духовенства, падет на инспираторов этого низкого замысла, этого вопиющего насилия. Было более двадцати священников на наших выборах. Один-два из них были официальными, архиерейскими кандидатами в Государственную думу, они по-детски или по-крестьянски отдавались сладостной надежде на «диеты», на почет, на новые перспективы. Не все из остальных сознавали двусмысленность своего положения и характер той политической кампании, в которой оказались. Вызванные из далеких уездов углов, иные, может быть, в первый раз в жизни оказавшиеся в блестящем зале Дворянского собрания, они были ослеплены той мнимой ролью, которая была им отведена, и по привычке, не рассуждая, творили волю пославшего. Лишь очень немногие творили ее не за страх, но за совесть и были захвачены «правым» политиканством, хотя они-то были всего опаснее для своих собратьев. Но были и такие, которые действовали под влиянием страха и против совести и сознавали это, стыдились и мучились, — конечно, для них дни эти были горьким уроком политического воспитания. И не знаю, удается ли повторить снова этот эксперимент его избирателям.

Один из моих собеседников только здесь распознал и свою собственную роль, и компанию, в которую попал. Другой, уже по усвоенной издавна привычке маскироваться, благодушно уверяет, что почти все священники в душе «прогрессисты» и только запуганы. Третий имеет семью в семь человек, но мучается и стыдится своего положения. Четвертый, как особенно подозрительный и экспансивный, подвергается неоднократно прямым угрозам и воздействиям от архиерея, и прямо запретившего ему выставлять свою кандидатуру (чего он и не собирался), и прямо приказавшего голосовать за «губернатора» (причем «владыка» прямо говорил, что ему велено проводить губернатора и что ему самому в тягость эти выборы). Было больно видеть увенчанную сединами благородную голову этого священника, когда он, волнуясь, рассказывал о своих приключениях, — много боли и муки унес он с этих выборов. Но это только «начало болезней»⁵. Последствия этого сатанинского замысла — сделать духовенство орудием выборов правительственных кандидатов — будут неисчислимы, ибо духовенству предстоит еще отчитываться пред своей паствой за то, что по их спинам прошли в Государственную думу «губернатор» и иные ставленники своеобразных правых. Я не скоро забуду то острое чувство боли за унижение церкви, которое я пережил в ту минуту, когда было объявлено избрание «губернатора», очевидно, решенное голосами духовенства. «Пастыри Бога живого!» — послышался сзади меня голос умного «прогрессиста» (из семинаристов)! Да и все эти выборы были сплошное позорище пред лицом почти ста выборщиков, из которых не один десяток — крестьяне. Я отнюдь не хочу этим выразить желания, чтобы духовенство было правым или левым по своим политическим убеждениям, и при оценке достоинств его представителей меньше всего считаю с политическим направлением. Не скажу, чтобы были мне симпатичны как духовный тип «левые» батюшки. Но здесь они были приведены сюда не для выражения своих личных, правых или левых, убеждений, но для исполнения воли начальства — это политический абсурд и наглый цинизм, которого нарочно не придумают и враги церкви. В скольких душах картина нынешних выборов надломит слабые ростки веры, погасит еле тлеющий огонь, соблазнит, смутит. До сих пор мне приходилось много нападать на нигилизм интеллигентский, но я должен признать, что в данном случае ему далеко до нигилизма административного!..

Мы разговорились с одним из интеллигентных и «совестливых» батюшек из черномоземного уезда, и он нарисовал мне тяжелую удручающую картину духовного состояния деревни, несколько напоминающую изображение в книге Родюнова «Наше преступление»⁶ (которая, к слову сказать, заслуживала бы к себе более вдумчивого отношения, нежели одно лишь партийное осуждение). Самым значительным фактом жизни современной деревни является, по его рассказу, разложение старых устоев — рели-

гии, семьи, нравственности, быта, особенно же поразителен рост атеизма среди деревенской молодежи, охватывающий целые села. Здесь обнаруживается прямое влияние интеллигентского нигилизма: в деревне обращаются книги и брошюры агитационного содержания, безграмотная наша деревня узнает имена Ницше и Маркса, Ренана и Фейербаха... Проводниками высшего просвещения являются шахтеры, а в шахты (южной России) устремляются на заработки (затрачиваемые потом на деревенское франтовство) уже с пятнадцатилетнего возраста. Пред спуском в шахту, картинно рассказывал мне батюшка, вместе с рубашкой срывается и бросается на землю и крест, и без креста уже возвращается молодежь на родину. Рассказывал о хулиганских выходах в церкви, о зловном кощунстве, о многом тревожном и грустном. В России не было и нет культуры вне религии, и с разрушением ее остается варварство. Я слушал и думал, как встретит теперешняя деревня, читающая и газеты, своих пастырей после выборов, что происходит теперь в душах присутствующих на этих выборах... И черная волна отчаяния и ужаса за Россию подымалась в моей душе, и не было сил в ту минуту бороться с этим отчаянием.

Россия гниет заживо — вот что похоронным мотивом ныло у меня в душе. Она глубоко отравлена смертоносным ядом, и яд этот — нигилизм, двойной по происхождению и характеру, — нигилизм интеллигентский и бюрократический. Интеллигенция, следуя за своими учителями, верит в «дух разрушения как дух созидующий», она из революции создала для себя религию, и мы уже видели эту религию в действии... Я не принадлежу к числу людей, которые скоро забывают уроки прошлого, и нисколько не сомневаюсь, что и новое торжество интеллигентского нигилизма может значить только дальнейший развал нашей государственности и культуры. Однако интеллигенция верит в свою религию, и субъективно она оправдывается этой верой. Но этот административный нигилизм, который не останавливается пред цинизмом и из нигилизма и политического шулерства делает программу государственного управления, — он неизбежно приводит к собственному самоупряднению и торжеству «духа разрушения» с праведным и неправедным его гневом. Россия как будто стремится к бездне и развалу. С каждым днем забываются те уроки политической мудрости, которые усвоены были из истории недавних годов. Надежды на органическое развитие становятся все слабее. Пусть наши финансы находятся в блестящем состоянии, а бюджет перевалил за три миллиарда, пусть порядок в стране еще поддерживается, но общественная атмосфера по-прежнему, нет, больше прежнего, отравляется нигилизмом, для которого нет ничего святого, и этот яд обнаружит свое действие при первой возможности. Мы начинаем опять жить без будущего, по старому принципу: *après nous le déluge!* *

Да, «святая Русь» есть мистическая реальность России, ее видели и осязали ее пророки. Но и это российское хамство, в котором мы задыхаемся, есть тоже мистическая реальность России. И как же одно соединяется с другим, как одно отделяется от другого? «Ничего не вижу: вижу какие-то свиньи рыла вместо лиц, а больше ничего...»⁷ Не об этом ли плакал своим смехом Гоголь? А разве не он же писал о величественной поступи России? Какая мучительная, кошмарная загадка!

Принесли газеты. В них мы прочли, что болгары одержали решительную победу над турками, и доблестная православная рать славян теснит турецкие полчища и выбивает их из последних укреплений. Пробил знаменательный час истории. Наступила година, которой ждала старая Русь с ее мечтою о «третьем Риме», столице православного царства, приближается срок для исполнения политического завещания Достоевского о том, что рано или поздно «Константинополь должен быть наш»⁸; приблизился момент, когда Россия должна будет сказать твердое слово и решить им окончательно судьбу ею же вызванных к политическому бытию славянских государств. Назрели всемирно-исторические события, в которых Россия призвана играть первую роль.

И в такую минуту истории мы «делаем» выборы и проводим в Государственную думу подобранными голосами губернатора и иных правительственных кандидатов, мы занимаемся политической буффонадой, оцепиваем всякого проходящего в думу прогрессиста, а в международной политике играем жалкую роль на буксире у Австрии, с которой нам надлежит вести борьбу.

Так отвечает Россия в час страшного суда истории на свое вековое историческое призвание...

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

(А. Белый)*

* После нас хоть потоп (франц.) (Прим. ред.)

Торжествующее хамство несовместимо с всемирно-историческими задачами, атмосфера сервиллизма не вырабатывает граждан, а только рабов или же революционных бандитов, и нигилизм под националистическим соусом не родит настоящей любви к своей родине и своему народу.

Не мужественно надолго отдаваться отчаянию и малодушию, надо делать свою работу каждому на своей очереди. Но надо понимать всю трудность положения и серьезность той внутренней болезни, которою страдает Россия и которая грозит не только жизнеспособности и здоровью, но и самому существованию нашей государственности. Конечно, вера в русскую идею отделима от русской государственности, как и вера в церковь не связана с status quo данной поместной ее организации, но на нас лежит ответственность пред предками и потомками сохранить вверенное нам драгоценное наследие — родину, Россию!

«Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необязанные и не смягченные елеем... Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский!» (Исайи. 1, 5—6, 9—10).

21 октября 1912.

Печатается по изданию: «Русская мысль», 1912, № 11, стр. 185—192. В качестве выборщика от Орловской губернии Булгаков участвовал в двухступенчатых выборах в IV Государственную думу (1912—1916). Очерк привлек внимание Ленина картиной разложения деревенских нравов (об утраченном отклике на него см.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 164, 165; см. также упоминание в статье «Что делается в народничестве и что делается в деревне?» — там же, т. 22, стр. 366).

¹ Ср.: Послание к Римлянам. 11, 5.

² Побывав депутатом II Государственной думы, Булгаков, несмотря на разочарование, принимал участие в подготовке выборов в III. «После роспуска 2-й Гос. Думы и нового избирательного закона, правительство Столыпина проявило известную избирательную технику, которая, однако, соединилась, увы, с прямолинейностью цинизма и бесстыдства. А к этому еще не <была> приучена русская жизнь, как приучена уже теперь (как и во всем мире, где выборы делаются). (Из автобиографического очерка «Агония», писанного в Константинополе в 1923 году.— С. Н. Булгаков, «Автобиографические заметки», стр. 83).

³ Д и е т а — жалование, получаемое парламентариями.

⁴ П о м п а д у р ц ы — высокопоставленные чиновники (использован сатирический образ М. Е. Салтыкова-Щедрина из его книги «Помпадурцы и помпадурши»).

⁵ Матфей. 24, 8; Марк. 13, 8 («Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней» — из евангельских эсхатологических пророчеств).

⁶ Р о д и о н о в И. А.— земский начальник в Новгородской губернии, правый монархист, борец против влияния Распутина при дворе. Его книга «Наше преступление. Не бред, а быль. Из современной народной жизни» (1909) выдержала несколько переизданий, была осуждена левой печатью как клевета на русский народ.

⁷ Слова Городничего в финале «Ревизора».

⁸ Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за март 1877 года (глава первая, I: «Еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш»).

⁹ Из стихотворения Андрея Белого «Отчаянье» (1908).

ПИСЬМА АНДРЕЮ БЕЛОМУ (Б. Н. БУГАЕВУ)

13—17 декабря 1910 г. <Москва>

Дорогой Борис Николаевич!

Только теперь удалось мне, наконец, прочесть «Серебряного голубя»¹, и я испытываю неодолимую потребность сказать Вам слово благодарности, восторга и радости и за Вас, и за Ваших читателей. Я совершенно потрясен Вашей книгой. В ней Вам удалось, нет, да но Вам такое проникновение в народную душу, какого мы не имели еще со времен Достоевского. В ней совершилось чудо художественного ясновидения. Пред Вашим творчеством распахнулись сокровенные тайны народной души в ее натуралистической и, как Вы со всей силой показали, неизбытно демонической стихии. За Вашим романом для меня оживал и Розанов, и становился понятен соблазн петербургских радений, и «глубины сатанинские» мистического сектанства. И, хотели ли Вы этого или не хотели, но то, что в Вас — эмпирическом — больше Вас, — Ваш дар, такой ответственный и страшный, явил такое разительное свидетельство истины Церкви, которая одна спа-

сает нас от всех чар кудеяровских², изгоняет бесов, дает мужественную, а не пассивную жизнь духовную. Вам приходится нести и крест своего служения, холодное непонимание, равнодушные толпы, но это хороший знак, Вы сами это знаете. Но рано или поздно поймут — услышат Вашу художественную речь.

Я слишком высоко ценю «С<еребряного> Г<олубя>», а еще больше Вас самих, чтобы не высказать Вам и того, что меня в Вашем творчестве тревожит. Оставляю невыработанность и неровность формы, шаржи <?>, вообще нервную торопливость письма, все это и исправимо, и ясно для Вас самого, да и не мое это дело — эстетическая критика. Я болею за Россию и за глубочайшего из современных ее художественных интерпретаторов, и поэтому спрашиваю себя: неужели он не видит — художественно не видит — в теперешней мистической России никого, кроме Кудеярова и околованной им Матрены³, а в церковной (хотя бы и исторической) стихии ничего, кроме быта и маски попа Вукола?⁴ Но в таком случае откуда же воссияет свет Сарова⁵ третьей части⁶? Разве он не оттуда же идет и разве он там не ведет борьбу с кудеяровщиной? Я выразил Вам свои недоумения и страхи и думаю, что знаю и, если бы был художником, мог бы художественно доказать и показать это, что «сей народ богоносец»⁷, хотя и в избранных своих. Но когда я отдаюсь надежде, что Вам с такой же художественной силой дано будет показать в образах свет, как Вы изобразили и тем обличили тьму, меня охватывает радостное волнение, а вместе и тревога за Вас, который обременен такой миссией, в котором зреет это слово. Да осияет Вас, дорогой Борис Николаевич, этот саровский свет на путях Ваших и да охранит он Вас от мстительного кудеяровского зла!

Сегодня я получил Вашу открытку, в которой Вы забыли-таки сообщить свой адрес, так что я посылаю и это письмо и свою книгу наудачу, быть может, по неверному адресу⁸. Желаю Вам света и покоя и в личной Вашей жизни, и в работе. Здесь в Москве трудно жить и трудно сосредоточиваться, и жизнь ставит такие трудные требования, которым не чувствуешь силы как следует удовлетворить (основная черта моего всегдашнего самочувствия). Елена Ивановна⁹ Вас приветствует. Желаю Вам счастливых праздников и нового года. Крепко жму Вашу руку. Любящий Вас

С. Булгаков.

PS. Я получил еще большой короб бумаг А. Н. Шмидт¹⁰, но большинство неудобочитаемо, хотя есть и интересный материал.

Это и следующее письма печатаются по автографу (Отдел рукописей ГВЛ, ф. 25, к. 10, ед. хр. 10).

С начала своей московской жизни (1906 год) Булгаков находился с поэтом-символистом Андреем Белым в интенсивном идейном, подчас полемическом общении; они принадлежали к одному кругу творческой интеллигенции, их пути пересеклись на собраниях Религиозно-философского общества (например, на одном из таких собраний Булгаков оппонировал Белому в связи с прочитанным им рефератом «Символизм и религиозная проблема»). Впечатления от этого периода и этих встреч описаны Андреем Белым в его мемуарах «Между двух революций» (1934).

¹ Роман «Серебряный голубь» увидел свет в 1909 году в журнале «Весы», а в 1910-м вышел отдельным изданием. «В романе воплощен образ «восточной», крестьянской России: герой ищет спасения в «почве», в народной среде, сближается с тайной религиозной сектой «голубей», но терпит внутренний крах и гибнет от рук сектантов» («Русские писатели. 1800—1917». Т. 1, стр. 227).

² Кудеяров — персонаж романа; столяр, глава свиты, наделен сверхъестественной энергией, заражающей других мистическим экстазом.

³ Матрена — «рябая баба», работница Кудеярова и его медиум («духиня»), предмет страсти героя-интеллигента.

⁴ Вукол — персонаж романа; отец Вукол Голокрестовский, настоятель храма, отличающийся причудливым нравом и склонностью к подпитию.

⁵ Свет Сарова — в Саровской пустыни (Тамбовская губерния) подвизался преподобный Серафим Саровский (1759—1833); образ его как духоносца, носителя преображающей мир чудотворной силы, связанные с его именем эсхатологические пророчества и предчувствия — все это пользовалось особым почитанием в кругу религиозно-философской интеллигенции.

⁶ Роман «Серебряный голубь» был задуман Андреем Белым как первая часть трилогии о России.

⁷ Слова «из бесед и поучений старца Зосимы» в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (книга шестая, II).

⁸ Письмо адресовано за границу (конверт не сохранился) и, по-видимому, некоторое время блуждало вслед за Белым во время его путешествия (Сицилия — Тунис — Египет — Палестина). Книга, посланная вместе с письмом, — только что вышедший двухтомник статей Булгакова «Два града. Исследования о природе общественных идеа-

лов» (М. 1911). В кратких письмах (post restante) к Белому от 11 и 23 января 1911 года (ОР ГБЛ) Булгаков сообщает, что за ненахождением адресата заказная бандероль с книгой вернулась из Италии в Москву — «совершила т<аким> обр<азом> путешествие на „запад“ и была им извергнута обратно на „восток“». «Но еще более мне жаль, — пишет он в первом из этих писем, — что, очевидно, не дошло до Вас и одновременно посланное мною Вам (не заказное) письмо, написанное под непосредственным впечатлением прочтения «Серебряного Голубя», который произвел на меня огромное впечатление и который вообще <является> литературным событием первостепенной величины. Говорю Вам за него сердечное спасибо и как читатель и как религиозно — и притом церковно — настроенный человек. Вы проявили в нем яснovidение истинного художника и заглянули в самые глубины души народной, насколько та охвачена чарами натуральной демонической мистики». Судя по несохранившемуся ответу Андрея Белого (см. следующее письмо), первое из писем Булгакова все-таки нашло адресата.

* Елена Ивановна (урожденная Токмакова) — жена Булгакова.

¹⁰ Шмидт Анна Николаевна — мистическая писательница-визионерка, провинциальная корреспондентка Владимира Соловьева. Булгаков разыскал ее в Нижнем Новгороде «седой старушкой», вступил с ней в переписку и после ее смерти анонимно на собственные средства издал в 1916 году ее архив, так как был захвачен ее видениями о судьбах мира (см.: Герцык Е. К. Воспоминания. Париж. 1973, стр. 149—153; см. также: С. Н. Булгаков, «Владимир Соловьев и Анна Шмидт». — «Тихие думы». М. 1918).

13/II.11 <Москва>

Дорогой Борис Николаевич!

Очень был рад Вашему письму и заочному общению с Вами. Простите, что поздно отвечаю. Приходится кипеть в котле под напором и запада и востока в Вашем смысле (к слову сказать, особый, темный, восточный восток в русской душе есть Ваше художественное открытие в С<еребряном> Г<олубе>, при свете которого многое в себе и кругом себя в России видишь иначе и понимаешь лучше, нежели раньше). «Запад» я ех professo * постоянно принимаю в себя и перебарываю в себе или как чужеродное тело или как яд, к которому надо получить нейтрализит или выработать антитоксин. И чем больше живу и чувствую, тем больше узнаю яд и вижу змею на дне кубка. Конечно, я говорю про современный, западный запад, — неокантианства и ричлианства¹, мещанства и всяческого имманентизма², — эт<о> могучая, организованная сила, но бездушная или же потенциально антихристианская, а скрытый, потенциальный антихрист куда хуже и зловредней боевого, открытого антихристианства. Я далек от того, чтобы отдавать запад антихристу, это была бы просто клевета и слепота, да и не мог бы этого сказать я потому, что больше всех своих друзей чрез науку имею в себе запада. Но вижу почти воочию, как злая сила и какая-то слепота овладевают машиной «культуры». А в «востоке» мы натурально живем и от него страдаем. В частности, теперь перебалываем уже давно студенческое движение, где одинаково «восточно» и правительство и студенчество. Грозные и мрачные чувства и предчувствия навевают это как с им п т о м: хаос в душах остается прежний, как будто ничего не было пережито. Лично для меня это имеет то значение, что, вместе с многими другими, приходится оставить ун<иверси>тет, где я, впрочем, мало имею занятий³.

Хорошо, что Вы живете в такой далекой, ветхозаветной и колоритной обстановке, душа отдыхает и растет, набирается сил.

Не затрагиваю содержания Вашего последнего письма потому, что считаю этот сюжет не для писем. Ваше сопоставление умирающего барства и благообразной, но бес-содержательной (мне кажется, что не соответствует истине ни тот, ни другой предикат) формы церковной мне не кажется верным, но возможно, что мы по-разному понимаем термины, и разногласие вовсе не так велико. Во всяком случае еще раз желаю Вам вдохновения, сил и самоотвержения для художественного подвига, который Вы на себя подъяли планом своей трилогии. Желаю Вам и Вашим близким здоровья, мира душевного и всего лучшего. Елена Ивановна Вас приветствует. Она хворала, я тоже не очень здоров был, но теперь ничего. Любящий Вас.

С. Булгаков.

PS. Книгу мою Вы, надеюсь, получили. Мне интересно, как Вы восприняли предисловие и очерк об апокалиптике⁴.

* В силу профессии (лат.) (Прим. ред.)

¹ Ричль Альбрехт — представитель немецкого либерального протестантизма. Критике этого богословского направления посвящена статья Булгакова «Современное арианство» (1910—1911).

² И м м а н е н т и з м — субъективно-идеалистическое направление в немецкой философии конца XIX — начала XX века.

³ В январе — феврале 1911 года в знак протеста против административного ущемления университетской автономии, имевшего место после студенческих волнений, из Московского университета ушли сто тридцать профессоров, приват-доцентов и преподавателей. В числе подавших в отставку был и Булгаков.

⁴ Имеется в виду статья «Апокалиптика и социализм» («Два града», т. 2).

ПИСЬМО В. К. ХОРОШКО ¹

Москва. 22 декабря 1914.

Дорогой Василий Константинович!

Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова, сердечно обнимаю Вас и шлю Вам свои пожелания. Опять надвинулись эти вечера, когда сердце горит и трепещет и тоскует, но, увы! — эта сладкая тоска теперь отравлена горечью, каким-то неотвязным и неутолимым, и, конечно, справедливым стыдом и виновностью пред теми, кто за нас и вместо нас переносят теперь ад и даже в аду умеют иногда, по великодушью своему, чувствовать себя в раю. Как прекрасно и мудро поступили Вы, что уехали туда же, и как я Вам завидую, если только можно назвать это чувство завистью. Ведь здесь стыд своего бытия, сознание, что не переживаешь непосредственно того, без чего просто перестаешь быть современником своего времени, наконец, какое-то слепое влечение и с п ы т а т ь чувство войны, как навязчивая идея, как влечение с высоты или в омут (чего я, вообще говоря, не имею): здесь это быть, как все в окопах. Такова, по крайней мере, моя психология. — Вы пишете, что здесь нет того сознательного подъема, как в Москве, но это и в порядке вещей, п<отому> ч<то> на работе не до подъема, да и нужен ли подъем уже поднявшимся и поднимающимся. Но свет этого подъема достигает сюда, он передается чрез раненых, хотя и учитываю все психологические переломы. Здешнее настроение в интеллигенции паршивеет, как ей по чину полагается, но в народе крепко по-прежнему. Все болезненнее становится еврейский вопрос благодаря сложному переплету отношений. Для меня несомненно, что из всех вопросов, не исключая этой войны, еврейский вопрос самый трудный и, в разных смыслах, — роковой и окончательный для России. В Петрограде замышляется сборник по еврейскому вопросу, я уклонился от статьи в нем п<отому> ч<то> при данном его составе (Плехановы, Коцовские ² и под.) суждение по существу (а только так и можно писать о нем) невозможно и, кроме того, крайне несвоевременно, между тем как еврейские издатели находят как раз наоборот. Мне, при антиномичности моего отношения к еврейству: крайнем филоиудаизме и крайнем антижидовстве выступать в этом обрамлении до последней степени трудно ³. С поляками общались несколько раз. У них и в них борются настроения: гонор шляхетский и буржуазный ratio. Вообще говоря, по непосредственному чувству, это общение сейчас легче и искреннее, чем когда бы то ни было на моей памяти. <!...>

Следующее полугодие я — увы! — запряжен в свои лекции до начала мая. Думаю поехать в Киев и, б<ыть> м<ожет>, Петроград с лекцией о войне ⁴. У нас все благополучно. Наши дети полны воинственности и географических познаний о войне. Славик знает все флаги, т. е. превышает познаниями в этой области всю нашу семью, вместе взятую. Судя по увеличивающемуся количеству у Вас пациентов, нервы солдат начинают сдавать. Когда слушаешь здесь рассказы раненых, то удивляешься выносливости человека.

Пришлю Вам кое-что свое печатное о войне по выходе ⁵, хотя не знаю, имеете ли Вы там возможность читать книги. <!...>

Люб<ящий> Вас С. Б.

Печатается по автографу (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 390, к. 2, ед. хр. 8).

¹ Х о р о ш к о Василий Константинович (1881—1949) — врач-невропатолог, впоследствии академик АМН, заслуженный деятель наук РСФСР; знакомый Булгакова по Московскому психологическому обществу и Московскому университету, который он, как и Булгаков, покинул в 1911 году (см. прим. 3 к предыдущему письму).

В письме косвенно отразились неославянофильские и мессианские настроения Булгакова в начале первой мировой войны.

² По-видимому, имеется в виду Анатолий Дмитриевич Коцовский, русский психиатр, интересовавшийся, в частности, связью неврозов с религиозными движениями.

* Издания в защиту евреев готовились в связи с преследованиями еврейского населения в прифронтовой полосе (в Галиции), обвинениями в шпионаже в пользу немцев и пр. Отказавшись от участия в петербургском сборнике, Булгаков выступил, однако, в аналогичном московском сборнике «Шит» (1915; совместно с Буяновым, З. Гиппиус, Брюсовым, Мережковским, Бодуэном де Куртене, Короленко, Овсяннико-Куликовским, А. Н. Толстым, Щепкиной-Куперник и др.) со статьей «Сион», где он высказывался за создание еврейского государства в Палестине и писал: «Есть признаки, что «еврейский вопрос» <...> вступает в новое обострение, и трагическая его безысходность в диаспоре ощущается с новой силой <...>». Поздние суждения о Сергия Булгакова о судьбах еврейства приводит его ученик и исследователь Л. А. Зандер в своей книге «Бог и мир» (Париж. 1948, т. 1—2), например: «Наше отношение к Израилю может быть только антиномическим: как к живой и живущей родословной Христа, к Его народу, но и к отвергнутому Его, не узнавшему своего часа <...>» (т. 1, стр. 429).

¹ Лекция эта вышла отдельной брошюрой «Война и русское самосознание» (М. 1915).

² Помимо статьи «Родине», напечатанной 30 августа 1914 года в газете «Утро России», сочувственно отмеченной В. В. Розановым, но названной самим Булгаковым впоследствии «сумасшедшей», он опубликовал в начале войны статью «Русские думы» («Русская мысль», 1914, № 12).

В АЙА-СОФИИ

Из записной книжки

9 (22) января 1923 года. Константинополь.

..Вчера я впервые имел счастье видеть св. Софию. Бог явил мне эту милость, не дал умереть, не увидев св. Софию, и благодарю за эту милость Бога моего. Я испытал такое неземное блаженство, что в нем — хотя на короткое мгновение — потонули все теперешние скорби и туги, как незначущие. Душе открылась св. София как нечто абсолютное, непререкаемое и самоочевидное. Из всех ведомых мне доселе дивных храмов это есть Храм безусловный, Храм вселенский. Звучит пасхальная песня в душе: «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада и севера и моря и востока чада твоя...» Эта не передаваемая на человеческом языке легкость, ясность, простота, дивная гармония, при которой совершенно исчезает тяжесть — тяжесть купола и стен, это море света, льющегося сверху и владеющего всем этим пространством, замкнутым и свободным, эта грация колонн и красота их мраморных кружев, эта царственность — не роскошь, а именно царственность, — золотых стен и дивного орнамента, — пленяет, умиляет, покоряет, убеждает... Появляется чувство внутренней прозрачности, исчезает ограниченность и тяжесть маленького и страждущего «я», нет его, душа исцеляется от него, растекаясь по этим сводам и сама с ними сливаясь. Она становится миром: я в мире и мир во мне. И это чувство таяния глыбы на сердце, потери собственной тяжести, это ощущение крылатости, как птицы в синеве неба, дает не счастье, не радость даже, но блаженство — какого-то окончательного ведения, всего во всем и всего в себе, всяческого всячества, мира в единстве. Это действительно София, актуальное единство мира в Логосе, внутренняя связь всего со всем, это — мир божественных идей, *κοσμος νοητος*. Это Платон, окрещенный эллинским гением Византии, это — его мир, его горняя область, куда возносятся души к созерцанию идей. Языческая София Платона смотрится и постигает себя в христианской Софии, Премудрости Божией, и поистине храм св. Софии есть художественное, нагляднейшее доказательство и оказательство, явление св. Софии, софийности мира и космичности Софии. Это и не небо, и не земля, свод небесный над землею. Здесь не Бог и не человек, но сама Божественность, божественный покров над миром. Как правильно было чувство наших предков в этом храме, как правы были они, говоря, что не ведали они, где находятся: на небе или на земле¹. Они и на самом деле были ни на небе, ни на земле, но между, в св. Софии: это *μεταϕυ* было философским провидением Платона. И св. София есть последнее, молчаливое откровение в камне греческого гения, завещание векам, которого не могли до конца осознать и богословски выразить сами гаснущие византийцы, и, однако, она жила как высшее откровение в их душах, зарожденная в эллинизме и явившая себя в христианстве. И не случайно, что здесь, в св. Софии, для Софии и из Софии, складывалась и зазвучала во всей полноте и красоте божественная, софийная симфония православного богослужения. И здесь с новой силой, убедительностью, самоочевидностью понятен неведомый ему самому, полный смысл слов св. Иустина Философа², что Сок-

рат и Платон были христианами до Христа, ибо Платон был пророком Софии в языке. Св. София есть платоновское царство идей в камне — восставшая над хаосом небытия и его победившая, ибо убедившая, идея³, актуальное все, все как единое, всеединство. Оно явлено и показано здесь миру. Боже, как свято, как дивно, как неощененно это явление!

Входишь... И отовсюду, сверху, к низу, со всех сторон душу наполняет это чувство пространства и свободы, безмерности и ограниченности, не борьба грани — *λερασ* — с безгранностью — *αλειρον*, но светлого, радостного согласия: утлен титанизм, укрошено его безысходное буйство, он скрылся в ночь, просветленную днем.

Останавливаешься до купола: он впереди. Со стен звучит тихо и певуче это золото, оттеняемое дивным благородным орнаментом: воображение тщится снять и щиты, и закраску, чтобы вернуть былое величие, но и уцелевшего довольно: разве Венера Милосская нуждается в восполнении, чтобы явить свою красоту? Стены издают свое золотое звучание. Разве может не быть золотым, не сверкать нетленным, нержавеющей металлом Храм, его стены? Тогда для чего и существует золото в мире? Разве могут быть не золотыми, не украшенными драгоценными камнями здания небесного Иерусалима, спустившегося на землю⁴? Это само собою разумеется, и здесь это показано. Пред глазами колоннады и справа и слева, говорят, из языческих храмов взяты сюда эти колонны, из капищ в Храм, к новому освящению. Впереди — алтарь, вернее устремление к алтарю, которое теперь одно лишь наполняет опустевшее святилище. А свод зовет к себе, под себя, еще и еще переживать его небесность. И входишь, становишься под ним, в самой его середине, он тихо и властно объемлет душу и входит в нее... Запрокидываешь голову насколько можешь, чтобы глотнуть его полной грудью, напиться его и раствориться в нем, и душа уплывает в его безмерность. Теряется чувство тяжести, телесности, и на мгновение летишь, летишь, как птица. А затем снова опускаешь голову и изумленно опять смотришь на высящийся алтарь, на боковые колоннады, на галереи хоров с кружевами мрамора, с неумолкающим звучанием золота стен и снова улетаешь к своду... О, я это знаю, ибо не раз испытывал в жизни блаженство экстаза пред великими созданиями искусства, софиевдохновенными творениями, — и всякий раз было это свое, не повторяющееся, — тоже блаженство, но всегда разное, индивидуальное. И здесь — после безысходного рабства, рабства рабам и голоду, самым пустым и мертвящим стихиям мира, которое, мнилось, убило и самую душу, ибо навсегда выжгло на ней клеймо раба, — это свобода в Софии, полет в лазури... Благодарение Софии!

Делаешь шаги к бывшему алтарю, ныне опустевшему и лишенному своего престола. Здесь мысль невольно несется к прошлому: как было тогда, если и опустошенный храм еще так дивен... Что было здесь, когда Царь и Патриарх со всем синклитом и клиром еще в золотых ризах, в золоте небесного Иерусалима, священнодействовали, и Храм был наполнен молящимися, и алтарь горел огнями, и курился фимиамом: когда была полнота жизни, а не омертвелое тело! Какой был замысел богодейства, богослужения в этом Храме, не было на земле подобного замысла, как не было и подобной красоты богослужения. Пусть это была роскошь, императорская затея, ненужность или вред для современников, ведь и жена, сотворившая благолепное (*μαλον*) дело миропомзания, тоже непрактично творила⁵. Но должна же была ошутительно сверкнуть в мире золотая риза Софии. А ныне? Ныне здесь молятся Аллаху, святыни отнята от Христа и отдана лжепророку. И соблазняются о ней сыны человеческие. Однако и теперь здесь молятся Богу и молятся достойно, и достойнее, может быть, тех, кому принадлежал бы ныне Храм... Бог сдвинул свечальник⁶ и отдал Храм чужому народу, как некогда отдал святыни Первого Храма завоевателям⁷...

А они между тем молились, и ничего не было шокирующего в том, чтобы присутствовать при этой молитве, в которой я не мог соединиться с ними, в Храме, зовущем «к единению всех». Но как прекрасна по-своему, как благообразна была эта молитва, как благочинна! Как величественны и строги были их движения, склонения и подъятия, как благородно звучали их восточные напевы и молитвословия. Они, пленив Храм, его обабрали, внесли в него свое лицо и свою душу. Они, конечно, и не заметили Храма, они не знают св. Софию, превратив ее, Храм мира, в султанскую мечеть, — детская наивность, которая, однако, длится века. Но они явились благогодейными «местоблюстителями». И их молитва, их благочестие производит ча-

рующее, примиряющее впечатление: «из уст младенцев и ссуших совершил еси хвалу»⁸. Они — «младенцы и ссушие». Храм отнят от недостойных его и вверен местоблюстителям. И невольно подумалось: очевидно, они достойнее нас, тех, которые так шумно собирались еще недавно «воздвигать крест на св. Софии», чтобы в ней бесчинствовать потом безвкусицей своим и рабством своим... Но София этого не допустила, отвергла непрошенных восстановителей и осталась в руках прежних детей... Так лучше...

София есть Храм вселенский и абсолютный, она принадлежит вселенской Церкви и вселенскому человечеству, и она принадлежит вселенскому будущему Церкви. А теперь, пока нет явления вселенской Церкви в ее силе и славе, в век раскола церковного, внешнего и внутреннего, в век распада и обособления, отнят он у христиан и отдан местоблюстителям. И снова: какая слепота, какая детскость была у нас, когда мы возмнили себя вступившими в эпоху Софии, когда приготовили уже, говорят, крест в Петрограде, может быть, даже и указ св. Синода об утверждении креста на Храм... Окровавленными сапожищами вступивши в Софию, завести в ней свои порядки, или пробовать синодальным хором покорять и убедить эти стены! Но в гневе воззрел Господь на дела сынов человеческих и посмеялся им. Правы пути Твои, Господи! Одно из двух. Или София есть лишь археология, архитектурный памятник с начавшимся уже неизбежным разрушением, и тогда вся эта затея воздвигать крест на ней была только великодержавным честолюбием, — однако против этого говорит София сама, здесь слышится зов Божий, веление Божие, непреложное обетование, София живет божественной, бессмертной жизнью — София есть потрясающий факт христианского сознания для всех времен. Или София действительно есть то, что она есть, божественный символ, пророчество, знамение. У старообрядцев есть мудрое, как я вижу теперь, верование, что восстановление креста на Софии (конечно, не циркулярно-завоевательное, но всемирно-историческое) означает конец истории. Если освободить эту мысль от эсхатологического испуга, ее окрашивающего, и выявить скрытое в ней видение, то она означает, что София станет осуществима лишь в полноте христианства, то есть в конце истории, когда явлен будет ее последний и зрелый плод, и сверкнет в мире православное Белое Царство. Ему, а не политическому завоевателю, не «всеславянскому царю»⁹ откроются врата Царьграда, и ему дано будет воздвигнуть крест на Софии, которую освятят не распутинский ставленник, как и не «вселенский» патриарх¹⁰, но в сознании своем иерарх вселенский... И посему история еще не кончена, и рано собрались мы воздвигать крест на Софии. Мы все еще в «средних веках» в смысле варварства, но идем к новому средневековью¹¹ в смысле грез и вдохновений. Опускается ночь с своими тайнами и с своими звездами — гради, ночь! Ибо то не ночь мрака и тьмы, но ночь пред зарею, ночь предвоскресная. Мы еще в истории, и впереди — история, хотя уже и предчувствуем конец, история внутренне не завершилась, она идет своим путем, и мы с нею и в ней. Прочь смутный страх, навеянный тяжелым часом истории, кризисом России и с нею Европы, внимайте гласу св. Софии, ее пророчеству! Она не только в прошлом, но и в будущем, она зов векам и пророчество о них. Да, история здесь внутренне окончится, и станет возможно не от испуга или утомления говорить об «эпизоде истории» — Соловьев рано об этом заговорил, хотя и не рано указал молчаливым жестом на уже рдеющий конец...¹² Есть еще история, она не разрешилась, пока мир не увидит христианской Софии, пока не стала она, хотя на историческое мгновение, победным фактом истории, вот о чем поведали мне вековые и, говорят, уже разрушающиеся и близкие к падению стены. Что если они падут? Но «церковь не в бревнах, а в ребрах», по выражению старообрядцев. Да если бы пали священные стены — чего да не будет! — не уйдет из мира явление Софии...

Разумеется, принято считать, что время Софии в прошлом, когда не владели ею неверные, когда был православный царь в Царьграде и около него православный патриарх, и София была царьградским кафедральным собором. В сущности, именно о восстановлении прежнего только и мечтают и мечтали наши родители, духовно смотря не вперед, а назад, вопреки непреложному закону исторической необратимости. И, однако, до очевидности это — не так: то был «византизм», принявший себя за вселенское христианство и за христианское царство, но при всем своем безмерном великолелии и своей единственности он не был ни тем, ни другим. И св. София, высшее создание христианского эллинизма (как и православный чин церковный), не

есть уже византинизм, возвышается над ним как началом, которое, будучи поместным, возвеличило себя до вселенского, есть уже его отрицание. Почему возможна оказалась св. София в Византии? Как могла она строителем иметь Юстиниана, так глубоко в себе отразившего именно византийство? Это — историческая тайна. София пережила византизм и живет вместе с нами и в нас так же, как живет Платон, хотя нет уже его эллинов. Конечно, было бы делом величайшей слепоты и исторической неблагодарности отделять Софию от породившей ее Византии. Ибо это тот же самый эллинский гений, который породил и богословие вселенских соборов, воздвиг над Церковью купол христианской догматики и покорил мир церковною сладостью богослужения. И вне эллинства не мог зазвучать с такой победной чистотой голос Софии, зов вселенского христианства, как не зазвучал он *in urbi et orbi* ^{*13}, хотя здесь повелительно провозглашен был закон римской власти, отнесенный к вселенской церкви. Однако не вселенская власть утверждает вселенскую церковь, но вселенская любовь. И когда вдохновенные зодчие Софии впали в надмение византинизма и заветы Софии заменили дряхлым самолюбованием, в это же время вселенские заветы Вечного города переродились в надмение «римского примата» ¹⁴, судорожно сжимающего два меча и ими пытающегося покорить мир. И эта двойственная измена Софии, восточная и западная, эта историческая неудача вселенского христианства, разразилась над миром потрясающей духовной катастрофой, которую и донныне не изжил, но изживает уже мир. Среди исторических развалин, во мгле разрушения, явственно слышатся снова все те же веления, и о том же говорит душе ныне Царьградская София, чудный Храм эллинства. И в этом (если позволено схоластически выразиться) художественном доказательстве бытия Софии, которое и философски дано тоже эллинством, содержится и непрекаемое свидетельство са-мобытности восточного христианства, от Византии переданного и России. Есть и во вселенской церкви свой восток и свой запад, хотя она их объедает и совокупляет в единый востоко-запад, в «мире востока и запада». Небрежением этого двуединства поддерживается схизматический дух ¹⁵, одинаково как в стремлении к поглощению и ассимилированию, так и в упорном отчуждении. Изменой Софии явилось это расторжение, и, пока не осознано это, не пришло время ее восстановления.

Мысль невольно отходит в русскую Византию, в наши русские, домашние, семейные храмы, полные тепла и уюта. И тоже купол над ними, но это купол над домашнею церковью, небо в клетку, в доме... Этот купол не есть свод над всею вселенной, о которой говорит св. София, он есть его *pius* **, ему предшествует и в истории его предполагает. Это — изначальная интимность первохристианства, катакомба, монастырь, но это еще не мировая история, не Человечество, а св. София есть это Человечество.

И медленно переходишь с места на место, из точки в точку, причем все в новых переливах и новых перспективах открывается этот свод небесный. Время остановилось, а между тем зовут, надо идти. А там молятся, припадают, кланяются мусульмане на месте святе, ныне опустелом, у бывшего св. престола. Как благородны, как величественны лица молящихся, как красивы движения! Нет, не пришло еще время освобождать св. Софию, когда снимаются кресты с русских храмов, пусть там благочестиво молятся местоблюстители. Боже, до чего таинственны пути истории...

Русские славянофилы неизменно относили пророчества о Софии к всеславянскому православному царю: «Пади пред ней, о царь России, — и встань, как всеславянский царь!» ¹⁶ Но и этого мало для Софии. Что для космоса Россия? Провинция. Славянство? Этнографическая группа. Но София — всенародна и сверхнародна, она — не национально-местная, но вселенская церковь, все народы зовущая под свой купол. А ее хотели сделать поместною, народною, приходскою церковью, ее, катедрал мира. София была создана раньше великого церковного раскола и возвращена она может быть христианскому миру, лишь когда последний исцелет от этой раны. Как не понимали этого славянофилы, что невозможно церковной провинции иметь храмом св. Софию? Заветы христианского царства отданы Востоку, который, однако, не мог преодолеть смешения Царства с Империей и изнемог от этого смешения, но все же неотделимо от него томление о вселенском белом царстве; Западу досталась в удел мечта о вселенском первосвященстве, хотя и его он подменил приматом вла-

* В городе и мире (лат.). (Прим. ред.)

** Прежде (лат.). (Прим. ред.)

сти и господства. И ныне, в небывалом еще кризисе христианского мира, по-разному рушились — явно или прикровенно — оба древние Рима: и первый и второй (и третий, который был лишь вариантом и продолжением второго). Но это не значит, что рушилась Церковь с ее заветами и обетованиями Восстанет новый истинно третий *Roma-atog**, который ответит на все томления. И пусть не будет он так приметен во внешних путях истории, как высились в ней Рим, Византия, Москва. Но раньше конца (впрочем, это и будет концом как свершением) должна явиться полнота Церкви. О ней пророчествует св. София, о ней звучит она в сердцах немолчным звоном. И этот звон услышат и придут на него ее избранные.

...Или и это мечтательность? О, как я научился — в эти страшные годы — и в себе и в других казнить эту сентиментальную мечтательность, как роковую слабость, от которой смертельно болеет Россия! Как изощрился мой глаз видеть ее там, где раньше ее не подозревал, как обесценивалось и обезкушивалось под влиянием этого многого, многого и в русской литературе, и в русском народе, и в себе самом. Как невыносимо сделалось всяческое безответственное славянофильствование! Так что же? Из каменного мешка попал в свободный мир, не выдержал, снова закружилась голова? Опять началась постройка карточных домиков, новых схем? Но «не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь»¹⁷. И если бессильно в избранной душе звучит этот голос, но я его слышу. Это — не мое, не смутные мерцания настроений, не «имажинация», это — голос истории, это — преобладающая сила Церкви...

Но зовут. Пора идти...

* Рим-Любовь (лат. анаграмма).

Печатается по тексту: «Русская мысль». Прага—Берлин. 1923, кн. 6—8, стр. 229—237.

¹ См. знаменитый эпизод «испытания вер» в «Повести временных лет». Десять посланцев князя Владимира, возвратившись из Константинополя, рассказывают: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той».

² Иустин Философ (II в. н. э.) — раннехристианский апологет и мученик.

³ Формула заимствована из эстетики Владимира Соловьева. Ср. в его статье «Общий смысл искусства»: «<...> в природе темные силы только побеждены, а не убеждены всемирным смыслом».

⁴ См.: Откровение. 21, 10—22.

⁵ См.: Евангелие от Иоанна. 12, 3—8.

⁶ См.: Откровение. 2, 1—5 («Ангелу Ефресской церкви напиши: <...> скоро приду к тебе и сдвину свечильник твой с места его, если не покаешься»).

⁷ Имеется в виду разрушение и разграбление Иерусалимского храма вавилонянами (2-я Паралипоменон. 36, 18—19).

⁸ Евангелие от Матфея. 21, 16; также Псалтирь. 8, 3.

⁹ Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Пророчество» (1850).

¹⁰ По православной традиции Константинопольский патриарх носит титул Вселенского.

¹¹ Новое средневековье — термин введен, по-видимому, Н. А. Бердяевым, который как раз в 1922—1923 годах работал над статьей с одноименным названием, увидевшей свет в 1924 году; возможен обмен мыслями между ним и Булгаковым в Праге. Имеется в виду ночь новоевропейской цивилизации и одновременно надежда на более органическую, «соборную», «корпоративную», организацию жизни.

¹² Речь идет об эсхатологических идеях Владимира Соловьева, отразившихся в предсмертном сочинении «Три разговора» и вошедшей в него «Повести об Антихристе» (1899—1900).

¹³ В городе и мире (лат.) — то есть в Риме как центре западного (и в известном смысле — вселенского) христианства.

¹⁴ Римский примат — притязания средневекового папства на верховную власть в христианском мире, светскую и духовную («два меча»).

¹⁵ Схизма — церковный раскол (на западную — католическую и восточную — православную церковь).

¹⁶ См. примечание 9. У Тютчева: «...И своды древние Софии, в возобновленной Византии, вновь осенят Христов алтарь». Пади пред ним, о царь России, — и встань как всеславянский царь!»

¹⁷ Исая. 62, 1.

НОВАЯ ПРОЗА: ТА ЖЕ ИЛИ «ДРУГАЯ»?

★

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС

Принцип матрешки

Что такое литература эпохи гласности? К счастью, ответить на этот вопрос сложно. К счастью — потому, что в предыдущий период ответ на вопрос: что такое современная литература? — сводился бы к известному набору имен: Искандер, несколько «деревенщиков», Битов, Маканин. Общая тенденция, стилевое направление не вычленилось. Не вычлениется и сейчас, но уже по иной причине. Если прежде об общем характере печатной литературы говорить не имело смысла, то теперь нет возможности.

Разумеется, монолитом советская литература не была никогда — тем не менее оставляла впечатление чего-то серого и малоподвижного. Казалось, что все интересное и живое ушло на Запад — и на Западе вышло. Теперь стало ясно, что застой существовал лишь на поверхности, что воображаемый монолит легко и охотно раскололся на множество частей и литература в Советском Союзе приобрела многообразие, сложность и противоречивость — условия, необходимые для нормального развития культуры.

При этом наиболее популярной тенденцией современной литературы, как и прежде, остается социальное направление. Даже те критики, в чьих устах имена Белинского и Чернышевского стали едва ли не бранными, превозносят книги Дудинцева и Рыбакова, созданные по канонам российской социально-разоблачительной традиции. Тезис Пушкина о том, что поэзия выше нравственности, всегда имел в русском сознании оттенок курьеза, гротеска, шалости гения. Такое могло позволяться Пушкину — да и то в виде замечания на полях, потому что по-настоящему, как считалось, Пушкин написал свое имя все же на обломках самовластья.

Разоблачители возглавили передовой отряд современной прозы, и нет оснований предполагать, что положение может измениться в обозримом будущем. Литературе социального пафоса обеспечена долгая популярность. Правда, хотя идеологический знак тут поменялся на обратный, художественная система сохранилась практически нетронутой. Но чисто эстетический подход к литературе всегда был и будет уделом меньшинства. Весь вопрос в том — останется ли это меньшинство. Точнее, останется ли для него бумага, типографская краска, место в журналах и издательствах. Впрочем, те литературные явления в России, которые рассматривали себя исключительно как литературу, никогда и не претендовали на большее.

Сейчас такой минимум бумаги, краски и места начинает предоставляться направлению, условно говоря, эстетическому. Возможно, это и есть наиболее важное явление периода гласности: массовый выход на поверхность сугубо «литературной» литературы.

Явление пока не оформлено ни организационно (что естественно, потому что оно глубоко индивидуалистично), ни стилистически, ни жанрово. Именно поэтому приходится объединять самых различных авторов и самые различные книги лишь по признаку неслужебности их творчества, отсутствию элемента разоблачения или учительства. Это, разумеется, несправедливо, но пока вынужденно. По той же причине невозможно и дать имя направлению, ибо собственно направления еще нет. Воспользуемся многократно употребленным в разных случаях сочетанием «новая волна», утешая себя тем, что это действительно волна, потому что таких писателей много, и что она в самом деле новая, потому что прежде не выходила на

поверхность печатной советской литературы. Теперь — вышла, выработав скептическое отношение к общественным идеалам и устремлениям не только умозрительно, но часто и на вполне конкретном опыте, так как ее носители долго занимали социально-пассивные должности сторожей, смотрителей лодочных станций, лифтеров, дворников и т. п. Собственно говоря, отличительной чертой «новой волны» можно считать скепсис по отношению к самой возможности общественного идеала.

Проза этого течения представлена самыми разными именами, а поскольку советские издания редко публикуют биографические данные об авторах, то трудно судить даже о возрастном ее составе и писательском стаже. Впервые быть прочитанными могут и двадцати пяти- и пятидесятилетние литераторы, написавшие первые рассказы, и авторы нескольких романов: и те и другие считаются молодыми, пока не опубликовались. Поэтому приходится ограничиться кругом известных прежде имен, вышедших на страницы в последнее время.

Попробуем выделить основные характеристики прозы «новой волны».

Для нее несущественна среда обитания. Так, у В. Пьецуха действие рассказов может происходить и в деревне, и на сибирском прииске, и в большом городе.

Не имеет решающего значения социальная принадлежность персонажей — это могут быть рабские, крестьяне, интеллигенты. Существенно другое свойство этой прозы: установка на достоверность авторского персонажа. Наиболее достоверен для автора — он сам. То есть писатель. Таким образом, важна не социальная, а художественная характеристика: ведущий персонаж — писатель.

При этом, поскольку речь идет все же не об автобиографической прозе, а о литературе широкого вымысла, писатель может выступать в самых разных обликах, за которыми все же безошибочно угадывается автор. Автор этого обычно и не скрывает, выдвигая на первый план именно писательские таланты любимого персонажа. Таковы творческий бездельник и философы с коммунальной кухни у В. Пьецуха («Билет», «Новая московская философия»), влюбленный филолог у М. Попова («Фильмы 30-х годов»), вдохновенный врун у А. Бычкова («В следующий раз осторожнее, ребята»), автор безадресных писем у В. Мурзакова («Здравствуй, Тоня!»), трагическая фантазерка у Л. Петрушевской («Свой круг»), преобразователь повседневности у Л. Костюкова («Эверисты стихийные и сознательные»).

Все эти характеристики — суть писательские качества. Все эти герои пишут, повествуют устно или другими путями переделывают мир — но отнюдь не для того, чтобы мир стал лучше, а для того, чтобы приспособить мир к себе. Их авторские — а значит, индивидуалистические — амбиции лежат в сугубо личной сфере, они не вписываются в общество ни в коей мере.

В этом смысле характерна декларация Костюкова с его эверистами (от английского every — каждый) — людьми, стихийно совершающими одновременно одинаковые действия, но обязательно по отдельности, без договоренности, неорганизованно. «Никакая их традиция не жила обычно более одного дня», — пишет автор, откровенно любясь принципиальной эфемерностью такой массовой поэзии: в разных концах огромного города сотни незнакомых друг с другом эверистов вдруг по наитию засовывают за пояс газету или целуют своих девушек в висок. «Невозможно представить себе роту эверистов, шагающих строем, или шеренгу эверистов на демонстрации, — смакует Костюков. — Акт эвериста всегда индивидуален».

Доморощенный философ Паша Божий — герой Пьецуха — уверен в существовании загадочной струны, которая постоянно наигрывает такую строптивую, наперекорную мелодию — в народе она называется «только чтобы не как у людей». Это очень могущественная струна, которая во многом определяет музыку нашей жизни... Даже когда у нас созреет полное, всеобщее и, может быть, даже неизбежное счастье, то, уверяю вас, проходу не будет от юродивых, непризнанных гениев и возмутительных одиночек». Заметно, как радуется персонаж — он же в данном пассаже автор — такой диссонансной перспективе: «Никто не обязан быть счастливым».

В рассказе Мурзакова «Здравствуй, Тоня!» асоциальность доведена до предела: герой лежит в психбольнице с дыркой в черепе, в которую «железный рубль входит», и не помнит даже собственного имени. Его отчуждение от общества так велико, что он пишет письма неизвестно куда и неизвестно кому: «Мне о многом хочется у тебя спросить, но я пока не знаю о чем».

Даже из немногочисленных приведенных примеров видно, как персонажи-писатели тяготеют, что и положено писателям, к афористичности письма. Они охотно и много формулируют, но на поверку оказывается, что эти мировоззренческие на вид формулы — антиформулы. То есть они не предназ-

начены для того, чтобы по ним жить. Все это — пародия.

Как известно, пародия не нуждается в пародируемом объекте, будучи явлением самодостаточным. Так и у «новой волны» советской прозы объекта пародии то ли нет вовсе, то ли он безмерно широк (что одно и то же) — сама жизнь.

Основное средство осуществления этой мировоззренческой пародии — ирония. «Новая волна» тотально иронична. Это не ново. В первую очередь на память приходит насквозь ироничная молодежная проза 60-х годов. Но между этими явлениями — глубокая и многозначительная разница.

Ирония 60-х стала реакцией на оболганные лозунги. Красивые и хорошие слова опошили и обесценили плохие люди. Пафос оказался неуместен и стыден. Чтобы вовсе не отказываться от слов, пришлось прибегнуть к ироническому словоизъявлению, за которым при этом скрывались подлинные, сильные и честные эмоции. Персонажи 60-х — литературные и реальные — уговаривали друг друга не говорить красиво, имея в виду при этом, что красота начнется тогда, когда придется пойти друг за друга в пожар, ночную тайгу или на партсобрание. Иными словами, ирония стала протестом.

После следующего этапа словесного обесценивания многие — в основном молодежь — и в самом деле отказались от слов вообще, обратившись к рок-культуре, к музыке. Вконец разрушили словесную ткань поэты и писатели-авангардисты, по сути, близкие в этом рок-культуре. Апелляция к прямому идеологическому слову — как у тех же Дудинцева и Рыбакова — выглядит анахронизмом, убеждающим лишь таких же анахронистов (которых тем не менее хватает и хватит во все времена).

Иным путем стала ирония, но ирония вторичная, рефлексивная, под которой уже ничего, кроме самой иронии, не скрыто, универсальная, подвергающая сомнению все возможные установления, принципы и идеалы. Ирония откровенная и даже декларативная. «Невооруженным взглядом видно, что я, как ни стараюсь, не могу удержаться от иронии (не делающей мне, впрочем, никакой чести)», — бравирует М. Попов, и не стоит слишком доверять извиняющейся оговорке автора: он знает, что делает, делает это сознательно и останавливаться не собирается.

Рассказ Пьецуха «Билет» — в известной мере программный и для этого писателя и для всей волны. Его герой — бич, бродяга, бездельник — изрекает истины о обяза-

тельности счастья и, более того, обязательности несчастья, потому что без несчастных «мы будем не мы, как Афродита с руками уже будет не Афродита. Вы спросите, почему? Да потому, что всеобщее благосостояние — это та же самая сахарная болезнь. и организм нации, если он, конечно, здоров, обязательно должен выделять какой-то горестный элемент, который не позволит нации заболеть и ни за что ни про что сойти в могилу».

Паша Божий говорит еще много умного и точного, но нельзя не помнить, с чего начинается рассказ «Билет». Его первые слова: «Бич Паша Божий, которого...» — и так далее. Вставить банального «Пашу» в сакральное словосочетание «бич Божий» — почти кощунство, и Пьецух легко идет на это, сразу задавая тон и характер повествованию. Паша Божий — вообще-то идеал писателя, но иронический зачин напоминает о принципе матрешки, когда каждый раз результат не окончателен.

Перед кощунством — на этот раз по отношению к стихам (что в России едва ли не смелее) — не останавливается М. Попов: «Любовная лодка разбилась о быт.. ничто не забыто, никто не забыт».

Ироническое отношение к литературе и жизни демонстративно задает с самого начала Петрушевская в рассказе «Свой круг»: «...я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще». И то обстоятельство, что дальше действие развивается трагически, ничего не меняет. Иронический трагизм, трагическая ирония — это не игра слов, одно ни в коем случае не исключает другого, скорее включает одно в другое. Это принцип множественной, многослойной иронии — в самом деле матрешечной. И в качестве одного из слоев «новая волна» вводит новое измерение — жалость.

Ирония и жалость — над этим посмеивался еще Хемингуэй. Но в современной советской прозе это понятие обновилось, потому что обнаружился полюс добра, не противоречащий асоциальности. Добро без кулаков. Сочувствие без тайги и пожара. Жалость — общественно-пассивная эмоция, не предполагающая попыток к реализации.

Разрушительная (а она в той или иной мере разрушительна всегда) ирония и уравновешивающая жалость — это вычитание-сложение в прозе дало нулевой градус письма. Жизнь трагична потому, что кончается смертью. Все свершается внутри, а остальное — политический строй, социальные связи, быт — лишь производные и частности.

Такое мировоззрение лежит в основе творчества целой плеяды литераторов, появив-

шихся в последнее время. Раньше это назвали бы абстрактным гуманизмом. На самом деле сочетание иронии и жалости не гуманистично и не антигуманистично — оно без знака.

Нулевое письмо вызывает некоторое читательское затруднение. Возникает эффект греческого храма, где колонны ставились так, чтобы издали создавалось впечатление единой гладкой поверхности. В прозе нулевого градуса уравниено все добро и зло, горе и радость, смех и слезы, ненависть и любовь.

Более того, универсально ироническое мировоззрение в литературе, как у романтиков, не знает и различия между реальным и фантастическим. Потому писатели «новой волны» не задумываясь прибегают к мистике, загадочности, фантастике. Прозревает будущее потерявший память пациент дурдома («Здравствуй, Тоня!»). В напряженно-ирреальном мире живут «зверисты» Костюкова. Запросто общается с кинозвездами 30-х годов герой М. Попова. И только солнечное затмение способно прекратить драку деревенской шпаны в рассказе Пьецуха «Центрально-Ермолаевская война». Последний пример характерен. С одной стороны, космические силы тратятся на заведомые пустышки, с другой — какая же энергия в потенциале этих незатейливых крестьян, если понадобилось вмешательство космических сил.

Тождество событий здесь не случайное, и не зря Пьецух начинает повествование об этом с удивления перед народной тайной — как всегда, иронически, но не вполне (принцип матрешки): «Скажем, человек только что от скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Отечественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот он уже сидит у себя на крылечке, тихо улыбается погожему дню и вдруг говорит: „Религию нову придумать, что ли?“»

Вполне и безусловно «новая волна» доверяет только детали — преимущественно неодушевленной. Деталь — опора, лишь она реальна и подлинна. У Чехова в «Даме с собачкой» сказано о зыбких отношениях Анны Сергеевны и Гурова: «Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке». Полузабытость прошлого, неполная реальность настоящего, совершенная неясность будущего — во всем этом тумане как маяк сияет красная шапка посыльного; привет, знак, сигнал. Лишь это явственно, ощутимо и несомненно, лишь это одно может хоть как-то предвещать то новое и

прекрасное будущее, на которое надеются чеховские герои. Пока шапка красна — жизнь не кончена.

Эффект красной шапки присутствует и в новой советской прозе. Об этом напрямую говорит М. Попов: «Поддельны характеры... — зато как естественны, обаятельны платья и пиджаки, как простодушны их фасоны, как трогательны белые носочки и какое доверие внушает узел галстука». Такой антропоморфизм одежды оправдан «доверием» лишь к неодушевленному миру вещей: галстук долговечнее его владельца.

Категория «неодушевленности» становится ведущей в рассказах Т. Толстой. Большому и безнадежно сложному внешнему миру она противопоставляет свою камерную, почти кукольную вселенную — городок в табакерке, в котором жизнь организована по четким законам механической, заводной игрушки. Вещи у Толстой вообще счастливее людей. Застыв, как мухи в янтаре, в вечности, они не подчинены разрушительному и разочаровывающему ходу времени. Грампластинка из «Реки Оккервиль», старинные часы из рассказа «На золотом крыльце», письма из «Тети Шуры» — все это прирученное автором неодушевленное царство обрастает у Толстой метафорами, каждая из которых — свернутая в тугой клубок сказка на манер Андерсена: «Курица в авоське висит за окном, как наказанная... Голое дерево поникло от горя».

Рассказы Толстой — утонченный вид эскапизма: бегство в замкнутый мир, отгороженный от пошлой будничности прекрасными метафорическими деталями.

«Красные шапочки» нового поколения прозаиков противопоставляют лесу общественной тенденции бесстрастность и точность. При этом их главное оружие — деталь: «Хунвэйбины забросали наше представительство глиной и дохлыми воробьями» (Бычков).

И пусть этот мастер точного штриха потом окажется самозванцем — не приехавшим из-за границы специалистом, а всего лишь местным дворником. Это не важно, нет сомнения — он писатель, потому что сочиняет вдохновенно и достоверно. Кстати, и его дворничья профессия ничему не противоречит. Ведь он писатель «новой волны».

Той самой волны, для которой ценны лишь творцы, скептически и пристально глядящие на окружающий мир, с иронической усмешкой фиксируя спасительные детали.

Нью-Йорк.

ВЛАДИМИР ПОТАПОВ

На выходе из «андерграунда»

То, что ощущается сегодня как «другая» проза (термин С. Чупринина, охотно подхваченный критикой), — скорее конгломерат разнородных и разнонаправленных литературных фактов, чем направление или течение, школа или группа в привычном понимании. Показательно, что как бы вершущую айсберга, по общему мнению, составляют писатели совсем не похоже — Т. Толстая, Евг. Попов и В. Пьещух. Почему эти имена тяготеют друг к другу?

Все очевидные центростремительные характеристики названы уже не раз, и названы, в общем, верно, но уж очень они расплывчаты. Взять хотя бы ироничность, без упоминания которой разговор об этих прозаиках никогда не обходится. Ироничность действительно неотъемлема от художественной ткани их прозы, нередко саму художественность и создает, как бы раздваивая, делая неоднозначным авторское слово. Но качество это ныне «обобществлено» до такой уже ничейности, и указание на ироничность должно скорее растворять, чем выделять прозаиков «других» среди всех остальных — и на поперечном срезе прозаического процесса, где склонность к ироническому и даже гротескному рисунку обнаруживают такие далекие от «Другой» прозы писатели, как В. Астафьев, например, или В. Кручин, и на продольном, если вспомнить признанных «ироников» 70-х годов — от А. Битова до В. Конечного, или «молодежно-исповедальные» повести конца 50—60-х, ироничные почти в обязательном порядке. Ироничность — используя формулу философа — уже не состояние, а мировоззрение, и, похоже, распространяющееся...

Примерно так же обстоит дело с прочими характеристиками, рассматриваемыми как особые приметы «Другой» прозы. Необычность, социальная «сдвинутость» характеров и обстоятельств, пресловутая «чернуха»; избегание всего, что может быть истолковано как ангажированность; замаскированность авторской позиции и т. д. — все это отмечается вполне обоснованно и в сумме создает обобщенный образ «Другой» прозы, но опять-таки не слишком ли к широкому кругу современных явлений может быть отнесено?

А может, стоит нам зайти с другого конца — сосредоточиться не на следствиях, а на причинах? И тогда обнаружится, что ощущение инакости, сказавшееся в импровизированном термине, нас не обманывает,

что оно основано на чем-то выходящем за привычные рамки литературоведческого анализа. И мы увидим, что авторов «Другой» прозы сближает общий генезис, точнее говоря — онтогенез. Это проза вчерашних неформалов, литературный «самосев». Формируясь и самоутверждаясь в не рамок официально признававшегося литературного процесса в условиях, когда путь социализации был ей заказан, «другая» проза должна была выработать, и выработала, свои общие черты — черты «наперекорности», оппозиционности тому, что казалось ей официозом (а официозом для нее было чуть ли не все, что печаталось...). Отсюда ее характер трудного подростка нашей словесности, отсюда затрудненность ее диалога с воспитанным на иных образцах читателем и сама инакость.

В «андерграунд» уходили по самым разным причинам (русское, имеющее литературные корни понятие «подполье» не прижилось, видимо, из-за политической окраски). В том числе по причине неподцензурности сочиняемого. Похоже, именно такой смысл вкладывают в понятие «Другой» прозы критики С. Чупринин и Д. Урнов. Разойдясь буквально во всем в диалоге на страницах «Литературной газеты», они только в том и согласились, что прежде «это» не печатали.. Однако не печатать тоже можно по разным причинам. Например, рассказы недавно дебютировавшего О. Ермакова («Знамя», 1989, № 3), доброты-традиционные по форме да и по мироощущению, вряд ли могли быть опубликованы двумя-тремя годами раньше — они содержат правду об афганской войне: чего стоит один лишь эпизод из рассказа «Крещение», в котором наш солдат технично приемом каратэ убивает пленного душмана. Да и ощутима атмосфера неуставных взаимоотношений солдат (и где? в Афганистане!) — даже намек на них еще недавно не прошел бы. Значит ли это, что «афганские» рассказы О. Ермакова и О. Хандуся («Урал», 1988, № 1) или трактующие непростые отношения в мирной армии повесть С. Каледина «Стройбат» («Новый мир», 1989, № 4), рассказ «Земляки» А. Шабанова («Родник», 1989, № 4), повесть Ю. Якимайнена «Учения „Запад“» (таллиннская «Радуга», 1989, № 4, 5) и т. д. тоже были бы несколько лет назад «Другой» прозой? Разумеется, нет. И это, между прочим, показывает соотношение таких понятий, как «Другая» проза и проза

«эпохи гласности» (соответственно, «эпохи безгласности»). Гласность, цензура и т. д. — обстоятельства внешние, внелитературные. «Другая» проза ослабляет что-то более глубокое, с цензурой она как раз и не вступала в конфликт, выбирая путь бесцензурного бытования — в «сам-» или «тамиздате». Главное препятствие на пути «другой» прозы не институт цензуры как таковой, а цензура общественного мнения.

Не в традициях нашей литературной критики говорить о том, что не напечатано, нужно хотя бы коротко охарактеризовать несколько фигур, без которых разговор о «другой» прозе просто бессмыслен. Это писатели широкому читательскому кругу на родине почти неизвестные, все, что они опубликовали, вышло за рубежом.

Случай покойного прозаика и драматурга Евгения Харитонов, пожалуй, самый трудный. Можно с уверенностью сказать, что его произведения в обозримом будущем не будут опубликованы. И честно говоря, трудно утверждать, что их нужно публиковать в полном объеме. Дело в том, что проза Евг. Харитонova описывает не привычный нам гетеросексуальный мир, а обратный ему, в полном смысле слова другой. «Певец подпольной Москвы» — так озаглавил некролог памяти Харитонova В. Аксенов. С «подпольной Москвой» дело ясное, но ведь и певец... Иногда эта проза запредельна по отношению к любой нравственности, но как быть с несомненным писательским дарованием — тонким психологизмом, стилистическим артистизмом, неповторимой интонацией, напряженной исповедальностью?.. Внелитературный момент компрометирует литературу, талант — и это столь же обидно, сколько, видимо, и непреодолимо... Дело осложняется еще и тем, что порой писатель в отчаянии от невозможности установить контакт с миром начинал эпатировать невидимого читателя, сочиняя пассажи вовсе уж брутальные, шокирующие (как некоторые записи в розановские стилизации «Слезы на цветах». Название характерно: быть может, это и «цветы зла» с нашей точки зрения, но слезы на них настоящие...). Да и не в одной литературной технике дело — мы априорно исключаем в подобных случаях саму возможность искренности, неподдельности чувств, человечности, а в прозе Евг. Харитонova есть и это. «Один такой, другой — другой» — название одного из его рассказов. Стоит задуматься над вложенным сюда смыслом...

Это случай моральной общественной цензуры. Есть цензура и эстетическая. Трудно представить, например, что на родине, а

не в издательстве «Ардис», сделавшем немало для самореализации многих современных прозаиков, вышли бы в свое время книги Саши Соколова. Сегодня мы получили возможность прочесть «Школу для дураков» и «Между собакой и волком» — и задуматься: почему же эти книги не имели шансов появиться в наших журналах? «Школа для дураков», о которой даже «сноб», как у нас принято считать, В. Набоков отозвался как о книге трогательной, — на мой взгляд, одна из обаятельнейших для русского читателя книг об отрочестве, о первой любви, и уже одним этим — книга сугубо традиционная. То же, при всем внешнем «модернизме» письма, можно сказать и о втором романе Саши Соколова. Ничего крамольного эти книги не содержат, но редакторов несомненно отпугнула бы непривычность писательской манеры, и, как знать, состоялся бы Саша Соколов как писатель, не опубликуй он своевременно свои книги?.. Это к вопросу о том, как попадали в «андерграунд», в данном случае принимающий облик «того берега».

Я думаю, что наиболее дееспособным для нас было бы такое определение «другой» прозы: литература, осознающая и признающая себя только и всего лишь феноменом языка. Это самоощущение определяет ее главную тенденцию: отношение «должного» к «сущему», идеала к реальности становится чем-то вроде дроби без числителя. Сущее явлено «весомо, грубо, зримо», должное — вилами на воде писано, все призывы — только «слова, слова, слова», на порядок вещей повлиять никак не способные...

Автор-персонаж романа Евг. Попова «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину» («Волага», 1989, № 2) рассуждает: «...глупо, Ферфичкин, когда идеология делает ставку на литературу, принимая ее всерьез... Зачем дурная традиция такая? Пушай себе скоморох дует в свою дурацкую дуду. Поймите, он опасен лишь тогда, когда вы на него обратите внимание, сочтя его реальной силой. А он — воплощенная слабость. То есть не исключено, что за ним пойдут в хороводе соблазненные его нескромным лением, но теоретически это столь мало возможно, практически так редко, что совершенно ненелесообразно обращать на этих блаженных столь большое внимание...» В этом пассаже равно показательно и сниженная оценка роли художника («скоморох», «дурацкая дуда») и сомнение в хоть каком-нибудь отклике читателя, человека «по ту сторону» страницы.

В своем восприятии литературы как исключительно языкового феномена «другая»

проза явно близка известной точке зрения В. Набокова (его эссе «Николай Гоголь» можно рассматривать в качестве «предманифеста» «других» прозаиков). Сближают ее с набоковским взглядом и сложные отношения автора-читателя, подчас доходящие до конфликта, до нарушения диалога. Но есть и отличие: «Другой» прозе несвойствен высокомерный дендизм, она находится в принципиально иной позиции к читателю — не над, а рядом, на том же уровне, хоть и обособленно, как сосед в вагоне метро.

Невозможность прямого воздействия на жизнь способна внушить чувство пессимизма. «Другая» проза часто мрачна. Рассказы Дебютировавшего в этом году прозаика Анатолия Гаврилова («Волга», «Юность», «Енисей») почти безысходны по настрою. Его герои обречены на непонимание: слесарь «службы сжиженного газа» исповедуется чемоданчику с инструментом («Чемоданчик»), школьник, разрабатывающий «юридические законы для космического пространства», терпит насмешки брата («В преддверии новой жизни»), мечты дурнушки Розы о счастье, о выходе из опостылевшего жизненного круга возможны лишь во сне («Роза»). Персонажи рассказов Гаврилова никак не могут договориться с миром, слово обнаруживает свое бессилие, и этим ощущением словно бы заражается от персонажей их автор.

Чувство бессилия слова впервые испытано, разумеется, не «другими» прозаиками. Традиционно оно переживалось как виновность литературы перед жизнью, как ее первородный грех. В России неловко, даже постыдно быть просто писателем, сочинителем. Творчество осознали бессмысленно-пустым и ложным, если не находило себе оправдания, «точки приложения». («Очень хочется осуществить какую-нибудь функцию на земле, но совершенно негу никакой точки приложения», — констатирует герой Евг. Попова, сам «Другой» прозаик.) По большой отечественной традиции, оправдание — в служении, часто — в обете и подвиге во имя какой-то надлитературной всеидеи, положительной и устремленной в светлое и прекрасное будущее. В различных проявлениях эта идея может представлять как метафизическая, даже эстетическая (служение святому искусству, литературе как Завету). Важна не модальность, важна оптимистическая направленность. Вера, надежда, любовь указывают и освещают путь, и недаром отечественной классике, осознающей свою задачу как призыв сплотиться и в этот путь тронуться, соположен соловьевский «софийный» принцип.

Подробно эти вопросы рассматриваются в статье Вик. Ерофеева «На грани разрыва. «Мелкий бес» Ф. Сологуба на фоне русской реалистической традиции» («Вопросы литературы», 1985, № 2), тем более интересной, что автор ее является и одним из «андерграундных» лидеров «другой» прозы. В его построениях выявляется теоретическое самосознание «другого» прозаика — именно на фоне русской реалистической традиции и на грани разрыва с ней. (Такая позиция свойственна не всем, а скорее «крайне другим» прозаикам — Вик. Ерофееву, Владимиру Сорокину, Ю. Мамлееву. Здесь тенденция доведена до предела.)

Сама мысль об отходе от «большака» отечественной литературы встречается с заведомым осуждением, в этом видится разрушительная опасность, и не всегда мнимая.

Владимир Сорокин, по крайней мере в тех его рассказах, которые мне доводилось читать (такие оговорки неизбежны относительно «Другой» прозы, как правило, труднодоступной и потому не дающей о себе полного представления, — в данном случае, речь идет о рассказах из литературного альманаха «А — Я», Париж, 1985), предстает как автор прозаического варианта «соцарта», пародирующего распространенные стилиевые системы и сюжетные ходы советской литературы. Рассказы строятся примерно по одной схеме: вначале читателя ублачивают умелой стилизацией под литературу самую что ни на есть «не-другую», а затем следует абсурдистское опровержение, взрыв. В одном из рассказов, например, геологи решают, как помочь ушедшим куда-то в поиск и не вернувшимся на базу коллегам. Перебираются варианты, завязывается спор, сталкиваются характеры — все это обстоятельно, на протяжении страниц, с инкрустацией в текст застрявших в памяти каждого, кто читал повести о геологах, терминов и географических названий (или чего-то очень на них похожего), и когда спор достигает высшего градуса, самый старый и опытный из поисковиков, вынуж изо рта трубку, роняет свое веское, но для нас заведомо неясное слово, что-то вроде: «Нужно помучмарить фонку». И враз притихшие спорщики, собравшись в кружок, вдумчиво начинают какое-то камлание... Здесь автор разрушает стереотип повести «о геологах», в других вещах — модели охотничьего рассказа, лирической зарисовки о возвращении в родные места, «деловой» прозы и т. д. Владимир Сорокин воюет с плакатом, в его случае, кажется, особенно ярки черты усвоенной «другим» прозаиком «обратности» по отношению к прозе социализированной,

точнее говоря — к омертвевшим ее словесным моделям, когда при всей искренности чувств пишущего лжет, кажется, сам язык. Рассказы Сорокина могут шокировать, но исходную посылку автора легко понять.

По поводу расхождения «другой» прозы со столбовой дорогой отечественной традиции следует сказать и то, что часто совершенно не учитывается при такой постановке вопроса тот факт, что уже в начале нашего столетия возникла новая русская культура и новая русская литература, на которую, как правило, и ориентируется «другая» проза, — порождение века, вполне способного навести на мысль, что вселять сегодня оптимизм в сердца — не более чем навевать «человечеству сон золотой». А уж на исходе нашего столетия и вовсе не просто разделить бодрую позитивистскую убежденность в способности прогресса очастливить человечество, разрешить все проблемы и вопросы. Какие же выводы из этого делает для себя «другой» прозаик? Он человек информированный, ему трудно забыть, что ни проповеди Достоевского и Толстого, ни гармония Пушкина — словом, вся Литература, Слово не избавили народ и страну от трагических ударов истории.

Известный скептицизм современной литературы, обращенный и на самое себя, необязательно да, наверное, и невозможно любить, но можно и нужно понять. Менее всего «другая» проза склонна считать себя коллективным организатором и пропагандистом, рупором и проводником идей, отсюда ее отказ от всякой вообще призывности, отсюда необычный характер ее диалога с читателем. Разговор имеет смысл, и то условный, только в малом, «Своим кругом» (название рассказа А. Петрушевской), где «никто ни с кем ни о чем не спорит. Все не согласны друг с другом. В чем? А, все равно, не важно, Ферфичкин» (Евг. Попов).

Что же обнаруживается? Литература (и шире — культура), некогда бывшая при всех спорах и разногласиях единой, однонаправленной, ныне на пути сознательного размежевания на круги и субкультуры принимает все менее синкретический и все более взаимопротиворечивый характер.

Как при этом соотносится «другая» проза с прозой всей остальной? Прежде всего, не смотря на все расхождения, это явление, думаю, остается все-таки в русле единого потока русской литературы. Уж очень напоминает конфликт «другой» прозы с большой традицией известный нам спор «отцов и детей», иными словами, это дело семейное. Самые близкие аналоги этому спору отыскиваются в известном литературном про-

тивостоянии начала столетия. Именно там следует искать литературных «наставников» «других» прозаиков. Существенное имя — В. В. Розанов. Дело не в прорывающихся цитатах, как у Евг. Попова («Литбрат смотрел на меня „острым глазком“»), и даже не в подражаниях (упомянутые «Слезы на цветах» Евг. Харитоновой), дело во вроде бы «растворившихся» за десятилетия, но не исчезнувших вовсе розановских открытиях. Во-первых, розановский прием разговора как бы от первого лица «другой» прозой излюблен (наивно было бы воспринимать знаменитые «исповедальные» книги Розанова «Уединенное» и «Опавшие листья») как обычные дневниковые записи). Евгений Попов в предисловии к роману «Душа патриота...» сообщает, что он лишь публикатор переписки некоего Евгения Анатольевича Попова, литератора. Как монолог автора-персонажа построена поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева и т. д.

Самое же главное, что заставляет связывать многие образцы «другой» прозы с розановской традицией, — присущий ей дух эссеизма (о его возрастании в культуре нового времени подробно писал в статье «На перекрестке образа и понятия» М. Эпштейн). Мыслеобраз, вторжение автора в структуру произведения характерны для «другой» прозы, усомнившейся в формах абсолютного жизнеподобия. «Другие» прозаики почти никогда не ставят себе задачу создания объемного, многоцветного, пластически совершенного и т. д. мира, существующего как бы независимо от автора. Между читателем и автором всегда существует «голос-посредник», призванный напоминать, что все сообщаемое — лишь «слова, слова, слова», лишь литература. Автор словно боится увлечься эфемерным, знакомым миром сам и не склонен обманывать читателя. Более того, искусство, которое, как знает «другой» прозаик, может обмануть, закамуфлировав совершенством формы неприемлемую идею, вызывает у него заведомое недоверие, желание разоблачить путем пародирования.

Даже предпринятый здесь беглый очерк некоторых существенных для нашего разговора фигур показывает непродуктивность всякого обобщения. А если этот круг расширить за счет прозаиков с «того берега» — Э. Лимонов, Ю. Мамлеев и другие — и с берега нашего — З. Гареев, Вик. Ерофеев, М. Берг, П. Кожевников, — картина станет еще более запутанной. Все больше будет исключений из устанавливаемых правил, все больше опровержений одних имен другими. Для дальнейшего разговора нужно

попытаться найти литературный факт, находящийся как бы в центре, равноудаленный от полюсов, но и выражающий достаточное число тенденций «Другой» прозы. Таким фактом представляется уже упоминавшийся здесь роман Евг. Попова «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину».

Это повествование в письмах и дневник «Другого» прозаика в сугубо неформальный период его жизни, документальное свидетельство, и исповедь, и литературный манифест. Мы можем взглянуть на «Другого» прозаика в широком жизненном контексте.

Сочиняя на наших глазах роман о себе самом, о своем ближайшем окружении, о своей жизни, автор становится персонажем: сочинитель «посланий к Ферфичкину» Евгений Анатольевич Попов — полный тезка автора, хотя тот и уверяет, что это случайность, что я — не он. Оставляя за Евг. Поповым законное право на художественное преобразование действительности, мы все же будем исходить если не из тождественности, то из близости описываемых в романе событий к достаточно известной по недавним журнальным публикациям литературной биографии прозаика Евг. Попова, одного из «антигероев» нашумевшего инцидента с альманахом «Метрополь» — первой попыткой обнародовать «Другую» прозу. Но в художественном времени романа альманах «Метрополь» — дело минувшее, упоминается лишь намеками и иносказаниями: «Однажды я уже высунулся в этот открытый мир, и меня там так хорошо угостили палкой по морде...» или: «...вышли к гостинице с знакомым названием „Метрополь“». Послания к Ферфичкину датированы сентябрем — декабрем 1982 года, когда автор-персонаж, залечив былые раны и вдохновляясь идеей всебратства и забвения взаимных обид, сочиняет «в никуда» новое свое произведение. Надежда на публикацию, как и должно быть у «Другого» прозаика в 1982 году, немного, но писать хочется, писать нужно: день без строчки вызывает у автора посланий к Ферфичкину угрызения совести и похожие на формулы аутотренинга самоуглубления: что непременно нужно писать сегодня хотя бы страничку, хоть полстранички... Принимаются перед самим собой «повышенные обязательства» и «встречные планы», подсчитываются «нормы», намечаются — кровь из носа — «сроки сдачи» и т. д. и т. д., и не понять сразу, чего здесь больше — веселой пародии или горечи? Ведь автор ни на минуту не забывает, что занимается он, в сущности, «саморазмножающейся ерундой», поскольку никто его сочинение не прочтет, даже и адресат посланий Ферфич-

кин, которого просто нет. Нет в физическом смысле, но «Ферфичкиным» является каждый из нас, воображаемых читателей и собеседников.

По декларируемой на первых же страницах творческой установке (следует ссылка на некую книжку «Модернизм без маски», откуда эта идея почерпнута) предметом искусства является все. И задачу свою автор видит в пунктуальном отображении всего случайно или не случайно попадающего в поле его зрения или всплывающего в памяти. «О чем хочу, о том и пишу», — прямо заявляет Евг. Попов и начинает с подробного описания возвращения из служебной командировки к «горячо любимой жене», попутно сообщая, каковы цены на воронежском рынке, как он проводит вечер в гостях у своих друзей и т. д. Приобретенная по случаю гипсовая копилка вызывает воспоминания о точно таком же издании из послевоенных лет, и по этой случайной ассоциации мысли автора устремляются в прошлое — начинаются воспоминания о детстве в Сибири, фамильные предания и забавные анекдоты о многочисленной родне — колоритных «дедах Пашах» и «бабах Марипах», разглядываются и с протокольной дотошностью описываются фамильные — с золотыми вензелями владельца фирмы «светописи» — фотографии. Описывается и впрямь «все на свете», но углубление в семейную историю автора все более довлеет, именно это он ощущает делом важным, значимым, зачем-то да нужным, хотя пока и неизвестно зачем. «Вопрос: зачем я ворошу прошлое? Ответ: интересно». Пока нам остается принять на веру авторский тезис о том, что жизнь намного богаче всякого вымысла, потому и выдумывать ничего не надо, и «можно», остановив любого прохожего, расспросив, как он провел день, тут же, с ходу написать роман Джойса «Улисс», хоть и не исключено, что напечатать его, мягко говоря, будет довольно трудно».

Первые же страницы романа, с одной стороны, вываливают на читателя такой винегрет образов — фактов, наблюдений, мыслей, а с другой — почти сразу же рождают ощущение такой цельности и единства повествования, что поневоле задумаешься, а чем, собственно, все это держится, скрепляется? Прежде всего — и это самое очевидное — личностью автора. И здесь мы можем сделать первый вывод: сближение позиции автора и персонажа не от неумения говорить о чем-либо, кроме собственной персоны, не от самодовлеющего нарциссизма, в котором

«Другую» прозу нередко упрекают. Это попытка опереться на самого себя, на собственный опыт, здравый смысл, попытка смочь свое суждение иметь в мире, кажется, норовящим деперсонализировать личность. Собственное «я», «эго» ставится в центр мировосприятия для того, чтобы не потерять окончательно самого себя, «душу живу», не стать игрушкой чужой воли, слов, оценок, суждений.

А опасность такая реальна; автор-персонаж находится в поляризованной жизненной атмосфере. Взять хоть его издательские обстоятельства. Евгений Анатольевич совершенно обоснованно связывает свои литературные неурядицы не столько с конкретными редакторами, благоухающими «французскими духами и русскими туманами», сколько с общим ощущением небратства (термин Н. Ф. Федорова), с тем, что всякий прохожий смотрит на тебя, «набывчившись, совершенно как неродной». От этого неродного, чуждого мира так хочется убежать, например, в прошлое. Весь мир в романе двоятся на прошлое — искреннее, согретое теплом родственного круга, пусть и изображаемого без излишнего пиетета, но с неподдельными и нефальшивыми чувствами, — и на настоящее — холодно-отчужденное. Переживание этого расхождения и есть основное чувство романа, представляющего собой дневник потерявшегося в настоящем человека, не сумевшего — и отнюдь не по своей вине — социализироваться. В жизни мы знаем бесчисленное множество подобных случаев, и заканчиваются они, как правило, трагически: озлоблением отвергаемого человека, его окончательным разрывом с обществом, жизнью «на себя». Автор-персонаж «Души патриота...» способность к диалогу не утратил — и возможно, это самое значимое в его послании миру.

Внезапно ход повествования резко меняется — с записью, датированной одним из ноябрьских дней 1982 года. «Умер, тот кто бы л!» — взволнованно сообщает повествователь. О ком речь, мы хорошо помним... Вторая половина романа представляет собой описание «траурных блужданий» по Москве автора-персонажа и еще одного «другого» (поэта-«концептуалиста» и художника Дмитрия Александровича Пригова). Спутники блуждают по осенней Москве, слушая, как пишет Евг. Попов, «музыку Истории». Представляет ли собой описание этих блужданий, выполненное в том же ироническом ключе, неразборчивую попытку сделать из события, как ни крути, печального (смерть...) все тот же «предмет искусства»? Думается, так считать несправед-

ливо. В роман действительно врывается время, эпохальная перемена, и автор-персонаж действительно взволнован ею, хоть и пытается скрывать свое волнение: «И блажной восторг историчности холодил душу патриота, что он скрывал за некоторой напускной бравадой». Ироническая окраска этой фразы доселе мы могли интерпретировать текст как нам угодно, усматривая в нем или подвох, насмешку, скрываемую под напускной серьезностью, или серьезность, маскируемую усмешкой, то теперь это уже не важно: разговор пошел о насущном, и оттенки авторской интонации отодвигаются на второй план. Евг. Попов еще поддразнивает читателя бесконечными отступлениями от сюжета. Блуждая со своим попугайчиком в траурные дни по московским улицам, он с догошностью гида не упускает случая сообщить, кто и когда построил то или иное здание или — пуще того — с какими воспоминаниями автора связаны те или иные строения. Казалось бы, прозаик мельчит, говорит все время не о том («не важно» и «не о том» — вообще ключевые слова в прозе Евг. Попова, один из его рассказов так и называется: «Нет, не о том...»), но на уровне целого ощущаешь, что таким парадоксальным образом создается подлинная историческая перспектива повествования. Автор отсылает нас в прошлое столетие (причем делает это чисто назывным образом: «бульвары бульварного кольца, возникшие на месте разобранной стены Белого города...», «О, Арбат, мой «рабад» (пригород, предместье — арабск.)» и т. д., или вдруг долго и с видимым удовольствием описывает друга студенческой молодости Сергея П., которого он, «пользуясь своим служебным положением автора», впускает в это повествование, потому что Сергей П. «всегда был со мной ласков». Но эти нелепо парадоксальные вроде бы «сбои», сугубое, казалось бы, озорство и своеволие «ерничавшей» речи рассказчика и все ее «авангардистские выверты» странным образом делают повествование об эпохальных днях в истории страны приближенно-домашними, лично переживаемыми. Ожидание перемен, надежды на новое, на то, что «дела, может быть, СЕЙЧАС как-нибудь пойдут», как говорит один из персонажей «Души патриота...», незримо присутствуют где-то в уголке сознания автора-персонажа, хоть он и гонит (из суеверия?) эту мысль, внушая себе, что ему и так-де неплохо в домашнем уюте за шторами... Разумеется, мы чувствуем, что он, обжегшись на молоке, просто боится поверить, бояться с г л а з и т ь свои и общие ожидания на то,

что теперь-то жизнь пойдет как-то иначе: разумно, справедливо, всебратски...

Интересная и знаменательная нота и в пространстве романа «Душа патриота...» и в творчестве Евг. Попова в целом — подхваченный розановский мотив: частная жизнь, жизнь семейная есть высшее в истории. Строго говоря, мотив этот принадлежит даже не В. В. Розанову, а скорее Льву Толстому (вспомним апофеозное демонстрирование Наташей Ростовой пеленок первенца). Разнообразно варьирующийся, мотив этот никогда не исчезал из нашей прозы: дом, семья, родственность — ключевые слова и предмет постоянного внимания «деревенской» прозы... В романе Евг. Попова, далековатом вроде бы от «деревенщиков» и даже, как иногда закрадывается подозрение, пародирующем этот их мотив, тем не менее звучит он достаточно слышимо, хоть автор и «двойт» его, как и все в романе, изрядной дозой иронии. Но это разрушительное, как принято считать, чувство «снимается», «побеждается» общим художественным напряжением, возникающим в произведении и к финалу все более отчетливым... «Вопреки» своей ироничности автор начинает говорить серьезно, и могущий показаться неподобающе ерническим ряд: «Я люблю пироги, я люблю свою жену, я люблю свою Родину» — таковым уже не является.

Начав с тотального отрицания, с усмешки над всем на свете, Евг. Попов приходит к чему-то положительному, позитивному — к призыванию всебратства, взаимного прощения обид и забвения раздоров, к утверждению — как бы высренне это ни прозвучало — жизненного идеала. При всей вызывающей улыбку и на улыбку рассчитанной утопичности рисуемого светлого будущего (все будут ходить в «чистых рубахах», и — никаких склок), не забудем о том, что отечественная литература непредставима без подобного донкихотства, без этой детскости.

Осознав это, начинаешь сомневаться: да такой ли Евг. Попов «модернист», как это может показаться (и кажется) ревнителям литературных канонов? Полно, да «другая» ли это проза вообще? Вобравший чуть ли не все ее обязательные признаки, роман «Душа патриота...» в собственном художественном пространстве являет самоотрицание этих «постмодернистских» черт, «снимает» их через ощутимую и ощущаемую непредвзятым читателем обоснованность этих приемов. Это уже не «другая» проза, а проза сегодняшняя, тонко чувствующая, что всякая

декларативность, категоричность суждений, навязчивое учительство сегодня не срабатывают, что с читателем необходимо говорить по-новому.

Преувеличением было бы сказать, что роман так уж благостен, как может показаться, если вычленить его «положительный идеал» из художественного контекста. Разумеется, то, к чему призывает автор, что он указывает «в конце туннеля», не дается само собой. Весьма убедительно показаны и силы, которые противостоят этому движению (в частности, олицетворенные в гротескной, но вполне типологически узнаваемой фигуре «лауреата товарища Пластронова»). Но общее ощущение пути, осознание и умом и сердцем его направленности, что называется, внушает надежды — в том числе и на то, что есть в «другой» прозе авторы, вполне открытые к диалогу с обществом и литературой.

«Другая» проза отказалась от всякого «призыва», усомнившись в возможностях слова, в праве искусства призывать и учить. Это сомнение не должно стать абсолютным, полной невозможностью «утверждать что бы то ни было, даже свое неутверждение» (П. А. Флоренский). Выработка своего положительного содержания — это вопрос дальнейшего существования «другой» прозы (как, впрочем, и всего современного искусства). То, что это в принципе возможно, показывает роман Евг. Попова, обращающий свою иронию на самое «инакост», «самоотрицающий». Конечно, это лишь один из вариантов — остальных мы пока не знаем.

На выходе из «андерграунда» «другую» прозу ожидают, быть может, самые трудные испытания. До сих пор она черпала свою внутреннюю энергию в постоянном отталкивании от литературы социализированной — от чего ей отталкиваться теперь, когда она входит в общий литературный контекст, становится его частью?.. Какие силы ее направят — центробежная или центростремительная? Продолжение противостояния грозит разрушительным конфликтом. Намечен и альтернативный путь: «другая» проза может обратить свою энергию противостояния, «все высвободившиеся силы в совместную оборону против т е м н о, против дьявола, энтропии, исчезновения» (Евг. Попов).

Но это уже призыв, это уже, кажется, не «другая» проза?..

Саратов.

В. ТУРБИН



СЫН ОТЕЧЕСТВА

К 175-летию М. Ю. Лермонтова

В нас все еще нет ни полунамека на литературоведческую теорию, которая оказалась бы в силах ответственно, внятно дать концепцию актуальности художественных произведений далекого или относительно близкого прошлого. Новые времена застанут нас врасплох. Непреходящее значение классики в течение томительно долгих лет открывалось нам в виде приглушенных намеков, разрозненных вслыхек: там вспомнили о трагедии Пушкина «Борис Годунов»; там прозвучал со сцены провидец Щедрин, творения которого, по-моему, изначально перешагнули рубеж злободневной сатиры и выросли в трагическую историософию различных времен и общественных нравов. Не могли говорить от имени своего гражданского «я» — говорили устами классиков, и что-то удавалось вымолвить, протащить.

А ныне? Прошлое оживает во всей его целостности и полноте. Необходимость прибегнуть к классике испытывается все сильнее, и вечные спутники наши становятся своеобразной группой экспертов, консультантов по важнейшим вопросам эстетики и этики социального бытия. К кому ни обратимся, оказывается, что классик наши драмы предвидел. Однако где именно? Как? В чем выразилась его проницательность? И тут-то не можешь не почувствовать теоретической хаотичности, какого-то веселого произвола. Роман Достоевского «Бесы» читают и цитируют нарасхват: программы Шигалева, Петра Верховенского, их реализацию мы на себе испытывали. Можно к пушкинскому «Пиру во время чумы» обратиться; можно один только грустный рассказ Чехова взять «Свирель», о пастухе-мудреце: все наши экологические предчувствия и тревоги простодушный дедушка выразил. Покойшийся в почтительном, хотя и в чуть-чуть ироническом забвении Карамзин, и тот вдруг бурно вошел в обиход.

Всеобщая увлеченность классикой — не о ней ли радели, не к ней ли мы звали? Но все же выхватыванием из фабулы эпизодов, речений, высказываний, переоценкой созданных русской литературой характеров духовно не прокормишься долго — годится для одноразовой газетной статьи, для броского выступления, для диспута в школе. Однако же согласимся: зыбко. Непрочно. Тот одно нашел, тот другое. Перекликаемся, будто в лесу. А время теории требует. Базы. Почвы, на которую опереться бы при изучении того, как прочитывается художественное высказывание в новую эпоху. А такой функциональный анализ — не абстракция, изобретенная несколько лет тому назад двумя-тремя профессорами-энтузиастами, речь идет об исследовании реального воздействия литературы на жизнь.

Жизнь поторапливает. А навстречу ей из глубины времен — очередной, дежурный эксперт: юбилей — как бы вахты, дежурства классиков. И ныне — дни Лермонтова.

О нем-то и слово. О внутренней связи его творений с драмами, пережитыми его многострадальным отечеством много лет спустя после смерти его.

Но сначала, однако, о погибшем где-то то ли в лагере, то ли в застенках юноше. О писателе-татарине Шамове. Даже имени его я не знаю, только фамилию. Но, как говорилось еще при Иване Горюном в заупокойных молитвах, когда хоронили тела убиенных опричниками неизвестных бояр, их домочадцев и слуг, «имена же их Ты, Господи, веси!». Значит, о Шамове. А Лермонтов в его горькой судьбе отзовется.

«Шамову не место в нашей среде», — возгласила «Литературная газета» 30 декабря 1929 года. Завершался год «великого перелома», и, выходит, новорожденная газета произнесла что-то вроде новогоднего спича. Он вполне соответствовал духу времени. Шамова нещадно клей-

мили: «Татарская секция МАПП 7 октября с. г. исключила... писателя Шамова». Что же, может быть, Шамов плохо писал? Оказался бездарностью? Да нет, хуже, Шамов прямо-таки на основы основ посягнул: «Шамов, будучи студентом Московского государственного университета, имел связь с отцом-контрреволюционером, оказывал ему систематическую материальную помощь». Это было страшнее всего!

Я сейчас читаю газеты. Нет, не новые; их я тоже читаю, но вообще-то истинный их читатель придет через полвека, не ранее. Я же читаю газеты давние, задолго до нас выходившие; благо, заново перепечатывать их, как делалось это в романе Оруэлла «1984», у нас не додумались. Газеты остались такими, какими и были. И дивлюсь я, как сквозь их тарабарщину то и дело просвечивает реальность. Так и здесь: «оказывал... материальную...» Попростому сказать, выкраивал что-то отцу из жалкой стипендии. Накормил отца. Приютил его где-то — в общежитии, вероятно. Шамов — студент МГУ. Но к тому же и молодой писатель. «Отец писателя, бывший крупный торговец, активно боролся против советской власти вплоть до настоящего времени (в данное время отец Шамова за контрреволюционную деятельность приговорен к расстрелу)».

«До настоящего времени... в данное время...» Стиль-то какой! Над заметкой трудился татарский поэт, о последующей деятельности которого что-то все-таки сообщающая нам Литературная энциклопедия, КЛЭ, говорит: «Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов... Мн. его песни посвящены партии, родине; их характерные черты — непосредственность, задушевность, напевность... Автор кн. для детей: «Сказки для малышей» (1938), «Стихи для маленьких» (1938), «Весенний гром»... Переводит произв. рус. классиков... на тат. яз.». Не читывал я ни задушевных канцон, слагаемых депутатом-поэтом для младенцев невинных, ни книги «Весенний гром». Но заметка конца 1929 года впечатляет не менее грома. Реальность ее неусветна: сын не должен любить отца. И в клубке канцеляризованных отчетливо видишь проблему, которую можно назвать проблемой распада, и не просто распада, а преднамеренного рассеяния единства сын — отец. Отторжения сына, разрыва его связи с отцом, а вместе с тем и обороны, защиты сыном исконных, естественных прав на отца.

Кульминацией этой проблемы в русской литературе было творчество Лермонтова;

и тем-то предсказало оно существеннейшие аспекты пережитого нами: каким бы хаосом, бредом, сном ни казалось нам пережитое, в нем просматривается система, и в злобещей заметке о Шамоу тоталитарный режим как бы проговорился, обнаружив ее. Но значительно раньше прообраз чудовищных извращений увидел великий поэт. Он запечатлевает себя и своих героев в постоянном единоборстве с такими прообразами, не подозревая, конечно, и не предвидя того, какой размах примут извращения.

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть.
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!

Лермонтов писал эти строки в 1831 году. О себе. Но и не о Шамоу ли он написал, заглянувши лет на сто вперед, не о сыне ли униженного, приговоренного к смерти отца?

Да, «ужасная судьба...» — почти буквально про Шамова. «Шамов упорно доказывал, что его отец являлся и является вполне лояльным к советской власти, и (само собой разумеется) отрицал свою вину». Но напрасно старался юноша: не отрекся от отца — виноват. «Шамов безусловно обладает творческим талантом, но поскольку нутро у него буржуазное и он не мог порвать связь с контрреволюционным отцом, вращаясь в сфере классово чуждых сил, постольку он непосредственно вооружает контрреволюцию для борьбы с пролетарским государством».

Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И стольких же насмешливых клевет,—

обращался юноша Лермонтов к тени отца. Свет начала 30-х годов не XIX, а уже XX века еще более изощрился по части клевет. Впрочем, он оказался не без добрых людей, и заметка обрушивается на них: «Нельзя умолчать и о некоторых товарищах, примиренчески относящихся к Шамоу. Эти товарищи считают, что ничего преступного нет в том, что Шамов имеет дело с родным отцом, что Шамов может продолжать учиться в МГУ... Извините, товарищи, такое терпимое отношение... к человеку, который в течение долгих лет непосредственно помогал контрреволюционеру... крайне преступно». У меня, преподавателя МГУ, за тогдашних моих коллег — тихая гордость: значит, делаали, что могли, а во что обошлось им заступниче-

ство, можно только догадываться. И опять-таки реальность просматривается сквозь почти сюрреалистическое нагромождение слов: «нутро у него буржуазное... вращался в сфере...» Выгораживая юношу, коллеги исходили из мысли: единство сына с отцом традиционно, естественно. А оно-то, оно и было опасно, с точки зрения поэта-депутата преступно: отдадим ему должное, он поставил необходимые точки над «и».

Одна из станций метро. Панно: мать протягивает ребенка... улыбающемуся генсеку. Из всех изваяний, живописных полотен и прочих изображений, украсивших годы его правления, это — самое точное, и оно полнее других произведений искусства выражает социальную эстетику времени. Характерно, что, пробегая мимо него, топчась у его подножия в ожидании назначенной встречи, втихомолку потешаясь над ним, мы ни разу не задавались вопросом: постойте, а где же... отец ребеночка? Кто же он? Как он выглядит? Ни один из подобных вопросов просто не мог возникнуть, потому что отцу, будь он очень хорош или так себе, плоховат, в утопическом мире панно просто не было места. Появись тут реальный, физиологический, грубо сказать, отец, человек, входящий в сияющий мир, неизбежно раздвоился бы; а отец, навязываемый ему государством, оказался бы в положении всего лишь какого-то дублера родного отца.

Надо было унизить отца: свергнуть вниз, в социальное небытие. Раз-облачить его, а ежели обойтись без старославянизма и опять же сказать по-русски: раздеть. И заставить сына... посмеяться над наготой отца — надругаться над ним, повторив... да, конечно же, Хама. Библейского Хама, учинившего известную потеху над праотцем Ноем: Хам — не просто вошедшее в быт слово; Хам — олицетворение полнейшего разрыва с отцом. Абсолютного от него отторжения, за которым непременно следует отторжение и от бога. Цель была несомненна. И как раз с нею, с этой невиданной прежде в истории целью, соотносятся романтические медитации Лермонтова, да и все его творчество, без идеи единства отца и сына совершенно невысказанное.

Юношеские стихи об отце и сыне, казалось бы, к будущему России отношения не имеют. «В этом стихотворении Лермонтов говорит о смерти отца... Стихотворение содержит намеки на семейные раздоры, ко-

торые привели к разлуке Лермонтова с отцом», — утверждает спокойный академический комментарий. Так-то так, но и о временах, пережитых нами и нами теперь постигаемых, в стихотворении сказано: в них — упрямое выражение всеохватывающей преданности отцу, благородный мир, в котором не может появиться и мысли о Хаме, персонаже более страшном, чем предшественник его, братоубийца Каин. Но отец в художественной трактовке поэта многогранен и сложен, так же, впрочем, как многогранно сыновство: тут и преданность, и полная свобода критики, порой — радикальнейшей.

Вогаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом, —

скажет Лермонтов в классической «Думе». И опять-таки выходит про нас, но на сей раз уже не на уровне чьей-то индивидуальной судьбы, а на уровне судьбы поколений. И вообще у поэта про нас можно много высказываний найти, начиная с юношеского стихотворения «Предсказание».

Но высказывания — соблазн. Хороши они, повторяю, для публицистики, для блестящего словечка на митинге где-нибудь. Для науки же бесперспективны они, и не ими, конечно же, обеспечивается актуальность художественной литературы. Чем же?

Жизненностью образа автора. Укорененностью этого образа в ряду общечеловеческих ценностей, всегда очень простых: положение в семье, род занятий, призвание. Образ автора очень целен; его можно обозначить одним словом, двумя, хотя в то же время он разветвлен, нюансирован — проникает в самые различные жанры, принимает ультраромантический или демонстративно реалистический облик. Но так или иначе, а все дело — в образе автора. Он несет в себе притягательную силу, побуждает к наивным, но правомерным вопросам: «А вам нравятся?.. а вы любите?..» Образ автора не всегда воспринимается одинаково различными возрастными оттенками национальных характеров и на всех этапах истории. Он не может оставаться равным себе самому и при изменениях общественных умонастроений. Восприятие поэзии — диалог с образом автора. Он воссоздается достаточно произвольно, интуитивно. Он становится предметом общественной гордости, но порою и предметом насмешек, достаточно злых пародий. Но все-таки именно он отделяет поэзию от версификации, а художественную прозу от беллетристики:

здесь он выражен слабо, еле теплится, хотя далеко не всякая беллетристика тождественна серости.

Образ автора в творчестве Лермонтова исторически обусловлен. Обусловлен он и непроясненными сторонами жизни поэта — печать некой тайны будет вечно лежать на нем. Но сегодня становится очевидным, что он весь открыт навстречу пережитому нами.

Сын отца своего, родного отца...

Сын всевышнего, бога, то смиренно приемлющий мир, то бунтующий, ропщущий, расточающий иронию и сарказмы.

А меж богом и здешним земным отцом пролегал отчизна, отечество. И слагается оно из верований и исторических битв, из солдат, из подвыпивших по случаю праздника мужиков, из дорог, городов, а в самом начале — из почвы, земли. И отсюда — жест приближения к ней, поэзия капли, росинки: ландыш «росой» обрызган «душистой», деревенский вечер — «вечер росистый». Печорин уж на что ироничен, душевно холоден он, а и тот однажды припадает к земле, повторяя движение, жест: телом, плотью реально прильнуть к чему-то, его породившему.

И еще отечество — это город. И тогда — сыновнее, откровенно сыновнее признание в любви к нему:

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин...

Седина, седина у Лермонтова — устойчивейший мотив. У Москвы — седина. А у гор? У них — седина-снега:

Берегись, — сказал Казбеку
Седовласый Шат...

В балладе «Спор» седовласый Эльбрус — Шат-гора — прозревает вдали надвигающиеся батальоны державного войска.

Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

Седой воин приближается к седовласой вершине.

В балладе «Свиданье»:

Краснеют за туманами
Седых вершин зубцы...

А в «Демоне» седина предстает непосредственным, как бы само собой разумеющимся атрибутом отцовства:

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил...

Сплошь седины! И, по-моему, так увидеть окружающий мир можно только с неизменной для Лермонтова позиции, с точки зрения младшего в некоем социуме, юноши-сына, которому до седин, слава богу, еще далеко. Он приходит в мир после отца. Права его противоречивы до крайности; мир дарован ему, но устроен был мир до него. Без него. И устроен не так, как надо бы.

Позиция сына чревата житейскими и социальными драмами. В ней заложена и возвышенная почтительность к убеленным сединам и бунтарское стремление уйти от их власти. А сыновнее чувство многолико, многооттеночно: и анализ, и полемика с тем, что создано было отцом, и боязнь утратить отца. Отсюда — лирическая декларация в «Родине»:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.

Россия для поэта — «отчизна», странное речевое образование: грамматически — женский род, но в корне — мужское начало, отеческое; оно ставит уроженца страны в положение сына со всеми вывозимыми отсюда возможностями: от чувства единородности до ужаса оказаться отторгнутым, отпасть, увидеть себя в числе сыновей, отчизной отверженных. «Дубовый листок» — блудный сын, под отеческий кров не вернувшийся («Листок»).

Романтическая элегия «Ужасная судьба...» оказалась пророческой по отношению к несчастному Шамову. Но так же, как Шамов, барахтались в паутине, в расставленных им сетях толпы других сыновей, и заметке в «Литературной газете» от 30 декабря 1929 года симметрично соответствует диалог, опубликованный в другой газете, в газете «Московские новости» от 13 июня 1989 года: писатель Игорь Золотусский делится мыслями с Камилем Икрамовым. Оба они — сыновья. У обоих отцы разделили участь Шамова-старшего. Оба сохранили верность отцам. Они как бы вызывают к жизни их тени. Но Лермонтов делал то же! Именно то же, и отсюда — триада: Лермонтов — Гамлет Шекспира — мы.

Я буквально вздрогнул, когда в записках Камилы Икрамова «Дело моего отца» вдруг наткнулся на штрих: «дом на набережной», серая, скучная и страшная громада напротив Кремля, московскими старожилками именовалась, оказывается, Эльсинором. Я об этом не знал. Москвичи же издавна называли злое сооружение

именно так, и, стало быть, Гамлет, его убиенный отец и убийца-король издавна жили в их неунывающей памяти. Жили, и все тут; и уж не знаю, каким надо быть неизлечимым занудой-педаантом, чтобы пуститься доказывать: сходства бетонной громадины со средневековым скандинавским замком нет и не может быть.

Мы задавлены позитивизмом. А необходимая, но позитивистски толкуемая, возведенная в догму, конкретно-историческая трактовка истории вела к тому, что, декларативно признавая всеобщность, всечеловечность Гамлета, мы не можем узнать его в Шамове-сыне. И вообще не бывает принцев с комсомольскими билетами или с членским билетом татарской секции МАПП. Но бывают. И в косоворотках Гамлеты ходят. И в гусарских мундирах: Лермонтов Гамлетом был. И хотя прозвище «русский Гамлет» с гораздо меньшими основаниями досталось старшему его современнику, Евгению Баратынскому, именно Лермонтов оказался лидером Гамлетов, появление которых предсказал он всем своим творческим обликом.

Комплекс Гамлета, не знаю, додумались ли до такого психологи. Однако додумались или нет, а у Лермонтова был комплекс Гамлета. Не берусь углубляться в дебри психоанализа, но, думаю, комплекс Гамлета альтернативен знаменитому Эдипову комплексу: там — отталкивание от отца, подавляемое желание отстранить, устранить его; здесь — духовное влечение к отцу, особенно же если был он убит; встреча с тенью его. И стремление во всей деятельности своей, во всех помыслах руководствоваться его напутствием — тайной, поведенной им.

По какому-то нелепейшему совпадению газета, клеймившая Шамова, предала донос на него анонимной заметкой. «Новые материалы к биографии Лермонтова», — сообщила она в октябре. И опять-таки речь шла об отношениях поэта с отцом, о документах, касающихся «малоизвестных отношений, которые сложились между Юрием Петровичем Лермонтовым «и его сыном». Гамлет-Лермонтов прямо-таки сопутствовал Гамлету-Шамову, так же, впрочем, как сопутствует он всем современным Гамлетам, будь они татарами, узбеками или, скажем, болгарам, как Георгий Гачев, сын погибшего на Колыме революционера Дмитрия Гачева: тоталитарное государство, планомерно рубя, расторгая узы, связующие сына с отцом, вопреки своим целям порождает Гамлетов всех мыслимых национальностей, даже рас.

Как бы ни были мы изуродованы морально, торжество глумящегося над срамленным отцом ветхозаветного Хама не состоялось. Верх взял Гамлет; в России — лермонтовское начало: вечные поиски отца, ностальгия по отчему слову.

Гамлет нынче на каждом шагу. Говорить о писателях приходится лишь потому, что им легче вывить в себе традицию датского принца, они же — писатели: судьба Гачева, Золотусского, Икрамова или Юрия Трифонова у всех на виду; Юрий Трифонов всю жизнь, видимо, нес в себе образ отца, беседовал с тенью отца.

...Гамлетизм Лермонтова реализуется на уровне интимно-лирического, общественно-политическом и космическом. Они взаимно пересекаются. «Ужасная судьба...» — о себе; стихотворение настороженно-интимно, но оно разрешается выходом в космос, прозрением:

Ты счастливей меня; перед тобой
Как море жизни — вечность роковая
Неизмеримо открылась глубиной, —

обращается сын к отцу, к его тени. Гамлетовский вопрос о посмертном продолжении жизни для него разрешен, и всецело разрешен будет он в медитации «Когда волнуется желтеющая нива...»:

И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

Встреча сына с тенью отца — и в черновом варианте «Мцыри», и в батальном «Бородине»: отец там — безымянный полковник; и благоговение перед тенью его непререкаемо, так же как непререкаемо благоговение пред отцом, прозреваемом с цветущей и плодоносящей земли в небесах.

Но Лермонтов не был бы Лермонтовым, если бы к покровительству свыше он относился с неизменным благонаправленным смирением.

О проблеме личности в творчестве Лермонтова написано немало хороших, внятных работ. Уточняя написанное, необходимо дополнить: сыновство — это самый обостренный вариант пробуждения личности. Личность формируется, становится в диалоге с ближайшим не-я, с отцом; начинаются колебания от гармонического слияния с ним до саркастической к нему оппозиции. Удивительно ли, что с уст Лермонтова срываются и признательные слова молитвы и сарказм «Благодарности»?

Бой, сражение для Лермонтова — поприще, на котором подвизается служащий

примером для сына отец. По-детски неуклюже, по-ученически написана «Баллада» (1831), но именно здесь заложено и дидактическое изображение смерти отца-командира в «Бородине» и ратный облик отца в «Казачьей колыбельной песне»:

Но отец твой старый воин,
Закален в бою...

В роли отца, которому дерзко перечит сын, у Лермонтова и царь Иван Грозный. И в невиданном ракурсе явлен в балладе «Воздушный корабль» император Наполеон: император — видение, тень, единжды в году являющаяся на берег оставленной Франции. Тень отца? Да. Но тень отца, не нашедшая сына там, где встретились сын с отцом в шекспировском «Гамлете», на морском берегу.

И над всем этим миром, сиротеющим, расплывающимся, изломанным, но все еще ищущим опоры в отцовской любви, простирает черные крылья Демон — олицетворение высшего своеволия, сын, отторгнувший себя от отца, но скорбящий, не теряющий надежды на примирение:

Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я верить добру.

А ниже Демона — Григорий Печорин. Человек без отца; и здесь, кстати, его коренное отличие от его прямого литературного предшественника — от Евгения Онегина Пушкина.

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.

Тут все ясно. А Печорин — какой-то человек ниоткуда, и весь он — трагическое

вопросение о будущем человечества: неужто же такими, как он, когда-нибудь станут все? И опять же: так увидеть своего неприкаянного героя мог только художник, навсегда почувствовавший и осознавший себя сыном — носителем сыновнего начала, которое, видимо, немислимо истребить в человеке, хотя можно переориентировать.

Все яснее становится: пережитое нами не было хаосом. Здесь была своя логика. Своя цель. Закономерности были; и герой новогодней заметки в «Литературной газете» стяжал себе право встать в ряд с лучшими героями Лермонтова, с ним самим — с шекспировским Гамлетом, воплотившимся в Российской империи.

Куль личности, террор, тоталитаризм — явления не только политики, экономики. В равной мере это еще и величайший эксперимент в своеобразной эстетике общественной жизни, посягательство на ее, этой жизни, веками слагавшийся синтаксис.

«Отец и учитель», «отец народов»... Потешаемся над этими словами, а в них — программа: отторжение сыновей от отцов, осмеяние отца и подмена его новоявленным отцом-идеологом.

Оттого-то и понадобился злополучный Павлик Морозов. Безотносительно к реальному мальчику из уральской глубинки создан был образ какого-то анти-Гамлета, анти-Шамова, анти-Лермонтова: сына, оторвавшего себя от отца и отрясшего его прах со стоп.

Тектонические сдвиги, землетрясения все еще остаются непредсказуемыми, но в отличие от них социально-эстетические катаклизмы предсказать можно.

И великий поэт сумел заглянуть ровненько на сто лет вперед...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Кушнер. Музыка во льду.

Литература и искусство

МУЗЫКА ВО ЛЬДУ

М. Кузмин. Стихи и проза. М. «Современник». 1989. 431 стр.

После более чем полувекового забвения возрождается интерес к поэзии Михаила Кузмина. В ряде журналов опубликованы подборки его стихов («Аврора», 1988, № 1; «Родник», 1989, № 1), вслед за вышедшей книгой готовится в «Библиотеке поэта» том избранного. Что отличает и выделяет М. Кузмина среди многих славных и громких имен в русской поэзии 10—20-х годов XX века? Скажу так: особая естественность поэтической речи, легкой, как дыхание (прошу прощения у строгой тени прозаика, восстанавливая союз «как» между двумя этими словами).

Лучшую свою книгу «Форель разбивает лед» Кузмин выпустил в 1929 году. Так же называется первый (и лучший) цикл стихов этой книги.

Можно было бы проанализировать сюжет, то есть распутать петляющие ниточки повествования, расплести вымысел и реальность, разгадать искусный узор, использовавший и английскую народную балладу, и фильмы модного в те годы немецкого экспрессионизма («Кабинет доктора Калигари»), и биографические подробности... но не хочется. И не надо, потому что сам автор не придавал всему этому большого значения.

Толпой нахлынули воспоминанья,
Отрывки из прочитанных романов,
Покойники смешались с живыми,
И так все перепуталось, что я
И сам не рад, что все это затеял.

Кого напоминает нам этот белый стих? Ахматову, конечно, например, ее «Северные элегии», написанные значительно позже, спустя лет пятнадцать. Еще кажется, что таким послесловием она могла бы заключить «Поэму без героя».

Но в отличие от Ахматовой Кузмин и в самом деле не ждет от читателя разгад-

ки своей «Форели». Вот уж кому не важно, знает читатель или не знает, кого любит автор, перед кем он виноват и т. д. Не в этом видел Кузмин задачу, стоящую перед стихами. Поэтическая тайна живет для него совсем в другом — в прелести и новизне самого стиха, в том, что почти не поддается никакому анализу.

Когда-то мне казалось, что тайну эту можно объяснить; с годами все больше склоняюсь к мысли, что объяснить, то есть пересказать другими словами, поэзию невозможно. На нее можно только указать: вот здесь, смотри внимательно (смотри — значит прежде всего слушай), в этом месте, в этом стихе.

В цикле Кузмина всплывают те же персонажи, что потом войдут в ахматовскую «Поэму без героя»:

Художник утонувший
Топочет каблучком,
За ним гусарский мальчик
С простреленным виском...

А вы и не рождались,
О, мистер Дорнан,—
Зачем же так свободно
Садитесь на диван?

Тем ощутимей разница между установкой Кузмина на обновление поэтического слова и стремлением Ахматовой воссоздать в поэме картину жизни и заблуждений творческой интеллигенции в предреволюционную эпоху.

Сюжет не волнует Кузмина, он и намечен кое-как:

Двенадцать месяцев я сохранил
И приблизительно дал погоду,—
И то не плохо.

И чтобы не выглядеть в глазах читателя уж совсем «беспомощным», добавляет:

И потом я верю,
Что лед разбить возможно для форели,
Когда она упорна. Вот и все.

Вот, собственно, и вся символика: как форель способна разбить лед, так и любовное, сердечное упорство может быть вознаграждено.

Это «вот и все» напоминает нам заключительные строки другой поэмы:

Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.

Ну что ж, Пушкин и в самом деле учитель Кузмина, а в своем «Домике в Коломне», вызвавшем такое недоумение современников, он шагнул на много десятилетий вперед и протянул руку новому поэту.

В 1923 году в связи со статьей К. Чуковского Кузмин писал о двух своих современниках: «...не напрасно Чуковский соединил эти два имени. Оба поэта, при всем их различии, стоят на распутии. Или популярность, или дальнейшее творчество... И Маяковский и Ахматова стоят на опасной точке поворота и выбора... Я слишком люблю их, чтобы не желать им творческого пути, а не спокойной и заслуженной популярности»¹.

Кузмин избрал творческий путь в самом трудном его варианте — в обновлении стиха прежде всего на основе небывалой естественности и свободы поэтического выражения. Ему удалось это даже в белом стихе — наиболее косном из всех существующих в русской поэзии, поскольку, лишенный рифмы, он поневоле тяготеет к повествовательной интонации, одной и той же для всех, кто бы им ни пользовался с пушкинских времен. Открытие Пушкина берется напрокат, и то и дело в белом стихе (будь то А. К. Толстой или Ходасевич) всплывают знакомые интонационные повороты из «Каменного гостя» или «Моцарта и Салери».

Тем удивительней белый стих Кузмина, сдвинутый в сторону разговорной речи, обогащенный прежде всего ее живыми интонациями, придающими ему новос очарование. Никакой архаики, никакой стилизации, этот белый стих — последняя сводка о состоянии разговорного языка на сегодняшний день.

Раз вы уехали, казалось нужным
Мне жить, как подобает жить в разлуке;
Немного скучно и гигиенично.

Или:

Как видно,
Вы вовсе не игрок, скорей любитель,
Или, верней, искатель ощущений.
Но в сущности здесь — страшная тоска:
Однообразно и неинтересно.

Отметим и неловкие, почти детские языковые обороты, характерные для устной речи, изгоняемые обычно из речи литературной, но здесь, в стихах Кузмина, реабилитированные, празднующие свое признание и полноправие («раз вы уехали», «но в сущности здесь — страшная тоска»), и обилие вводных слов и словосочетаний («как видно», «верней»), и корректные вкрапления специальных слов из периферийных областей языка, не утрачивших некоторой экзотичности («гигиенично»), и виртуозное использование пиррихия в строке «Однообразно и неинтересно...», обобравшего пятистопный стих, оставив ему только два ударения.

Однообразие повествовательной интонации белого стиха, онтологически ему присущей, снимается также резкими смысловыми скачками, ассоциативностью, пропусками логических звеньев, быстрой смелой декорацией. Это не прямолинейное повествование, а сбивчивый рассказ, взволнованная речь; больше всего она похожа на музыкальное сочинение, построенное на переплетении нескольких мелодий: веселая перебивает печальную, чтобы уступить место подчеркнуто равнодушной, или чуть насмешливой, или настойчивой, или трогательно-беззащитной.

Такова, например, сцена встречи автора в домашнем музее в присутствии коллекционера с «близнецом», сидящим «в стеклянной банке»:

Я с ожиданием и отвращением
Смотрел, смотрел, не отрывая глаз..
А рыба бьет тихонько о стекло..
И легкий треск и синий звон слилися..
Американское пальто и галстук..
И кепка цветом нежной rose champagne.
Схватился за сердце и дино вскрикнул..
— Ах, боже мой, да вы уже знакомы?
И даже... может быть... не верю счастью!..
«Открой, открой зеленые глаза!
Мне все равно, каким тебя послала
Ко мне назад зеленая страна!»

На такой эмоциональной чересполосице держатся все белые стихи «Форели».

Многообразие сюжетных мотивов сочетается с быстрым кинематографическим чередованием планов: это и театральный зал с его сценой и ложами, и спиритический сеанс, и барский дом в Карпатах, и Гри-

¹ М. Кузмин и н. Условности. Статьи об искусстве. Пр. 1923, стр. 166—167.

нок — не то реальный шотландский городок, в котором «безумствует шиповник, небо синее», не то вымышленная «зеленая страна», и русская деревня с ее солнцелюком, мошками и стрекозами, купанием, нырянием с обрыва в реку, и игорный дом, и мешанская квартирка назойливого коллекционера, и петербургская квартира автора (петербургская, а не ленинградская, поскольку вбегают в нее «по лестнице с ковром»).

Цикл «Форель разбивает лед» написан в 1927 году, но происходящее в стихах относится к прошлому или вымышленному: «Толпой нахлынули воспоминанья, отрывки из прочитанных романов».

Жизнь в цикле «Форель» преображена, европеизирована, представлена такой, какой она, пожалуй, в России и не была.

Мы этот май проводим как в деревне:
Спустили шторы, сняли пиджаки,
В переднюю бильярд перетащили
И половину дня стучим киями
От завтрака до чая. Ранний ужин,
Вставанье на заре, купанье, лень...

Нет, почему же, была такая жизнь и в России. Мы помним ее по романам Тургенева, мемуарам и дневникам А. Бенуа, Головина, живописи Коровина и Грабаря. Кузмин и его ближайшее окружение: художники из «Мира искусства», люди театра, балета, музыканты, петербургские поэты 10-х годов, просвещенные купцы-меценаты — достаточно назвать Головина, Сомова, Дягилева, Метнера, Гумилева, Недоброво, Мамонтова и других — стремились приблизить свой образ жизни к европейскому образу.

Об этом ангажированном быте русского образованного состоятельного круга мы прочли в «Даре» и «Других берегах» Набокова. Но в еще большей степени эти кузминские стихи приводят на память пушкинские строки, перекликаются с ними:

Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну с льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.

Кузмин снимает пенку с пушкинского дендизма, делает его одной из своих основных поэтических тем. Только место Чайльда-Гарольда занял у него «мистер Дориан», «так свободно» расположившийся в кабинете на диване.

Как недобитое крыло,
Висит модель: голландский ботик.
Оранжевое светло
В стекле подобных библиотек.

(Замечу в скобках, что слово «светло» кажется мне в этих стихах опечаткой; напрашивается сюда другое слово — «тепло».)

Вы только что ушли, Шекспир
Открыт, дымится папироза...
«Сонеты»!! Как несложен мир
Под мартовский напев вопроса!

«Сонеты» Шекспира должны объяснить читателю характер любовных надежд героя «Фореи», но, кроме того, они еще и необходимая деталь жизни русского денди.

Вот мы и перешли к рифмованному стиху Кузмина. И в нем, пожалуй, с еще большей очевидностью предстает замечательное свойство его поэзии — ее особая естественность и легкость. Никакой натуги, старательности — счастливая свобода поэтической речи, черпающей свои силы и свежесть в живой интонации разговорного языка.

Не друзей — приятелей зову я:
С ними лучше время проводить.
Что прошло, о том я не горюю,
А о будущем что ворожить?
Не разгул — опрятное веселье,
Гладкие, приятные слова,
Не томит от белых вин похмелье,
И ясна пустая голова.

Со времени Пушкина, думаю, не было в нашей поэзии такого моцартианского, светлого, ясного звучания. За всеми настоящими стихами живет их музыкальный, точнее, интонационный образ, который и выводит стихи в люди, — с чем сравнить его в данном случае: с мелодией на флейте, с легкой походкой, с состоянием молодого человека, «влюбленного — не слишком, а слегка»?

Утешником послушным,
Что Моцарт запоет, —

сказано в одном из стихотворений Кузмина о загадочном предмете, подаренном ему друзьями.

Пускай они в Париже,
Берлине или где, —
Любимее и ближе
Быть на земле нельзя.

А как та вещь зовется,
Я вам не назову, —
Вещунья разобьется
Сейчас же пополам.

Отметим мимоходом небрежный, детский, устный оборот «или где», придающий стихам особую мягкость и прелесть; отгадаем загадку, заданную нам поэтом: «вещь зовется» пластинка; укажем на трогательную верность друзьям, живущим вдали от родины (такое признание в книге двадцать девятого года требовало определенного мужества), но главное — скажем о том, что в лучших стихах Кузмина Моцартом поет каждая строка.

Самые «проигрышные», неудобные, заезженные стихотворные размеры, даже вышедшие из употребления лет за пятьдесят до Кузмина — трехстопный ямб, четырехстопный хорей, — оживали под его рукой.

Право, незачем портрету
Вылезать живьем из рамок.
Если сделал глупость эту,
Получилась чепуха.
Живописен дальний замок,—
Приближаться толку нету:
Ведь для дядек и для мамок
Всякий гений — чепуха.

В чем секрет, в чем тайна обаяния этих строк? Все в той же пересадке оборотов устной речи на стихотворную грядку, культивировании их: «Если сделал глупость эту, получилась чепуха»? Или в редкой схеме рифмовки — рифмуются между собой 1, 3, 6-я строки, 2, 5, 7-я, а 4-я и 8-я (излюбленный прием!) не рифмуются? Или в особой наглядности, предметности, неожиданности уподобления разочаровывающего знакомства со знаменитым человеком приближению к дальнему замку, теряющему при этом свою живописность? И в том, и в другом, и в третьем.

Есть еще одно замечательное свойство, делающее стихи Кузмина дорогими и необходимыми, — сердечный трепет, почти зримо присутствующий в них (воистину «слух наш при слове «трепет» какой-то трепет ловить привык»), подлинное чувство, не скрывающее своего родства с чувственностью, преображенной и облагороженной стихом.

Сладко быть при всех поцелованным
С приветом, казалось бы, бездушным,
Сердцем внимать окованным
Милым словам равнодушным.

В настоящих стихах всегда присутствует это «казалось бы», прикрывающее, смягчающее любовь, влечение и страсть. Но мы чувствуем, где они есть, а где их нет, нас не обманешь. Кузмин и не обманывает; мы точно знаем, где в его стихах дышит чувство, любовь, где — притворство или похоть. Последнее обычно связано с

иронией или стилизацией. Мастерски сделаны, но не трогают сердца, хотя, конечно, запоминаются и по-своему привлекают внимание стихи из раздела «Для Августа» («Так долго шляпой ты махал...», «Стоит в конце проспекта сад...», «Постучали еле слышно...» и т. п.).

Там, где в стихах Кузмина слишком явно проступает специфика однополый любви, солнце поэзии начинает гаснуть, свет мигает и подмигивает. Там, где эта специфика снята нежностью и любовью, поэзия возвращается к себе домой, к своей нелегкой, но вечной жизни. Надо сказать, что стилизация, двусмысленность, цинизм разлагают любовь, в том числе и привычные, общепринятые стихи о любви, замораживая и останавливая в них кровь. Морализаторство отератительно, оно — та же пошлость и, как всякая пошлость, противопоставлено поэзии, нравственной по самой своей природе.

И понял я, что вот — страдать
И значит полюбить другого.

Эти стихи мы прикладываем к сердцу, и какая нам разница, к кому они обращены, — такая в них искренность, такая боль, такой неподдельный человеческий опыт.

В романе Пруста бабушка — олицетворение душевной тонкости и доброты — хорошо отзывалась об одном из самых сомнительных персонажей романа де Шарлю, пораженная тем, что мужчина способен так тонко чувствовать, так «по-женски чутко и восприимчив».

«Самое важное в жизни — не то, кого мы любим, — уверенным, не допускающим возражений, почти резким тоном заговорил де Шарлю, — важна любовь. В чувстве госпожи де Севинье к ее дочери гораздо больше общего со страстью, которую Расин изобразил в «Андромахе» и в «Федре», чем в пошлых отношениях юного Севинье с его возлюбленными».

Вы так близки мне, так родны,
Что кажетесь уж нелюбимы.
Наверно, так же холодны
В раю друг к другу серафимы.

Кузмин умел запечатлеть в стихах высокое напряжение любви, «настоящую нежность», которую «не спутаешь ни с чем». Произнося про себя эти стихи, мы выделяем, ставим под ударение двойное «так» и «кажетесь»; и это выделение голосом «проходных» слов служит самым большим уверением в любви, в ее силе и тепле во-

преки первому, поверхностному смыслу поэтического высказывания.

Знал ли Кузмин, как трагична жизнь, какие страдания, несчастья, мрак таятся в ней, а в некоторые эпохи выходят на поверхность, затмевая радость, убивая жизнь? Знал безусловно. Знал, но в своей поэзии сопротивлялся этому знанию. В самые тяжелые времена поэзия помогает нам жить самим своим существованием. И еще неизвестно, за кого мы схватимся, кого откроем, кто нам скорей придет на помощь в тяжелую минуту: Некрасов или Фет, Ходасевич или Кузмин? Смотря когда, смотря где...

В многообразных страданиях, выпавших на долю живущих в XX веке в России, человек научился ценить редкие минуты счастья, домашнего тепла, дружеского сочувствия и доверия.

Спокойно ль? Ну да, спокойно!
Тепло ли? Ну да, тепло!

Эта человеческая интонация, такая непрочная, высмеиваемая, затоптанная слоновьим стадом любителей распоряжаться чужой судьбой, противостояла и в поэзии, и в музыке, и в живописи, посрамляя несостоятельность ораторской патетики, поощряемой казенным мифотворчеством, демагогией и порабощению.

Не потому ли именно она подверглась гонениям, постановлениям, запретам? Это ее смешали с грязью, назвали мещанской, камерной. Это она, последняя, не давала деспотическому сознанию ощущения окончательной победы.

Жизнь Кузмина в ее последней трети не баловала его. Революция, которую он принял без всякой аффектации, скромно, с достоинством художника, способного поступиться собственными интересами ради интересов большинства, революция, от которой он не уехал на Запад, нисколько не гордясь своим поступком, не ставя его себе в заслугу и лишь позволив себе высказаться в одном из стихотворений надежду, что о том, как и чем он жил все эти годы, расскажут новые книги, «которые когда-нибудь выйдут», — революция отодвинула его поэзию на самый задний план, лишила, как сказал другой поэт о себе, «и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей».

Но в Кузмине, в этом «денди» и «снобе», нашлось редкое душевное благородство, неожиданное мужество. Ни одной жалобы не найти в его стихах.

Среди персонажей старого французского мемуариста Сен-Симона запоминается брат короля Филипп Орлеанский Старший, «ук-

рашенный лентами всюду, куда только можно было их прицепить», носивший браслеты, «всегда разряженный, как женщина», «благоухающий разными духами» и проявлявший, на удивление многим, завидную храбрость в сражениях.

Ю. Юркун, друг Кузмина, навестивший его во время смертельной болезни в ленинградской больнице, рассказывал Н. Пунину, что Кузмин, отсылая его домой, сказал: «Остались одни детали». Через два часа он умер.

Вот таким же ясным, благородным отношением к жизни отмечены лучшие стихи Кузмина, наполненные замечательными предметными деталями, дивными, лишь ему свойственными речевыми оборотами, светлой пушкинской печалью, стихи, подобных которым до Кузмина в русской поэзии не было.

По веселому морю летит пароход,
Облака расступились что мартовский лед,
И зелена влага поката,
И кирпичом поначищены ручки кают,
И матросы все в белом сидят и поют,
И будить мне не хочется брата.

Ничего не осталось от прожитых дней...
Вижу: к морю купаться ведут лошадей,
Но не знаю заливу названья,
У юноших бока золотые, как рай,
И, играя, кричат пароходу: «прощай!»
Да и я не скажу «до свиданья».

Кузмин написал много стихов, в том числе немало слабых, случайных, проходных, недостойных его большого дара. В книге «Форесть разбивает лед», самой драгоценной книге Кузмина, встречаются стихи, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу. (Таков, на мой взгляд, весь раздел «Пальцы дней», не вошедший в последнее избранное.) Как известно, наши достоинства обладают способностью переходить в недостатки. Естественность, искренность, отсутствие в поэзии Кузмина ложной патетики и ходульности, особая ее интимность и домашность нередко приводили к созданию стихов, внятных только его ближайшему окружению. Но то, что понятно в кругу своих, переставало быть доступным непосвященным. Так, в цикле «Северный веер», обращенном к Ю. Юркуну, долгое время оставалось непонятым для меня стихотворение «Двенадцать — вещее число, а тридцать — Рубикон...», пока один внимательный читатель Кузмина (поэт А. Пурин) не догадался: стихотворение отмечает тридцатилетие Юркуна и двенадцатилетие их знакомства.

Гёте сказал, что все стихи в каком-то смысле «стихи на случай», но Кузмин не-

редко не удосуживался посвятить читателя в свои обстоятельства, они слишком интимны, не поддаются расшифровке.

Другое дело — сложная символика поэмы «Лазарь», в которой на основе детективного сюжета разворачивается тема жертвенной любви, победы над страданием и несчастьем, обретения в них человеком новой, промытой и умудренной испытаниями души. Заурядные герои, как будто вошедшие в поэму со страниц бульварного романа или фильма, нужны автору для того, чтобы, воспользовавшись их будничной жизнью и маленькими страстями, показать, как прекрасна и таинственна жизнь, как близко, рукой подать, от нее до жизни чудесной, наполненной настоящей любовью и значением, — было бы желание!

Кто выдумал, что мирные пейзажи
Не могут быть ареной катастроф? —

эти строки из цикла «Форель разбивает лед» подошли бы в качестве эпиграфа к поэме. Но и в ней самой немало строк, благословляющих жизнь, возвращающих нам чувство ее красоты, загадочности и катастрофичности.

Условность героев поэмы и сюжетной, как бы детективной канвы переключает наше внимание на мелодическое полнокровие стиха, уходит в тень, уступает поле деятельности его оркестровому звучанию.

Кузмину, как почти всякому настоящему поэту, не повезло с читателем. Ухватившись за «Александрийские песни», читатель пропустил, проморгал лучшие его дары. Как всегда, широкая публика усваивает то, что попроще: «Александрийские песни», эти стилизации под античность, стали представлять за Кузмина.

Современники не поняли, а потомки забыли.

Кузмин и сам все сделал для этого, очень постарался. «Или популярность, или дальнейшее творчество». Выбрав творчество, Кузмин обрек себя на долгое забвение. Разумеется, и время не потворствовало его посмертной славе.

Есть поэты, из которых при всем желании не надергать лозунгов, идеологически выдержанных цитат, их стихи не укладываются в существующие схемы, их поэтическое мышление нелинейно, неафористично, слишком человечно, непредсказуемо, неотделимо от голоса и сердцебиения.

Материалисту-начетчику, святоше-ригористу, патриоту-краснобаю нечем здесь поживиться. Таков И. Анненский. Таков Кузмин.

Поэзия Кузмина, и прежде всего его книга «Форель разбивает лед», похожа на весеннюю ветвь, усыпанную почками, из которых вот-вот брызнут зеленые листочки. Она необычайно плодотворна, подготавливает будущее, питает новую поэзию, которой еще суждено зародиться.

Многие современники Кузмина, в том числе такие разные, как Хлебников и Ахматова, испытали на себе его влияние. Кузмин вошел в кровь современного поэтического сознания и языка.

Поэзия Кузмина сегодня находится на пороге большого признания. Такова судьба многих истинных поэтов, обогнавших свое время: их вспоминают, их извлекают из небытия через два-три поколения после смерти поэта, удивляясь тому, где же он так долго пропадал. «Да вот же я! И всегда был здесь, — отвечает он. — Наконец-то вы подошли, расслышали удары. Форель разбивает лед».

А. КУШНЕР.

Ленинград.

КОРОТКО О КНИГАХ



АНАТОЛИЙ КОРОЛЕВ. Ожог линзы. Повесть. Рассказы. Роман. М. «Советский писатель», 1988. 367 стр.

...Странное название — «Ожог линзы». В нем грамматическая ловушка на грани небрежности. Ожог чего или чем? Правда, прецедент в русской литературе есть, вспомним лермонтовское «из пламя и света». Может быть, все-таки — из пламени? Может быть — линзОЙ?..

Линза — поэтический образ первой повести сборника, образ многозначный. Инструмент судьбы, обжигающее стекло внезапно выхватывает героя повести, освещает, пронзает светом его жизнь. Линза — небесная полянья над скучным весенним пейзажем, делающая этот пейзаж мучительно прекрасным... Возникнув в начале книги, образ продолжает жить в пространстве книги. Даже в тех рассказах, где слово «линза» не вспоминается, она присутствует как бы в качестве авторского орудия.

Повесть, рассказы и роман Анатолия Королева охватывают примерно четверть века — от начала 60-х до наших дней. Они не связаны между собой ни героями, ни темами, ни даже жанром. Если «Ожог линзы» — лирическое повествование о любви, почти мелодрама, то «Вечная зелень» — сатирический роман. Кроме того, не однородна и каждая вещь сама по себе. Внешне вполне реалистически выстроенные повесть, рассказы, роман все же несомненно, если уж пытаться обозначить творческий метод автора, принадлежат авангарду, продолжают традиции раннего Заболоцкого, прозы Хармса, отдельных страниц Тынянова.

Пожалуй, самая значительная вещь в книге — роман «Вечная зелень». Действие его происходит зимой в Ялте. Его герои — те, кого принято в литературе называть маленькими людьми. Кто же еще ездит отдыхать в Ялту зимой? Приемщица химчистки, одинокий ветеран войны, пенсионерка, пожарный... Зима, Ялта, одинокие или выдающие себя за одиноких люди. Что может произойти с ними за две недели? Ясное дело — пирושки, романы, обманы.

В коротеньком, в четыре строчки, послесловии-аннотации так и читаем: «...прозаик... раскрывает бездуховный мир современных конформистов-обывателей, растерявших в погоне за жизненными благами свои идеалы, свое человеческое достоинство». Все это — неправда. Молодой писатель действительно открывает внутренний мир современного обывателя. Но мир этот сов-

сем не бездуховен. Он нередко уродлив, да. Вернее, изуродован, подстрижен, как вечная полуживая зелень зимнего курорта. Не герои романа предают свои идеалы. Это ложные, навязанные, скудные идеалы предают их! Поэтому каждого из героев романа, как бы смешон или жалок он ни оказывался, мы, читатели, воспринимаем всерьез. Мы вспоминаем свой собственный опыт, мы обжигаемся о правду о себе, о своих собственных идеалах, о своей собственной «подстриженности». Потому и ожог линзы, что оптическое стекло человеческой совести и духа, когда оно волею судьбы или искусства включается в нашу жизнь, не просто пропускает и концентрирует свет — оно обжигается само. Жить с ожогом невозможно, все «быльем порастает», но память о нравственной боли прозрения и стыда, однажды пережитой, делает самого маленького, самого обычного обывателя человеком, а мир, в котором он живет, — осмысленней.

Герои «Вечной зелени» обладают жизненным опытом, сформированным современной советской средней школой, средней нашей литературой, средней средой. Автор рассматривает своеобразный атом коллективистского общества — стол в курортной столовой — в условиях, приближенных к среднему советскому счастью (отпуск в Ялте!). У каждого из героев осуществляется заветное желание. Есть в романе даже некий дьявол-искуситель, призванный осуществлять мечты и скупать души простых советских граждан, — Сурен Парчхава. Как и положено черту, он то обаятелен, то смешон, то страшен. Но не он разбивает сердца героев да и читателей, а несостоятельность самих желаний. Роман «Вечная зелень» жесток, как и должна быть жестока сатира. Пожалуй, он мог бы быть еще острее, если б доведены были до логической развязки некоторые сюжетные линии — «атеистки» Марины Копылковой, например. Или это редакторское вмешательство, все та же «стрижка зелени»?

В книге есть рассказ, который предлагает как бы альтернативу жестокости правды, жестокости ясного зрения, «Французская борьба — искусство лжи», один из лучших, знакомит нас с трогательным и забавным, хорошим стариком, бывшим цирковым борцом и убежденным сталинистом дядей Валей. Дядя Валя отстает свое прошлое — отстаивает счастье, которым были счастливы миллионы людей в годы его молодости. И есть момент, когда, возможно, у

каждого читателя что-то вроде слезы затуманит ясность взгляда. Дядя Валя прав?.. Жестокость ясного зрения, огонь стыда — благо ли это?.. Всей своей книгой, всем «ожогом линзы» автор отвечает на этот вопрос: да, благо.

А. Даева.



РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. Записки Мальте Лауридса Бригге. Роман. Новеллы. Стихотворения в прозе. Письма. Перевод с немецкого. М. «Известия». 1988. 223 стр.

Усилиями наших литературных журналов имя Райнера Марии Рильке скоро войдет в еще более широкий, чем прежде, культурный обиход: оно прочно связано (биографически и творчески) и с именами Пастернака и Цветаевой. Такое «вхождение в моду» имеет и хорошие и худые стороны — об этом уже говорено много раз. Но так или иначе, всякая новая публикация Рильке или о Рильке — безусловно благо. Журнал «Иностранная литература», выпустивший в серии своих приложений сборничек прозы поэта, без сомнения, это благо приумножил.

Роман, давший название сборнику, в своей сюжетной основе традиционен и до какой-то степени автобиографичен: начинающий литератор-иностранец, потомок разорившегося знатного датского рода, проходит «испытание Парижем». То есть испытание нищетой, отшельнической жизнью, иступленным духовным одиночеством в мировой столице. Но «парижский план» пересекается и раздвигается иными планами: детскими и юношескими воспоминаниями героя, свободно возникающими в ткани романа историческими аллюзиями, рассуждениями Мальте о природе любви и религиозности. Другая реальность возникает из конкретной реальности, слоями нарастает и сгущается вокруг нее.

Многое в «Записках Мальте Лауридса Бригге» напоминает о романтическом романе-фрагменте первой трети XIX века, причудливом романе-арабеске (явственнее всего это ощущается в мистических, «страшных» пассажах «Записок...», где речь идет о выходящих с того света, о необъяснимых событиях жизни героев). Одновременно — тут же, рядом — существуют «напльвы» других художественных стилей: дают себя ощутить и натурализм в духе Золя, и импрессионизм, и уже принадлежащие XX веку экспрессионизм и символизм. Однако как маленький рилькевский роман, так и вся книга обладают примечательной цель-

ностью — на материале этой прозы последовательно разрешается единая мысль о взаимоотношениях материального и духовного, о прочной связанности и равноправности этих двух начал. Причем продумана она неподражаемо индигидуально, по-рилькевски. Он очень дорожил духовной обеспеченностью вещей и явлений в мире, но не собирался пренебрегать и их конкретными земными обликами и способом существования. Таков Рильке в поэзии, таков же неизменно он и в прозе. Недаром в вошедшем в этот сборник «Письме к другу» (перевод М. Цветаевой) Рильке убеждает корреспондента: «Для того чтобы вещь Вам говорила, Вы должны взять ее... как единственное явление, помещенное усердием и исключительностью Вашей любви в самой середине Вселенной...»

Таким способом Рильке добивался того, чтобы все, о чем бы он ни писал, представляло в его прозе, с одной стороны, ярко узнаваемым и пластически проработанным, с другой же стороны — как бы духовно просвеченным. Стихотворение в прозе «Выставка торговца рыбой» (перевод А. Солянова) дает представление о таком двойном подходе к материалу (обратим внимание — речь в нем идет всего-навсего о рыбах, только о рыбах): «...противостоя волнению стихии плотной, они бросали верно и легко, рисунок за рисунком, намек и перемену на дно сознания, неведомого нам... Но вот теперь они извлечены из долгих прядей созерцанья своего...»

Взгляд Рильке — это взгляд, пронцающий вещи, но одновременно и скользкий по ним, нескованно и легко перемещающийся с одной на другую. Эти смещения и скольжения взгляда в прозе Рильке создают ощущение какой-то связи вещей и явлений, их близости, соединенности друг с другом. Так, в «Записках Мальте Лауридса Бригге» описание омерзительной приемной парижского врача беспрепятственно сменяется воспоминаниями детства, затем — мыслями о музыке Бетховена и так далее. Видя целые ряды явлений одновременно, сопоставленными как друг с другом, так и с миром идей, стоящим за ними, поэт метафоризирует действительность, «преображает вещи» (об этом говорит Рильке в «Сонетах к Орфею»). Неожиданным образом такое преобразование совершилось и с его прозой. Проза сблизилась со стихами, почти дошла до того предела, за которым уже перестала быть собой. Именно как прозу поэта ее удалось передать переводчикам — Е. Суриц, А. Карельскому, Г. Ратгаузу и другим.

Елена Степаняя.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Б. Костюковский, С. Табачников. Время не властно. Повесть о Д. Курском. («Пламенные революционеры») 399 стр., с илл. Цена 1 р. 40 к.

О. Мороз. От имени науки. О суевериях XX в. 303 стр. Цена 75 к.

Г. Попов. Корень проблем. О концепции экономической перестройки. («Радикальная реформа управления») 94 стр. Цена 25 к.

Э. Б. Тайлор. Первобытная культура. Перевод с английского. («Библиотека атеистической литературы») 573 стр. Цена 3 р. 30 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. Роман. 510 стр. Цена 2 р. 50 к.
Опыт человеческий. Произведения советских и американских писателей. 382 стр. Цена 2 р. 10 к.

Н. Старшинов. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения. 511 стр. Цена 2 р. Т. 2. Поэмы. Веселые стихи. Рассказы. Статьи о поэзии. 559 стр. Цена 2 р. 10 к.

Б. Шергин. Древние памяти. Поморские были и сказания. 558 стр. Цена 2 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Баранская. День поминовения. Роман, повесть. 318 стр. Цена 1 р.

Л. Гинзбург. Человек за письменным столом. Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л. 607 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Житинский. Потерянный дом, или Разговоры с милордом. Роман. Л. 584 стр. Цена 2 р. 30 к.

В. Конечный. Некоторым образом драма. Непутевые заметки, письма. Л. 368 стр. Цена 1 р. 50 к.

«РАДУГА»

Б. Кауфман. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Роман. Эссе. Перевод с английского. 288 стр. Цена 1 р. 60 к.

Корни и звезды. Современная македонская поэзия. Перевод с македонского. 287 стр. Цена 1 р. 70 к.

Б. Пастернак. Стихотворения. На русском языке с параллельным французским текстом. 295 стр. Цена 1 р. 30 к.

Современная словацкая повесть. Сборник. Перевод со словацкого. 413 стр. Цена 2 р. 80 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Анна Ахматова в Тверском краю. Стихи, очерки. 160 стр. Цена 1 р.

Б. Зайцев. Голубая звезда. Повести, рассказы. Из воспоминаний. («Литературная летопись Москвы») 577 стр. Цена 2 р. 40 к.

В. Ланшин. Открытая дверь. Воспоминания, портреты. 448 стр. Цена 1 р. 60 к.

Свидетели обвинения. Антология зарубежного детектива. Вып. 2. 558 стр. Цена 5 р. 50 к.

«КНИГА»

Драгоценные свитки. Античные латинские поэты о книге. Перевод. 159 стр. Цена 5 р. 70 к.

Ст. Рассадин. Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина. («Писатели о писателях») 351 стр. Цена 2 р.

Редкие русские книги и летучие издания XVIII века. Репринтное воспроизведение издания 1905 года. («Библиофильские редкости») 624 стр. Цена 9 р.

Б. Рыбаков. История и перестройка. Литературная запись Ю. Нечаева. («Зеркало. Взгляд на злободневные проблемы») 79 стр. Цена 50 к.

«ИСКУССТВО»

Л. Аннинский. Билет в рай. Размышления у театральных подъездов. 192 стр. Цена 80 к.

А. Гуревич. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. Эпоха. Быт. Искусство. 367 стр. Цена 4 р. 80 к.

Б. Сарнов. По следам знакомых героев. 254 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Тахо-Годи. Греческая мифология. 303 стр. Цена 4 р. 10 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Гришавили. Литературная богема старого Тбилиси. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 112 стр., с илл. Цена 2 р.

Б. Кац, Р. Тименчик. Анна Ахматова и музыка. Исследовательские очерки. Л. «Советский композитор». 336 стр., с илл., нот. Цена 1 р. 90 к.

Дм. Хренков. Анна Ахматова в Петербурге—Петрограде—Ленинграде. («Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге—Петрограде—Ленинграде») Л. Лениздат. 222 стр., с илл. Цена 90 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.07.89 г. Подписано к печати 27.09.89 г. А 04270.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл.-кр. отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.625.000 экз. (4-й завод 695.001—1.045.000 экз.). Зак. 224 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103793, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103793, Москва, Пушкинская пл. 5. Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Цена 1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 10, 1—272.